

НОВЫЙ Журнал



НЬЮ-Йорк

THE NEW REVIEW

Новый Журнал

Основатели М. Алданов и М. Цетлин – 1942
С 1946 по 1959 редактор М. Карпович
С 1959 по 1966 редакция: Р. Гуль, Ю. Денике, Н. Тимашев
С 1966 по 1975 редактор Роман Гуль
С 1975 по 1976 редакция: Р. Гуль (главный редактор)
Г. Андреев, Л. Ржевский
1976 – 1981 редактор Роман Гуль
1981 – 1983 редакция: Р. Гуль (главный редактор),
Е. Магеровский
1984 – 1986 редакция: Р. Гуль (главный редактор),
Ю. Кашкаров, Е. Магеровский
1986 – 1990 Редакционная коллегия
1990 – 1994 редактор Юрий Кашкаров
1994 – 2005 редактор Вадим Крейд

Семьдесят восьмой год издания

Главный редактор – Марина Адамович

Редакционная коллегия:

Сергей Голлербах, Марина Гарбер, Елена Дубровина, Мария Рубинс, Владимир фон Цуриков.

Ответственный секретарь – Наталья Бернадская

Редакция: Владимир Гандельсман, Наталья Гастева, Рудольф Фурман

The New Review, Inc.:

T.Bobrinsky; T.Chebotareva; S.Hollerbach; G.Glinka; M.Jordan;
P.Khlebnikov; V.Kreyd; G.Mesniaeff; A.Nebolsine; A.Neratoff;
I.Sikorsky; P.Tcherepnine; V. von Tsurikov; M.Adamovitch.

Обложка художника М. Добужинского

THE NEW REVIEW

№ 298, март 2020

© 2020 by THE NEW REVIEW

Рукописи не возвращаются

Перепечатка материалов «Нового Журнала» без письменного разрешения редакции запрещается. Размещение материалов «Нового Журнала» он-лайн без письменного разрешения редакции запрещается.

Редакция не несет ответственность за содержание публикуемых материалов. Авторы несут ответственность за достоверность приводимых ими фактов и цитат.

THE NEW REVIEW (ISSN 0029–5337) is published quarterly
by The New Review, Inc., 1216 Broadway, 2nd floor, New York, N.Y.
10001. Periodical postage paid at New York, N.Y. Publication No.
596680. POSTMASTER: send address changes to The New Review,
1216 Broadway, 2nd floor, New York, N.Y. 10001

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА. ПОЭЗИЯ

<i>Полина Брейтер</i> – Октава. Повесть	5
<i>Хельга Ольшванг</i> – Стихи	139
<i>Татьяна Данильянц</i> – Согревающий смысл. Стихи	144
<i>Андрей Иванов</i> – Синее пламя. Рассказ	147
<i>Андрей Грицман</i> – Стынет след. Стихи	160
<i>Илья Прозоров</i> – Ди-трейн. Повесть	162
<i>Лена Берсон</i> – Стихи	215
<i>Мария Игнатьева</i> – Три жизни. Стихи	219
<i>Н. Н. Браун</i> – Всем матерям российским. Главы из поэмы	226
<i>Виталий Амурский</i> – Стихи	236
<i>Владимир Торчилин</i> – Рассказы	241
<i>Семен Крайтман</i> – Стихи	248
<i>Сергей Яровой</i> – Стихи	253

ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ

<i>Юрий Манделштам</i> – О русской литературе. Статьи (Публ. – <i>Елена Дубровина</i>)	257
«Меря жизнь гармонией небесной...» Письма Бориса Чичибабина к Полине Брейтер (Публ. – <i>П. Брейтер</i>)	277
<i>Владимир Жиганов</i> – Открытое письмо газете «Голос Родины». 1976 год (Публ. – <i>Ю. Сандулов</i>)	301
<i>Лариса Вульфина</i> – «И нет ничего приятнее, как спать под открытым Небом». Письма Ю. Бобрицкого	328

КУЛЬТУРА. ЛИТЕРАТУРА. ИСТОРИЯ

<i>Игорь Чиннов. К 110-летию со дня рождения. Материалы конференции. ИМЛИ РАН. Ноябрь 2019.</i>	
<i>От редакции</i>	340
<i>О. Ф. Кузнецова</i> – Об архиве Игоря Чиннова в Отделе рукописей ИМЛИ РАН	342
<i>Марина М. Адамович</i> – 40 лет и вся жизнь. Игорь Чиннов и «Новый Журнал»	358
<i>Ирина Кочергина</i> – Ю. И. Айхенвальд в берлинской газете «Руль»	372
<i>Юкио Накано</i> – Русские в Японии. Доклад на международной конференции ASEEEES	380

ЭССЕ. ЗАМЕТКИ

А. Мартынов – Набоков и Пруст. Дополнение к комментариям 389

ПАМЯТИ УШЕДШИХ

С. Голлербах. Памяти Т. О. Раннит. 1919–2020 393

ОБ АВТОРАХ 395

ПРОЗА. ПОЭЗИЯ

Полина Брейтер

Октава*

ПРОЛОГ

Доктор ушел, а во мне продолжают звучать его подбадривающие слова о том, что еще ничего не известно; о том, что современная медицина способна на чудеса, хотя иногда не справляется с простым насморком; о том, что старое больное дерево может долго скрипеть, тогда как молодое и здоровое неожиданно падает... Он уже садится, наверное, в машину, а я всё еще слышу его профессионально-утешительные фразы. Он уже едет к следующему больному, медленно забывая обо мне и переключаясь на того, следующего, а я всё не отпускаю его, всё пытаюсь услышать в его ласковом равнодушии только ласку, а равнодушие отбросить; всё объясняю самой себе, что врач не может сочувствовать всем каждый рабочий день, каждую рабочую неделю, год, годы...

Лежу на правом боку и смотрю в зеркало возле кровати. Смотрю в него, а из него на меня смотрит женщина. Она тоже лежит, и глаза у нее печальные и вопрошающие. «Ты испугалась?» – спрашиваю я тихо. Она не отвечает, даже головой не покачала, только продолжает смотреть на меня так же печально и безотрывно. «Ты не бойся, – говорю я зазеркальной женщине, – это ведь с каждым когда-то случается. Сейчас моя очередь. Помнишь Машеньку, когда ей сказали? Она тоже испугалась тогда. Но не закричала, не заплакала, а вздрогнула и сказала: «Ну что ж, теперь осталось только умереть достойно». Тогда была ее очередь. Теперь моя. У меня всё будет, конечно, иначе»...

Зазеркальная женщина смотрит мне в глаза и молчит, а я смотрю в ее глаза. И так долго молча лежим мы, каждая в своем мире. О чем думает она? Я не знаю. А я о чем думаю?

ДО – РЕ – МИ – ФА – СОЛЬ – ЛЯ – СИ

Эти названия нот знакомы нам с детства.

А начинались они в XI веке. В небольшом городке в Тоскане,

* Журнальный вариант. © Polina Breyter 2020.

неподалеку от Флоренции, бенедиктинский монах Гвидо Аретинский (Гвидо д'Ареццо. 990–1050) обучал певчих исполнению церковных песнопений.

Гвидо и придумал названия нот, которыми мы пользуемся до сих пор. Это был акростих молитвы к Иоанну Крестителю:

UTqueantlaxis
REsonarefibris
Miragestorum
FAmulituorum
SOLvepolluti
LAbiireatum
Sancte Ioannes

В переводе с латыни: *«Дай нам чистые уста, Святой Иоанн, чтобы мы могли всей силой своего голоса свидетельствовать о чудесах твоих деяний».*

Гимн состоит из семи строк, а мелодия каждой строки всё время начинается на тон выше по сравнению с предыдущей.

Название первой ноты октавы, Ut, в шестнадцатом веке заменили на Do (скорее всего, от латинского слова Dominus – Господь). Название седьмой ступени – СИ – тоже появилось позднее. Оно сложилось из начальных букв слов «Святой Иоанн», то есть из седьмой строки текста того же гимна.

Современная интерпретация названий нот выглядит так:

Do – Dominus – Господь;
Re – regum – материя;
Mi – miraculum – чудо;
Fa – familias planetarium – семья планет, т.е. солнечная система;
Sol – solis – Солнце;
La – lacteavia – Млечный путь;
Si – siderae – небеса.

Нот семь, они образуют октаву. Следующая, восьмая нота, будет снова нота ДО, но уже на другой высоте*.

*По материалам книги Ю.Н. Холопова, Р.Л. Поспеловой. «Новации Гвидо Аретинского в музыкальной науке и практике».

ГЛАВА 1. ДО

Ибо ужасное, чего я ужасался, то и постигло меня;
и чего я боялся, то и пришло ко мне.

Ветхий Завет. Книга Иова

Умереть? Перейти в бесконечность? Почему, почему, почему?..
Что-то болезненное и страшное пронеслось надо мною, безрадостное и темное. Почему? Как это получилось?

Хочется спать и плакать. Хочется спрятаться, чтобы меня не нашли. Я боюсь.

Какая-то вдруг свалилась усталость. И как неожиданно. За одну секунду. Только что не было – и вдруг...

Какая мрачная, надрывная тень пронеслась надо мною.

Душа испугалась. А испугавшись, заленилась и хочет спать, спрятаться в сон. Она устает так быстро теперь... Такие во мне усталость и бессилие, что я даже не могу вспомнить, о чем же думала. Грустно, а жаловаться стыдно. Может быть, это потому, что нездоровя: слабость, сонливость, недомогание.

Почему тревога? Почему «можно не успеть»? Почему, почему, почему?.. Потому что может явиться смерть? Потому что ожидает страшное?

Нельзя мне сейчас хотеть смерти. У меня долги. У меня ниточки...

Что это – то, что началось сегодня? Школа? Урок? Чему надо научиться? Через что переступить? А может быть, это испытание на прочность – до какой меры тоски и отчаянья можно дойти и выдержать? Или наказание за то, что плохо жила и плохо училась? Может быть, может быть. Всё может быть.

Мне страшно, и очень не хочется, но ведь это простительно, правда? Дайте время привыкнуть, смириться, принять эту неизбежность...

Я всё-таки плачу сейчас потихонечку. И потому мне очень легко болтать с самой собой о всяких печалях.

Плакать хорошо... Жалеешь так себя, любишь себя, сама не знаешь, чего хочешь, просто лежишь и истекаешь жалостью к самой себе.

Космос такой большой. Такой большой фиолетовый космос. Мы такие маленькие в нем. Так бесконечно наше сиротство. Большой Космос ждет меня. Но ведь Большой Космос и мой внутренний космос – это одно. Почему же во мне появился страх? Его не

было раньше. Почему так страшно и так невозможно принять неизбежное?..

Как сиротливо, как одиноко! Как ребенку в больнице. Что так давит меня. Болезнь? Предчувствие близкой смерти?

* * *

В комнате тускловато. В ней стелется неяркий и нерадостный свет несолнечного дня. И сон какой-то – не помню, какой и о чем, но помню, что светлый. Сажу я, вроде, то ли перед окном, то ли перед зеркалом, которое напротив окна. И оно отражает всё, что в окно видно. Вот так сажу и смотрю, ничего не делая, ни о чем не думая. Просто смотрю то ли в окно, то ли в зеркало, но в зеркале этом не только себя вижу, но и всё другое, всех других, всех «не себя». Долго сажу так, и постепенно начинают мелькать в голове какие-то мысли. Я не помню их, но знаю, что они о главном, серьезном и важном. Они размышляются сами собой, потом растворяются, переходят в молчание, но не перестают быть. Как в трансе или в медитации. И что-то во мне знает, что всё это не зря. Что мысли мелькают не зря, и плывут не зря, и не зря уплывают. И что вот сейчас, в эти минуты, пока я ничего не делаю, что-то большое-большое делается со мной. И это большое – не враждебно. Его не надо бояться, а надо оставаться ослабленной, чтобы не мешать ему...

Мне не очень страшно теперь, мне почти спокойно, надежно, как дома! Так я ведь и в самом деле дома. А Космос?.. Это будет потом, когда болезнь окончится и уступит меня ему? Космос – это совсем-совсем не страшно. И быть в нем так же не одиноко, как быть с близким другом во дворике дома, где я живу. Мне стыдно, что я когда-то боялась космоса. Мне странно, что я когда-то ощущала одиночество. Хотя то, что предстоит мне, подразумевает, что никого-никого не будет тогда рядом со мной. А все-таки одинокой я и тогда не буду. Это когда-то давно бродила я сиротой по земле, по очень большой земле, боясь еще большего космоса. Тогда я не знала еще, что я не сирота, что все мы не сироты в Бесконечности...

По каким законам движутся страх и тоска, почему они появляются, куда уходят, отчего усиливаются до невозможности вынести, отчего ослабевают, отпускают? Ничего этого я не понимаю...

* * *

Хорошо, что недомогание – такое ощущаемое, такое физическое, материальное, плотское. Хорошо, что я чувствую себя больной, просто больной. И от этого – а не от непонятных причин – стонет, и

жалуется, и ноет, и плачет мое тело. Тело – а не душа – тело! Я чувствую себя очень плохо. Живу, как под тяжелым камнем, который давит на меня, только давит он не снаружи, а изнутри. Он давит всё время, давит и давит, а всё внутри сжимается и сжимается; и, когда это становится невыносимым, приходят крик, слёзы. Наступает разрядка. Но передышка длится недолго. И всё опять...

Весь день с самого утра, даже с самой ночи, так тяжело, так смертельно тоскливо и тяжело, что этому не помогают ни отвлечение на мирские обязанности, ни трудный надрывный плач.

Болезнь и страх крепко держат меня, я все время думаю о том, что мне предстоит. Душа съеживается, тускнеет. Она не может вместить в себя ничего, кроме болезни и ужаса перед предстоящей смертью. Она разучилась расширяться и вмещать в себя Бесконечность. Какая там бесконечность? В могиле?

А может быть, нужно дойти до полного отчаянья? И в отчаянье обрести решимость и мужество пройти через то, что тебе предстоит, как-то изменить или как-то окончить свою жизнь? Но как?

Ты все равно придешь. – Зачем же не теперь?
Я жду тебя – мне очень трудно.
Я потушила свет и отворила дверь
Тебе, такой простой и чудной*.

Нет, нет, я не жду, я не хочу, я не готова! Я зажгу все лампы и все светильники, я затворю от тебя все двери. Я не хочу тебя, не хочу тебя, не хочу!..

* * *

Смерть – не конец, а начало, я знаю. И мне со всех сторон твердят это сейчас почему-то. Может быть, чтобы мне не так страшно было? Или им тоже страшно? Льву Толстому, например, который записывал в «Круге чтения» цитату Монтеня: «Смерть есть начало другой жизни».

И почему так похоже, так почти одинаково люди совершают «открытия»? Только что пожаловалась, что жить больно, и тут же попадаете у Зинаиды Миркиной: «Но почему БЫТЬ так больно? Почему?»

Привыкнуть, смириться, принять неизбежность. Я знаю, что она придет, и придет скоро. И, конечно, мне страшно и очень не хочется, но...

* А. Ахматова. «Реквием».

* * *

*Больничная палата. Все шесть кроватей заняты, я сижу на стуле возле ее кровати. Все буднично. Стонут больные. Копошится медсестра. Никто не смотрит на нас. И мы ни на кого не смотрим. Она – потому что умирает. Я – потому что не могу оторваться от нее. То, что связывает нас сейчас, неостановимо, непреодолимо, неразрывно, не может быть выражено ничем. Она не стонет, она молчит, потому что она уже не здесь, почти не здесь, хотя еще и не **там**, наверное. А я бормочу ей какие-то слова – или это мне только кажется; я прощаюсь с ней, держу ее за руку, хотя понимаю, что мне не удержать ее, держу ее за руку и шепчу слова любви, слова прощания, глупые, бессмысленные обеты, которые ничего не значат, хотя я выполню их, выполню непременно. Я прошу ее подождать меня **там**, хотя понимаю, что впереди у меня еще жизнь, жизнь без нее, жизнь без забот о ней, жизнь, которая будет ей уже не нужна.*

* * *

Дождик льет у нас с самой ночи. Думаю, что этот дождик унесет до весны тепло и солнышко, а вместо этого наступит настоящая осень, – не та первоначальная осень, когда всё становится до невыносимости прекрасным, когда обнажаются души не только дерев, но каждого листа, каждой травинки, – а унылая, холодная и мокрая осень, когда на душе становится грустно, гулять невозможно, и в голову приходят меланхолические мысли.

Я проснулась, а утро еще не проснулось. Еще не проснулись мой тополь за окном, и океан, и сизоватый туман, и все дома и деревья. Спят зверушки и звери. И птицы, наверное, спят. Потому я такая тихая. Еще тише, чем вечером, когда засыпала.

Сейчас встану, и начнется дневная жизнь с ее суетой и хлопотами. Но пока еще не встала, пока лежу неподвижно без мыслей и слушаю тишину. Слушаю тишину, в которую входят и негромкий спокойный прибой, и мерный шелест листьев. Слушаю тишину и отдаюсь ее медленному, ее плавному течению.

Немного грустно видеть в окне, как сочится влагой серое небо, и какое оно при этом заплаканное и распухшее от слез. Но весь наш двор – не унылый. Он всё еще почти совсем зеленый, только два платана поджелтели свою зелень. И может быть поэтому, погрузнев от дождя, двор наш всё еще тот, из «осени первоначальной». И голуби терпеливо мокнут, сидя на проводах, вместо того, чтобы улететь куда-нибудь под крышу...

Интересно, боятся ли деревья осени. Боятся ли они терять свои листья? Смотрю на них, молчаливых. А они? Они на меня смотрят?

* * *

...Все странно, напряженно, страшиновато и очень емко. Не знаю, всегда ли так бывает, я в первый раз пришла на такое.

Накрыт длинный стол. За ним сидят люди. Долгое молчание. Пригласивший нас Г. переполнен чем-то, чему я не знаю названия, что не есть горе, но есть что-то очень насыщенное и трудное для него. Этой его переполненности хватает на всех, и потому ощущается, что весь воздух в комнате напряжен до звона. Я знаю, что это исходит от Г., и я совсем не удивляюсь, когда он неожиданно начинает говорить тихим невнятным голосом, так что я почти не разбираю его слова, но каким-то образом улавливаю, что он хочет нам сказать. Он говорит о том, что видит свою умершую маму, видит ее благодарность всем, кто пришел, кто принимает участие в судьбе сына. И он от ее имени благодарит всех... Это – тост.

Наверное, что-то происходит здесь с нами. Не то чтобы мы все полюбили друг друга и сроднились, но может быть мы все, сами не зная того, причащаемся единого таинства, недоступного нашим глазам и ушам, но захватившего наши души?..

И всё-таки самое главное, самое большое и важное, происходило тогда, когда все мы молча сидели за столом. Мы молчали, и ОНО делалось с нами... Таинство...

...Я ухожу. Г. беседует со мной немного. Он говорит, что за эти сорок дней после маминной смерти ему многое увиделось и открылось; что тот мир реален, что он, Г., всё время общается с мамой, чувствует ее, видит... Что эти сроки – три дня, девять дней, сорок дней – не зря придуманы. Что-то было с ним важное на тридцать девятый день, во второй половине. Еще он считает, что ему помешали вывести маму, что мама могла бы выжить, если бы не вмешались силы ненависти. Еще дней двадцать жизни у нее было – так он говорит. И вообще, ее можно было спасти. Он очень верит, что чудеса происходили с ними, чудеса не человеческого происхождения, и было бы чудо спасения, но силы ненависти (он говорит о них – «нечистые силы») помешали...

Странно всё это слушать. Это похоже на мистический бред человека, жаждущего внешних чудес. Но что-то не дает мне так воспринимать это. Я очень не люблю, когда люди начинают говорить о всяких внешних чудесах: мне всегда становится стыдно, и я начинаю подозревать их в шарлатанстве и фокусничестве. Но здесь всё не так. Может быть, это потому, что я ощущаю причастность Г. чему-то большому, не доступному моим органам чувств, тому таинственному и огромному, что наполняло через него нашу комна-

ту за безмолвным столом?.. Не знаю... Ничего не знаю. Не хочу ни знать, ни судить. Но верю в подлинность его чувств.

А еще я запомнила одну сказанную им вскользь фразу-цитату о том, что стоит осудить чей-то грех, как немедленно сам согрешишь таким же образом. Это ведь точно так. У меня всегда так бывает...

* * *

Когда болезнь окончательно отдаст меня Космосу, мы соединимся с тобой, любимый мой, еще теснее я верю в это. Почему же так страшно уходить туда из этого мира? Почему сама мысль об этом кажется ужасной?

Может ли смерть быть нестрашной? Наверное, может – например, если она приходит во сне или в момент молитвы. Люди знали об этом давно. Гамлет, проходя мимо молящегося Клавдия, говорил сам себе, что сверши он сейчас свою месть – и убийца (убийца!) попадет прямо в рай, потому что погибнет во время молитвы. Ага, вот и оно: смерть не будет страшна, если жить в молитве, если жить в музыке Моцарта или Баха, в Космосе, в бесконечности, объединив свои *здесь* и *там*.

* * *

Очень хочется спать, – и потому, может быть, что я такая сонная, всё происходящее вокруг меня и со мной кажется мне каким-то туманным и нереальным. И сама я какая-то туманная и нереальная, будто сама себе снюсь. И мысли мои исходят из меня, минуя голову, они вытекают из полусознания, из какой-то неконтролируемой глупины... Мне странно, что мои ноги передвигаются по полу или по земле, потому что всё кажется мне воздушным и легким, а сама я – как будто без тела и веса, и неясно, что же это движется и перемещается в какой-то странной волшебной сфере. Как сквозь сон или сквозь новокаиновый укол...

Это очень похоже на одесские катакомбы. Такой же длинный, очень темный и узкий коридор, вернее, коридоры. С поворотами, разветвлениями, сужениями, расширениями. Впрочем, расширений особенных здесь нет. И так же, как в одесских катакомбах, темень почти осязаема. И так же пахнет сыростью. Только там – лабиринт. А здесь – именно что коридор, или проход, или туннель, ведущий куда-то. Куда?..

Иду по этому темному туннелю и даже не знаю, одна иду или с кем-то. Вроде, одна, никого рядом не вижу, но и не одна. Кто-то,

кого не вижу, но ощущаю, но чувствую, – рядом. И неясно: хорошо это или плохо? Это друг невидимый или враждебная и опасная сила?

Иду долго, медленно, просто иду и иду вперед. Почему-то не страшно. Хотя и не спокойно. И совсем непонятно, что же это за переход такой. Всё-таки я не одна. Со мной голос. Чей? Человеческий? Что говорит он мне? Я не знаю. Знаю только, что он – ведущий. Нет, он не помогает мне ни в чем, не угрожает ничем, просто говорит время от времени что-то. Направляет? Возможно. Он, наверное, такой большой, что я со своими бедами и страхом кажусь ему маленькой-маленькой. Меньше пчелки, меньше муравья.

Этот туннель, или коридор, или переход – он ничем мне не угрожает, но я съезживаюсь всё больше и больше, всё больше напрягаюсь, и всё больше хочу выйти из него. Куда? Туда, где не так темно, где не так близко жмутся к тебе стены, где не так много неопределенности...

– Долго ли мне еще идти? – Спрашиваю я то ли саму себя, то ли голос. – И куда мы придем, в конце концов?

И тут я вижу выход – проем в стене, широкую дыру, через которую можно спокойно пройти наружу.

Выхожу. Это снова похоже на одесские катакомбы, где дыр таких на глинистых склонах было множество. Я выхожу и оказываюсь где-то посреди крутого обрыва над морем. Ни дороги, ни тропинок. Ночь. Звезды высоко в небе и ночное темное море далеко внизу. Стою одна в ночи между морем и небом.

– Что же мне делать? – Спрашиваю.

– А ты не знаешь?

Это голос, который был со мной там, в туннеле.

Я знаю. Мне нужно броситься вверх, как бросался вниз Кастанеда, прыгая в пропасть, как бросался вверх с балкона Алешка, уверенный, что полетит.

Во мне нет страха. Во мне нет восторга. Во мне странное сочетание напряжения и покоя. Поднимаю руки вперед и вверх – и взлетаю. Лечу.

Ночное темное море подо мной светится, как лунная дорожка. Только это не дорожка, а всё море светится так.

Ночное звездное небо надо мной – далекое и безучастное. Я между ними...

* * *

...Оказывается, много рождений и жизней – не выдумка, не фантазия. Только всё это происходит не так, как я думала в школе. Я думала: живет существо, умирает, снова рождается, снова умирает,

пока не станет Буддой. А всё не так. Мы сразу живем много жизней. Вот иду я по улице... или нет, – вот сидим мы в вагоне, и не между двумя мгновениями, а вне их, ведь интервала не было, – мы уже прожили еще одну жизнь или много жизней. И от каждой веточки-жизни тоже можно ответить жизнь, и так до бесконечности...

Мы смотрим друг на друга, и руки у нас сплетены. И от этого вокруг нас создается прозрачная и тонкая оболочка. Я ощущаю и вижу ее, она отделяет нас от всего мира, и... Ах, дело вовсе не в этом, дело совсем в другом. Дело в Космосе, в микро- или макро-, я не знаю, но в Космосе, в который мы унеслись, сотворив его в себе и собою. Ну вот, всё хорошо, всё правильно, все дома и на своих местах. Вне пространства. Вне времени. Но, значит, мы не первые? Не единственные, кто об этом узнал? Ведь читали мы у всяких фантастов-писателей, и всё у них так любопытно, так захватывающе заворачивалось. А у нас – взяла руку твою, прикоснулась губами и... А через тысячу лет, прожив с тобой тысячи жизней, сотворив миллионы открытий, пройдя по миллиону дорог, умирая, рождаясь, боля, празднуя, находя, теряя... и еще через тысячу тысяч жизней и лет оглянусь на секунду, привлеченная чем-то неясным, и увижу вагон и тебя, смотрящего мне в глаза, и руку твою в своей, твою теплую нежную руку, к которой прикоснулись только что мои губы...

«Умирая, рождаясь, боля, празднуя»... Значит, всё это уже было, вернее, бывало со мной? И тоже было вот так же страшно?..

Отворачиваюсь от зеркала. Теперь передо мной окно, а за ним – небо. Это еще один – совсем другой – мир. В него можно смотреть, улыбаясь. Даже не так: в него нельзя смотреть, не улыбаясь. Не получится.

* * *

Сумерки. Я в кровати. В зеркале тоже сумерки. И поэтому всё, что делается там, в зазеркалье, видится неясно, размыто, полуреально. В моей комнате явно и ощутимо пахнет поездом, – может быть, потому, что я жгла сегодня спички. Деревья за окном на океанской набережной не успокаиваются ни на минуту, качаются и гнутся от ветра. И точно так же качаются и гнутся они там, в зазеркалье. Я лежу в своей бруклинской комнате на океанской набережной, или в нашей комнатке в Одессе, или в купе твоего вагона и молча смотрю на тебя.

Ты лежишь на верхней полке; одна рука, согнутая в локте, под

головой, другая, тоже согнутая в локте, – на одеяле. Ты не знаешь, что я вижу тебя. Это естественно. Между нами годы, несколько десятков лет. Ты не знаешь, что я вижу тебя, и потому весь ушел внутрь, вглубь, к нам, в *наше*. И всё же там, в своем вагонном купе сорок лет назад, ты знаешь, что я рядом, я с тобой. А я смотрю на тебя, но и не смотрю. Вижу тебя, но и не вижу. Потому что я – это и есть ты. И это я лежу на полке в вагоне сорок лет назад. И, видя тебя, в то же время вместе с тобой думаю твою думу. Вместе с тобой переносюсь сюда, в мою бруклинскую комнату на берегу океана, и туда, в нашу комнату, в *наш Дом*, где я лежу на диване, вдыхаю запах поезда. И дума твоя без слов. И все это так нездешне, так *там*, что нам и в голову не приходит попробовать нарушить молчание. Мы молча и без улыбки глядим друг на друга. И глаза твои смотрят на меня, как тогда, когда ты прощался со мною. А мои глаза глядят в зазеркалье, где я слушаю стук колес, и прибой океана, и шелест листьев в одесском дворе. Нет, мне не кажется, что одно реальней другого. Я гляжу на деревья, а вижу тебя. И это даже не любовь – то поле, которое возникло тогда в нас и живет, и живет бесконечно. Это что-то другое... Это мы с тобой побывали где-то – не знаю, где. Мистики придумали бы этому название... А мы названия не знаем, но мы обитаем *там*...

А потом *оно* стало как бы растворяться. То ли ты заснул, то ли я начала задремывать. Напряжение, соединяющее нас, ослабло. Стихло. И я засыпаю. Мне снятся какие-то сны, я не помню их. Но помню, что в одном из них я говорила тебе стихи, которые родились во мне...

Когда нас развело в разные стороны, сначала только в земном пространстве, но уже и тогда безнадежно и непреодолимо настолько, что твой окончательный и необратимый, как казалось сначала, уход в бескрайность уже ничего практически не изменил в нашем МЫ, – когда это случилось с нами, я знала, что трудно и страшно было только мне одной, что тебе лишь вначале было немножко трудно, но с каждым днем всё светлее и легче, и ты жалел и утешал меня, но сам-то не мучился, не страдал от видимости нашего «разрыва». И потом ты был нежен и ласков, ты старался мне помочь, но ты не делил со мной тоски моей омертвелости. Ты ждал. А я не понимала, хотя разум подсказывал мне, что там, где ты, времени не существует, и ждать тебе не томительно, не тягостно, – не потому, что мало любви, а потому, что много высоты. И я обижалась и капризничала, но не умела единственно необходимого – подняться к тебе туда, где ты обитаешь.

Мне понадобилось много лет, чтобы суметь оказаться там,

где мы можем вновь встретиться и воссоединиться. Мне понадобилось много лет, чтобы оживить свою замерзшую после твоего ухода душу. Много лет ты ждал меня в начале своей жизни. Терпеливо ждал моего рождения. Много лет после нашей разлуки ты ждал меня там, куда позвал и повел, встретившись в первый раз. Ждал второй Встречи.

Но вот они прошли. Теперь я бываю там, где ты. Я остаюсь пока на земле, но иногда попадаю туда. Попадаю туда, но всё-таки остаюсь на земле до времени. Что-то мне, видно, еще нужно здесь сделать. Порой мне кажется, что я знаю, что именно. Я сделаю всё, что должна, что предписано; я успею. Несколько наших венчаний были прекрасны. Но только предстоящее – воистину навсегда. Я готова. Веди меня, я – за тобой.

И поплывем мы с тобой в дальние-дальние края на корабле с белыми парусами. Паруса будут белыми, потому что для того, чтоб нам узнать друг друга, нам не нужны алых парусов. И края будут не дальними – ведь то, что мы ищем, не бывает далеко, а бывает только совсем-совсем близко, даже еще ближе: просто внутри себя...

И поплывем мы с тобой в дальние-дальние края... Значит, всё-таки дальние? Да, – для того, чтобы долго плыть вместе, а края... какая разница – ближние они или дальние, только бы они не были крайними...

И поплывем мы с тобою... Да мы давно уже плывем с тобою. И хотим еще долго плыть. И всё равно, куда направит ветер наши белые паруса. В какую бы сторону мы ни поплыли, мы всё равно поплывем туда, куда нужно; всё равно туда, куда можно. Потому что не ветер надувает наши паруса... И поплывем мы с тобой... Давай поплывем с тобой. Давай будем плыть до-о-лго.

И войдем мы с тобою в Храм Божий, что без стен, без крыши, без окон и дверей. И войдем мы с тобою в Храм Божий, что протянулся от неба до неба, всё обняв, всё осветив собою, и преклоним колена, взявшись за руки, и скажем, не разжимая уст:

«Господи. Вот мы, пред Тобюю. И нету у нас заслуг. И нечем нам похваляться. Мы – маленькие и слабые. Мы много пред Тобой виноваты. Мы часто обижали Тебя, людей и самих себя тоже. Но мы любим друг друга, Господи. И мы верим, что эту любовь Ты послал нам, – потому что, чем больше мы любим друг друга, тем больше мы ощущаем и любим Тебя.

Благослови же любовь нашу, Отче. Пусть она будет такой, как Ты хочешь. Пусть она будет любовью к Тебе, дорогой к Тебе. Да будет всё не по нашей воле, а по Твоей».

Как бы ни сложилась в дальнейшем моя земная судьба, что бы

ни случилось со мной в болезни и подступающей смерти, как бы я потом ни срывалась в слезы и просьбы, сомневаясь и мучаясь от страха и боли, спотыкаясь и падая от неумения и непривычки ходить по земле без твоей помогающей и ведущей руки, как бы ни хныкала или, наоборот, «крепилась», как бы там ни сложилось, – хочу сказать тебе сегодня и на все оставшиеся минуты вперед свое «спасибо», свой земной поклон, свою благодарность, свои... Опять спотыкаюсь без твоей помощи.

*Все без исключения мгновения нашей жизни – начиная с первой секунды, когда сначала мы оба были еще здесь, потом, когда ты ушел **туда**, а я сперва испугалась, что осталась одна, без тебя, а потом поняла и увидела, что мы продолжаем нашу жизнь вместе, – и кончая той, когда и я перестану дышать здесь, – все эти бесконечные мгновения я была самым счастливым существом во Вселенной. И это ты сделал меня такой. Много раз я пыталась сказать тебе о своей благодарности, но всегда безуспешно. Не могу рассказать, что ты подарил мне. Ты **всё** подарил. **Всё**, о чем мечтала; **всё**, о чем и мечтать не могла. Ты так заласкал меня, как ни один человек не может. Как счастливо мы жили отпущенные нам годы, как счастливо! Наши «открытия», наши полеты, наши молитвы, наш монастырь, наш Дом, – вот сколько ты подарил. Меня, сироту, мучающуюся от одиночества, превратил в желанную и нужную, в любимую, чувствующую себя дома во Вселенной... Я люблю тебя. Я благодарю тебя.*

* * *

Ты улыбнись мне. Ты поддержи меня за руку и потришь щекой мою, и дай мне свою руку, чтоб я могла прикоснуться к ней щекой и руками. И заснуть, держа тебя за руку...

Мы не можем отвечать за то, что происходит с нами не по нашей воле. И если происходит страшное, то не обязаны ли мы принимать его, как принимали всё прекрасное, все чудеса, которые творились с нами, которые были подарены нам?

Что там, за дверью, сторожит и поджидает меня? Я не ясновидящая, но это я вижу ясно. Всякие мечты, желания, размышления рождаются сами собой и превращаются в нечто, чему мы пока не знаем названия, но что называем пугающим словом «боль». Само слово «страдание» сужает свое значение и означает только страдание тела и страх перед смертью. Даже единство наше переходит в иные сферы, как в иных сферах было оно, когда ты покидал эту землю... И это будет, будет непременно – и, вероятнее всего, скоро. А до этого еще через многое, и через трудное, болезненное, мучительное пройти надо...

Как хочется, чтобы случилось чудо, чтобы открылось Небо, чтобы вернулась молитва. Но так не должно быть. Это было бы неправильно. Чуду не должно случаться, я знаю. А *за* лихорадкой, *за* бредом полусонного оцепенения, *за* нежеланием принимать неизбежное, они же есть и сейчас – Небо, Свет, Тишина, – я помню, что они есть.

И я представляю себе, как мы были бы здесь вдвоем материально. Неужели это может хоть единственный разочек быть с нами?! Вот такое утро, восход солнца, утренний океан, пустынный берег – и мы. И океан перед нами – нам. И солнышко поднимается – нам. И пальцам моим не надо шевелиться, чтобы проверить, есть ли твоя рука, потому что всей собой, каждым листочком своим я ощущаю тебя, каждый твой листочек в этой молитве, в этом молчании, в этой Божьей тишине.

...Вот я прикасаюсь к тебе, к глазам твоим, к щекам, к губам. Чувствуют ли меня твои губы, узнают ли меня? Узнают ли меня твои руки, пальцы, глаза? Слышит ли душа твоя, как поет ей моя душа песнь любви? Вот мы уже совсем-совсем вместе, совсем слились, совсем *единое*...

Как я хочу к тебе, как хочу к тебе, как соскучилась, как всё во мне устремлено к тебе. Мне кажется, что меня нет здесь, нет со мной, потому что вся я – *там*, с тобой, у тебя, твоя.

И Свет возвращается. Он, правда, смешан не с радостью, а с грустью, но всё-таки он – Свет. А что важнее – Свет или радость? Наверное, Свет. Но, с другой стороны, радость всегда бывает в Свете, а Свет может быть и без радости.

...Ну что ж, – всё, как я хотела. Светлый день. Тихий день. Мягкий бессловесный день. Утром было еще немножко мути, а теперь всё это ушло. Всё омыто морем, овевяно небом, наполнено прозрачностью и тишиной. Хорошо. Хорошо лежать в траве, глядя в небо, хорошо слушать тишину. Хорошо отдаваться ей и морю. И тихонько мечтать при этом о «маленьких бесконечностях» – о том, как ты опять прилетишь неведомо откуда и будешь лежать рядом в траве и глядеть в небо. И будет так же тихо, и так же нежно, и такое же высокое будет небо. И так же медленно будут плыть в нем облака. Где-то среди них и наше облачко – мягкое облачко, прозрачное облачко. Спасибо тебе, любимый. И облачку спасибо. И тополло. И гусенице. И траве у моря. И всем, и всему.

Тихо здесь. Тихо и полно. Всё истончаются и истончаются наши ниточки, но не меньше становятся, а тоньше. Люблю ли? Люблю ли я Тебя! Тебя – беспредельного, безграничного, бесконечного! Тебя – в небе, в море, в воздухе, в возлюбленном моем! Люблю ли я Тебя, Господи!..

А ночью пришел этот жуткий сон, сон-кошмар, в котором я была мерзкой, и проснулась от отвращения к самой себе.

С чего всё это началось?.. Не помню начала, но помню, что почему-то мы втроем с этой женщиной и этим парнем решили принять яд. Зачем? Почему? Не помню, ведь там, во сне, мы не были в горе или в отчаянье. И женщину, и парня я не помню. Кто они? Я не знаю их. Вернее, знаю, что знакомые, но не близкие мне люди. Почему мы решили, что так будет лучше, что это целесообразно? В этом не было элемента самоубийства, было всё как-то сумрачно, но не трагично, а скорей, по-деловому, и даже не очень страшно. И вот сначала в ту комнату вошла женщина и вышла оттуда, уже выпив отраву. Потом вошел парень и тоже выпил свою долю. Теперь они уже обречены, они не могут не умереть, не могут раздумать. И наступила моя очередь. А я чувствую, что *не хочу* умирать, что боюсь идти туда, в ту комнату, и что я вообще перестала понимать, зачем мы это делаем. Я передумала это делать, я считаю, что это было неправильно. Но ведь те двое уже приняли яд. И, значит, я должна тоже, иначе они умрут, а я – предатель – останусь. Надо уговорить их, что это бессмысленно. А женщина сварливо и по-базарному кричит, чтобы я шла и сделала это, ведь они же сделали. Она права, и мне стыдно и страшно, и какой-то неотвратимостью наступает та комната. Парень пожимает плечами. Ему всё равно, умру ли я вместе с ними. А я продолжаю искать выход. Я очень не хочу той комнаты. Бегу куда-то к администратору и спрашиваю, можно ли еще спасти их, и когда начнет действовать яд, и есть ли лечение, противоядие. Администратор отвечает, что жить им еще несколько дней, может быть, недель. Что лечение есть, оно займет две недели. И я уговариваю их лечиться. А женщина отказывается и требует, чтобы я тоже приняла яд, а потом будем лечиться вместе... Как всё это ужасно и неотвратимо, и сама я ужасна и отвратительна. Потому что больше всего мне хочется спасти себя, найти возможность не умирать, оставаясь при этом не подлецом, а судьба тех двоих для меня уже вторична. Мне нужно найти выход, спасение, а я понимаю, что выхода нет, что умирать придется, придется пить этот яд зачем-то... И тут – пробуждение. Сначала я не поняла, где я. Потом поняла, что стало светло. Потом, что не надо идти в ту страшную комнату, что выход нашелся. И только после всего этого поняла, что это был сон. И что теперь можно надеяться, что я не такая подлая, как была во сне. Ответственен ли человек за свои поступки во сне?..

Я знаю, этот сон – наказание мне за эгоизм, за то, что вся моя жизнь – служение самой себе. Всё для себя, ничего для других. Вот

как я живу. И при этом смею говорить о полетах, о воссоединении. Так мне и надо.

Всё, что было в моей жизни, было – мне. А что от меня было? Мне были все дары – небо, цветы и деревья, твоя любовь, любовь Бога, чудеса, Его милости, забота и пощада, спасение близких и помощь друзей. Мне был дарован рай. А что было от меня в ответ? Что было от меня Богу в ответ на Его ласковую любовь? И что могло быть от меня, маленькой, Ему – великому и бесконечному? Только любовь и преданность. Только одно – принятие Его даров. Только одно – не отказываться от Его даров ради ничтожных земных подарочков. Только это и могло быть от меня ответом. А я не смогла и этого, я не сумела. Я всё брала, всё принимала, а от меня Ему не было ничего, ничего, ничего! Как же мне горько теперь сознавать это!

Бог улыбался мне во мне. А я – я отворачивалась и кусала кислые яблочки.

Теперь-то я знаю, что делать и как жить. Но, может быть, уже поздно. Бог искал меня, а я ждала – чего ждала я? Бог искал меня, а меня просто не было дома!..

Мне грустно и горько. Пока всё у меня хорошо. Я не в больнице, я у себя дома. Страх во мне нет как будто. Только грустно. И замкнутости нет, и свет есть, и то, что я зову «третье измерение» или «выход на бесконечность». Всё это есть у меня. И Тишина звучит. И Молитва не умолкает. И звенит насыщенностью и полнотою воздух нашего Дома. Но всё-таки грустно. Ну, и погрустим. Небо ведь тоже бывает и грустным, и тревожным, и мрачным, и даже грозным.

Мне стыдно за себя. Я устала. Я хочу спать. Лучше уйду снова в сон. И пусть он возвратит меня в Свет...

И сон приходит. Но он чудовищный.

Умирает незнакомый человек. Мы его хороним. Страшные и странные похороны: он еще жив. И мы, все, кто пришли, должны с ним попрощаться, – как прощаются с живым при разлуке.

Сейчас я подойду к нему... Так надо, и я пойду. Ведь другие идут.

И он должен проститься со всеми, а потом уйдет и ляжет на какое-то ложе, где его накроют простыней. И только тогда свершится смерть.

Это сон не о смерти. Это сон о разлуке, ведь именно она – сущность смерти. И, как чаще всего во сне, все чувства преувеличены, доведены до максимума. Разлука кажется мне непереносимой. Я уверена, что физически не выдержу ее, что я должна умереть вместе с ним, и, кроме страха, тоски и отчаянья, чувствую беспокойство и бессилие, оттого что не умираю и не знаю, как это произойдет.

Подхожу всё-таки к нему, но – о ужас, – это вовсе не тот незнакомый мужчина, который был сначала!.. Это любимая моя, близкая

моя, самая лучшая, самая дорогая, самая главная моя подруга. Это она прощается со мной. Добрая, ласковая, она говорит со мной заботливо, нежно, как с малым ребенком, жалея не себя, а меня только. Мое горе, мое отчаянье, осознание невозможности принять то, что происходит, вспыхивают безумным пожаром. Я не могу ее отпустить! Она уговаривает меня, а во мне всё рвется от горя и муки, – вот сейчас порвутся все жилы – и пусть порвутся!.. Но они не рвутся. Они не рвутся потому, что я *сама* должна отпустить ее, чтобы она ушла на это ложе под простыней...

Даже сейчас у меня сдавлено горло, и сердце колотится, как сумасшедшее, – даже сейчас, а во сне... Как можно было выдержать это? Почему я не умерла, почему?!..

Проснулась. Утро после тяжелых снов начинается без Света. Вижу свой утренний тополь. Слышу его тишину и молитву. Вижу неподвижность его. Молится тополь. Молится море. Молится утро. А во мне нет молитвы. Я не участник этой светлой тишины. Что же мне делать?

* * *

Страшные сны снятся мне теперь всё время. Я не помню их почти никогда, но просыпаюсь тяжелая, больная, уставшая. И медленная, протяжная, тягучая и тягостная тишина без начала обнимает меня.

Что-то такое снилось мне и сегодня, какие-то мысли о насилии и убийстве будоражили во сне. И что-то смутное помнится. Почему-то застряло во мне слово «нельзя». Нельзя, невозможно. Нельзя прийти к счастью, сея горе. Нельзя бороться за мир, убивая, воюя. И поэтому нельзя оправдать ни одну войну, ни одну революцию, ни одно восстание, ни один мятеж. Не может быть праведной войны, потому что война не бывает праведной. Не может быть добра от самого справедливого мятежа, потому что убийство не бывает добром и не может нести добро. Гражданская война – это ужас, это кошмар, это брат убивает брата. Но и любая война – это ужас и кошмар. И братья, говорящие на разных языках, всё равно братья. И мы убиваем людей. И не самых плохих – наоборот, гибнут лучшие, значит, мы убиваем лучших. Но дело не только в этом, дело в том, что, даже если бы мы убивали только плохих, всё равно это убийство было бы злом, и обернулось бы злом, и принесло бы зло непременно... Да, именно что-то в этом роде я вешала во сне сегодня.

Но ведь это наивно, и это знают все. Только в ранней молодости или во сне можно так загореться от этой азбуки. А я всерьез волновалась, как с трибуны или на диспуте. Возражала сама себе, что войны и революции бывали прогрессивными и несли людям добро. И

тут же – наоборот, что любое конкретное историческое событие, несущее даже самое явное добро, но посредством насилия и убийства, приносило не только добро, но и зло. При этом то добро, которое оно принесло, было предельным, измеримым и временным, а зло – беспредельным, неизмеримым, и, во времени, – как минимум, на порядок превышающим добро.

Когда-то эти мысли были своевременны, они волновали многих. А сейчас? Сейчас они стали азбукой? Не все, наверное. Не стало азбукой померанцевское «Дьявол начинается с пены на губах ангела, вступившего в бой за правое дело»*. Все теракты совершаются и сегодня с этой пеной и во имя так или иначе понятого правого дела.

Когда-то я спрашивала: «Ну, хорошо, то, что случилось у нас в стране, – случайность или закономерность?» Теперь-то мы знаем, что это закономерность. Закономерность, что человек, владеющий оружием, – убивает. Закономерность, что человек, имеющий власть убивать, – убивает. Закономерность – НИИ, работающие над созданием штаммов массовых болезней. Закономерность, что человек начинает с мечты о всеобщей справедливости, а кончает убийством своих же товарищей. Всё это происходит постепенно. Как найти ту границу, за которую нельзя переходить? Почему можно убивать в бою, и нельзя – пленным? Почему можно убить безоружного пленного и нельзя – своего товарища, если тебе, например, нужна его лошадь! «Боливар не выдержит двоих»**. И вообще – как тут остановиться? Если рука уже научилась нажимать курок, а ты не научился умирать вместе с убитым тобой человеком.

Сейчас многие понимают, что убийство и насилие не могут привести человечество к добру. То маленькое, ничтожное и временное добро, которое они могут принести, тысячу раз перечеркивается тем бесконечным и вечным злом, которое они порождают, развращая наши души, развращая человечество, порождая будущие убийства и насилия. Ни один выстрел не может быть оправдан. Ни один. И даже если бы передо мной поставили Сталина или Гитлера и сказали бы: «Убей его», – я не стала бы убивать. Потому что, убивая одного Гитлера, я тем самым порождаю много маленьких гитлерят.

Стоп. Вот, кажется, я поняла. Поняла, почему это случилось мне и мучило меня во сне. Это всё тот же Тимоти***, которого я жалела, когда

* Григорий Померанц. «Сны земли».

** О.Генри. «Дороги, которые мы выбираем».

*** Тимоти Маквей – организатор крупнейшего до 11 сентября 2001 года террористического акта на территории США. Был приговорен к смертной казни, которая состоялась 11 июня 2001 года.

11 июня 2001 он шел по смертной дорожке под одобрительные взгляды миллионов телезрителей. Ровнехонько через три месяца после казни Тимоти, 11 сентября 2001 года, весь мир был потрясен самым крупным в истории человечества террористическим актом. И весь торжествующий разгул терроризма был после.

Ну а как же быть, если это строго необходимо, жизненно необходимо – вот в данный момент убить данного человека? Как быть с возгласом Алеши Карамазова «расстрелять!»? Я понимаю Алешу, и я в тысячу раз нетерпимее этого Алеши. И, может быть, я бы тоже воскликнула: «Расстрелять!» Но это ничего не отменяет. И если бы я попала на фронт и стреляла бы в людей, это тоже ничего не изменило и не отменило бы...

* * *

И всё-таки мне стало лучше. Не знаю, потому ли это, что очередной цикл дошел до своего апогея, и теперь наступила краткая передышка и начала накапливаться новая волна отчаянья и страха, или действительно будет лучше, – только сегодня всё легче. Во-первых, я не помню ни одного кошмарного сна, хотя и просыпалась ночью два-три раза. Во-вторых, за весь день не было ни одного взрыва, и, в-третьих, вся я какая-то другая, не такая напряженная и помертвевшая. Могу даже сказать, что сегодня я нормальный человек, с нормальной способностью общаться с людьми.

Ни одного сна-кошмара не помню, кроме лица Достоевского. Утром помнила, а сейчас – полный провал. И только его лицо – желтое, бледное, покрытое потом или испариной.

Может быть, я всё-таки не совсем окончилась? Может быть, я еще поживу? Потому что разве окончившиеся любят? И разве могут они хоть на мгновение услышать тишину и увидеть деревья в парке и небо после дождя? Может быть, меня не совсем еще исключили из школы любви?

И ведь я летала во сне! Не помню точно, когда это было. Полетала и забыла. И не помнила. А сейчас вдруг вспомнила. Это было недавно, может быть, позавчера или две ночи назад. Я летала совсем низко над землей, так что можно было стать на ноги, если бы захотела. Но я не становилась, а всё-таки летала. И во сне помню это ощущение: но ведь я лечу, значит, я не разучилась летать, значит, я умею. Хорошо, что вспомнила. Ведь если я летала в свой самый трудный час, то это дает некоторую надежду...

* * *

Что это было? Еще одно видение? Сон?

Я – девочка XV века. Беседую с женщиной из века XXI и спрашиваю у нее, как в XXI веке называется эта улица, а она отвечает – то ли «Торжковская», то ли «Отрожная». И это так естественно, так буднично, но и так нереально тонко, что я понимаю: оно нематериально. Оно отлетит легко, оно только и может быть в этом мире, где живет бестелесное, а в той нашей реальной жизни ему слишком грубо...

И вдруг так ясно вспомнилось: я не впервые в этом мире. Я бываю здесь часто. Попадаю сюда легко и легко возвращаюсь. Но как? Не знаю этого. И почему потом забываю? Как же это случилось, что мне выпало такое? Не ошибка ли? Не случайность ли? А вдруг судьба спохватится, опомнится, и всё переменится? Это было бы страшно. Но ведь память о том, что уже бывало со мною, останется?.. А может быть, это бывает со всеми, только не все потом вспоминают? Или думают, что это было во сне? Нет, это не сон, это что-то другое. Сон – это если я вижу себя и то, что со мной или с кем-то другим происходит, а здесь – не видения, здесь – воплощение, но воплощение бестелесное. Здесь мы летучи, как влюбленные. И души не расстаются с телами, потому что они – одно. И только потом, возвратившись в реальность, наши души воспаряют из наших тел, потому что им становится неуютно... И тогда... «В дверь мою никто не стучится. Только зеркало зеркалу снится. Тишина тишину сторожит»*... Боже мой, Анна Андреевна, вы знали?!

* * *

А моя зазеркальная комната живет в это время своей жизнью. Кто-то бродит по ней, кто-то спит или обедает, кто-то вообще уходит вдаль, в то зазеркалье, которого я не вижу уже из своей бруклинской квартиры. Вот и сейчас...

Проснулась и пришла ко мне в комнату моя тетя. Просто спокойно перешла из зазеркальной комнаты, и теперь мы беседуем с ней о всяких маленьких житейских делах и я, как когда-то, когда мы еще жили вместе в Одессе, развлекаю ее, любимую, беспомощную, беззащитную. Помнит ли она, что с ней было? Знает ли, где она сейчас? Жалко ее очень. И всех стареньких жалко. Хотя я ведь уже и сама...

Вот и ты оттуда пришел ко мне. А туда? Как и когда ты попал туда? Ах, какая разница, если ты уже здесь!..

Ты забери меня скорей в свое *колечко*. Ты мне мама и папа, ты – мой дом, моя родина. Это не обидно маме и папе – что я тебя так называю. Ведь ты моя половинка, а я твоя. И, когда мы встретились,

* А. Ахматова. «Поэма без героя».

мамы и папы уже не было на земле. А может быть, они, видя, как мне одиноко, сиротливо и плохо, пожалели меня, захотели ко мне вернуться и вошли в тебя, мою половинку. В кого же еще им было войти? Кто еще смог бы вместить их любовь ко мне? И ты стал еще немножко и моими мамой и папой... Забери же меня к себе!

Ты нужен мне. Ты мне нужен. Нужен, как сама жизнь. И как ведущий в этой жизни. Ты нужен мне как то самое главное, то бесконечное, что делает нашу жизнь причастной Космосу, и как сам Космос. Ты нужен мне для молитвы, для тишины, для пустоты, для Бога. Нужен где-то на такой глубине, что я не знаю, как сказать об этом. И эта нужда такая великая – больше человека, больше человеческой жизни.

Ты нужен мне еще и по-другому. Нужен каждое мгновение вечности, ты каждое мгновение вечности нужен мне, потому что каждое мгновение что-то происходит внутри или снаружи, что-то видится, или думается, или чувствуется, – и поэтому ты нужен мне.

И еще ты нужен мне для каждой мелочи. Чтобы держать тебя за руку, выполняя свои дела и обязанности, принимая лекарство или слушая прогнозы врачей. И прятаться за тебя, надеясь на твою защиту. И жаловаться тебе. И рассказывать. И советоваться. И думать. И делать открытия.

А сейчас, когда впереди это страшное, – ты представляешь, как ты мне нужен сейчас!.. Как хотелось бы мне поспать или поплакать у тебя на руках. Ты не отходи, не отплывай, не отлетай от меня.

* * *

Небо за окном моей комнатенки – серое, тяжелое, зимнее, сумеречное. И еще небо – за этим видимым небом. И снова, и снова небо, которое уже не небо, а космос. И оно уже даже не серое, а темно-синее, исчерна-фиолетовое. А в этом космосе мы – крохотные, малюсенькие, затерянные на нашей планетке. Мы тянем друг к другу руки, но мы – не вместе, это только руки, наши руки тянутся и соединяют нас, чтоб совсем не затеряться в то ли враждебном, то ли равнодушном пространстве...

Но, видимо, в это время ты услышал меня в своем далеке и позволил мне прислониться к тебе, а может быть, погладил по голове. Я не знаю, что ты сделал, но ты непременно услышал меня. Потому что всё изменилось. Планета осталась. Космос остался. Но всё изменилось, внутри осветилось и перестало быть страшным. Вместо страха пришел покой, и улыбка в себя, и Свет. И теперь уже можно парить в этом космосе, не думая о его враждебности или равнодушии... Но тут я уже не умею сказать словами. Только знаю, что это – сделалось. И сделалось

потому, что в сером небе за моим окошком, и в том, другом небе, и во всех небесах, и в космосе, вместо тебя и меня, тянущих друг к другу руки, стало что-то совсем другое, стало то, что мы зовем словом *мы*.

* * *

Посиди со мной. Соскучилась по тебе очень. Сегодня ты являлся мне, как во сне. Я видела то руки твои, то улыбку... Как ты думаешь, когда я тоже развоплощусь, останется наша нежность, любящая наша нежность, как здесь была – на земле? Как ты думаешь?

Ты помоги мне, помоги. Я знаю, что мне нужно и можно помочь. Ты помоги мне подняться и выдержать, помоги не бояться, а принимать.

А как другие люди в таком положении? Им тоже трудно, страшно и мучительно, но они не думают о себе, да? Ты-то не так, я знаю. Ты очень высоко, мне не достичь такой высоты. Я иногда в повседневности забываю, как ты действительно высоко. Без натуги, без рисовки. Просто и естественно. Очень высоко – и при этом *дома*. Помоги же и мне, пожалуйста...

* * *

Говорить о другом сейчас нельзя, а говорить об этом нельзя тем более. Говорить об этом что бы то ни было – святотатство и пустословие. Поэтому я молчу. Скажу только, что я верю Богу и вверяю Ему себя. Во мне нет ни ропота, ни лихорадочного нетерпения узнать или действовать. Всё будет так, как предначертано Богом. Я не знаю, о чем конкретно просить его. И я прошу Его не оставить меня. Вернее, не дать мне оставить Его. И еще я прошу для всех людей на свете, чтобы Он помог нам, чтобы Он хранил в нас жизнь до самой смерти. Ты понимаешь, о чем я прошу? Пока мы живы, пока есть жизнь в нашей плоти, пусть хранится в нас жизнь Божья, жизнь с Богом. Пусть до последнего часа живет и растет душа. Пусть будет так. И пусть в нас хватит сил душевных и физических выполнить весь свой земной долг. До конца...

Это только звучит многословно и высокопарно, а на самом деле всё просто. Стараюсь, хочу и прошу помощи, чтобы жить, пока жизнь не кончится...

Ну какая разница – что происходит? Ну какая разница – что именно, если всё равно нет того единственного, что мне сейчас нужно. А что мне сейчас нужно? Чтобы взял на руки, как маленькую, и понес впереди себя, как ребеночка, на руках, чтобы укутал в одеяльце и приговаривал надо мною нежные детские ласкающие слова, успокаивающие не смыслом, а голосом, говорящие не о том, что

могут услышать другие, – если услышат случайно, – а о том, что руки твои – Дом, гнездышко, мама, надежность, что они никогда не оставят, не покинут, не отпустят. Им никогда не станет в тягость их ноша, они – я, вернее, я – их, я – для них. Но ведь это баловство, это дерзость хотеть такого, такого не требуют, его принимают в дар; а ты ведь и даришь, даришь, охотно, вольно, – значит, всё-таки, всё хорошо, всё в порядке? И можно быть *дома*? И петь или слушать колыбельную песню, и любить, и дышать любовью твоею, и купаться в любви и нежности, да? Да?..

* * *

«Я к смерти готов». Так сказал мне мой мальчик, когда пришел его час. «Я к смерти готов.» И уходил спокойно, достойно. Не со страхом, а с любовью к нам, остающимся. И еще с чем-то, чего я пока ни узнать, ни осознать не умею. Он был готов к смерти. Он, младший, был к смерти готов. А я? Нет, я – старшая, но я не готова.

Мы не можем отвечать за то, что происходит с нами не по нашей воле. И если происходит страшное, то не обязаны ли мы принимать его, как принимали всё прекрасное, все чудеса, которые творились с нами?..

Я твердо знаю одно. Если что-то происходит с нами, значит, так надо.

ГЛАВА 2. РЕ

В земные страсти вовлеченный,
я знаю, что из тьмы на свет
шагнет однажды ангел черный
и крикнет, что спасенья нет.
Но, простодушный и несмелый,
прекрасный, как благая весть,
идущий следом ангел белый
прошепчет, что спасенье есть.

Булат Окуджава

Что-то происходит с моей душой всё это время. Чувствую, что происходит что-то, но не знаю что. Чему-то она учится. Растет ли она? Не знаю, может быть и не растет, ведь не летает. Может быть, делается мудрее, суровее, добрее. Может быть, очищается от чего-то. Может быть. Не знаю. Узнаю ли? Поживем – увидим... Если поживем...

Почему же всё-таки Молитва и Тишина так долго не приходят ко

мне, а если приходят, то как-то неуверенно и робко? Я боюсь вспугнуть их, и потому так опасаясь *любых* слов. Я боюсь, что вместо Тишины будут слова о Тишине. Что будут петь о Тишине, свистеть о Тишине, кричать о Тишине, шуметь (!) о Тишине, а Тишины не станет...

А может быть, для того и существует поэзия, чтобы можно было и чем-то материальным (словами, звуками) Тишину передать? Или, иначе, может быть, поэзия – это Тишина, переданная словами? Словами удержанная, остановленная...

...Дождь прошел и окончился. Сейчас всё мокрое и успокоенное. Голубка сидит на верхушке столба. Деревья покачиваются утомленно. Облака на небе, только что пролившиеся ливнем, сейчас светлые, бестревожные.

Я живу в каком-то странном состоянии – то ли полудремы, то ли отрешенности какой-то. Порой бывает очень хорошо. Это – Молитва. Жизнь – молитва. Жизнь в молитве. Порой бывает очень плохо. Это когда тревожно, или страшно, или тоскливо. А бывает и вот такое полуоцепенелое состояние, когда вся жизнь уходит куда-то в такую глубину, что снаружи ее и заметить трудно. Тогда не хочется ни читать, ни думать, а только молчать, ничего не делать или делать что-нибудь, не требующее ни физических усилий, ни душевных. И при этом я вовсе не сплю (хотя бываю и сонная от усталости, боли или жары), при этом во мне теплится тоненький-тоненький светлый и нежный лучик то ли молитвы, то ли просто нежного умиления какого-то. Есть что-то от блаженного в этом состоянии, но это не оно. Я даже не знаю, здоровое оно или болезненное. Может быть, всё-таки нездоровое; может быть, это проявление моей болезни, усталости и слабосилия души на общем фоне светлого, и святого, и очень божьего праздника... Не будь такого праздника, болезнь разрослась бы, разгорелась, а так, в праздник, проявляется вот этим нежным и слабым лучиком... А может быть, это и не болезнь вовсе, а что-то хорошее. Какое-то перерождение души...

* * *

...Вот и открытие, только очень крохотное.

Мечтаю с утра об уединенной прогулке к морю. Выхожу на улицу и вижу, что прогулки не будет: скользко, гололед, да и сил не хватит. Мне бы огорчиться, а я вместо этого засветилась радостью, потому что поняла – озарением: не имеет значения, сбудется ли то, о чем мечталось. Отказаться, не замутясь душою, так же радостно и прекрасно, как осуществить. От всего отказаться, и от жизни самой... Ты должен понять и услышать, ведь это ты меня этому учил... Учи

меня дальше, любимый, учи, я хочу учиться. Потому что, знаешь, что я шептала сегодня утром по дороге на прогулку?.. «Неужели после этого Света, после этого Божьего Праздника я смогу еще бояться болезни и смерти? Да ни за что на свете!»

* * *

Мы впускаем в нашу комнату Баха. Теперь всё будет иначе. Не событийно, конечно, а внутри. Мы вернули в нашу комнату Баха. Теперь не может быть, чтобы не вернулось всё остальное. Оно уже и начинает возвращаться. Я это ощущаю...

Почему в душе – Свет? Потому что Бах играет? Потому что музыка Баха – важнее и больше всех бед, болезней и неприятностей? Потому что не может не быть света, когда есть музыка Баха?..

У нас Месса си минор... И что-то еще – что не разговор, не мысль, не мечтание, не воспоминание, а... просто сижу, ничего не делаю, ни о чем не думаю, потому что вся – не здесь, вся с тобой, вся – там, вся вместе, понимаешь, – понимаешь?.. А сейчас – месса. В душе – месса. Душа – месса.

Почему, ну почему я не могу переслать тебе те звуки, ту мелодию, ту музыку, которая звучит сейчас в нашей комнатке, и во мне, и в душе моей?.. И выпевается вместе с пластинкой, которая поет ее мне, а я – ей... Тебе... Нам... Почему я не могу выпеть ее так, чтобы ты услышал, почему? Молитву, рождаемую этой музыкой, Тишину и Бесконечность, в которые она увлекает, – всё это я могу передать тебе. Ты легко... услышишь? Примешь? Нет, *со-переживешь*, не «пере», а просто *со-живешь*, заживешь со мною. Там в тебе родится такая же наша молитва, и я понимаю, что это главное; а мелодия... И всё-таки, как мне хочется, чтобы твои уши слышали это вместе с моими ушами, чтобы не через меня, а вместе со мною ты слышал музыку Баха...

Как возносит, как высоко он уносит нас!

Зачем же душа ждет, чтобы он коснулся ее и вознес? Почему сама не живет всегда там, куда так радостно устремляется, стоит только этой высоте коснуться ее? Высота, чистота, глубина, невесомость... Хорошо!.. А вместо этого – раздраженная и раздражающая тяжесть, боль, пустота, страх. Мрак вместо света. Почему? Почему не происходит этот, такой естественный, такой очевидный выбор? Почему душа устает от высоты, а внизу не знает усталости? Неужели внизу ей привольней? Но ведь дом ее – бесконечность, и Бог – ее Отец.

Какое странное сочетание! Как это вообще может происходить вместе – всё это? Бах, звучащий в комнате, Бах, зовущий, призывающий, уносящий в осязаемый, видимый фиолетовый Космос, прикасаю-

щийся своей бесконечностью к малости моего тела и взволнованности моей души. Эта взволнованность насыщена высотой и патетикой, жаждет поэтических бесконечных цепочек древнегреческих гексаметров или вязкой тягучести органа, начинающейся здесь, но нигде не кончающейся. И это белесое тусклое будничное небо за окном моего двора, который (я ведь помню это!) бывал частицей Баха и Космоса, а сейчас – только двор, только подворье земного обиталища, где пыль и мусор, будни и суета... Душа раздвоилась? Устала жаждать? Заболела? Умирает? Но она же бессмертна. Утомилась от напряжения жизни? Или это просто конец зимы? Всё еще спит, всё кажется мертвым... Но почему стоит только глянуть в окошко – и вздрагиваешь от прикосновения душ голых, зимних, «мертвых» деревьев, стоящих на моем земном подворье. И моя душа раскрывается в ответ их душам, исполненным любви и смирения, молитвы без мольбы, внимающим Баху вместе со мной и вместе со мной слышащим эту музыку? И они обнимают друг друга, и в их диалоге нет ни тоски, ни усталости, ни смерти, ни страха быть понятым неправильно или недостаточно... Какое странное сочетание смерти и жизни, полноты и пустоты, мелкости и бесконечности. И всё это – я? Всё – во мне, во мне?

Осенние листья и музыка Баха из одного царствия. Тишина и беззвучие осени сливаются с тишиной звучания беспредельности, мелодией покоя, мелодией Космоса.

Маленькие кусточки, травушки, цветки не устают от молитвы. Их души не знают ни усталости, ни страха перед зимой. Почему же мы не такие? Зачем отвлекаемся чепухой, суетимся по пустякам, ссоримся по мелочам, боимся страданий и смерти? Зачем между большим и малым выбираем малое? Богооставленность – это когда мы оставляем Бога. Зачем мы оставляем Его даже после того, как узнали счастье Благодати, зачем, почему?

* * *

Отдыхаю от боли. Дважды засыпала, и что-то хорошее, легкое, летучее снилось, даже не снилось – виделось. Где-то я была, где-то жила душа моя, где-то летала, пока тело спало, освобождаясь от боли. И было хорошо и летуче...

Тревожиться не надо. Страх нет, и тоски нет. Ничего темного, ничего мрачного. Ни потолков, ни перегородок.

И облачко наше плывет в Тишине.

С облаками хорошо играть. Например, прыгать с одного облачка на другое. Это игра детская и веселая.

Или войти в одно из них, да там и остаться. Облака ведь бывают разные. Можно войти в облачко любви. Тогда вся твоя жизнь станет

любовью. Не к кому-то одному, а просто любовью. И воздух, которым ты будешь дышать в этом облачке, будет любовью. Ты будешь вдыхать любовь и любовь выдыхать...

Или в облачко-ожидание. Тогда ты ни за что не согласишься принять за настоящее какую-нибудь подделку, а будешь всю жизнь стоять на берегу, как Ассоль, и вглядываться в синее море, не приближается ли, наконец, твой корабль с алыми парусами...

Или в школьное облачко. И тогда всю жизнь ты будешь учиться, учиться. Доброте... Терпимости... Сочувствию...

Но чему бы и как бы ты ни учился, рано или поздно всё равно придет твой черед, твой последний исход, самый главный...

Облака плывут, облака,
На закат плывут, на восход...
Вот и я плыву на закат,
Вот и мой черед, мой исход*.

А почему облако летает безусильно? Почему птица умеет уставать, а облако – нет? Это потому, что птица *делает* свой полет, она должна что-то делать. А облако не делает ничего, всё *делается с ним*. Нельзя устать от того, что с тобой делается. Можно устать только от того, что делаешь сам. И от любви устать можно только от той, которую *делаешь*. А от той, которая делается с тобой, устать нельзя, ведь правда? Конечно, мне могут сказать: птичий полет лучше. Птица взлетает, когда хочет, сама управляет своим полетом, направлением, высотой. Она ведь сама всё делает. А так – сиди и жди, когда оно с тобой *сделается*, да и *сделается* ли вообще. И как же ты пассивен и беспомощен при этом!

Так ведь что движет облаком? Ветер, движение воздуха – то главное, что есть в том Царстве. А что поднимает нас в воздух, рождает наш полет, направляет его? То главное, главнее чего не бывает. Неужели ж нам нужна своя воля, неужели мы станем противопоставлять Его воле – свою? Неужели мы хотели бы взлететь против Его воли? Бывает, что так хочется полететь, а сделать ничего не можешь: надо, чтоб само *сделалось*, то есть, чтоб Бог захотел. Правда, это тоже не совсем так. *Сделать* ничего нельзя, но можно стараться быть такой, чтобы оно *сделалось*, можно помогать Богу...

Вот так я думаю-думаю, лежа на песке и глядя на плывущие надо мной облака, и вдруг чувствую, что ты лег рядом. Откуда ты

* Юлий Ким. А. Галичу.

появился? Слетел с небушка? Не знаю, – ты так тихо появился, просто проявился из воздуха, из ничего, и лег рядышком. Я знаю, что нельзя открывать глаза, иначе всё исчезнет. Но я точно знаю, что ты – рядом, и лицо у тебя смущенное и чуть-чуть виноватое, дескать, вот я, вот такой неказистый, конечно, но ты же меня принимаешь. И, не открывая глаз, я поворачиваюсь к тебе и протягиваю руку, чтобы ты мог положить на нее голову. Ты кладешь. Мы молчим и ничего не говорим, не двигаемся, даже не шевелимся. Только слушаем море и друг друженьку. И наступает Тишина. И твоё присутствие, такое осязаемое и такое бестелесное... И вот так, не шевелясь, не двигаясь, не меняя позы, мы взлетаем. Я даже не заметила момента взлета. Просто вдруг оказалось, что мы уже летим, даже не летим, а просто лежим в воздухе, как лежали бы на траве или на песке. Лежим в воздухе. Я – на спине, с головой, повернутой к тебе, ты – на боку, положив голову мне на руку. Лежим и медленно плывем. Вокруг нас – воздух. И под нами. И над нами. И везде...

* * *

...Значит, Иисус молился без слов. И ни о чем не просил в молитвах? Значит, то, что я называла молитвой, *было* молитвой? Значит, священник, который объяснял мне, что это плохо, был неправ? Но тогда была права я. И мои молитвы без слов, молитвы-состояния, молитвы-любовь были молитвами и были слышны. И совсем не нужно обуздывать себя словами, если только они не льются сами... Но ведь это же хорошо, даже представить себе невозможно, как это хорошо!..

А что будет завтра или через несколько часов? Не знаю. Может быть, снова буду летать, а может, тосковать и ползать по земле, или корчиться от боли...

* * *

Стою на балконе своей квартиры. Надо мной закатное небо, вокруг меня – платаны и тополя, внизу – осенняя Молитва. Всё это – как дзенская икона, во всем – присутствие Бога. Я смотрю на всё это, причастная всему этому, и думаю: а раньше, а тогда, когда *для меня* этого *не было*, потому что я не видела этого, а видела просто небо, просто деревья и землю – в то время, безмолvitvenное для меня время без Молчания и Тишины, всё это – Тишина, Молитва – оставалось здесь, то есть рядом со мной. Вокруг меня. Они были тогда, потому что они есть, то есть *всегда есть*. Но в те дни я не могла воспринять их, потому что хоть они и были здесь, однако, в недоступном для меня измерении. И вот случилось чудо. И то измерение стало доступ-

но мне. И я восприняла их. Так, может быть, наступит момент, когда мне станет доступно еще много других измерений? И тогда я смогу воспринять то, что сейчас недостижимо для меня, о чем я и не догадываюсь? Может быть, вокруг нас много-много миров, а мы не знаем о них. И не сталкиваемся с ними, как я не сталкивалась с Тишиной, пока не вышла в ее измерение. Касалась ее непрерывно, но не знала об этом.

Видимое и невидимое. Невидимое становится видимым. Вернее, это мы начинаем видеть невидимое.

Мой мальчишечка рассказывал мне, что в современном нам мире где-то живет какое-то очень древнее, чуть ли не первобытное, племя. Когда его нашли исследователи, то, расспрашивая людей племени об их жизни, спросили и о самолетах, которые всё время пролетали над их поселением. Оказалось, что эти люди просто не видели и не слышали никаких самолетов. Для них самолеты не существовали. Конечно, они ничего не знали о летающих машинах, но могли принять их за птиц или каких-то чудовищ, – однако они их просто не видели – никогда. Не могли воспринимать, как мы не можем воспринимать иные измерения, иные миры, которые нас окружают и остаются невидимыми. До времени, может быть?

Наверное, это известно всем. Но сейчас я ощущаю это как таинство, при котором нечто есть, хотя его нету. Оно есть, и его нет. И в этом нет ни ошибки, ни парадокса. Огромное большинство явлений одновременно и есть, и отсутствует в мире. Я ощущаю измерения, куда проникают или не проникают люди и события. Не надо лететь в космос в ракетах и звездолетах, а надо открывать всё новые и новые измерения. Не на других планетах надо искать иные миры, их надо искать здесь. Как Тишина всегда была здесь, но не воспринималась мною. Только мы не можем выйти в их измерение, а они в наше. И Бог, о котором мы знаем, что Царство Его внутри нас, Бог тоже всегда есть в нас, но мы не всегда способны выйти в нужное измерение...

Это у Паустовского, кажется: «Неуловимый сон, что-то, что было и чего не было»...

Ну и что, что этого не может быть, оно же есть! Вот ведь и этого не может быть тоже, а я вижу, вижу!

Ты идешь мне навстречу по аэропортовской дорожке. Долго идешь – легкий-легкий: иногда, при каком-то шаге, кажется, что взлетишь. Я уже у заборчика-решетки, а ты всё идешь и идешь. Подходишь к решетке, и мы здороваемся. Я протягиваю тебе тюльпаны. Какие тюльпаны? Зима же. И кроличья шапка твоя сбилась набок. Ты смущаешься, принимаешь тюльпаны. Так и идем теперь

рядом. Я улыбаюсь, а ты нервничаешь, что нет билетов на обратный рейс...

И этого не может быть, но есть же:

...Вот или, вот ступали. И была под ногами земля. Вот ведь только что, и вдруг... Как это? Где тот плавный переход – еще шаг, еще... А вот уже нет земли под ногами, и вот летим... Как это начинается? Когда? Не упомянуть, с какого момента, да и какая разница. И что за печаль, что не помню событий, подробностей. Главное-то, что оно не окончилось, оно есть, это небо, – не солнечное и не сумрачное, не ночное и не дневное, может быть, это совсем не то небо, которое люди привыкли видеть с земли. Оно не синее, не голубое, не черное, не серое. Оно серебристое и светлое-пресветлое, но не ярким, а очень мягким, очень нежным светом. И в то же время, оставаясь светлым-пресветлым (светлее не бывает), оно еще и такое, какое бывает ночью. Не темное, нет, хотя в нем есть оттенок ночного неба, освещенного (очень освещенного) луной, что ли... Полеты бывают скорыми, когда летишь и наслаждаешься скоростью. Здесь – ничего подобного. Этот полет кажется неподвижным. И этот неподвижный полет не прекращается потом, он продолжается... и ведет всё выше, во всё более горние и всё более светлые сферы... Куда? Где ты сейчас? Где мы?.. И только Свет, Свет...

Что-то очень большое узнаем мы при этом. Что узнаем? Ах, это глупый вопрос. Я знаю что: всё. Всё видим объемно, сразу со всех сторон. Всё понимаем, потому что всё проникает сразу в глубину нашу. Но чтобы сказать, чтобы выразить что-то словами, нужно сосредоточиться, то есть в каком-то смысле отвлечься от этого пришедшего Знания, уйти из полета на уровень слов.

Возьми же меня с собой. Возьми к себе, туда, где ты, возьми в свою грусть, только бы нам быть вместе. Если б ты знал, если бы я умела тебе объяснить, если бы ты мог узнать и почувствовать, как я вся твоя, всё во мне твое, и как я не хочу думать и чувствовать различно, розно с тобою. Разве мы не дружим с тобой, как дружили когда-то, когда ты еще был на земле? Разве мы не дружим с тобой, как никто никогда ни с кем не дружил? Разве не дружим в *главном*? Разве мы не живем вместе в нашем Доме? Разве не вместе учимся мы в школе любви? Хотя я и не знаю о тебе этого: может быть, ты уже и не учишься в ней, ведь ты – выпускник... Но разве не вместе идем мы к Богу по общей тропинке, слившейся из двух наших до-встречных тропинок? Разве не вдвоем молимся Богу словами, и бессловесно, и любовью нашей? Не вместе размышляем и ищем? Разве не осветили

мы друг дружке самую главную дорогу? Разве не наша встреча, не наше воссоединение позволили нам бывать, быть, жить в Вечности? Разве ты не знаешь, что ты – мир мой, вся моя Бесконечность? И что это не плохо, не стыдно, не от ограниченности и узости моего мира и моей бесконечности, а оттого, что ты породил, сотворил и вместил всё это? Так возьми меня к себе, возьми туда, где ты, где мы сможем быть вместе. Зачем нам ждать моего развоплощения – смерти моей? Ты сейчас, ты всегда возьми меня *туда*. Я не хочу, не могу отдельно. Возьми меня к себе, возьми меня...

* * *

Три реальности сосуществуют.

В одной тикают часы, ходят люди, происходят события. В ней думаются думы, а время движется только в одном направлении. В ней я болею сейчас и теряю силы, день ото дня теряю силы, день ото дня жизнь вытекает из меня. В ней я боюсь, ожидая страшного.

В другой встречаются времена, соединяются далекие друг от друга пространства, приходят в гости или живут у тебя на глазах те, кто давно считаются умершими или, может быть, еще не родились; деревья помогают тебе и учат, камни, вода и даже предметы, сотворенные человеком, не прячут более свои души, и это несколько не странно, это естественно и прекрасно. В ней мы учимся принимать Божью волю не только покорно, но с готовностью.

Но есть еще третья реальность. Где время не существует, как нет и земного притяжения. Или, может быть, просто небесное притяжение больше земного. И мы не устаем в полете. И Бесконечность с любовью принимает нас, потому что мы – Ее часть, частица, но и Она, бесконечная, наша частица тоже, и мы, маленькие, вмещаем ее, если в нас достаточно любви и соответствия.

Ты обитаешь в этой третьей реальности. Я иногда попадаю в нее. Когда-нибудь – может быть, уже скоро – мы воссоединимся...

* * *

Полудрежный поток полумыслей, полусознания. Я устала, меня разморило. Какое странное состояние. Так бывает, когда дремлешь в автобусе и то ли смотришь сон, то ли думаешь о чем-то. Я вся – мягкая-мягкая, будто из облака. Совсем не ощущаю твердости тела. И так называемая «реальность» кажется мне призрачной. Призрачными кажутся мне и ее проблемы. Призрачен и этот поток слов, который я слушаю изнутри. Это – как улыбка внутрь себя. Я слушаю себя изнутри, и мне слышно несколько слоев. Один из них – телесный. Это – тихо-тихо, будто где-то далеко или тоже во сне, но всё же

явственно... Другой слой, наверное, связан с первым. Я не знаю ему названия. Музыка души?..

Есть еще один слой. Я вижу череду людей, которые в разные времена делили со мной свои жизни. Родители. Они кажутся мне молодыми. Они и впрямь моложе меня сегодняшней. Отец. Вот я вижу его. Его глаза, и всё лицо, и, отдельно, щеки и брови. Вижу его в пальто и в смешной шапке. Вижу всё по очереди – и всё вместе...

Если повернуться и глянуть в окошко, можно увидеть нечто более реальное (здешнее?): молочно-туманное небо. Кусочек дерева к нему в утешение.

Нет, не хочу поворачиваться. Лучше сидеть вот так неподвижно и смотреть. Пусть оно проплывает.

Самая первая тоска ли, печаль ли – о чем она? О том, что окончилось что-то? О каком-либо свербющем недо-? Недопонять, недолюбить, недодать, недополучить... Сначала – единство. Оно как-то особенно зримо, явственно, ощущаемо настолько, что о нем, как о дыхании, не надо и думать. Мы – протоки, по которым проходят жизни. Ты – протоки, по которым проходит моя жизнь. Я – твои протоки. Зная это, станешь ли думать о значимости всего, своей значимости для жизни другого?.. Просто ощущение: по моим жилам течет твоя жизнь.

Конечно, это не совсем так. Я понимаю, что при этом есть и свет, и тишина. Но всё-таки лучше бы не поворачиваться. Лучше сидеть и смотреть в застывшей неподвижности. Тогда и Свету, и Тишине ничто не помешает...

* * *

Тишина... Когда-то обрадовалась, как своей, строчке: «И тишина – не немота. В ней все оттенки звуков». Чья строчка? Не помню уже. Тогда это было так в пору. Таким своим казалось: «Тишина – не немота...». Сколько лет прошло, и как оно постепенноросло и менялось:

...Вот иду вечером домой с троллейбусной остановки по своей «очень дзенской» тропинке, смотрю на «очень дзенские» тополя и небо с «очень дзенской» луной. Слушаю тишину, на фоне которой слышно, как шелестят листики на деревьях, и где-то прогудела машина. И еще какие-то звуки, отдельные, их немного. Но они не проникают в Тишину и не нарушают ее. Тишина – отдельно, а звуки – отдельно. Слушаю Тишину, и мне становится высоко и спокойно. Чувствую, как высота и покой входят в меня вместе с Тишиной. И понимаю (это все знают, ну и что): Тишина не есть отсутствие звуков. Ведь Тишина – не пустота, а полнота. Тишина – полнота, насыщенность иных сфер. Мы, люди, не воспринимаем их своими

органами чувств. Мы не можем услышать, пощупать, понюхать это неведомое. Но не можем так же, как не можем услышать ультразвук, любой слишком высокий звук. И, не умея воспринять это пальцами, глазами или ушами, мы воспринимаем Тишину непосредственно душой. Душа слышит тишину – полноту и насыщенность иных сфер, как ухо слышит мелодию – полноту нашей человеческой сферы – или шум моря, или шелест деревьев – полноту сферы земной. И тогда получается, что, может быть, наши души с помощью Тишины с Космосом и Вечностью общаются (как мы с помощью речи)... Смешно? Фантазия? Ну а вдруг это так и есть? Ведь мы же знаем, что, когда Тишину слушаем, мы – не такие, как всегда. Будто Вечности причащаемся. А почему? Может быть, в этот момент Вечность действительно касается нас. И тогда я не фантазерка, а просто верящая. Верящая – это почти верующая. Только это все-таки совсем другое. Просто если со мной часто случаются чудеса, – естественно, что я в них верю, и им верю, и не удивляюсь. И, если бы всё это оказалось правдой, я бы больше обрадовалась, чем удивилась...

«Тишина – не немота, в ней все оттенки звуков».

Тишина не есть отсутствие звуков. Ведь Тишина – не пустота, а полнота.

Тишина – полнота, насыщенность иных сфер.

«Тишина – не отсутствие звуков, а присутствие Бога во мне».*

* * *

Ну вот, всё вошло в обычное для меня развоплощенное состояние, но, в то же время, так еще осязаемо, – только теперь всё неверие и тоска уходят, и вокруг меня уже сомкнулись полнота Тишины, та Высь, которая и Глубь... Чудо свершилось. Я помню теперь то, что всегда: тот Космос, который не большой, чужой и темный, а который бесконечная протяженность безначального и бесконечного; музыку Тишины, музыку Храма. Глаза в глаза. Без касания.

И всё это: все эти слои, все видения, медитации, ощущения, – всё это плывет в небесной музыке Тишины. Торжественной, ясной, светлой...

* * *

У меня за окном живет тополь. Вообще-то есть еще платаны, но это с другой стороны – возле балкона. Есть березка, но она далеко – в детском саду. Ее хорошо видно, и иву хорошо видно тоже. Но ближе всего к окну – тополь. И он – высокий, выше моего окна.

* Зинаида Миркина. Из книги «Мои затишья».

Я никогда раньше не дружила с тополями. В детстве у меня был большой старый и добрый платан. Я была маленькая и, когда разговаривала с ним, становилась на детский стульчик, чтобы быть повыше. Ведь он жил на улице Пушкинской еще тогда, когда она называлась Итальянской, а Пушкин ходил по ней мимо моего платана, переходил дорогу и заходил к себе в дом – особнячок, что стоял напротив. Представляешь, сколько повидал мой платанище, каким он был мудрым, большим и каким снисходительным, когда слушал мой лепет. Я ведь ему много и часто рассказывала придуманное и «взаправдашнее». И беседовала с ним. И пела ему песенки. И плакала ему, когда меня обижали или когда просто грустилось и плакалось. И жаловалась.

Знаешь, я ведь была чудным ребенком. Меня часто ругали за то, что я разговаривала сама с собой. А я не просто так разговаривала. У меня была сказка. Она началась где-то около моих четырех лет и тянулась почти до семнадцати. Я ее не придумывала, не сочиняла, не рассказывала, а знаешь, как дети это умеют, – «словами жила» или лучше – «в словах жила», то есть сказка жила в словах. И я ее жизнь проговаривала. Так вот, платан эту сказку больше всех и лучше всех слушал. И даже участвовал в ней.

Хорошо мы дружили с платаном. Мне кажется, что он меня узнавал, когда я проходила мимо. Хотя, конечно, из окна я казалась ему другой, не такой, как на тротуаре.

Потом любила я и другие деревья. Любила березы, любила елки – да мало ли, их ведь всех можно любить, и всех по-разному. Но дружбы с деревом, как с тем платаном, у меня очень долго не было. Не могла с ними дружить, потому что приходила или приезжала к ним ненадолго, а дружбе нужно время. И потом, одно дело любить березы, а совсем другое – березу. А тополя вообще не очень-то примечала. Ну стоят – и ладно. Тени от них никакой, но растут быстро. И свой тополь за окном не сразу заметила...

* * *

И снова появляется страх. И ведь уже не было вроде, а сегодня проснулась, и вот... За окном неподвижность и молчание. Солнца нет. Но и ветра нет тоже. Оцепенение. За окном еще нет просыпания, а я проснулась. Мне снились странные тягостные сны, которых я сейчас не помню. И поэтому очнулась с ощущением чего-то тяжелого. Внутри меня всё еще сон. Оцепенение. Молчание и неподвижность. Вдруг вспоминаю, что летала во сне. Проснувшись, не помнила. Помнила другие сны – тяжелые, мрачные. И сама вся была тяжелая и

мрачная – больная всё же. А тут вспомнила, что летала. И как летала. Как оттолкнулась от земли и как улыбалась при этом своей сестре (было неловко, что при ней летаю: я летаю, а она нет, потому и неловко), и как облетала смешные красные и коричневые крыши с трубами, и как всё при этом было нежно, по-детски, просто-просто. Так же просто, как Дези бежала по волнам*, как тополиные листочки на ветке. И как только вспомнила этот сон, сразу стало мне так, будто ангел коснулся меня, будто вошел в меня его детский святой свет, и стало... Как? Если бы не словами...

А всё-таки летаю пока...

Конечно, сначала я сбилась со Света. Было больно. Было страшно. Но потом, хотя боль не ушла, стало светлей, небесней и тоньше, чем раньше. Конечно, мне страшно и сейчас. Но ведь страшен любой переход. Конечно, я плачу, но это просто от боли... А боль почему? От болезни? Не знаю, не знаю, но только не от разлуки, не от расставания, не от приближающейся смерти, не оттого, что порвались ниточки...

Оказалось, что Свет и слезы прекрасно живут вместе. И я летаю, летаю, летаю, несмотря ни на что, несмотря на болезнь, страхи, тревоги, смятение, слезы, – летаю! Мало летаю, редко и недолго, но что же делать, время такое. Не может быть, чтоб не было больше полетов. Не может быть, чтобы совсем всё ушло. Я не могу поверить в это.

* * *

...Я опять больна. Мне немножко больно, но не в этом дело. Не от этого я больна. Мое тело не принадлежит мне, то есть Духу и Душе, как раньше. Оно – хворое. Оно хочет дремать. И не хочет двигаться, шевелиться. Не хочет думать. Оно вялое, сонное, равнодушное.

А ночью кто-то говорит со мной.

Я прошу о помощи кого-то, не знаю, кого. И он, неизвестный, бросается помогать. Голос шепчет мне:

– Надо жить. Надо стараться жить хорошо и спокойно...

– А как же смерть? Ведь мне умирать скоро...

– Жить хорошо и спокойно. До самого конца. До самой смерти.

– Мне страшно. Пусть Бог сжалится надо мной!..

– Принимать всё, что посылает Бог. И не требовать, не требовать ничего...

Ангел-утешитель прилетал ко мне сегодня?

Во мне два параллельных потока – Света и болезни. То один, то

* А. Грин. «Бегущая по волнам».

другой становятся сильнее и ощутимей, но во мне оба. Вот я прислушиваюсь к чему-то нежному, светлому, что рождается во мне, к тому молитвенному, святому, что я зову благодатью, – как вдруг ударяет, колет, царапает: «Ты радуешься? Да ведь ты умираешь!» И я говорю себе, что всё плохо, что я смертельно больна. И не верю. Нет во мне смерти. И смертельной болезни нет. Во мне Свет и молитва. И благодарность. Я всё время молюсь. Не просьбами, не словами – состоянием. Легкий и светлый поток снова возносит меня, и всё мрачное и страшное уходит. Опять я начинаю улыбаться, боль стихает, – это светлый поток уносит меня в небо и укладывает на облачко. Я озираюсь вокруг и улыбаюсь...

...Детский сад, сбывшаяся мечта. Вот он, уголок с игрушками, вот дети, играющие вместе, вот их таинственная прекрасная жизнь с необыкновенными играми и сказками. Сбылось. Осуществилось. Теперь и я буду здесь с ними.

Я сижу за столом перед тарелкой с манной кашей. Все давно поели и играют в заповедном уголке. Мне же сказано традиционное: «Не выйдешь из-за стола, пока всё не съешь», – и я понимаю, что мне никогда не выйти из-за стола, потому что я никогда не съем. Время от времени подходит какой-то мальчик и, сочувствуя, уговаривает съесть и пойти играть: «Да съешь ты ее поскорее, там же совсем немного осталось. Зато потом пойдем в уголок к игрушкам». Но я уже поплыла, уже потонула в своей унылой безнадежности, забитости, затерянности, беззащитности. Я уже знаю – воспитательница сказала, и я поверила в это, – что я хуже всех. И от этого мне так сиротливо на свете, будто нет у меня ни папы, ни мамы, ни доброты, ни ласки, а только чужая строгость, враждебность и безразличность ко мне, не умеющей справиться с кашей...

* * *

Мне снится сразу несколько простых, обрывочных и детских снов. Что-то происходит в поезде, но это как раз понятно, потому что мы же едем и засыпаем на верхней полке под перестук колес, думая друг о друге. И хотя во сне мне почему-то надо ехать в какой-то незнакомый город, это не имеет значения. Мне снятся мои школьные дети, которые что-то делают, о чем-то говорят, – но я ничего не помню, кроме их личиков. И, в то же время, снится мое беспокойство из-за испортившейся погоды. И все это собирается еще длиться и длиться, как вдруг неожиданно и сразу я просыпаюсь и раскрываю глаза. Как от внутреннего толчка, но не резкого и грубого, не страшного, а нежного – любовного, нашего. Как от поцелуя,

в котором не участвуют губы. Как от прикосновения, в котором не участвует тело... Так могло бы быть, если бы ты смотрел на меня спящую. И твои глаза, не касаясь меня, любили бы меня и целовали... Я раскрываю глаза и понимаю всё и сразу. Понимаю, что мы приехали в отпуск, в путешествие, в море, в солнышко, в Вечность. Понимаю, что ты любишь меня, и это любовь твоя ласково-ласково, нежно-нежно коснулась меня и разбудила. Понимаю, что всё будет хорошо, потому что мир залит солнцем, ласковым, мягким сентябрьским солнцем, которое не умеет жечь, а умеет греть и ласкать. И я улыбаюсь тебе. И тянусь к тебе и к солнцу, ведь это одно и то же. И тишина нашего одесского утра сливается с тишиной твоего далеко, и, перемешавшись с тишиной пустынного океанского пляжа, – безлюдного, но с белыми чайками, – превращается в радость....

А ночью опять приступ. Врач «скорой помощи» вводит такую кучу лекарств, в том числе два снотворных, что я совсем одурманена. Засну скоро, наверное. А пока мы с тобой в ночи в сонной, спящей квартире, уставшей от болей и болезни. Мы молчим. И всё в нас молчит. Но мы вместе.

* * *

Ты очень, наверное, стараешься облегчить мне оттуда мою тоску, унять страх. У тебя получается, получается, слышишь? Мне легче, светлей. И я знаю, что это ты сделал, ты помог, ты облегчил. Как ты просил, так я и сделала. Уткнулась в тебя и плачу, и отдаю тебе свои слезы, а вместо них беру твою силу, твой свет, твоё счастье, твою веру. И мы вместе. Тебе не стало тяжелее от этого? Я ведь не вампир? Не высасываю твою кровушку? Да ведь у тебя нет сейчас кровушки, наверное...

Знаешь, когда-то давно я чувствовала себя ужасной сиротой. Мне было от этого больно жить, потому что все люди, с которыми мне приходилось сталкиваться, были чужими, чуждыми. Мне казалось тогда, что они испытывают ко мне какое-то физиологическое отвращение. Да и они не нравились мне. Я была тогда сплошной синяк, который болел тем сильнее, что я не могла быть одна; я всё равно шла к ним, тыкалась, ударялась и шла. Мне грезились дружба, любовь, братство без терний и темнот, а никто из них не хотел так дружить, так любить, так брататься. Я и сама не знаю, как я тогда выжила. Я ведь думала, что никто никогда не захочет перестать быть чужим. Я тогда из одного чувства благодарности готова была на всё, вплоть до смерти ради человека, который, как

мне казалось, был добр ко мне или участлив. Как собака без хозяина... Я была тогда как нищенка: у людей как милостыню каплю тепла и ласки вымаливала... А ты меня – в царевны...

Тишина светлая-светлая, покой, загишь... Странно я говорю: покой. А сама тревожусь и боюсь. Как же так? Не знаю. Знаю только, что это правда. Я и тревожусь, и живу в светлой тишине и светлом покое. Воздух прозрачный. Солнце нежное-нежное, совсем почти неощутимое, а всё-таки оно ласкает, как в нашем Доме, – бестелесно, небесно, прозрачно...

Конечно, я больна. Что-то во мне не в порядке. Но я не сомневаюсь, я уверена, что это пройдет. Не знаю, как и когда, но знаю, что непременно будет снова долгий и светлый праздник. А пока – вот так. Пока что-то больное бродит во мне. Так, наверное, надо.

Нужно ли, чтобы я думала сейчас о смерти? Я думаю о ней очень много, по-разному и с разных сторон. О своей. О твоей. О нашей. О смерти каждого отдельного чужого, незнакомого человека.

Роптать нельзя. Я не только знаю это, но мне и незачем это помнить: ропота нет в моей душе. Умирают все.

Мне кажется, что я уже не так отчаянно боюсь, как боялась совсем недавно. У меня это получилось как-то само собой, но я перестала лихорадочно бояться за себя, жалеть себя, успокаивать себя. Теперь мне редко приходят в голову мысли о моей судьбе, и от них легко отмахнуться.

...Не знаю, как будет дальше, но сейчас нет ни лихорадки, ни экзальтации. Есть какой-то новый для меня и потому не выразимый словами покой.

«...Жить хорошо и спокойно. До конца. До самой смерти».

А как жить? Как? Это как раз понятно. В Боге и для Бога. Только в Боге, и только для Бога.

Я думаю так, и на душе моей становится легко и светло. Я верю, что буду, что смогу жить так, что этому ничто не помешает.

Но потом постепенно Свет и легкость уходят из меня, а на их место приходят сомнения. И я понимаю, что лгу себе, что никогда не смогу я жить только в Боге и только для Бога. Что всегда буду искать для себя.

Тогда становится угрюмо и мрачно, всё ноет и тоскует во мне, и справиться с этим мне не по силам. Как же я буду жить?.. Если буду...

Небо, море, деревья. Лес, лужайки, поляны. Горы, речушки и реки. Всё это остается. Ничто не уходит, не пропадает, не отталкивает меня.

Дон Кихот и Гамлет, Моцарт и Бах, Мандельштам и Леонардо да Винчи остаются, не отталкивают меня.

Как же смею я замерзать, застывать, как смею?..

* * *

Нам светло и тихо. В нашем Доме опять небесно и серебристо-прозрачно. Это так хорошо, так нежно и хорошо. Это те самые свет, тишина и покой, которые, если еще и не благодать, то вот-вот, ну, еще самую крохотную капельку – и станут ею, а может быть, уже стали... И как поет эта тишина, какую нежную песню, исполненную любви без жара, любви-Света поет эта тишина...

Не знаю, почему такие перепады происходят в моей душе. Ведь ничего не меняется. Еще сегодня утром я жаловалась себе и тебе, что стала беззвездная, нелетучая... А теперь... как же так? Куда оно уходит, откуда и почему возвращается? И надолго ли? А может быть, это Божья милость? Божья милость мне, чтоб я не боялась, что навсегда утратила летучесть и звездность?

Как странно, какой странной кажусь я сама себе. Были Свет и счастье. Ведь всё это было, и было правдой. А потом было мрачно, страшно и отчаянно, и я была плохая, скверная, бессветная. И это тоже было правдой. И тоже было совсем недавно, еще сегодня утром и днем было. А потом вышла на улицу, и опять в меня дохнуло Богом. И опять Он вошел, влетел, вдохнулся в меня. И опять осень вокруг. И бесконечность внутри. И любовь. Вообще любовь. Ни к кому отдельно.

И опять я не знаю, откуда пришли и вошли в мою душу эти Свет и счастье. Может быть, это потому, что осень золотеет? Или потому, что на улицу вышла? Почему-то опять стало больше меня, а во мне – больше Бога. Это не хвастовство, ведь в этом не моя заслуга, – наоборот, моя вина, что теряю дары, и так сверх всякой меры мне доставшиеся.

И сейчас так светло, так радостно у нас на душе. Как будто что-то необыкновенное, чудесное должно свершиться с нами. Оно и свершается. Всё время – какие-то нематериальные, неназываемые чудеса, и даже одно «материальное» чудо. Мы встретили птичку. Не знаю, как ее зовут. Она прилетела, как ты, из ниоткуда, посидела на кусте так, что мы долго рассматривали ее, а потом улетела – вся праздник, вся радость, хотя характер у нее, может быть, и не очень веселый и добрый, не знаю. Птичка небольшая, меньше скворца... Разноцветная, похожа на попугая, но не попугай, потому что хвост – как у синички торчит.

А сегодня мы наблюдали за маленьким воробышком, как он прыгал с ветки на ветку. Окно открыто, и тополь очень близко, с земли

никогда не увидишь так близко. А здесь – четвертый этаж, веточки тоненькие, а он скачет и ни капельки не боится. Ветки под ним так и качаются, так и качаются. Я сразу вспомнила, как боялась ходить по подвесным мостам из-за этого качания. А он с верхней на нижнюю не перелетает, а перескакивает. А почему он не боится упасть? Ведь ему, такому маленькому, четвертый этаж – это уже почти небо, правда? Может быть, потому что он знает, что в любой момент может взлететь? Как хорошо легучесть спасает от страха...

А теперь снова Моцарт. 17-й концерт. И я не понимаю, почему меня так тревожат и мучают какие-то пустяки, когда есть то, что я сейчас слышу. И не понимаю, как можно жить без Света, и Звезд, и Молитвы... Как все это странно. И где же я настоящая?

А где настоящий ты? Я знаю. Настоящий ты – в нашем Доме, или на Звезде, или в Молитве, что одно и то же. Я восхищаюсь тобой. Когда всё хорошо, когда я не боюсь, то не так резко ощущаю, как недостижимо высоко ты надо мной. Иногда даже вообще забываю об этом. Мы так вместе, и радуемся, и дурачимся, что я забываю, как высока и недосыгаема для меня твоя обитель. А в эти дни, живя в своем страхе и нежелании принять неизбежное, – в эти дни я очень хорошо почувствовала, где обитаешь ты и где нахожусь я. Ты прости меня, я знаю, тебе это неприятно. И я, наверное, опять взлечу и полечу к тебе. И мы будем вместе...

Ведь были мы очень вместе сегодня во время приступа. Мы не разговаривали, ты молчал, но я физически ощущала, что ты присутствуешь в комнате, знала, что ты есть... Не оставляй меня ни на минуту. Будь со мной, пожалуйста...

* * *

Случилось самое хорошее. Как часто я говорила в последнее время, что устала, что душа дремлет. И, действительно, часто замечала, что прохожу равнодушно там, где раньше раскрывалась душой молитве, тишине или песне. Наверное, оттого, что я всё-таки больна немножко, душа как-то стиснулась, сжалась. Но вот она вдруг распрямилась. И сразу в нее вошло всё, что бывало в ней раньше, – волнение, восторг, любовь, молитва. Я снова увидела небо, и дома на фоне неба, и сгущающиеся сумерки, и деревья. Словом, всё то, что видела раньше и что забыла на какое-то время видеть из-за болезни. Душа распрямилась, проснулась, ожила. И я так рада этому! Может быть, это потому, что душа сейчас отдыхает от боли, и тело тоже. Может быть, теперь так и будет, и еще лучше будет. И открытия будут. Я и сегодня кое-что поняла. Душа стала всё видеть обнажено и остро, будто души всех деревьев, домов – все души вышли ей

навстречу. И так стало хорошо от этого. И я поверила, что теперь уже не буду ни больной, ни дремлющей, ни равнодушной... Я прекрасно ошиблась: это еще не начало последнего периода перед смертью, а только начало искупления. И пусть же хватит мне сил душевных слышать Волю Божию и принимать ее, и не умирать до самой смерти.

ГЛАВА 3. МИ

Если я говорю языками человеческими и ангельскими,
а любви не имею, то я – медь звенящая или кимвал звучащий.
Если имею дар пророчества, и знаю все тайны,
и имею всякое познание и всю веру,
так что могу и горы переставлять, а не имею любви, –
то я ничто.

Первое послание коринфянам св. апостола Павла

Любовь к Богу озаряет любовь к людям,
и любовь к людям подсказывает образы любви к Богу.
Такова вершина любви, где человек человеку икона,
и икона не заслоняет Бога.

Григорий Померанц

Вчерашний приступ был вызван, скорее всего, не только физическим состоянием, но и сном, в котором не было ничего страшного, кроме мелких издевательств и оскорблений. Сегодня день совсем другой. Он начался с самого просыпания. Проснулась рано, как если бы надо было вскакивать и бежать на работу. Но вскакивать и бежать не надо.

И вот, оставаясь в постели, тихо лежу и смотрю в окошко. Это как в сказке. Когда-то я видела бирюзовый дождь. Но это было в полете. Сейчас полета нет, хотя я, конечно, расслаблена после сна. И вижу я бирюзовый снег.

Небо темное-темное, ночное, фиолетовое. И в нем медленно и плавно кружатся и танцуют маленькие снежинки. Не капельки, именно снежинки. Небо очень темное, но... не столько яркое, сколько насыщенное этим фиолетовым светом. Кто видел, как медленно падает снег в ночи, тот знает и может представить себе это. Только сегодня снежинки не белые, а бирюзовые. Маленькие светлые бирюзовые снежинки в темном еще ночном небе. Маленькие бирюзовые... Постепенно они становятся все более и более голубыми. И я вижу причудливую картину. Ее образуют снежинки. Они танцуют

как бы в центре огромного квадрата, хотя я не вижу его четких сторон. Но вижу, что в нем – четыре квадрата поменьше, совсем уже небольших. Снежинки танцуют в этих малых квадратах, а в центре – между этими квадратами – плещется что-то совсем непонятное. То ли воздух, то ли вода океанская или морская, но именно плещется, переливается, дышит, живет. И цвет ее (воды? воздуха? чего-то еще неизвестного?) тоже бирюзовый, но иной, не голубой, а светло-светло-светло зеленоватый, салатovým еще называют его иногда, но он не салатový. Потому что не чисто зеленый, а именно бирюзовый. Такой бывает иногда вода в море. И в этом цвете, кроме зеленого и голубого, есть еще белое, оно даже проступает и становится явным, как бывает, когда мы видим прибой, и на легких маленьких волнах прибоя – белая, ну, не совсем, но почти белая пена.

Всё это живет какой-то своей жизнью, в которой мы не присутствуем, но которая не враждебна нам. Она не враждебна нам, потому что никому не враждебна, она вообще не знает враждебности. Она живет и играет. И в игре этой – радость. Радость света и цвета. Радость переливания, перехода одного цвета в другой или слияния нескольких цветов. Что-то это, наверное, значит, только я не могу понять, что именно. Да и не пытаюсь. Я просто смотрю, как меняется цвет неба. Как незаметно светлеет темно-фиолетовый, будто в чернила кто-то неведомый добавляет всё больше водицы, и вот он уже не фиолетовый, а сиреневый, и всё продолжает светлеть и вот-вот станет голубым. А снежинки? Где же снежинки? Я и забыла о них на время, а они разлетелись по всему небу, и теперь уже невозможно видеть что-то отдельно – отдельно снежинки, отдельно небо, отдельно «квадраты» и воздушную или водную пену. Теперь уже совершенно ясно, что всё это – одно, один мир, одна жизнь.

Лежу, боясь шевельнуться, боясь нарушить что-то, и тем оборвать эту безмолвную сказку.

Постепенно светлеет и делается ясным и утренним небо. А вместе с ним светлеет и делается ясной и утренней моя душа. О чем-то размышляется. О людях и о любви к ним. О том, что все жестокости на свете совершались оттого, что кто-то кого-то недолюбил. О Каине, первом человеке-убийце. И о том, что в его душе накопилась обида. Обида родила злобу. Злоба родила убийство. А обида эта родилась от того, что ему казалось, что его недолюбили... Если бы Каин в свое время не обиделся на родителей за то, что любят Авеля больше, чем его (или ему так казалось), если бы он не ощутил себя обделенным любовью, он не породил бы на свет обиды, озлобленности и убий-

ства. Но он обиделся, озлился и убил. А убив одного, стал нести в себе семена злобы и убийства, стал обижать других людей и научил их обижаться. Обиженные, они становились злыми и сами делались обижателями. А потом родились дети Каина и других обиженных обижателей. И дети эти уже в наследство получили зерна злобы. И так оно все началось и распространилось. И теперь это неостановимо.

А началось всё с одной обиды, с первой на земле обиды и первого ощущения «меня не любят». И все, даже самый первый, Каин, все-все, – *обиженные* и *обижатели* одновременно.

Но ведь не все убивают братьев своих.

А если бы кто-нибудь сильно-сильно полюбил Каина, так сильно, что жить без него не мог, и если бы Каин знал это, чувствовал бы себя таким любимым, убил бы он тогда Авеля?..

Так много Света в этом утре, что не хочется думать и размышлять о любви, а хочется любить и нежить всех и всё, и каждого отдельно...

...В моей комнате лютневая музыка. И в комнату входит та наша ночь, та наша лютневая. Мы лежим, взявшись за руки, прикинув друг к другу, глядя в ночь, в лютневое небо. Что-то витает над нами и в нас, что-то бесконечное, невидимое, неясное. Оно поднимает нас и влечет, и держит нас в себе, в своем небе и вечности... Мы в нем... Это ночь или утренняя молитва? Волшебное озеро омывает меня... чем? Водой? Воздухом? Мелодией лютневой музыки? Оно омывает меня, оно делится своим волшебством, одаряет им мои зрение и слух. Я вижу домики и деревья, и виноград, и небо над ними. Вижу их души, узнаю их. Это Одесса, это улица, на которой с одной стороны дома, деревья, переулки, дворики, а с другой – обрыв, и где-то там, далеко внизу, – море.

Вижу белую деревишку. Это Швейцария. Здесь высоко и много снега. Горы внизу и вокруг, и облака плывут между ними. Снова домики и деревья, дворики и обрывы. Только моря не видно.

Вижу море. Но это не наше родное, домашнее Черное море. И не Атлантический океан, который никогда не выходит из комнат моей бруклинской квартиры. Это густое, тяжелое Мертвое море. И, чуть-чуть повернувшись боком к нему, я вижу иные пространства далекой планеты, незнакомой планеты, заглянувшей к нам в гости.

Космос?

Молчание. Тишина. Раскрываются все воротца. Значит, всё-таки нужно внешнее? Нужны переулочки, южные дома, мягкость ранней осени, снег, море, инопланетные тропинки? Всё это нужно нам, чтобы рождались в нас Высота и Молитва?..

...Закрывать глаза. Закрывать глаза, и пусть свершается Месса. В прошлый раз она звучала для меня в пустом готическом храме с высокими сводами, не темном, но и не солнечном. Она возносилась вверх и исчезала в выси, а я тянулась за нею душой, руками, глазами.

Звучат, звучат какие-то обыкновенные нотки, какие-то простые, обыкновенные до, ре, ми, а получается... Получается то, что мы называем Бог, Божий Мир, Божье...

Много музыки в доме – это хорошо. От этого сам делаешься хорошим. Сейчас мне даже странно, что я боялась того, что мне предстоит. Теперь не только не боюсь, но даже жду, как чего-то светлого и прекрасного. Но и не тороплю его. Придет само, и в самое свое время...

Жить в музыке Баха. Это, наверное, то, что сейчас происходит. Не экстаз, не экзальтация, не внутреннее напряжение души, – нет, всё совсем не так. Естественно, спокойно льется, течет, протяжно протекает во мне музыка Баха – домашняя музыка, музыка моего дома. В экстаз можно впадать (значит, и выпадать); в экзальтации можно быть какие-то мгновения, но в таком состоянии, как сейчас, можно жить бесконечно, – как жаль, что это не суждено мне. А как было бы хорошо: жить в музыке Баха или в музыке Моцарта и не чувствовать ни усталости, ни напряжения, ни болезни. Как дышать чистым воздухом. И, в то же время, нельзя привыкнуть, невозможно перестать замечать этот Свет, этот горный воздух, перестать молиться Ему и им. Не потому, что болезнь и смерть уведут тебя, а потому что... Не знаю, как сказать об этом. Как сказать о том, что редкие мгновения, которые казались мне высочайшими взлетами, стали сейчас не мгновеньями, а временем, воздухом, в котором живу, не утратив ни высоты, ни бесконечности... Нет, не могу, в словах это получается и стыдно, и лживо, и грубо. Но ведь и незачем говорить об этом словами. Нельзя и невозможно...

Мы можем представить себе темный синий бесконечный космос с летающими звездами и планетами, мы можем вообразить эту космическую безбрежность и огромность. И это будет много. Но это будет совсем ничего, даже не мало, даже не ничтожно мало, а просто ничего; потому что этот большой темно-синий космос, этот безбрежный огромный космос, о котором мы еще в школе, кажется, учили, что он бесконечен, – он просто крохотная песчинка по сравнению с тем другим Космосом, о котором Моцарт и Бах, с тем светлым Космосом, с тем Космосом Света, который (это даже представить себе трудно) входит в мою комнату и влетает в мою душу звуками музыкального инструмента, сочиненными по каким-то правилам гармонии человеком со смешной фамилией Бах.

Не могу вместить это. Не могу вместить того, что вливается в

меня с этими звуками. Слушаю и плачу немножечко, и мне очень нужно, чтобы пришел кто-нибудь и слушал это вместе со мной, и слышал это вместе со мной. Потому что душа моя не может вместить столько, и я не выдержу, не вынесу этого... блаженства? Высоты? Причастия? Любви?..

Господи, прости все мои слова, все поступки, все смехи, все слезы. Не уходи из меня! Дай душе моей вместить это...

* * *

Любовь не есть нечто земное; это что-то иное, чему мы не знаем имени, – что-то безначальное, что-то большее, чем мы можем себе представить. Наши губы – души, наши пальцы – души, наши тела – не тела, в них нет плотского ни в один из моментов. Разве тела мы, любя, ласкаем? То, что с нами, что через тела проходит, – это Дар нам от Господа, чтобы мы могли воспринять Его с помощью своих чело-вечьих чувств. То, что с нами, не имеет ни начала, ни конца; оно и в телах не становится конечным; и мы следим за ним любящими, тос-кующими душами, пока можем, – а потом оно уходит в бесконеч-ность, но, в то же время, и остается в нас, потому что оно же и есть бесконечность во времени и в пространстве. Потому что тела наши – только мгновение струящейся через них Бесконечности. Ей молимся, о ней просим Отца нашего Небесного Вечного, чтобы не отверг нас, не отринул нас от Себя и от Нее – что одно и то же...

А что это значит – любить? Любить человека? Любить всякого, любить любого, потому что он человек. Не думать о том, какой он, не думать о душе его, а любить... что любить? Жизнь? Что это значит? Чувствовать к нему сострадание, нежность, умиление? Тогда, конечно, ко всем одинаково. Потому что каждый одинаково *человек*. А почему нужно так любить каждого? Почему человека нужно любить больше, чем зверя или дерево? Ведь если всё равно, какой это человек, а про-сто он – жизнь, то и зверь, и дерево тоже жизнь... Слова... Я чувствую прелесть и высоту такой любви, но сама на нее не способна. Я думаю, что никогда не смогу подняться до этого уровня, никогда не смогу воз-любить всех единой равной любовью. Всех. Ближних и дальних. Тех, кто делит со мною наше время, и тех, кто был когда-то давно или только будет. Всех... Нет, не могу, и не смогу, наверное. Но идеал этот светит мне и сияет, и я восхищаюсь им и стремлюсь к нему. Идеал этот невозможен для меня в своей целостности. И я даже не знаю, как к нему продвигаться. Но отдельными вспышками, мгновениями, озаре-ниями он проникает в нас. И в эти мгновения мы счастливым и любов-ным светом освещаем души известных и не известных нам людей. И любовь, которая разливается в нас к ним, не есть любовь выборочная,

а есть просто любовь, вообще любовь, ко всем, к каждому... Ведь бывают же минуты, когда хочется всех любить, – и любишь. И тех, кого не знаешь, и тех, кто плох. Ведь иногда с такой остротой любишь... но это не то. Это не есть та любовь к человеку, то есть к человеку вообще, без конкретной души. Когда я любила и жалела Тимоти, и Каина, и Иуду, это была совсем не та любовь... Да, это очень высоко, и очень привлекательно, и прекрасно – возлюбить такой любовью. И, наверное, нужно, чтобы всегда было на земле хоть несколько человек, способных на нее. Но и нельзя, скорее всего, чтобы все – или многие – любили *так*. Потому что *так* любить можно только будучи *вне, над*. *Над* и потому *вне*. А пока ты не *над*, то и не смешивай уровни, не лицемерь, не делай вид, что ты можешь то, чего тебе не дано...

И всё-таки бывают и у нас мгновения этой прекрасной любви. Какие хорошие, какие высокие, какие чистые мгновения!..

* * *

Не знаю, почему именно сейчас все души деревьев, души предметов, души моря и трав, души птиц и цветов стали такими явленными, ощущаемыми. Мне кажется, что мы всё время вступаем в общение друг с другом, как в детстве я дружила с платаном, что рос у моего окна. Сейчас этого стало во много раз больше, и не только с платаном, а со многими, многими. Они – братья наши? Они знают нас? Они тоже нас как-то любят?..

Когда-то ко мне пришло понимание, что человек – это свернутая галактика. Что весь космос – внутри человека. Я так говорила, жила и чувствовала. Так мне казалось. Но вот сейчас, слушая космос внутри себя, я нахожу там тишину и любовь, нахожу своих братьев и сестер – растения, птиц, камни. Нахожу молитву, песнь безмолвия, нахожу жалость и любовь к людям вообще, и страстное желание добра им всем, нахожу желание добра стране, в которой родилась и жила половину жизни и которую люблю, хотя так и не знаю, что такое родина. И желание добра стране, которая приютила меня, спасала и лечила мою старенькую тетю. Но я не могу найти в себе то, что породило бы меня с действиями, поступками, образом жизни, желаниями большинства тех моих братьев и сестер, которые должны быть мне самыми близкими, потому что они – люди, человеки, как и я. Это очень страшно. Потому что я люблю их – и не люблю. Жалею – и не жалею. Хочу им добра, но не верю, что понятия о добре, которого они себе хотят, совпадают с моими.

И я не знаю, как жить. Это – их планета, а не моя. Не знаю, нужна ли я на этой планете. Наверное, зачем-то нужна. Но я не знаю, в чем моя нужность. Зачем я им? Даже близким я оказалась не очень-то нужной.

Глупости все это. Возвращение к детскому «в чем смысл жизни?» Но ведь я уже нашла ответ на этот вопрос, нашла в цветаевском: «Господи! Душа сбывлась: Умысел твой самый тайный»... А зачем надо, чтоб душа сбывлась? И как жить, воплощая этот самый тайный умысел?..

И вот я всё думаю: почему нам так легко, так естественно, так незамутненно любить цветы, и деревья, и птиц, и животных? Почему в природе всё так красиво, так прекрасно? Едешь, скажем, в автобусе или в поезде, глаза глядят в окошко. Вот дерево – оно прекрасно. Вот степь – как прекрасна степь! Вот стадо коров – до чего же красиво! Вот лошади пасутся, склонив головы. Вот сорока с длинным хвостом. И всё это прекрасно, и всем этим можно любоваться. И любить нежно и щемящее. Любить всё это легко. Нет никаких «несмотря на». Ничто не раздражает, не родит злобных чувств. Почему же с людьми всё иначе? Почему не бывает уродливых цветов или деревьев, но так много уродливых людей? Можно ли вообразить, что на дерево смотреть неприятно? Нет. А на человека? Бывает. Дерево не мешает нам любить себя, а человек очень часто мешает, затрудняет нашу любовь.

Конечно, и в природе не всё одинаково. Когда мы говорим «он любит цветы», это такая же, в общем, нелепость, как «он любит людей». Ведь не вообще цветы можно любить активной любовью, а вот этот цветок, или вон тот. Мы проезжаем поле люцерны – и любим люцерну. А вот акация. Любим акацию. Эту – именно ту, которую видят сейчас наши глаза.

Но потом мы никогда не увидим эту акацию, или эту сороку на ней. И будем любить другие акации и других сорок. Это не мешает ни им, ни нам. А с людьми как? С людьми наша любовь корыстна. Мы чего-то хотим от любимых. Ну, хоть ответной любви. Но ведь мы ничего не хотим от воробышка или соловья. Только, чтобы он был.

Растения и животных любить легко, а людей трудно. Мне легко видеть Бога и в траве, и в кустах, и в деревьях, и в птицах. А вот в людях это часто замутнено. Людей я люблю другой любовью. Я жалею их. И радуюсь, когда они «хорошие», и огорчаюсь, когда они «плохие», но это – совсем другая любовь. Они не так совершенны и прекрасны, как цветы или птицы. Поэтому мне больше жалко их, но любовь всё-таки другая. Ну, не могу же я любить злобную пьяную бабу, как воробышка! Я люблю ее, люблю, но разве это сравнимо! Я ее жалею, и воробышка жалею. Но как это сравнить? Воробышек прекрасен и совершенен, и не делает намеренного, осознанного зла. В воробышке всё от Бога. А этой бабе еще расти и расти, чтобы стать хоть на сотую долю такой, как воробышек...

Я могу целовать любой листик, обнимать каждое дерево, любо-

ваться любимым кустом, всматриваться в любую травинку. Но люблю я не именно, – или не только тот листик, к которому прикоснулись мои пальцы или губы, и не только то дерево, к которому прижималась щекой, и не тот кустик, не ту травинку, которые ласкала глазами. Я люблю их всех вместе, весь пейзаж. Пусть не все на свете, а те, которые вижу в данный момент, но все в совокупности. Я бы всех их могла ласкать, целовать, молиться с ними и им. Мне всё равно, какой поцеловать листик, какую погладить веточку. Они все любимы.

Почему же с людьми иначе? Я люблю людей как человечество, жалею, люблю их всех вообще. Но это не значит, что я люблю каждого отдельно; мне совсем не всё равно, чью руку я держу в своей, какие ласкаю волосы. Я не могу и не хочу целовать любого; смотреть на разных людей – и то не могу с одинаковой нежностью. А на листья могу. Почему?

Почему я так счастлива, что на свете есть деревья, море, кусты и травы? Почему мне плакать хочется от переполненности, когда я смотрю на желтый виноградный куст и знаю, что он есть. И больше этого *есть*, мне кажется, и быть ничего не может.

Почему же люди не вызывают во мне такого умиления, такой любовной благодарности Богу? Почему я не поражаюсь щедрости Его, думая о людях? От виноградного куста мне ничего не надо, даже винограда, даже красоты его листьев или тени в жаркий день. Я не потому люблю его до слез, – а за то, что он есть. Это кажется мне таким бесконечным чудом, таким щедрым даром, что большего и быть не может, по-моему. А с людьми? Чтобы полюбить человека, мне нужно от него что-то. Почему я не могу полюбить Ивана Ивановича просто за то, что он есть? Разве это меньшее чудо, чем куст винограда? Зачем я жду от Ивана Ивановича родственности, доброты или еще чего-нибудь, – разве от винограда я этого жду?

* * *

Четвертый класс деревенской школы. Я учительница. Стою посреди класса и что-то говорю своим ученикам. И вдруг лица у них меняются, они что-то видят, чего не вижу я, чего-то ждут, о чем я не догадываюсь. Мне ведь не видно, как он крадется сзади с ниткой самодельных бус из семян акации – весь тайна и радость, весь предвкушение. Застенчивый, но озорной и хулиганистый, он совсем не стесняется сейчас ни того, что собирается сделать, ни этих блестящих глянцевых коричневых бусинок-семян в руках. Лицо его сияет радостью. Дети вокруг радуются не меньше. С торжеством свершившейся удачи он набрасывает сзади на меня эту нитку. И праздник наступает в классе. А уж как радуют меня его бусы! Конечно,

есть дети, которые дарят, пытаясь подольститься. Но только не он. У него это – детский и щедрый подарок, и он готовил его, радуясь, без расчета и без корысти. И по-детски незлопамятен этот мальчик. Ведь я еще вчера так ругала его, так отчитывала. А он тогда эти бусы из семян рукодельничал, а сегодня подарил их мне, и при этом душа его не помнила зла. Через час он измотает мне все нервы и будет брызгать злобной слюной. А завтра опять все забудет. Но ведь пока он способен так начисто всё забывать, в нем есть место для доброты и света... Как мне сделать, чтобы он не был таким ершистым и вспльчивым? И где он сейчас, уже выросший мальчик, какой он, каким он стал?

Почему он так легко простил мне мою строгость? А как прощают друг другу любящие? Тоже легко и бесследно, без мутного шлейфа. Но они – потому что любят, а он почему?.. Еще мы обычно легко прощаем тем, к кому совсем равнодушны, но это другое прощение, там обида легче, а не прощение глубже.

Когда люди любят друг друга, им легко понять друг друга изнутри («из твоего нутри», как ты мне говорил). Так ли прощал Иисус? Такому ли прощению учил? «Будьте как дети», – говорил Он. Дети легко прощают. Прощать – это понимать? Но понимать – прощать? Можно ли понимать и не прощать? Понять не из себя, а из тебя, из прощаемого. Но и доверять при этом?..

Почему ты не показываешь мне этого, Зазеркалье?..

Вместо этого ты показываешь мне другое.

Вот он идет в своем оранжевом костюме смертника, и миллионы людей с радостным чувством отмщения смотрят на это в своих телевизорах. Он террорист, а значит убийца. Из-за него погибло и пострадало много людей тогда в Оклахоме. И вот сейчас он идет по своей последней, по смертной дорожке, растерянный парнишка в рыжем тюремном костюме и, может быть, считает шаги: сколько их еще ему осталось.

Конечно, он виноват. Конечно, он совершил ужасное злодейство – хотя, может быть, думал в то время, что совершает подвиг. Как думали, скорее всего, и те летчики 11 сентября 2001. Но вот он идет совсем один – совсем один, без мамы, без друга, без любимой приближается к последнему моменту своей жизни, и никто не боится вместе с ним, а только радуются этому миллионы и миллионы зрителей. Он повержен. И я не могу не жалеть его.

Да, я знаю, большинство моих друзей, да и просто знакомых,

осуждает меня за эту жалость, ужасается, что я жалею убийцу, Каина, Иуду. Я, конечно, пытаюсь им возражать и объяснять что-то, но только сейчас, когда снова вижу этого растерянного мальчика, когда снова вижу, как мечется Иуда в мучительном ужасе от произошедшего по его вине и при его участии, только теперь я понимаю истоки своей жалости. Я ведь их не всегда и не всё время жалею. Я жалею их, когда они повержены, когда им плохо. И никакого секрета здесь нет. Я в этом такая, как все. Все жалеют тех, кому плохо. Я читаю «Страшную месть» Гоголя и испытываю к Колдуну все те чувства, которые положено испытывать к нему как к воплощению зла и мерзости. Но в конце, когда ему самому стало очень плохо, когда он стал загнанный, боящийся, обреченный (еще не как последний потомок Петра, а сам по себе), я начинаю жалеть его. Мне его жалко, потому что теперь уже ему очень плохо. Раньше я жалела тех, кому было плохо из-за него. А теперь плохо ему, и я жалею его.

Когда я жалею Каина, я от этого Авеля не меньше жалею. Когда жалею Иуду, разве меньше люблю Христа? Ну можно ли видеть, как человек мучается, и не жалеть его? Ведь мучается же! Какой бы плохой он ни был. Когда ему станет хорошо, я не буду его жалеть, а когда плохо...

Первое сентября. Торжественная линейка во дворе деревенской школы. Дети стоят праздничные, с цветами. Девочки в белых фартуках поверх школьных платьиц, мальчики в белых рубашках, на которых так красиво алеют пионерские галстуки. И среди них – он, семиклассник, о котором мне сказали, что он принимал участие в разбойном нападении, что они до смерти забили человека, что теперь ему грозят суд и тюрьма...

Я ужасаюсь. Мне страшно, я не могу понять, как они могли бить, бить, бить. Кровь текла, он умирал, а они били. Почему? Почему им не стало противно хотя бы, если не жалко? Почему их не остановила кровь? Зачем им хотелось бить его? Какое им было от этого удовольствие?

Но, видимо, я и вправду очень плохой человек. Наверное, я извращенное и порочное существо. Всё понимаю. Что убили, что не вернешь, что за просто так – за медяшку и горсточку семечек убили человека. И про них, про убийц, понимаю – и ужасаюсь. И с ужасом смотрю на мальчишку-убийцу. Но больше ужаса, больше негодования, больше страха во мне сейчас жалость к нему. Я думаю о нем и о тех, других. Как все ненавидят их, и поделом. Как в одночасье они оказались отверженными, и это понятно. Но должен же кто-то и их сейчас пожалеть! Ведь если их только судить и наказывать, не

будет от этого лучше. Тем более, что вот он совсем мальчик еще, семиклассник, он – мой ученик. И как тот семиклассник-скотоложник стал мне дороже, когда я узнала о нем эту мерзость, так и этот семиклассник-убийца сегодня занял в моей душе другое место. Раньше он был в общем ряду детей. Он был хуже многих, трудней. И я смотрела на него со стороны. Он был всё-таки чужим ребенком. А теперь он не один из многих, а единственный, исключительный. Его плохость болит исключительной, а не рядовой болью. Я не могу теперь судить его со стороны. Его поступок и его преступление – я вижу их тем отчетливей, что сужу о них изнутри. Он теперь отверженный, потому что он – убийца. И если кто-то и полюбит его – кроме мамы (и кроме учительницы?), то скверной, не Божьей любовью. А кто же будет любить его Божьей? Его, плохого, его, подонка, его, убийцу? Не могу объяснить, что во мне переменялось по отношению к этому бывшему чуждому, чуждому, скверному, отвратительному мальчишке. Нет, я не грех его полюбила, мне его грех и скверна тем тяжелей, что я их теперь не на чуждом, а на полюбленном ребенке вижу. Чуждого судить легко. Но почему он стал... нет, не родной, не свой, – но дорогой, но полюбленный, но жаленый. Его преступление – из моего нутра. И болит, и сочится ужасом, болью и жалостью. Ну как это объяснить?

Дело не в том, что кто-то должен и такого любить. Это со мной не по долгу, а само собой сделалось. Я жалею его. И думаю о его душе, можно ли ей не совсем пропасть и спастись еще. И мне очень, очень, очень хочется этой душе помочь. Но я не знаю, как. Понимаю, что для него все дороги – пропасть. Значит, пропадет. Засудят – пропадет. Простят – тоже пропадет, а только ничего не поймет. Не знаю, как сделать, чтобы он понял что-то. Ведь если что-то, в какой-то малой степени, этот ужас оправдать может, так это только если одна душа на этом спастись начнет, – а она не начнет, я знаю...

Наверное, это не любовь, а очень большая жалость к душе, которая пропадает. Сам виноват? Ну да, виноват, только сейчас не время считать, кто и насколько виноват. И я виновата. Не в этом дело. Пропадает же душа человечья!

Каждый виноват за всех. И не за всех вместе, а за каждого в отдельности. Но как вынести груз такой огромной вины?! Как жить с такой виной? Как быть таким виноватым – и всё-таки жить?!..

Мы знаем, что идеалом является «возлюби ближнего, как самого себя». Мы не спорим с этим, мы согласны, что да, надо, и это прекрасно, и надо стремиться к этому, стремиться возлюбить ближне-

го, как самого себя. А что это значит? Что значит «возлюбить»? Как любить, чтоб было «как самого себя»? Жалеть его? Болеть, когда ему больно? Плакать над его горем? Помогать ему? И еще сочувствовать... А что такое сочувствовать? Чувствовать вместе с ним. Чувствовать его изнутри, душу его. Ведь мы себя не только по поступкам судим. Мы еще судим себя изнутри. Потому что мы знаем не только сам поступок, но и то, что его породило. Знаем свои побуждения, сомнения, колебания... Значит, главное – изнутри, то есть то, что поступок породило, допустило, сделало возможным. Надо стараться понять его. А понять – значит простить?..

А что я сделала бы, окажись я на месте Ивана из «Страшной мести» Гоголя? Что сделала бы, если бы мне нужно было выбрать казнь человеку, убившему близкого моего, убившему моего ребенка или любимого? Что бы я сделала, если бы должна была выбрать казнь Сталину или Гитлеру?..

Почему много-много поколений рождались злодеями из-за того, что Петро был предателем и совершил злодейство? Иначе нельзя? Так решил Бог? Злодейство остается и искупается веками? Это очень страшно. И неизбежно. Зло (последствия зла) распространяется в мире. Оно распространяется в пространстве и во времени. И ничего нельзя сделать. И если сегодня нам так плохо, то это еще продолжают распространяться последствия старых зол. А если я сегодня совершаю злодейский или подлый поступок, никто не знает, где, когда, чем, какими страданиями обернется, отзовется он через многие годы неизвестному, еще не рожденному будущему человеку. Как и мы не всегда знаем, за чье злодейство платим сегодня...

У Гоголя Петро убил Ивана и его сына. И не думал о тех кругах, которыми разойдется его преступление. Он даже не знал о Катерине и ее сыне, не знал, что убивает их и Данилу, не знал, что обрекает множество людей быть злодеями, не знал, что Иван, убитый им добрый Иван, впадет в гнев и ярость и, забыв о доброте, сам захочет обречь всех потомков Петра на злодейство и на муки. А значит, и сам утратит Царствие Небесное, и обречет новые поколения тех, кто будет страдать и мучиться, – уже от потомков Петра. А где же мера? И когда перестанут распространяться эти страшные круги? Когда появится Катерина – первая не-злодейка в цепи Петровых потомков? Да ведь она потому не злодейка, что это ей было позволено, что последним злодеем в роду был определен ее отец, колдун. Как же определяется эта мера?

Я читаю прозу Гоголя, которая и не проза вовсе, а стихи без раз-
мера и рифмы. Заряженные, напряженные, каждый звук каждого

слова – на пределе поэзии и накала. Я вижу это. И еще я вижу, что гений Гоголь – человек больной, что он мученик и страдалец. Что он стремится и тянется к Богу, но очень хорошо знаком с сатанинскими безднами и, может быть, мы никогда не узнаем, как рвалась его бедная душа на части. Может быть, он мечтал быть святым, а дьявол не хотел отпускать его от себя и боролся за него? Может быть, он сам был и святым, и колдуном одновременно? Или, родившись потомком Петра, восстал, не соглашался быть злодеем и рвался к свету и чистоте, а те хватали его и царапали своими когтями? И рождались слова, готовые взорваться, но и прекрасные до слез, слезами и кровью написанные?

Ничего я не знаю о Гоголе, кроме того, что сердце мое разрывается от жалости к нему. Господи, упокой его душу. Дай ему света и тишины, дай ему ласковой спокойной любви матери или друга...

Зачем он так мучился? Отчего так хаотично, так болезненно, так темно было в его страдающей душе? Почему ему всё так мучительно давалось? Почему там, где другие шли легко и без особых опасностей, он раздирал в кровь свою душу? Почему был уготован ему такой путь? Почему?.. Раньше я так не жалела, а значит, так не любила его...

* * *

Пять маленьких нежных тюльпанов стоят у меня на столе. Тюльпаны бывают большие и яркие, а эти – робкие, слабые. К ним страшновато прикасаться, такими они кажутся хрупкими. Младенческие тюльпаны...

Я сижу, а они рядом стоят. Листочки у них тоже нежные, и тоже хрупкие. Светлей обычных. Я понимаю, почему их окраска кажется такой. Она неполнокровна. В зеленом – мало зеленого. В красном – мало красного. А вместо недостающей окраски – удивление и робость: «Я родился? Как же это случилось? И куда я попал?»

А попал он ко мне. К моей любви, восхищению, умилению. И жалости, потому что вот только родился, а уже срезали с земли, и недолго ему удивляться. Хотя, с другой стороны, подарить цветы – это же такая радость для человека. Да еще такие неземные, почти не воплощенные, бестелесные цветы. Вот и забывают люди, что цветы эти – обреченные. Ими же и обреченные, хотя не они их срезают – покупают уже срезанными.

Стоят детки-тюльпанчики на столе и ни капельки не боятся. В них нет страха смерти. Они – воплощение невоплощенного, воплотившееся невоплощенное. В них почти ничего нет материального. Они светлы, бледны, прозрачны. Они духовны. Одухотворены. Они – не от мира сего, а из *того* мира, куда я улетаю так часто.

Я понимаю, почему эти тюльпанчики так бестелесны. Потому что в них не цвет, а свет. Красноватый, зеленоватый – всё это только слова. Они потому прозрачными кажутся, что светятся изнутри. И цветки, и листики. Не цветом, а светом. Тюльпаны – *оттуда*. Как хорошо, Господи!

Сколько света, сколько нежности и покоя принесли эти маленькие новорожденные цветы, каким горним стал воздух вокруг них и вокруг меня. Неужели я смогу бояться смерти рядом с ними, бесстрашными? Сейчас так естественно поплавать с ними по воздуху медленно, без движений. Или покачаться на лучах ли, на звуках органа и скрипки.

Мне кажется, я знаю, что значит любить. Знаю и могу объяснить... Нет, не словами. Но чувствую, что это значит. Если в нашем *мы*, в нашем *нашем* воскресает или рождается Бог, если, целуя любимые пальцы или глядя в глаза, я молюсь и уношусь недвижимо в Вечность, – значит, люблю... Да нет, не так, опять я пытаюсь сказать несказуемое...

И шепотом, шепотом: любить – это когда Бог в глазах друг друга. Я вижу Бога, когда смотрю в твои глаза, любимый. Нет, и это не так. Я не вижу Его, я Его ощущаю. Я ощущаю Его всегда, когда вижу тебя, слышу тебя, никогда не отпускаю твоей руки.

Ты велик, ты бесконечен. Мои губы касаются твоих. И это молитва. Мои глаза глядят в твои неотрывно, и я осязаю Бога в себе и рядом со мною.

...Светлым Духом, святым белым Духом был ты и веял тогда. И улыбка твоя была ангельской и счастливой. И всё вокруг тебя лучилось Светом, ибо сам ты излучал этот Свет.

Неужели непременно нужно умереть или разорваться надвое, или хотя бы оторваться друг от друга, чтобы, превратившись сперва в две отдельные половинки, воссоединиться потом, наконец, стать воистину единым, одним?! Неужели непременно нужно сначала сполна познать *пустыню*?

* * *

Мое состояние, мои мысли, мое настроение меняются каждый раз так быстро, что я не успеваю зафиксировать их даже в собственной голове или в душе. Почему я не рассказываю тебе о том, что было с нами, когда мы отдыхали, глядя на платан со свисающими шариками. Как окутало нас наше нежное облако и унесло в неведомое. И как мы летали вот так же, лежа на спине и не шевелясь, не двигая ни пальчиком. Два тела, прильнувших друг к другу, два, прикоснувшихся друг к другу, летящих в Космосе тела. За небом, над небом. В том

пространстве, где ни света, ни тьмы, где музыка Баха обнимает их и несет в неподвижное парение. И нет там направления... Почему об этом невозможно рассказать?

Когда я разговариваю с тобой (а я разговариваю с тобой мысленно почти непрерывно), все эти изменения происходят естественно и, в какой-то мере, плавно. Но услышишь ли ты меня в том своем далеко, когда я не успеваю рассказать тебе что-то, – а уже наслоилося то, что было потом, и то, что было после этого *потом*, и то, что сейчас, и то, что уже накрывает «сейчасный» слой... Калейдоскоп разных событий, важных и не важных, внутренних и не только длится так долго. И в каждом неважном событии непременно скрывается Важное и Главное.

Плачет старенький дядюшка, мамин родной брат. Он плачет, и слезы на его щеках кажутся мне такими жалобными. Это я у него в больнице. Когда-то он чувствовал себя уверенным. Помогал моей маме растить дочерей, давал ей для меня, малокровной и болезненной, по сто рублей в месяц «на курочку и яички». И вот сейчас плачет на больничной койке, хотя совсем не голоден, да и курочка и яички давно перестали быть роскошью. К нему пришла его старшая дочь. Принесла еду, сидит уже минут десять, вся раздраженная, нетерпеливая, торопится уйти. Дядя чувствует, что она не жалеет его. Только что он жаловался мне, как жалуется просто так – не для того, чтобы помочь, а для того, чтобы пожалели. Он жаловался и плакал, а ей говорит только: «Это мне надо, а этого не надо». И не рассказывает, как ему плохо, больно и страшно. А она слушает его рассеянно, кивает головой невпопад и холодно сочувствует, вернее, ни капельки не сочувствует, а только говорит слова сочувствия. Получается, будто не я к ее отцу пришла, а она навестила моего близкого. Жалко его. И за себя стыдно. Потому что я ведь тоже не хотела к нему идти, пошла по обязанности. И долго сидеть с ним тоже не хотела. Сижку из жалости. Может быть, это специально так устроилось, чтобы я увидела со стороны свое поведение, увеличенное до уродства? И для этого мы сошлись в одесской больнице с дядиной дочерью. Так ведь и ее жалко. Она совсем старенькая сейчас, старше своего давно умершего папы, и ничего уже не помнит и не понимает, доживает потихоньку в израильском доме престарелых, а ее дочь, в свою очередь, тоже редко и нетерпеливо навещает ее. Закон бумеранга...

Вот она уже собралась уходить, дядя не удерживает ее, отпускает легко и с готовностью. И мне кажется, что он не огорчится нашим уходом. Она спрашивает меня, пойду ли я с ней, я отвечаю

утвердительно. А у него тогда лицо такое растерянное сделалось: «Как, ты тоже уходишь?» Через секунду он уже отпускает меня. Но вот это мгновение... Он, оказывается, хотел, чтобы дочь ушла, чтобы он мог со мной еще побыть. А я его предала. И где-то уже стоит, поджидая меня, мой дом престарелых, в который из чувства долга станут приходиться навещать меня мои близкие. Впрочем, если не ошибся мой доктор...

И опять наплыв, как в кино. Все приближается, и увеличивается, и «наезжает» на меня, будто не сто лет тому, не в далекой теперь России, не в слабеющей памяти моей, а здесь, а сейчас, а прямо перед моими глазами – словесно, бессловесно, небесно, телесно... Глазами, ушами, душою. Вижу, люблю. И – нежность, то тихая, то острая, и страх, и смятение, и растерянность перед чужим и трудным, и перед тем, предстоящим, но всё время – люблю, люблю...

...Ко мне приходит гость. Вернее, гости. Потому что приходит он не один, а с двумя товарищами. И все пьяные. И сразу мне захотелось плакать. В душе моей он всё еще мальчик, умный и хороший, который любит читать книжки и размышлять, который дружит со своей мамой, который и меня любил еще совсем недавно. А тут... Его первые слова: «Вы нас извините, мы пришли пьяные говорить о Боге...». Ну, как мне вести себя? Они ведь гости, но пьяные. Пьяные, но зачем-то он их ко мне привел. Что-то же им нужно! А что? Я не хочу говорить с ними о Боге. Но он начинает разговор. «Моя мама, – говорит он, – считает Иисуса подлецом. Что вы об этом думаете? Я пришел, чтобы вы объяснили мне, подлец ли Иисус, и почему».

Наверное, нужно выставить их вон – и делу конец. Но я не выставляю. Во-первых, потому, наверное, что не могу так вот взять и выставить почти взрослых мальчиков. Во-вторых, потому что им что-то нужно, а я не понимаю, что именно. Вижу, что они мучаются, они совсем не раслаблены, им не стало хорошо от выпитого. Им очень сильно хочется говорить об Иисусе, это мучает их. И лица у них совсем детские. Другой мальчик – тоже пьяный, конечно, – кажется совсем глупеньким; однако, он, сам того не зная, спрашивает меня, впервые в жизни увиденную, о том, о чем я в его возрасте или раньше – я не знаю, сколько ему лет, – спрашивала всех подряд, а все посмеивались. Вопрос о смысле жизни. Он так и спрашивает: могу ли я объяснить, в чем смысл жизни. Третий, – кажется, самый старший и самый трезвый из них, – держится уверенней всех, и ему, похоже, совсем неинтересно ни о Боге, ни о смысле жизни. Я так и

не понимаю, зачем они пришли и к кому они шли. Мы говорим не очень долго, минут двадцать. Они говорят мне: Иисус восхвалял себя, требовал, чтобы его чтили и любили, шли за ним. Он отрывал детей от родителей, рвал естественные связи ради других, конъюнктурных. Я пытаюсь сказать о том, что он призывал не к непочтительности к родителям, а к замене низших связей более высокими, не бросать мать и отца, а отринуть плотские связи ради духовных. И любовь к матери и отцу не перечеркивается этим разрывом, этой заменой, а напротив, обогащается. Я говорю, что человек, рождаясь, начинается с того, что рвет свою связь с матерью, что это неизбежно. И что потом, рождаясь духовно, он еще много раз рвет старые связи, но при этом заменяет их чем-то иным... Совсем неожиданно мальчики прерывают беседу и говорят, что уходят. Один из них очень не хочет уходить. Он говорит, что придет еще поговорить об этом, упрекает, что я не хочу объяснить, почему Иисус подлец, хотя знаю. Знаю, а не хочу объяснить. И я отвечаю ему, что, если он не сможет доказать своих слов, когда протрезвеет, то я буду считать его клеветником, оскорбившим самого лучшего человека на свете. И что в таких случаях, будь мы оба мужчинами, дрались бы на дуэли когда-то. Он говорит, что придет и докажет. И они уходят. А я остаюсь, растерянная, потому что я не могу понять, что произошло, но произошло что-то мерзкое... Или нет? Во всяком случае, мне еще больше не по себе, чем до их прихода, нехорошо мне от всего этого и хочется света, гармонии и чистоты... Но какие же они были вымученные, и так дисгармонично, отчаянно горькие... нечистые? Нет, всё не то. А что – то?.. Меня что-то от них отталкивает очень сильно. Я – ханжа? Я боялась обидеть этих пьяных подростков, а они обвинили Иисуса в подлости, и я спокойно – с улыбкой! – не соглашалась. Когда-то я бы бросилась на обидчика с кулаками или шпагой, орала бы, возмущалась... А сейчас... Смешновато, жалковато... И как-то очень понятно, что Иисуса это обвинение никак не коснулось, честь его не задета, и в защите он не нуждается. А мальчишки задеты. И нуждаются в помощи. Моей? Или самого Иисуса?.. А нуждаются ли они в прощении? И вообще, что это значит – прощать человека, обиду или вину? Вот мой брат меня обидел, а я ему семизжды семь раз прощаю это. Именно так учил Иисус. И, следовательно, нужно думать, что Он-то простил бы этих мальчишек, оскорбивших Его. И я должна простить их? Но что это всё-таки значит? Это значит, что я вообще обиды или боли не чувствую, а только жалость к обидчиками и любовь? Или всё-таки сначала мне больно (или обидно), но я преодолеваю это чувство чувством любви и жалости? В первом-то варианте и прощения никакого нет. А возможны, видимо,

всё же – оба... Я ведь тоже подростком этими вопросами мучилась. И о требовании воскресения и любви. И о том, что уводил от матери...

*Все время думаю о мальчиках. И, кажется, начинаю понимать еще одну очень важную вещь. Что нельзя требовать от людей, не знавших любви, не имевших любви в своей жизни, того же, чего естественно требовать и ожидать от тех, кому была дарована в жизни любовь. Банально? Давно известно? Ну и что же! А всегда ли мы помним это в жизни своей? Конечно, у этих подростков есть любовь родителей. Может быть, у них есть друзья, может быть, даже любимая девочка. Но это другое. А вот необыкновенной, волшебной любви, превращающей механизм в организм, а организм в душу, в Царствие Божие, – такой любви, такой **любви** эти дети еще не знают. Они еще не были омыты ею. И потому многое из того, что естественно для нас, для них непонятно, невидимо, не существует. И нельзя требовать от них того, чего они не могут. Они не знают еще любви, которая оживляет неживое. И ведь не только с подростками так. Многих взрослых людей никогда не коснулась эта волшебная палочка. Они просто не могут, не умеют мочь то, что умеют любящие и любимые. И нельзя ни ждать, ни требовать от них этого...*

Нельзя ждать от них этого. Нельзя ждать этого от Каина, от Тимоти, от тех призванных на войну немецких мальчиков, которые жгли склады и церкви с запертыми в них людьми. А от другого мальчика? Того белорусского мальчика, который эту полыхающую церковь видит, потому что только что чудом выбрался из нее, но в ней остались и горят сейчас у него на глазах все его близкие, все односельчане?*

Или от того русского мальчика, который пережил страх остаться совсем одному на свете, когда посадили его отца и отчима и тяжело заболела, грозя умереть, мама. И, пережив этот страх, он, вроде бы, решил отказаться от жизни, если мама умрет, – но, медленно спускаясь по лестнице ночью на чей-то настойчивый звонок и понимая, что это могут быть только *они* и что эти *они* пришли за ними, за ним, маленьким подросточком, и его мамой, умирающей в жару, он исступленно, не помня себя от страха, молится: «Боженька, миленький, сделай так, чтоб только не это». А потом, еще больше отчаявшись от несмолкающего звонка: «Миленький Боженька, уж если это нужно, если иначе нельзя, сделай, чтоб не меня, пусть одну только маму, но только чтоб не меня»**.

* Фильм Элема Климова «Иди и смотри».

** Ю. Нагибин. «Тьма в конце тоннеля».

И всё вскрикивает во мне от ужаса, стыда и боли, и я ни на один волосок не могу осудить этого перепуганного ребенка, хотя он совершает предательство.

Он совершает предательство, которым будет мучиться потом всю жизнь. Но не за него мне стыдно и горько. Мне снова и снова стыдно, горько, отчаянно, страшно, оттого что мы – такие, мы допустили такое; и мы допустим это еще столько раз, сколько оно захочет быть, потому что мы же не стали лучше, мы стали хуже, хуже, хуже; в нас еще меньше чести, достоинства, любви к добру и невозможности принять и сделать злое. Мы всё можем, мы пойдем на любой компромисс и уговорим себя, что так было нужно, нам даже уговаривать себя не нужно будет, наша совесть так услужлива, мы так готовы на всё, что требуется от нас, или только нам кажется, что требуется. Моя честь? Пожалуйста. На колени? С удовольствием. Мы – равнодушные, мы только к самим себе не можем быть равнодушными. Да и к себе ли? Только к плоти своей, чтоб ей сытно, тепло, удобно, приятно было. Пусть рядом с нами убивают ребенка – мы глаза закроем; пусть обижают, насилуют – нам-то что? А потом мы скажем с чувством собственного достоинства: «Лично я отказываюсь считать себя виноватым. Я не несу ответственности за всё, что происходит в стране». Как же любить-то нас...

А тот белорусский мальчик? Что можно сделать для него после того, что ему пришлось увидеть и пережить? Утешать? Но чем? Защищать? Но как? Да, наверное, ничего и не сделать для него, а любить только... Ничего нельзя исправить в мире, но в себе можно... А когда они уже жгут, опьяненные буйством огня, как их тогда любить?.. Надо любить раньше, чтоб они не смогли. Этот бы не смог... Этот бы – не смог?

А лес там, в Белоруссии, на экране... Он был полон тишины и молитвы. Только лес. Только он один.

А мальчик – он сирота и дитя человеческое. И повторит весь путь, все пути. Хотя защитит его не человек. Защитит ли? Конечно. Все равно защитит... Как тех, кто сгорел?..

* * *

Моя комната, моя кровать, мое зеркало – дверь в Зазеркалье – это всё тоже в космосе? Смотрю на себя. На себя ли? Вижу женщину, она глядит на меня, но не меня она видит. А я? Кого, в самом деле, вижу я?

Черноволосый юноша с умными выразительными глазами. Он открыл мне так много когда-то. И все о Главном. Он первый загово-

рил со мной о религии так, что хотелось думать и говорить с ним об этом еще и еще. Он намного моложе, совсем еще мальчик, но я, старшая, учусь у него и через него. Как легко и ни перед чем не испытывающая страха говорит он о самом важном и большем. Но в том-то и дело: он ничего не боится, ничего не стыдится, ни перед кем не замолкает, не останавливает своей декламации. И кажется, что он заменяет религию, святость и святыни чем-то искусственным, более удобным, очень похожим на настоящее, но всё-таки не настоящим. Он никогда не говорит: «Если дорасту», – он уверен, что уже дорос. И поэтому речи его, очень мудрые и об очень мудром (ведь это мысли и опыт многих великих мудрецов Востока и Запада) становятся простой болтовней...

Жизнь всё расставляет на места. Нас с ним, относительно друг друга, тоже. И, разведя нас на достаточно большое расстояние, чтобы каждый мог идти своей дорогой, по своей тропинке, сохраняет нас друг для друга. Когда, после нескольких лет молчания и жизни врозь, он вдруг звонит мне по международному телефону и говорит, что я самый родной ему человек после родителей, жены и детей, я ему абсолютно верю. Я тоже все эти годы и на таком большом расстоянии сохраняю к нему всё тепло и нежность тех наших юных дней. И потому радуюсь, что он пришел. Я могу легко и не стесняясь обнять его. Нам хорошо посидеть, обнявшись, но оставаться при этом каждый в своем мире, на своей тропинке. Нам хорошо и легко любить друг друга.

* * *

По телевизору какая-то программа, и я неожиданно для себя смотрю половину «Дон Кихота». С того места, когда все насмеваются над ним, а прачка защищает. И он говорит, что самый трудный подвиг – разглядеть людей под масками, увидеть, что они хорошие и добрые люди...

Как я люблю Дон Кихота! Самого Дон Кихота, и фильм Козинцева о нем. А заодно и фильм о Дульсине*.

Сколько раз мне хотелось заплакать в первой части этого фильма. Не плакала и во второй. Но когда Санчо вдруг закричал Луису: «Господин мой», – и побежал к нему, к своему господину, к Дон Кихоту, я не выдержала и заплакала от счастья, или не знаю от чего, ведь Дон Кихота били, а я плачу не от жалости, что бьют, а от радости, что он есть, снова есть, всегда есть...

* «Дульсинея Тобосская». Режиссер-постановщик Светлана Дружинина, сценарий Александра Володина.

Потом, после фильма, вышла на балкон. Небо и воздух – частицы Вечности. Мир тих и бесконечен. Стоит – или парит над землей – молитва. Тишина... Что-то изменилось. Сначала я не могу понять: что же? И вдруг вижу: тополек мой балконный оделся в зеленые листья. Ведь давно деревья за окном зеленые – и акации, и вишни, и каштаны. И цветут. А потом вдруг – как озарение: это же тополь зазеленел! Последний. И моя икона – то, что я вижу в окне, – преобразилась, приобрела другую тональность, более радостную и, может быть, чуточку легкомысленную. Как хорошо. И как хорошо, что и зимой, когда он снова оголится, он не перестанет быть моей иконой. Как хорошо...

Всё помогает мне. Деревья, солнышко, небо, цветы. Они все помогают мне, чтобы я не умирала раньше времени, чтобы осталась в нашем мире света, нежности и высоты. Я тоже стараюсь помогать им, чтобы они помогали мне, чтоб им не очень трудно было помогать мне. Только я не всегда стараюсь, и не всегда хорошо стараюсь...

Я плохо люблю. И плохо строю наш Монастырь, который, как любой другой храм и дом, разрушается, если о нем не заботятся. Я виновата. Целые залы оставила я пустыми, без икон и без музыки, превратив их из залов Храма сначала в комнаты дома, а затем в пустые обиталища. Это моя вина. И болезнь ничего не оправдывает. И скорая смерть тоже. Даже наоборот. И ты не знаешь, как помочь мне – и нам. Ты только смотришь на меня любящими и грустными глазами... Не буду об этом. Нельзя об этом говорить. Стыдно. Не потому что стыдно своей вины. Само говорение стыдно.

Любовь в мире – одна. Как океан расходящихся кругов – волн Любви. Каждый отдельный человек живет-живет, и вдруг его касается волна любви, волна из океана любви, бесконечного Океана. И тогда с человеком случается это: он становится частью Океана. Сначала он только вбирает в себя волны любви, он вбирает их в себя, строит из этого свою полюбившую душу, учится любви и сам излучает радость и свет, потому что уже не может иначе... А потом, когда душа напиталась любовью и сама стала ею, человек сам распространяет волны любви, сам излучает их в Океан. Конечно, при этом он всё равно вбирает волны и в себя тоже, но, главное, что он теперь тоже производит их. Это – его время творить Океан, и он творит, он излучает, излучает, и где-нибудь, когда-нибудь волна коснется кого-то, и этот кто-то познает любовь: теперь его очередь. Цепь бесконечна, бесконечна Любовь. Единая. Общая.

Когда я тебя люблю, я, не зная об этом, продолжаю ту бесконечную, не знающую начала, не ведающую конца Любовь. Стою на бесконечном, вдаль уходящем луче, на котором стояли и светили до

меня, будут стоять и светить после... Это всё я. Это всё ты. Это всё наша любовь. Единственная. Неповторимая, только твоя и моя, только моя и твоя. Единая для всех любящих во Вселенной.

Никто никогда никого не любил так, как я тебя люблю. Это правда. И поэтому все любящие на свете – я. Все любимые на свете – ты. Ибо едина любовь. Едина во все времена и во всех уголках Вселенной.

Наша любовь превращает мою жизнь в молитву. Живу, молясь. Живу в молитве. Чем будет смерть моя? Чем была твоя смерть?

Благодарю. Благодарю Бога за нашу Любовь. За каждое прожитое нами мгновение – самое крохотное, самое незаметное. И за то, что будет потом – там.

Благодарю тебя. За всё, что есть ты. За каждое твое слово, за каждый поступок, каждое прикосновение. За всё, что ты подарил мне, за наши прожитые на земле годы. Ни одной секунды я не хотела бы изменить. И, если бы можно мне было о чем-то просить Бога, я просила бы только об одном: длить и длить то, что началось у нас с тобой когда-то, хотя я и так знаю, что оно никогда не окончится. Ты столько даровал мне счастья, столько принес с собою, что никогда мне не выразить своей благодарности тебе. Ты подарил мне Вселенную, Бога, любовь. Прими и ты мои дары, возлюбленный...

...И опять мне хочется всех любить, всех вместе и каждого отдельно. Мне хочется дарить всем радость, сделать каждому что-нибудь хорошее, чтобы и им было так же светло и радостно, как мне, и чтобы и им хотелось всех любить и всем дарить радость.

Хочу, чтоб всем было хорошо!

Хочу, чтоб люди радовались и любили друг друга!

Хочу, чтоб все были такими же счастливыми, как я.

Чтоб никто не плакал, не умирал раньше смерти, не страдал и не мучился.

Чтоб все любили цветы и добро.

Чтоб не было обиженных и одиноких.

И пусть это будет – не благодаря мне, а просто само собой, но пусть будет у них, пусть будет.

И еще пусть будет им свет и радость и от меня тоже, хоть чуточку, ведь так хочется дарить и делиться, дарить и делиться, дарить и делиться, и богатеть...

ГЛАВА 4. ФА

И, по комнате, точно шаман, кружа,
я наматываю, как клубок,
на себя пустоту ее, чтоб душа
знала что-то, что знает Бог.

Иосиф Бродский

Я дома. Одна. И не принимаю гостей сегодня. Нет, ни о ком не забыла, ни о чем не забыла. Но сегодня, сейчас, я дома – и никого не принимаю. Просто... Просто мне не сказать сегодня ни слова, так много во мне *не слов*.

Я плачу, потому что хочу всё обнять, всех обнять, весь мир обнять... но сегодня... сегодня не надо гостей, пожалуйста...

Исчезает, уходит, прекращается всё сущее вокруг – от гостей с их шумом и шутками – до вечных проблем, – всё в фон, а фон – в никуда, всё – в никуда, и только что-то клубится внутри, клубится и становится большим – больше тебя, больше нас, больше всех и всего на земле и в космосе, само становится Космосом. Невидимое становится видимым. Молчание. Пустота всеобъемлющая.

Потом вдруг возвращаются слова, потоки слов, в них можно утонуть, тем более, что их нужно прятать от чужих гостей, хотящих музыки или пирожных, или обнадеживающего утешения, или интеллигентных бесед, или чего угодно, но только не молчания, не возможности отдаться этому невидимому, не сказанному, не произнесенному.

А как говорить с гостями? Как? «Я не могу, я занята, ну подождите»? А потоки не становятся ни меньше, ни тише. Льются и льются до того самого момента, когда не выдержать уже, и они изливаются наружу.

* * *

В комнате звучат «Партиты» Баха. За окном – солнце и медленно плывущие облака. В душе – протяжная, тянущаяся тишина, светлая печаль и молитва.

Так тихо, как только может быть ранним утром. И птицы поют нам, и Тишина поет в нас.

Как Божье дыхание надо мною – неожиданное явление любимого! Как вознесение, как начало полета!..

Доброе утро, родной мой. Мы начали его Бахом. «Партиты» опять звучат в нашей комнатке. Бах звучит. За окном тополя не хотят желтеть, солнышко ласковое, небо голубое по-летнему, но воздух – осенний, а замерло всё не по-летнему, а по-весеннему. Вот

так и будем жить с тобой. Ты – там, я – здесь пока. Нераздельно, нерасторжимо, неотделимо. Давай будем жить хорошо, любимый.

Бах звучит в нашей комнатке и проникает в меня, и рождает во мне, разливает во мне Бесконечность. Она всё ширится и ширится во мне, и я даже не знаю, тебя ли я люблю, или мир, или воздух и облака за окошком. Только что-то любит и любит во мне. Вообще любит. А может быть, не любит, а молится, – а впрочем, какая разница. Разве это не одно и то же?..

Возлюбив мир музыки Баха и Моцарта, почему не сумела я выисаться и очиститься настолько, чтоб всегда жить в этом мире?

Высота, чистота, глубина, невесомость... А вместо этого раздраженная и раздражающая тяжесть, пустота. И тревога вместо тишины. И мрак вместо света. Почему же? Почему не происходит этот, такой естественный, такой очевидный выбор? Почему душа устает от высоты, а внизу не знает усталости? Неужели внизу ей привольней? Но ведь дом ее – бесконечность.

Осенние листья и музыка Моцарта и Баха из одного царствия. Тишина и беззвучие осени сливаются с тишиной звучания Беспредельности, мелодией покоя, мелодией Космоса.

Маленькие кусточки, травушки, цветки не устают от молитвы. Их души не знают ни усталости, ни страха перед зимой. Почему же мы не такие? Зачем отвлекаемся чепухой, суетимся по пустякам, ссоримся по мелочам, отдаемся болезням и слабостям? Зачем между большим и малым выбираем малое? Богооставленность. Это – когда мы оставляем Бога. Зачем мы оставляем Его даже после того, как узнали счастье Благодати?

* * *

Молчу, застыв в своей комнатке перед окном. «Застыв» – это потому, что сижу неподвижно, не шевелюсь и не хочется ни двигаться, ни говорить. Во мне живут и одесский мой тополь, который я сейчас вижу, и солнечный воздух, который совсем-совсем готов стать весенним, и птицы, летающие над пляжем и океаном, и бледные сердолики, рассыпанные в Коктебеле так неожиданно щедро, будто ожившие акварели, в которых никогда не присутствует человек. А почему, почему их автор, так любивший людей вокруг себя, никогда не пускал их в свои акварели? Может быть, человек был бы неуместен здесь, он был бы попросту неприметен. Это – иной мир, иные измерения, иная жизнь.

Какая Тишь, какая Вось обитают в Коктебеле. Как мал и как не

в центре здесь человек. Как мал и как не в центре человек во Вселенной! Он не нужен ей, и она к нему равнодушна. Грустно ли это? Не знаю. Есть в этом что-то очень светлое – смиренно осознавать малость и неглавность места человека.

Здесь легко обрести веру, здесь трудно не уверовать, здесь душа растет, причащаясь Великому, Бесконечности, Космическому... И я молчу, потому что во мне – полет и молитва. Только нет, нельзя – «полет и молитва». Это одно и то же – моя молитва и мой полет. Я лечу в том небе, которое «не над нами, а в нас», а это же и значит, что я молюсь...

В умной книжке написано, что Будда ничего не делает, а только позволяет Бытию случаться. И когда у человека наступает такое, он при этом достигает природы Будды.

О том ли это, что случилось со мною? Не помню уже, когда это случилось впервые, когда я не делала, а *оно делалось само*? Что делается сейчас, когда я сижу неподвижно у окошка нашей коктебельской каморки, глядя в воздух одесского двора и бруклинской набережной, не думая, не размышляя, а только существуя? Что-то очень хорошее, очень большое, очень сущее, что-то из сути Бытия, может быть. Летаю ли я? Летаю. Плыву в Бесконечности и в Тишине. Но при этом что-то летает и во мне. Что-то парит, плывет, летает внутри меня в моем внутреннем небе. Что это? Мы – бесконечность, небо, Тишина для того, что летает внутри меня? Или это та Тишина, Бесконечность, в которой я плаваю и парю? И значит ли это, что мое Небо, мой Космос одновременно летают во мне?

* * *

Мы просыпаемся рано утром. За окном пасмурно и тихо. Или солнечно и радостно. Или дождик задумчивый каплет. Или даже белый и тихий снег. Небо никогда не бывает пустым или нейтральным. Оно всегда живое и всегда разговаривает с нами. Где это всё происходит? Здесь или *там*? Оно может быть здесь. Оно может быть *там*. Оно может хотеть быть *там*, но что-то в тебе мешает ему, как моя болезнь мешает мне летать в последнее время.

Мы идем по осеннему скверу, каждый наш шаг знает об осени и тишине. Мы едем в переполненном троллейбусе, или автобусе, или в трамвае, или в метро. Иногда нам выпадает удача, и мы едем сидя, а чаще всего качаемся вместе с толпой пассажиров, и всё это, конечно, здесь. Но улетает душа, и мы вслед за нею. И наступает тот самый полусон-полуявь, в котором, как за мокрым стеклом или в знойном мареве, происходят обычные и необычные чудеса. И мы улыбаемся

им, и они кажутся нам такими естественными, да они и есть естественные... И где же всё это – здесь или там?..

Нечто стоит за всеми пустяжными и малыми делами. Нечто стоит за повседневными обычными обязанностями. И это *нечто* замыкает все пустяки, создает из замкнутости незамкнутость. Всё кажется очень важным. Главное стоит за всеми мыслями, поступками – за всем. Оно постоянно присутствует в жизни и делает всё в ней важным.

А потом вдруг в какой-то момент Главное уходит. И все события, мысли, слова и поступки теряют важность свою. Исчезает одно измерение. Исчезает измерение, которое переводит конечное в бесконечное. И всё гаснет. И становится: работа, еда, сон, чтение, домашние обязанности... А жизнь? Нету. А бесконечность? Нету. И летать нельзя, и молиться не получается.

Как только Главное возвращается (а оно возвращается временами), сразу всё озаряется. Тогда попадаешь в Космос, в Божий мир. И вместе с тобой всё, что на земле, – и ребятишки, и перцы, которые нужно купить на рынке... А потом – хлоп. Кто-то нажал на кнопку. Волшебство исчезло. И важного уже не видно... Живешь себе... Но я не хочу так жить. Мне нужно туда, где всё – Главное, туда, где небо и, может быть, за-небо...

Нет, я рано сдалась, это еще не начало последнего перехода, а только начало искупления.

* * *

Сажу на балконе, глядя на речушку. Она не речушка, она канал, но поросший по берегам травой и кустами, но с рыбками, выпрыгивающими из воды, но с пеликанами и цаплями – целый мир, для меня – речной мир. И я зову этот канал речушкой. Смотрю на зыбь плавно уходящей куда-то, почти стоячей, но уходящей всё-таки воды. Смотрю на рыбок, на кусты, на пеликанов. Чуть подальше – другой мир, мир океана. Там совсем другая вода, другие рыбы, другие пеликаны. А между ними – мир города с шумной автострадой, с магазинами и ресторанами, с людьми, спящими по своим делам. Смотрю на всё это отстраненно, и то ли размышляю, то ли медитирую о множественном и одновременном сосуществовании различных миров в едином месте в единое время. И вдруг, как толчком, меня озаряет, что жизнь осмысленна, что она нужна и прекрасна. И что неизвестная мне моя миссия обязательно есть, иначе меня бы здесь не было, что я ее каким-то образом осуществляю. Что ни болезнь, ни близкая смерть не могут помешать этому, а только являются ее частью.

Ставшее уже привычным ощущение бессмысленности и ненуж-

ности моего существования на земле, ощущение не жизни, а медленного умирания, уходит мгновенно и без усилий, сменившись ощущением полноты, осмысленности и необходимости моей жизни, сколько бы ее ни осталось, – необходимости не мне, а миру, да простится мне эта кажущаяся нескромность.

Ничего не произошло, ничего не изменилось, никуда не ушли недомогание и плохие прогнозы, никуда не ушли пустота, слабость, сиротство, неразделенность предстоящего. Не ушли? Именно что ушли, исчезли, в мгновение меньше секунды! И всего только потому, что душа распахнулась. Вот оно и открытие. Всё дело не в событиях, не в свершениях, не в размышлениях даже. Всё дело только в этом – в распахнутости души и принятии в нее мира. Даже не мира – миров.

Пока замкнутая на своих болях, утратах, бедах и страхах душа остается одна, не впуская в себя мир, она и будет сиротой, пусть даже найдутся любящие ее люди. Она и будет обречена не на жизнь, а доживание, потому что не может быть жизни души, сосредоточенной только на самой себе, без большого, открытого мира. Но как только откроет она миру пусть хоть маленькое окошко, как только раскроет свои дверцы и впустит в себя этот мир (любой из множества – мир моря, мир цапли, охотящейся в речушке на рыбу, мир рыбок, мир птиц, мир людей), как только войдет в нее этот мир, так сразу и свершится чудо. Исчезнет сиротство (какое же сиротство, когда целый мир – семья), исчезнут бессмысленность и пустота существования (какие же бессмысленность и пустота, когда радость от насыщенности и полноты), и мысли о выполняемой и невыполняемой миссии станут просто ненужными и не будут никого волновать...

Господи, пусть бы это послужило началом...

* * *

У нас вся осень простудилась от мокрой серой крупы, что сыплется или льется с неба, от сырости и ветра, от зыбкости и неуютности. А в это время там, в Армении, стоят горы. Лежит армянская земля. Белеет сквозь туман и слякоть всегда светлый, всегда чистый Арарат. Святая гора. Библейская земля. Место, напоминающее людям о Боге; доказательство того, что Бог есть. И я улыбаюсь. Почему? Не знаю. Потому что они есть – Армения и Арарат. Они всегда есть.

Давай праздновать нашу Армению. Эти древние горы, которые, кажется мне, были всегда, этот знойный луг, который не укроет нас от жаркого солнца. Этих людей, которые семьсот лет назад строили этот мост. Эту речку, которая кажется такой тихой, – но известна всем тишина горных речек! Коров, которым, как и нам, некуда и незачем

спешить, потому что Времени нет, а есть... А что есть, что есть, любимый? Что есть для них, для зеленых деревьев и для нас с тобой вместо времени? И почему, если Времени нет, так остро я ощущаю единую ниточку, связывающую это «всегда», в котором стоят горы, и тех людей из XIII века, и всех тех, кто семьсот или восемьсот лет ходил по этому мосту, и всё то, что было, пока люди ходили по этому мосту все эти столетия, и как в это же время текла река, и как всё это влилось в наше с тобой мгновенье, а после нашей смерти ниточка продлится и уйдет вдаль...

...Горы. Они стали для меня полной неожиданностью. Я совсем не ожидала того, что увидела. Я, конечно, знала, что увижу горный край, но то, что предстало перед моими глазами, – это не горный, а горный край, горная страна, наша земля обетованная. Это наш Дом, не имеющий стен и потолков. Не сами горы, не камни и земля, не снег, не воздух, а то горнее, что я вижу, что струится и возносится.

Мы привыкли думать о нашем Доме, как о чем-то, не имеющем воплощения. Его нельзя увидеть. Помнишь, когда-то я пыталась поселить нас в храме, в какой-то церкви. Мы оба понимали тогда, что это было не то, что это не было воплощением нашего Дома. А эти горы под солнцем, стоящие, вечные, молчащие, – это и есть его воплощение; может быть, не единственное, может быть, есть где-то еще и другие. Это – воплощение, но в то же время не материальное, не телесное. Снова свершается чудо: невоплощенное и невоплощаемое становится зримым. Ведь когда я в самолете смотрю вниз и думаю в ликующем восторге, в молитвенном ликующем восторге: вот где бы нам жить, вот где Дом наш, – я ведь не представляю себе, что мы бы жили в этих горах. И совсем не хочу, чтобы мы ходили по ним или жили в домике или шалаше, или еще где-то. И даже не мечтаю о том, чтобы мы летали над ними, хотя, конечно, и летали над ними, но не по-земному, а по-нашему летали. Не над горной землей, а в горном краю. И потому воплощение всё равно духовное, в духе, а не во плоти. Можно увидеть Дом, но нельзя потрогать его, невозможно приблизиться к нему. Он всё равно остается невоплощенным, бестелесным. Но в той невоплощенности становится более осязаемым, зримым... ты понимаешь?

И вот, глядя в эту невыразимую чистоту, в эту белизну нашего горного Дома, я начинаю потихоньку грустно думать, что мы не смогли бы жить в нем, что мы наследили бы в нем своей мелочностью, своей суетностью, мы испачкали бы его, осквернили бы. Мы бы не смогли удержаться на той высоте, в той чистоте. Я вспоминаю, как мы ссорились и мирились. И понимаю, что здесь это невоз-

можно. А у нас было возможно. Но раз было возможно, значит, мы не здесь. Мне очень грустно думать об этом. Мне больно смотреть, как горы уплывают от нас, от нашего самолета. И думать об их недоступности...

Ты снился мне сегодня. Я почти ничего не помню, но помню, что наши губы целовали друг дружку нежно и по-детски, как и тебе запомнилось. Соскучилась очень. Так хочется снова жить вместе, всё делать вместе – всё-всё-всё вместе... Нет, не всё. Болеть вместе не надо. Да ведь ты уже и не умеешь болеть...

Всё время хочется разговаривать с тобой. О пустяках и о важном, о мелочах и о главном. Мы и разговариваем...

...Горы! Они показались сразу, совсем неожиданно, хотя ожидаемые, – я ведь знала, что будут горы. И будто кто-то омыл меня святой водой: такая я вдруг стала очищенная, сама себе не в тягость и отвращение, – как в беспокойстве, страхе и суетной тревоге последних дней и недель, – а легкая, светлая, улыбающаяся.

Горы приближаются ко мне. Они приближаются ко мне постепенно. Смотрю на них, далекие, и люблю их, и зову их, радуюсь им. А они где-то там стоят, те самые, которые я видела когда-то из самолета, которые казались мне реальными и существующими, как облака, которые я тоже видела из самолета. Приблизиться к этим горам можно так же, как к тем облакам, на которых можно сидеть, лежать или бегать по ним, – только оставаясь в Нашем Доме. Вот еду в автобусе по облаковой улице, а справа и слева – они, облака, такие же белые, такие же прекрасные, как из самолета, но чудесным образом приблизившиеся к тебе. Господи, да я просто переполняюсь радостью от этого чуда, любовью к нему, к ним, ко всему, что я вижу. Невозможное свершается, несбываемое сбывается!

А потом какая-то гора выскакивает, становится у дороги и подталкивает эту дорогу, и дорога не боится, а играет с горой в салочки, обегает ее то с одной стороны, то с другой. И я смотрю на эту гору рядышком, близко-близко, так что уже не только гора видна, а и камни, и земля, и снег, и трава прошлогодняя. Совсем близко. И я люблю ее. И под белой снежной накидкой, нарядную, чистую; и мокренькую, не одетую ни в снег, ни в траву, как по утрам человек бывает. Он еще не умылся, не причесался, не оделся, еще весь помятый какой-то.

А еще мы там проезжаем села. И опять я всех люблю. Проезжаем мимо баранов – баранов люблю, увидела ослика – так и

рванулась к нему. Мне хочется обнять их, барашков и ослика, целовать их, играть с ними, резвиться.

Мы едем довольно долго. И я всё смотрю и смотрю на них. Смотрю на них и молюсь. Не знаю, как и о чем. Никак, ни о чем. Меня возносит к ним. И молитва сама течет и летит во мне. Стекает с меня к ним? Стекает с них ко мне? Молюсь им, как маленькая великому, как любящая частица возлюбленному Целому. Им ли – или через них Ему? Не знаю, не знаю. Только нет разобщения внутри меня. Мне хочется прижаться к горам щекой. Но я уже парю в них, над ними. В этом нет противоречия, потому что я – цельная, всё связалось со всем, всё стало единым; плоть не мешает полету, полет не зачеркивает чувственной любви.

В молитву начинают входить слова. Этими словами я пытаюсь вывести на уровень сознания то, что наполняет меня, мою молитву. И сразу всё становится бледным, схематичным. Хуже того: как только стали произноситься слова, цельность начала уходить из меня. Я еще не чувствую этого, но во мне уже появляется разобщенность. Ягненок перестал лизать льва, а лев перестал улыбаться ягненку. Но я еще не понимаю этого. Всё так же смотрю на горы, и так же хочу слиться с ними, раствориться в них, перестать быть собой, стать ими, их частью.

Но как же я хочу стать горой, стать частью гор? Ведь если я буду горой, то уже не смогу так любить их и молиться. Не буду воспринимать то, что сейчас воспринимаю, не буду осознавать это. Как я смогу молиться небу, если сама буду небом? Нет, я хочу не стать ими, а любить их. И когда говорю о слиянии, то это слияние любви: я хочу слиться, но продолжать любить... А можно так? Наверное, можно – и слиться, и быть единым, и всё-таки любить эту часть «я-не я», «я-ты», не знаю, как назвать это...

Какое счастье, что у нас с тобой одна молитва! Одна молитва на одном языке. Между нами всего только... Вселенная? Мир? Миры? Не знаю, что это, что между нами. Но молитва-то у нас одна. И значит, мы вместе, мы одно, мы не разминулись в пространстве и времени. Нельзя, чтобы мы разминулись, чтобы ты не слышал моей молитвы. Это ничего, что ты уже там, а я еще здесь. Я скоро тоже буду там, нужно только не разминуться, нужно только суметь мне попасть туда, где ты, нужно только, чтоб Бог разрешил нашу встречу...

Разрешил нашу встречу? Я вспоминаю, и горячая краска заливает мое лицо. Когда это было? Сколько лет прошло с тех пор, когда я сама, своими руками сделала эту встречу невозможной. Я вспоминаю. И мир плывет не от хмеля, не от высоты, не от света и нежности...

В скальной церкви из-под потолка каплет вода. Она каплет уже восемь веков. Это чистая горная вода, родничок. Конечно, ее считают святой. Внизу выдолбили маленький бассейн, он полон воды. Верующие совершают тут омовение. Верующие и туристы бросают в воду монетки. Считается, если загадать при этом желание, то оно исполнится. Я вынимаю несколько монет, не глядя. У меня два желания. Сначала я бросаю пятнадцатикопеечную монетку и прошу (кого?), чтобы тетя моя была подольше со мною... А второе желание – про нас с тобой. Я знала, что оно будет, и что оно будет вторым после тети. Как всегда, когда речь заходит о нас, я теряю способность говорить хоть какие-то слова. Я ведь и при нашем венчании ничего не говорила. У меня слова в эти мгновения отступают, как вода в песке. Единственное, на что я при этом способна на уровне слов, это пробормотать в конце концов: «Господи, Ты же суть знаешь, зачем Тебе мои слова!» А суть – та же, что и всегда у нас: «Господи, соедини нас. Дай нам быть вместе. Даруй нам вечную встречу. Помоги мне после смерти воссоединиться с любимым». И вот, простояв мгновенье в растерянности без слов, но помолвившись о нас, а потом в еще большей растерянности пробормотав те слова, которые легко всплывают, потому что часто повторяются, я беру монетку. У меня на ладошке несколько медяшек и одна двадцатикопеечная монетка. Я хочу взять двадцатикопеечную, но мне становится жалко, я беру пятак, бросаю в воду и ухожу. И в то самое мгновение, когда я бросаю медяшку, в ужасе понимаю, что мы с тобой теперь уже никогда не будем вместе, никогда. И что это я сама только что своей поскупившейся рукой зачеркнула всякую возможность нашего воссоединения. И теперь уже ничто не поможет, дело сделано.

Я ужасно испугалась. Даже не очень раскаялась, так испугалась. Как будто Боженька (не наш Бог, которому мы молимся, а тот, который наказывает и прощает, кого боятся и пытаются обхитрить, кому молятся дети, прося его, чтобы мама не узнала про двойку), так вот, как будто тот Боженька тычет в меня пальцем и говорит: «И ты еще хочешь, чтобы я соединил вас? Ты, пожелавшая для этого монетку в двадцать копеек! Если ты двадцать копеек пожалела отдать, чего же ты не пожалеешь? Понимаешь теперь, что вы всегда будете врозь, понимаешь?» И я ничего не могу ответить. Я понимаю. Я не выдержала такого ничтожного испытания, вот почему мы всегда будем врозь. Я не могу быть с тобой, потому что не могу быть там, где ты.

Бросаю новую монетку и прошу: «Господи, прости меня». Но знаю, что мне не может быть прощения, потому что скупость

осталась во мне. И еще потому, что испытание уже окончено, и я его провалила. Мне очень стыдно и беспокоино. Так бывает в детстве, когда совершишь проступок, получишь плохую оценку или напроказишь. Ждешь наказания и боишься его. И на душе, как и тогда в детстве, тяжело и муторно.

Вот ведь, даже такой простенький обряд, оказывается, полон смысла. Я воображала, что переросла его, а он вон каким уроком мне послужил... Ну как я могла, как могла! Только что была такая Молитва, такая Высота, такой Полет! И вдруг!.. Как же я, такая, могла хотеть слиться с горами?.. Но не может же быть, чтобы я была совсем уже безнадежна: если бы я была окончательно безнадежна, разве было бы мне дано увидеть эти горы? А с другой стороны, как же я могла – после этой Молитвы...

* * *

Мне тревожно за себя. Это странно, потому что сейчас всё хорошо. Еще недавно я часто не могла читать, оттого что мне мешали боли и страхи. Они буквально переполняли меня, я прислушивалась к каждому шевелению внутри, всё было для них поводом. Я останавливалась над только что прочитанной строчкой, и это становилось началом, дальше мысль шла, летела, уходила далеко, но не в свет, а в тьму, в страшное, в картины будущих страданий, угасания, смерти. Сейчас я читаю без помех. Боли, конечно, бывают, но они уже не устрашают так отчаянно, не уведят меня за собой. Как-то мы с ними ладим потихоньку. Раньше сразу начиналась паника, теперь совсем нет. Внутри меня стало спокойно. Безмолвие, созерцание, они же *над* размышлениями и открытиями, а не вместо них. Так ли это?..

Гарни – античный храм. Первый век. В карте-схеме о нем пишется буднично, деловито, прозаично: языческий храм I в. – жемчужина армянской античной архитектуры. Развалины крепости III в. до н.э. Базальтовые столбы в ущелье реки Азат.

Мы идем по довольно ровной дороге довольно ровным участком – плато. Храм еще не виден нам, но видны остатки крепостной стены, и во мне бурлят возбуждение, любопытство, недавний Свет Горней Молитвы, раскаяние от содеянного в Гегарде, желание купить у армянки мед или яблоко... что-то еще, наверное. Кроме того, мне холодно и сыро. И тут я увидела... О, Господи! Стань моими глазами, любимый, стань моей душой, стань мною, той мною. Ну давай попробуем вместе. Закрой глаза и смотри. Вот – горное плато. Этаким широкий язык. За ним – ущелье. Там, внизу, бурлит река, но нам ее пока не видно. Зато по ту сторону реки полу-

кругом возвышаются горы, прекрасные, как молитва. Эти горы – сами Храм Божий, Дом Божий. Они молчат, они поют молчание, молитву. Над ними Небо. И на фоне этих гор, под этим небом, в конце широкого плато стоит храм. Маленький, легкий, как птица, стройный, как гармония, светлый, как улыбка. И молится... Ну почему я не могу нарисовать... Неужели я никогда не смогу показать тебе это! Сам храм и то, что за небом, за ущельем, за полукругом гор.

Всё во мне поет и летает. Мне кажется, что я слышу молитву этого храма и тех людей, которые строили его. Я даже не соображаю сразу, что этот храм языческий; то есть я знаю, что он языческий, но как-то лишь номинально. А душа забыла. И вдруг ахнула. Как – языческий? Значит, те, кто строил его, те, кто выбирал место, возводил стены и колонны, те, кто молился в нем потом, – все они были язычники? И не знали о Едином Боге? Молились или поклонялись идолам и божествам? Спорили с богами, кланчили у них и обманывали их, любили их земной любовью земных женщин и рождали потом полусмертных-полубогов? А о том, о Едином, о чем догадался Нарцисс, не знали? Как же, не зная, они воздвигли это? Как же, не зная, они стояли вот на том месте, на котором я сейчас стою, и видели те же горы и то же небо, и тот же еще не построенный храм? Что же они при этом испытывали? У них не было и не могло быть Молитвы, бессловесной Молитвы, Молитвы-Любви, Молитвы-Единения с Космосом? А что же я тогда слышу, стоя в их крепости, перед их храмом? Неужели я слышу только себя? И почему тогда мне кажется, что Храм молится вместе со мной? Но ведь Нарцисс догадался. Значит, кто-то еще мог догадаться. И ведь они создали эту Молитву, значит, что-то в них знало Бога?

Мы осматриваем храм и входим внутрь. Мы видим капище для жертвоприношений. И значит, они все-таки были язычниками и не знали о Едином, но я уже не могу в это поверить. Почему поет во мне этот языческий храм? Или это горы поют? Вот ведь как можно на разных языках разговаривать с Богом. В Гегарде – мрак, подземелье, сжатость. Но для них, для их христианских душ это была их Молитва. Здесь – простор, легкость, Свет, бесконечность, паренье; но они, язычники, и сами не знали, что это с ними делается, не знали, что это они с Богом Единым говорят, к Нему возносятся. Не знали, а возносились. Грешили, святотатствовали, кощунствовали, но не ведали об этом. И возносились?..

Мы привыкли думать о язычниках свысока. Их дух, дескать, был беден, они не ведали о Едином. Они – идолопоклонники. А они – часть Вечного. И Вечное в любой момент может проявить себя, где хочет. В песне язычника тоже. В храме язычников – тоже Вечное. Но ведь

это и есть Бог. И тогда скальный христианский и античный языческий – они только две разные песни об одном и том же; даже более того – это одна и та же фраза, сказанная на двух разных языках. Одна и та же...

* * *

День солнечный. И горы предстают предо мной еще краше, нарядней и светлей. Сажу в автобусе, счастливая и виноватая, любящая, молящаяся и робкая. Но всё-таки радостная, готовая к радости, ждущая радости, ликования, полета. Нам с тобой даруется свидание, «как на самом деле». Это свидание в горах. Мы летаем над горами. И легко приземляемся, и так же легко поднимаемся вновь. Как же это случилось с нами? Просто мы сели в автобус и поехали. Сначала мимо улиц, потом мимо зоопарка, ботанического сада, вдоль реки, упрятанной в бетонный чехол, и вдруг...

Ну, конечно же, горы! И мы, любящие, любимые, влюбленные, схватились крепче за руки, обнялись и полетели к этим горам – всем единым существом своим навстречу этим сияющим горам, залитым солнцем. И чем больше мы любим друг дружку, тем легче, тем поупительнее летаем, а чем легче летаем, тем больше любим. И нам ничего не нужно делать для полета, никаких усилий, только совсем-совсем расслабиться и отдаться этой легкости, этому свету, этому сиянию – и забыть о том, что у нас есть вес, плоть, тяжесть... Мы счастливые и виноватые, потому что мы покинули всех, всех людей на земле покинули, когда шагнули друг к другу и в небо; то есть, не покинули, конечно, но отошли, отодвинулись, отделились от них.

Твое незримое присутствие, твое бестелесное присутствие сгущается, становится осязаемым, как если бы тело твое было рядом с моим – на самом деле. Мы летим с тобой над горами, как мечталось в самолете, хотя я сажу в автобусе и, закрыв глаза, гляжу в твои – несмежные, и всё мое тело любит тебя и тянется к тебе, и губы мои вздрагивают навстречу твоим, близким-близким. Я осязаю твое лицо рядом со своим, я знаю, мое тело знает, что стоит мне открыть глаза – и я увижу твои губы в миллиметре от своих. И щека моя, правая моя щека касается твоей. Я вижу лицо твое, твое любящее, твое наше лицо из нашего Дома и наших Святых, ласкающее, ласкаемое лицо твое. Наше тело молится в горах. Наше тело молчит свою Песнь-молитву, сладостную, нежнейшую, небесную свою Песнь... Чем заняты твои руки, когда мои волосы осязают их ласку? Что делают твои губы, когда сладкая маленькая молния возвещает мне, что ты коснулся их? О, как ты

ласкаешь меня там, в горах, в этом летящем автобусе, как отзывается мое тело на твои ласки. Как просится к тебе и в Небо. Какой явью становится сладостность твоих губ, близость родного лица, такого родного, такого родного! Как сироте – вдруг обретенное мамино, понимаешь?.. Мне хотелось бы длить ласку еще и еще... И горы... Это же те самые бело-черные горы, которые я видела из самолета. Те самые, только близко. Снежные, тихие, поющие Молчание. И сразу со мной делается то, что не сделалось даже у церкви. Молитва охватывает меня. Смерть отступает и уходит в небытие. Жизнь рождается. Снисходит Божья Благодать. И мы с тобой смотрим и смотрим на горы, не отрываясь, всё время, пока это возможно. Смотрим и молчим. А Космос плывет в нас. Мы растворяемся в сиянии гор. Они далеко, – то есть я не знаю, как далеко на самом деле, – но кажется, что в отдалении, не рядом. Они прекрасны по очертанию, по профилю. Какой-то благородный изгиб. И линии изгиба сами по себе чисты и божественны. Эти горы совсем не огромные и не мощные, не подавляющие своей мощью. И они белые, потому что под снегом. И снег делает их мягкими и тихими. Ты же знаешь, каким тихим бывает снег...

Но всё это еще не главное, не в этом суть этих гор. Главное, что они лучатся, сияют. Ну конечно, ты скажешь, что это сверкание снега под солнцем. Так нет же, нет же, не в этом дело. Да, они покрыты снегом, но это не снег – а Снег. Да, они сверкают на солнце, но это не сверкание – а Сияние. Это такое же сияние, как вокруг головы святого. Это свет Божественности. В них нет ни суровости, ни устрашающей огромности. Если бы они были люди, я сказала бы, что они просты, как Моцарт. В них нет величавости, они лучатся и сияют. И когда ты смотришь в это сияние, тихое, скромное, светлое-светлое, ты постепенно растворяешься, твоя плоть растворяется, ты весь устремляешься к нему, и тебе совсем не страшно. Их сияние, их Свет, – как Свет Пушкина или Моцарта. И ты становишься молитвой, светлой, бессловесной молитвой, которая стремится к горам...

...Когда я говорю «горы», я вижу горы в отдалении, белые под снегом, горы не плоти, а духа.

Мы видели много гор. Видели их под солнцем и в облаках, видели облака между горами, ниже гор. Но вот мы видим что-то совсем иное. Я не знаю, почему оно другое. Но, всякий раз, когда я могу взглянуть на *эти горы*, оно происходит со мной. Я всегда знаю, что есть *те горы*. И когда я думаю: «горы» – я вижу их. Я лишь потом, лишь гораздо позже, уже возвратившись из поездки в Армению,

узнаю, что это и есть Арарат: не горы, а гора, но двуглавая. Малый Арарат и большой Арарат. И что армяне так и зовут его: Масис – Гора, как Библия – Книга. А я сама знала, что это – Гора. Что Арарат – Гора над горами, Гора гор. Не высотой, а Божественностью, не набожностью, а Божеством. Горняя Гора, Гора-Молитва, Гора-Свет, Гора-Сиянье. Гора-Бесконечность, ввысь устремленная не горной плотью, а горней сутью своею.

Я вхожу в молитвенный экстаз, глядя на эту Гору. И в этом экстазе, который, может быть, надо назвать иначе – потому что словно в каком-то очаровании сижу я неподвижно, и вся жизнь уходит внутрь, а внешне – застылость, отсутствие движений, слов, мыслей, – в этом состоянии я уношусь куда-то, где мы с тобой, может быть, еще были или снова будем одним, не разделенным на половинки. Туда, откуда мы пришли, туда, откуда пришла наша Звезда... Потом, возвратившись, я не помню того, что видела, что было со мною. И от всего этого остается только восторженное, влюбленное, любовное коленопреклонение перед Горой, перед Масисом, какие-то бурные от влюбленности молитвы, когда хочется ласкать Гору и плакать от любви и почтения... Это похоже на язычество, да? Поклонение Горе? Но разве Бог не мог показаться мне в Арарате? Разве кто-нибудь убедит меня, что не Богу я поклоняюсь, не Его люблю, уносясь молитвами в Арарат?

* * *

...И снова мы едем в Гарни. В этот день я окончательно понимаю, что горы меня не приняли...

Как же так? Ведь небо приняло нас. Небо приняло. Но не по заслугам нашим, а по своей милости. А вот горы...

...Мы приезжаем в Гарни утром. Очень солнечно и довольно тепло, и мы остаемся в Гарни на все возможное время.

Сначала гуляем вокруг самого храма. Людей здесь совсем мало, и горы опять поют свою песнь или свою молитву. Солнышко ласкает нас, и горы ласкают, и храм. Оказывается, внизу протекает речка. Мы стоим, смотрим на нее, бурлящую вниз. И она кажется такой же недоступной, как вершины на другой стороне, как вообще все горы для нас, не альпинистов. Мы видим, что в ущелье возле реки есть дорога, и пещера, и мостик, и плато напротив, и барашки, которые пасутся там. Мы робко дерзаем спуститься вниз. Оказывается, это возможно, потому что есть тропинки, совсем не крутые, только очень извилистые, но это же ничего! Мы обнаруживаем развалины крепости, на два века старше храма, крепости III века до н.э. Видим каменные кладки, куски стен и круглые крохотные башенки, стенки которых были выложены не гладкими кам-

нями, а торчащими остриями наружу. Они очень смешно и наивно топорицатся, такие маленькие растопыренные каменные бочки-ежики. Каждая такая башенка – как современный окоп размером. Только не вглубь вырытый, а в стене встроенный. На одного человека. Меня эти «ежики» очень трогают, в них есть что-то детское, хотя я и понимаю, что дрались в них не дети, и кровь проливали не по-игрушечному.

Мы спускаемся еще немножко и сидим на удобном плоском валуне, глядя на те горы напротив, которые теперь кажутся еще более недоступными, так как нас разделяет река. Но я и не стремлюсь к ним. Мне не хочется непременно топтать по ним ногами, достаточно, и даже лучше, издали смотреть на них и молчать с ними. А может быть, и мы с тобой потому не вместе – материально, – что нам лучше смотреть друг на друга издали и молчать друг с другом? Может быть, материального соединения не бывает на свете ни у людей друг с другом, ни у людей с горами? Или это только у меня так?

Мы спускаемся по очень легким тропинкам, так что мне почти не страшно. Сразу становится видно, какая я трусливая, тяжелая, неуклюжая и нелепая. И мне очень стыдно за себя, хотя я стараюсь держаться молодцом.

Спускаясь, мы соприкасаемся с армянским туфом – телом к телу. И я люблю его чувственной любовью, ласкаю руками, прижимаюсь щекой, целую. А горы будто демонстрируют нам свой живой, одухотворенный, теплый, ласковый, как человеческое тело, туф. Нам встречаются все виды – белый, чуть кремевый, желтый, розовый, зеленый, серый, коричневый, кирпичный и, наконец, черный базальт, и даже обсидиан – горное полупрозрачное черное стекло. И не образцами, а в живом срезе горы – слоями, пластами. Собираю себе камушки на память. Вынимаю каменные чешийки прямо из горы, а потом, угрызаясь совестью, вкладываю их обратно, и они ложатся в свое гнездышко, как ни в чем не бывало.

Мы спускаемся по черным базальтовым валунам вниз, к самой реке. И она бурлит у самых наших ног. Снимаем башмаки и носки и болтаем босыми ногами в воде, а она течет, и течет, и бежит, лаская.

Куда же теперь? Направо пойдешь – к пещере. Налево – к мостику. И перейти на другую сторону очень хочется. Во-первых, потому что там лесок. Во-вторых, потому что можно дотронуться до тех гор, тех, что по ту сторону, то есть тех, что казались не более доступными, чем из самолета. Но ведь одно чудо только что случилось. Ведь река сверху тоже казалась абсолютно недоступной, а теперь, снизу, такой же недоступной кажется далекая вершина с

храмом. Но мы уже знаем, что это только иллюзия. Мы уже потрогали пальцем храм, и потом реку внизу. Невозможное оказывается возможным, хотя прикоснуться к тем горам – это всё равно, что коснуться рукой Молитвы, погладить пальцами наш Дом, потереться щекой о Свет. Останется ли Свет Светом, не превратится ли он в обычное освещение, Дом – в дом, Молитва – в обряд, если мы подойдем слишком близко? Но и река, которая бурлила далеко-далеко внизу, когда мы смотрели на нее с обрыва; река, которая тоже была оттуда, к которой так же не надо было приближаться; река эта – вот она. Она омыла нам ноги, а сама течет без остановки и не замедляет свой бег ни на секунду. И те горы – вот они, они рядом. Нужно только пройти через речку, хоть и очень бурную, но говорят, что есть мостик. А вот канатная дорога – просто люлька, скользящая на канате через речку. Только она не работает.

Мы идем налево. И очень скоро приходим к мостику. Смотрю на него со страхом, как будто не очевидно, что ходить по нему безопасно. Знаю, конечно, что можно спокойно пройти. К тому же мостик, хоть и без перил, но довольно широкий. А речка, хоть и бурная, с камнями и валунами, но узкая. И понимаю, что местные люди всё время ходят по этому мостику туда и обратно. Но упираюсь, боюсь и не могу заставить себя двинуться. Несколько раз пускаюсь в путь, каждый раз делаю на несколько шагов больше, но всё равно останавливаюсь и возвращаюсь. Один раз дохожу до половины – и всё-таки не могу перейти. Наконец, так злюсь на себя, что от отвращения и брезгливости вдруг обретаю решимость – единственное, чего не хватало, чтобы пройти мостик. И, конечно же, прохожу его легко и быстро. Мы всё-таки оказываемся по ту сторону реки.

На той стороне, которая стала этой стороной, мы идем сперва по одной из гор, потому что там много цветов – синих, ароматных, нежных. Потом мы направляемся к ручью. Завтракаем там, запивая еду водой из ручья, холодной, чистой и вкусной. Потом начинаем подниматься на другую гору. Идти легко, и мы поднялись уже больше чем до половины... И тут мною опять овладевает страх. Как только он в меня вошел, тело сжалось, движения стали тяжелыми, болезненными. Какое-то время я еще пытаюсь его преодолеть. Но смотрю вниз и вижу, что мне не спуститься. Смотрю вверх и решаю, что мне не подняться. И я уже не могу расслабить свои мускулы. Это очень противно, очень.

Дальше мы идем вдоль горы без тропинок, так, чтобы и спуститься, и гулять одновременно. И оказалось, что это совсем легко. Мои проклятые мышцы разжались, иду спокойно.

Выходим на очень красивую ровную площадку смежной верши-

ны, что-то вроде небольшого плато, зеленого, весеннего. Здесь решаем полежать. Лежу и думаю. Вот ведь ступила ногами, попробовала, пощупала одну из тех гор, на которые смотрела издали, из самолета. Попыталась воплотить то, что видела из самолета. Вот лежу на той горе, могу трогать ее. Это – как воплощение нашего Дома. Это – как двери, которые открылись мне и впустили меня в реальную воплощенную комнату, хоть и без стен и потолков, но телесную. И что же? Я оказалась совсем недостойной, беспомощной, неготовой. Как я воображала о себе тогда в самолете! Ах, жить над горами, ах, летать над ними! Ах, стать их частью!.. И они открыли мне дверь. И что же? Я опозорилась, я не могу не только летать над ними, не только стать их частью, но не могу даже пройти с ними несколько метров, потому что боюсь, дрожу над своей обожасмой плотью. А какие уродливые, какие неуклюжие движения! И это я хотела предложить горам?

Если бы ты был там со мною рядом телесно, может быть, я не была бы такой скверной. И мне так сильно, так нестерпимо хочется, чтобы ты сидел со мной на траве и видел со мной эти горы. И чтобы всё было вместе не воображаемо, а на самом деле. Я думаю, что если бы мы могли тогда видеть вместе и вместе думать, и могли бы разговаривать, может быть, я поняла бы об Армении больше. А так я уйду, не проникнув в нее, не поняв до конца ее сути и глубины.

И вдруг я остро-остро понимаю, что никогда, никогда, никогда, никогда, никогда в жизни не буду сидеть с тобой на траве и не увижу с тобой ни эти горы, ни другие. И нигде никогда мы не будем вместе. И все церкви, горы, леса, реки, все фильмы, все книги, все думы, все открытия будут у нас вместе только в духе, но никогда не соединятся во плоти, НИ-КОГ-ДА. Никогда не будет у нас совместного отпуска. Никогда и никуда мы не поедем вдвоем. Никогда мы не будем ни путешествовать, ни жить под одной крышей. Наше вместе – как мое слияние с горами. Без тела. Без воплощения. В духе. И я плачу над этим. Сдавленно и беззвучно.

Потом мы еще долго гуляем. Много бродим. Встречаем детей. Видим базальтовые столбы в ущелье реки. Пьем родниковую воду. Пробуем лаваш, похожий на листья старинной книги.

Потом едем в город. И в автобусе я впервые формулирую: «А ведь горы меня не приняли». И ахаю. И плачу. Потому что сразу поняла, что это значит: горы не приняли. Поняла, что они не могли принять меня такую, какая я есть. Тяжелую, эгоистичную, трусливую, суетливую, жадную...

Всё время думаю, как меня не приняли горы. И как я сама виновата в этом. Не могу передать, как это тяжело, тоскливо, тревожно. Я не сомневаюсь, что случится беда, только не знаю, какая.

Ушла благодать. То блаженное, самое лучшее, самое высокое на свете счастье ушло от меня. Так мне и надо. Сейчас тоже неплохо, но именно что не плохо. В иные времена я бы радовалась такому состоянию: светло и спокойно. Но ведь я уже знаю, как было. Я уже побывала там, на вершине Арарата. И теперь здесь, внизу, мне не может быть хорошо и дома. Я заслужила. Только жду: вернется ли благодать. Сначала я пытаюсь принудить ее вернуться. Но потом понимаю, как это нелепо и смешно, и прекращаю...

Я знаю теперь, почему временами теряю способность летать. И знаю, что снова стану летать только тогда, когда оторвусь от земной жизни, ее иллюзий и суеты, от страха перед болезнью и смертью. Не полет это будет, а вознесение – «в ту высь, в ту музыку, в ту сказку», где то, что на Земле нам казалось полетом, станет бесконечным, не прервется более. Только как много еще нужно до этого приобрести и утратить душе. Как ей еще учиться, как очищаться. Сможет ли? Успеет ли?..

Господи, не дай мгновенью перестать быть бесконечностью и вернуться в то время, которое умеет течь, проходить, бежать или мчаться, но не умеет останавливаться, даже когда его просят: остановись, остановись!..

Ведь то, что изливается из картин Микеланджело, или возносится мелодией древних армянских песнопений, или рождается в наших душах, когда глаза смотрят в глаза, или волнуется сейчас во мне и рвется в небеса не молниями, а лучами, не греметь, а струиться, – это же не на время, оно навсегда...

Мне хочется встать на колени. Хочется кланяться; хочется молиться, расprostершись на земле. Есть что-то сладостное в этом осознании своей крошечности, ничтожности песчинки, носящей мое имя, перед Тем Огромным и бесконечным. Мне хочется еще больше умалить себя, стать ничем, пылью, молекулой, пустотой перед Тем Бесконечным; чтобы не было меня, а было бы Оно только, а от меня осталась лишь Молитва, только нитка, тянущаяся Туда, только любовь... Может быть, те, кто смог перестать быть собой, совсем перестать быть собой, перелиться в То бесконечное, – может быть, они и есть нищие духом..

Царь Соломон сказал нам, людям, когда-то: «В каждом из вас Вселенная. Погрузите ум в сердце, спрашивайте свое сердце, слушайте через свою любовь. Блаженны знающие язык Бога».

Помоги мне постичь язык Твой, Господи!..

Это такое счастье, что есть на свете море и небо, тепло и солнце, горы и дороги, трава и деревья, стрекозы и муравьи, тропки и тропинки, осенние листья, весенние цветы, безлюдные склоны, где нет ничего, кроме тишины, а тишина есть Бог.

И какое счастье, что можно просто так бродить и гулять здесь, в Раю, выбирая ту дорожку, которая больше понравилась, предпочитая крутые и пологие тропки солидным лестницам с каменными перилами, сбегая по этим тропкам прямо в твои ласкающие объятия, полные нежности, детства, любви!..

Господи, спасибо за каждый прожитый день! Спасибо за День сегодняшний. Спасибо, что дал причаститься Вечности. Спасибо за Безмолвие и Тишину. Спасибо за радость веселого бега и лазания по тропкам. Спасибо за чередование легкой радости и молитвенного раздумья. Спасибо, что крохотные стрекозки и вечное Небо оказались *одним*.

Помоги нам постичь Твой язык, Господи!

ГЛАВА 5. СОЛЬ

Цветы бессмертны, небо целокупно,
И всё, что будет, – только обещанье.

Осип Мандельштам

Неделя, которая началась таким неожиданным, таким радостным, таким сладостным небесным подарком, не может быть плохой. Я опять летаю. Мне легко летать, несмотря на мою болезнь, потому что у меня много моря, и неба, и солнца. И нежный весенний ландыш, легкий, как облачко, как небо воздушно.

Мой полет – голубой, хотя ландыши совсем-совсем белые.

Как насыщенно, как полно живет сейчас моя душа. Порой мне кажется, что я не вынесу, не вмещу столько. Откуда? Почему? Куда исчезла болезнь? Она никуда не исчезла. Куда исчезли мертвость или сон души моей? Их нет. Это ты посылаешь мне? Или просто душа выздоровела? А вдруг и тело выздоровеет тоже? Ведь так бывает. Душа поведет тело за собой. И как сейчас много меня, и как много всего вокруг – Тишины, и музыки, и безмолвия, и любви. Бог везде, всё – Бог. И как хорошо жить в Его мире. Что-то такое хорошее происходит внутри меня. Всё слаживается. Всё сливается воедино. Светлая, радостная гармония. И не только не враждуют тело, дух и душа, но и не разделяются будто. И не только не мешают друг другу *здесь и там*, но будто воссоединились в нечто Единое, цельное.

Здесь, но Божье. Близкое, но тамошнее. Ах, я не знаю, как сказать, но ведь это, наверное, так понятно...

Я хорошо живу сейчас. Мне нравится так жить. Мне хотелось бы так жить долго-долго, целую жизнь, и потом еще много жизней, потом еще. Я такая счастливая! От неба, от воздуха, от моря, – от всего, что наполнено тайной и смыслом, а тайной и смыслом наполнено все.

Светлая тишь во мне. Разреженная, прозрачная, немотная Вьсь. Значит, всё самое лучшее осталось. Значит, я жива.

И всё опять растворяется в Свете. Не знаю, почему, в этом какая-то тайна, но вдруг всё озаряется таким Светом, таким Светом, что сквозь всё, через всё, надо всем – этот Свет и радость в такие тяжелые дни, посреди всей этой тяжести.

Какой-то поток неостановимо льется и льется внутри меня. Поток чего? Мыслей? Чувств? Состояний? Вопросов?

Оно начиналось постепенно и незаметно. Сначала его можно было узнать только по «отрицательным признакам». Полтора часа стою я у кассы, меня теснят и давят с двух сторон, и я не могу ни присесть, ни отойти куда-нибудь. По всем логическим законам мне должно быть плохо, тоскливо, одиноко, незащищено. Тем более, что я утомленная, сонная и нездоровая. Но вместо этого мне спокойно и тихо. Тишины еще нет, но уже спокойно и тихо. Стою у кассы и слушаю нас. И всё внешнее отходит, всё, что имеет оболочку, уходит, а то, что над всеми оболочками, входит в меня и остается во мне Покоем, Тишиной, спокойствием и какой-то неуязвимостью перед кассой, толкотней, отсутствием билетов, предстоящей бессонной ночью в зале ожидания и тому подобным...

Улетает самолет и увозит четырех пассажиров, которым продали билеты. Трое из них были после меня в очереди, но я, наверное, еще была не готова, и билет мне не достался, потому что они затолкали меня и передали в кассу деньги и паспорта через мою голову. Сейчас одиннадцать часов. И надо ждать до двух или трех. Сажусь в кресло, устраиваюсь поудобнее, собираюсь подремать или даже поспать. И тут начинается погружение в Чудо, в Свет, в Тишину. Я врываюсь в них, как в облако нежности, как в даль бестелесную, как в сон, когда мы засыпаем, обнявшись. Закрываю глаза и думаю о тебе, и люблю тебя, и говорю с тобой сначала словами, потом состоянием, молчаливой благодарной бессловесной молитвой, потом полувью, потом полусном. И ты весь обнимаешь, обволакиваешь меня своей нежностью, ласковой и виноватой (потому что ты чувствуешь себя виноватым, не спишь и мучаешься, а напрасно, –

ты видишь теперь, что напрасно). И так, погружаясь в тебя, в твою нежность, в нашу молитву, в наши Свет и Тишину, я перехожу, перелетаю во что-то высокое, прозрачное, разреженное; и еще выше, и еще, и туда, куда сознание мое не может следовать за мною... Засыпаю? Сплю? Грежу? Летаю где-то в заоблачных высях?.. Открываю глаза счастливая, улыбающаяся, блаженная. Так я смотрю в твои глаза, когда тело мое прикасается к твоему и само говорит тебе обо мне и о нас, и слов поэтому не надо. Так я смотрю на тебя, когда тела наши, прикасаясь друг к другу, молятся молитвой утра. И мы молимся вместе с ними, вместе с телами нашими, которых мы боялись когда-то, боялись, что они будут тянуть нас вниз от бесконечного к конечному, а они вместо этого вознесли нас и возносят в бесконечность, и засылают нас туда, и знают о ней больше, лучше, прямее и непосредственней, чем наш разум и наше сознание...

И снова всё повторяется. Я молчу или шепчу тебе, – нет, себе шепчу твои слова. Но это я не слова шепчу. Это я впитываю, вслушиваюсь в то, что за твоими словами, в то, что в твоём шепоте. И всё, что не сказалось прямо словами, а голосом, душой, вливается в меня этими твоими словами (а могли бы быть и другие). Я качаюсь, плавно качаюсь в облачной своей колыбельке, свернувшись клубочком в аэропортовском кресле, – единое двойственное существо, двойная душа, созданная любовью, возвращенная любовью, влившаяся в любовь, сама ставшая любовью, – а потому Божественной и Бесконечной, – свободно парящая в бесконечности, отдающая себя ей, Бесконечности – Дому своему; принимающая в себя, через себя Бесконечность... О, Господи! Помоги передать без слов то, что больше всяких слов!..

* * *

Беседую с тобой, как деревья, как море: без слов, без шума и суеты. Мы молча молимся у моря. И это так хорошо, так дома!.. Нам не нужны слова.

Люблю тебя. Люблю тебя. Сколько раз я произносила это слово, когда ты был еще здесь, сколько раз оно звучало в твоих ушах, в сердце, в душе и в каждом твоём листочке. И сколько оно уже вместило, а всё наполняется и наполняется новым, как и то, что оно обозначает. Может быть, слова тоже умеют быть бесконечными – любить... молиться...

И снова входим мы в воду, как когда-то на одесском пляже. И я вижу тебя, и вижу твои глаза, твои руки, тянущиеся к моим. И

между нами – наше Наше. Оно между нами, и в нас, и вокруг нас. Оно обнимает нас и принимает нас в себя. И вода морская становится иной. И песок, и даже жара... Родной мой, возьми меня отсюда. Как я по тебе соскучилась...

...Мы с тобой в храме в толпе экскурсантов. Мы стоим в этой толпе, и слушаем говорок молоденькой экскурсоводини. Она трещит о нас, современных людях, которые не разделяют религиозные заблуждения Феофана Грека, но восхищаются его искусством. А мы смотрим, и глаза наши видят, и мне кажется, что вот сейчас начнут литься слезы, Божьи слезы. И мы знаем, что души наши – Оттуда. И что сейчас они – Дома, где душа Феофана Грека, и Дионисия, и Рублева, и что наши души – братья, что они родственны, близки, любимы и желанны, потому что Божьи, Божьи, Божьи...

Девочка говорит: «Есть два вида света. Свет материальный и свет духовный. Свет духовный древними мастерами изображается...» А в это время свет духовный льется и струится с этих фресок. И это единый Свет, Свет Божий, Свет тех святых, мучеников, столпников, которые изображены на стенах, свет самого Феофана и наш с тобой свет, свет видящих, вбирающих это...

Я знаю, я верю, что Бог водил рукой Феофана, сам расписывал для людей эти стены рукой Феофана. Не может земная рука так знать об этом Духовном Свете, это Бог сжалился, смилостивился над людьми. Люди просят его: «Явись, Господи, покажись». И он показался этим Светом фресок Феофана. Как же не увидеть Его? А увидев, как же поверить, что это дело мастера, человека?

Девочка-экскурсовод рассказывает, что некоторым людям за их великие подвиги и муки, совершенные и принятые в честь Господа, Он являлся уже здесь, на земле. Слушать это грустно и обидно, тем более что слышу я такое не впервые и не только от девочек-экскурсоводов. Получается, что Бог то ли оплачивает муки и подвиги, совершенные для Него, то есть, вроде бы, жаждет мук человека, то ли из жалости являет Себя страстотерпцу как милостыню. А ведь это не так. Всё совсем иначе. Многие стремятся к Богу. Многие хотели бы зреть Его. Но немногим по силам этот путь. Одни проходят шаг и останавливаются перед искушениями и соблазнами мирской жизни, для других это только вкусная закуска к мирской еде, третьи боятся лишений или страданий и останавливаются. Но есть такие люди, которые в любви своей к Богу, в своем к Нему стремлении так искренни, так глубоки, настолько это, и только это, ведет их в их земном существовании, что они не могут и не хотят останавливаться ни перед соблазнами, ни перед лишениями,

ни перед страданиями. Они совершают то, что люди обыкновенно зовут подвигами, но что для них – не подвиг, а Путь к Господу, любовь к Нему. Они терпят то, что люди зовут лишениями и муками, бедные люди, непонимающие люди, люди, видящие только внешнюю сторону, люди, для которых сокрыта суть. И они верят, что Господь явился человеку за то, что он просидел столько-то лет на столбе или на дереве. Им даже не хочется задуматься, почему тот человек так странно себя вел, и достаточно ли посидеть на столбе, чтобы тебя возлюбил Господь. Они видят тело, сидящее на столбе. И больше ничего.

Но если это так, если в столпнике люди видят только столб и человека на нем, если во фресках о столпниках они объясняют друг другу, что свет духовный Феофан Грек изображает то в виде искорок на руках, то как-то там еще, если, поднимаясь по ступеням храма, где всё дышит Вечностью и Тишиной, они шутят о выносливости людей старины, поднимавшихся по таким неудобным лестницам, если... список можно продолжать долго-долго, то... страшно додумывать. Но ведь не можем же мы из солидарности с теми людьми не видеть Бога во фресках в храмах, в природе. А если мы видим, а они нет, то, значит, и мы пользуемся какими-то привилегиями? Как же быть? Как нам быть в своем Монастыре, в нашем Доме, где Бах и Моцарт, Феофан Грек и Дионисий, церкви Руси и готические костелы, где Бог, Бог, Бог. Как нам быть там, не бросая этих людей, не обижая их отстраненностью, помогая им, – да, если можно, помогая. Что это – вина, заслуга или дар, что у нас есть наш Дом, то есть наш Монастырь, а у них нет? Мы не можем впускать их в наш Дом – во-первых, потому что они сами не захотят туда и не смогут там жить, во-вторых, потому что Дом – там, а они здесь. И приблизить к ним Дом значит убить его, уничтожить. А те, кто могут жить в нашем Доме или хотя бы приходить в гости, те ведь и так живут и приходят. Но тех, кто не может, – их всегда будет много, всегда...

Как странно, как нереально совмещается несовмещаемое. Реальность моего сегодняшнего, твоего вчерашнего, нашего вневременного.

Я иду с урока, а она поджидает меня у ворот. Ты со мной, но она не видит тебя. Мы гуляем вдвоем, а она не знает об этом, думает, что только вдвоем мы с нею. Тихо вокруг, взволнованно, но спокойно. Начинают сгущаться сумерки – самое оголенное, самое выразительное время суток, немножко тревожное, волнующее, торжественное.

Мы идем по улице, по которой шли когда-то вдвоем с тобой. Мы идем навстречу той церкви, которую видели когда-то с тобой, мимо книжного магазина и кинотеатра, где мы когда-то решали, не пойти ли на «Пармскую обитель». Мы идем навстречу церкви. В небе еще есть солнце, но солнце это, уже не видимое людям, только ощущается, только чувствуется. Церковные купола тоже не видят солнца, но ощущают его в воздухе и молча дарят нам свой колокольный звон. И мы все, все трое, видим и слышим это, и все замолкаем, и все живем этим и в этом, и знаем, что восприняли это одновременно. Молча идем мы навстречу церкви, молча обходим ее со всех сторон, молча заходим во все соседние с ней дворики. Невидимое солнце освещает и освящает дома. И нам кажется, что эти дома – из таинственной сказочной страны, и что над ними горят волшебные фонарики. Мы идем по улицам нашего города, и улицы эти теряют свою обычность и обыденность. Идем мимо двориков и дворов. И они забывают притворяться серыми, городскими и современными. Идем по узеньким переулкам дальних стран мимо прекрасных, не похожих на каждый день домиков и домов. И я тихонько рассказываю ей о своем открытии про Тишину. А она еще тише, смущенно и радостно, говорит, что только вчера почти слово в слово рассказывала это какому-то ребенку как сказку. Ты на минутку, видимо, отлетел, потому что мне вдруг стало – остро и больно – досадно, что я не могу пройтись с тобой вот этой улицей, мимо этого дома, в это самое оголенное время суток, когда чуть-чуть начинается темнеть, начинаются сумерки. И в эту секунду она говорит: «Хочу, чтобы он приехал. И мы пойдём с ним по этой улице, а он будет всё это видеть и любить». И я понимаю, что это она о тебе говорит.

А потом она уезжает домой, и мы остаемся с тобой вдвоем. Ты не зря улетал, ты принес и даришь сейчас мне три белых бутонных пиона. Мы едем домой в автобусе и плывем по воздуху, праздничные, тихие, торжественные, светлые, с белыми пионами в руках. И автобус плывет вместе с нами. И пассажиры не знают, почему и откуда этот праздник, но улыбаются пионам – и нам заодно.

Это, наверное, прекрасные и волшебные цветы, потому что как только я беру их в руки, мы оказываемся в Церкви. Венчание повторяется снова, – ах, нет, не повторяется, оно и не прекращалось никогда. И цветы эти до сих пор у меня, вот и сейчас стоят передо мной на столе. Я смотрю на них по многу раз в день. И потому ли, что они от тебя, потому ли, что и впрямь волшебные, но только даже сегодня, когда так грустно и так жалобно плачет осень, эти венчалные наши, торжественные, бессловесные белые пионы не увядают, чаруют и переносят в Церковь, всё время в Церковь. И,

глядя на них, я вижу нас в церковном подвале, молчащих, обнявших друг в друге Бога, обращенных друг к другу и вместе – к Христу-Гименею...

* * *

Когда ты ушел, я была сперва тяжелая, мрачная, темная, и любовь моя была такая. А сейчас я лечу. И она летит, мы летим *туда*, мы летим к тебе, любимый, мы будем снова летать с тобой. Как давно мы не летали. Как давно я не была здесь, у тебя, то есть нет, мы же раньше называли это *там*. Только сейчас всё поменялось. Я лечу к тебе в *там*, и *там* становится *здесь*. Вот оно вокруг нас, это недосягаемое, недостижимое *там*. Видишь, видишь, светлый мой, нежный мой, родной мой, родной. Этот мир так прекрасен, это такой экстаз любви и слияния, любящих глаз, прикосновения Божьего... нет, нет, нет... не слушай мои слова. Они же *оттуда*, они с земли со мной прилетели, они не умеют, не научились. Не слушай слова, за словами слушай, музыку слушай, которую никто не поет, не играет, слушай Музыку... Зачем же я, которой, благодаря тебе, уже открылся этот мир и выпускает меня, зачем же я не всегда в нем? Зачем опускаюсь на землю? Зачем обретаю снова вес, – что есть тяжесть, плоть, что есть слезы и боль? Это надо так Богу? Или это от недостойности моей?

Я часто чувствую себя сиротой среди людей. Но это происходит на земле. Их и мои обиды – на земле. Их прикосновения и чуждость, мое сиротство – на земле, на земле. А наши никогда не кончающиеся разговоры – где они? В нашем Доме? В небесах? За небесами? Где они летают? Где мы летаем с ними? Какое счастье, что ты уносишь меня *туда*. Какое счастье, что я еще могу взлететь так легко, так бесусливно. Значит, Дом наш, Молитва, Свет живы во мне? И я не перестану быть летучей и бестелесной, и снова мне будет легко летаться? Какое счастье! Всё осветилось, всюду разлился Бог.

* * *

Как тихо, как неподвижно. Так бывает, когда только что выпал снег. Ничто не шелохнется, не дрогнет, не зазвучит.

Немного здесь и от болезни: слабость. Если бы было темно и плохо, слабость сделала бы всё отчаянным и безнадежным. Но сейчас, в светлой тишине, слабость только еще утончила и без того тонкие линии-лучики, и они стали совсем невидимы, только едва-едва уловимы – не зрением, не осязанием, а каким-то шестым чувством, которому нет названия.

Всё-таки я стараюсь запомнить, что бывает такое смежное состояние: и очень светлое, и болезненное. Чуть-чуть сдвинься в сто-

рону болезни – будет уже нехорошо. Но у меня пока не сдвигается. Вот и ладно. А делать что-то все-таки нет сил пока. Хотя мысли уже роятся и складываются в бессловесные (но и словесные тоже) речи...

Почему люди так тянутся летать? Почему мечтают об этом – как о сказке, о сбывшемся Несбывшемся, о чуде волшебном? Почему?

Недавно я пыталась убедить себя, что полет – это просто один из видов передвижения (перемещения?) в пространстве, что он ничем не лучше бега, ходьбы, прыжков. Ведь если бы мы действительно летали, мы, наверное, боялись бы упасть или потерять управление собой в воздухе, или еще чего-то, нам сейчас неизвестного. Ведь боимся мы при плавании утонуть.

Я говорила сама себе, и хотела уговорить себя, что реальный полет, если бы он осуществился, был бы совсем не таким легким, светлым и безуильным. Здесь были бы усилия, и напряжение, и свой пот, и свой страх. Говорила – и верила себе, и не верила. Всё равно хочу летать. Больше всего на свете хочу летать. Это живет во мне. Оно иногда затихает, иногда обостряется, но как мне хочется летать, как хочется!

* * *

Вернуться... Нет, не вернуться. Повернуться, обратиться... как тогда, как всегда, как в полудреме-полусне-полуяви-полусказке-полувоплощенном-полудульном-полусолнечном... Помнить... Что за слово глупое. Как можно помнить то, *что всегда*, а значит и *сейчас*? Нет, не помнить – ощущать. Руками – душу. Видеть, знать, чувствовать. Сквозь тело душу видеть. И всё становится равным. Все кусочки, все зримые и не зримые части тела становятся равными бесконечности души, а всё это – равным Духу, Молитве, светлому озорству, тишине, радости. И все смыкается, переливается, сливается, соединяется и превращается в нечто, чему не бывает названия, но что одинаково живет и в тишине, и в радости, и в ласке.

Где-то в глубине глаз рождаются лучи бесконечности, где-то в глубине глаз, глядящих в другие глаза. И в люфтневом небе. И в нежности пальцев. И в том экстазе, что только внутри, без движений, без звуков. И в шалостях моцартовского озорства... Бог умеет шутить, дурачиться и смеяться. Бог умеет быть счастливым. Я не знала, я только теперь узнала это.

Закрывать глаза и полететь. Вот он – Космос. Выше, еще, еще выше. Там еще чище, там еще светлей горний воздух.

Приходит *нечто*, какое-то состояние, при котором разрешаются все проблемы, при котором знаешь всё – ответы на все вопросы, все «как совместить», «как жить», все «как?», «зачем?», «почему?» И это

знание – вне слов. Оно больше и глубже слов. Просто знаешь, что знаешь. Душа знает. Ей всё ясно. И всё вступает в гармонию. А потом это *нечто* уходит. И тогда пытаешься вместить *то* знание в мысли и слова. Но они только убивают знание... И когда оно является снова, то снова нет ни мыслей, ни слов. Да и не надо... Любовь родила в свое время вопросы. Любовь и ответит на них.

Жизнь может быть освященной, залитой Светом. Тогда, под этим Светом, всё становится чистым, высоким, святым – и еда, и болезни, и испражнения, и даже работа других для тебя (или твоя для других – это одно и то же, а требований тогда не бывает).

В первые дни после Встречи, после Церкви, возвратившись в Одессу, я именно это и ощущала, и радовалась этому, и говорила об этом с друзьями, как о величайшем открытии, Даре, Блаженстве. Не помню слова, которыми рассказывала об этом, но помню, что суть была в том, что святость залила мир и наполнила собой всё, и очистила, и всё стало святым. Что грязь, мусор, свалка, туалет, любая пакость – и та не кажется мне отвратительной, потому что и она залита этой святостью... Помню, что удивлялась, радовалась и смущалась тогда оттого, что, сидя в туалете, могла молиться или думать о самом высоком. И что сам этот процесс туалетный, который всегда был мне отвратителен, сейчас тоже казался очищенным...

* * *

Я снова плохая – больная и тяжелая, а потому тоскую и нервничаю. Нервничаю и жалею сама себя так, что ничего не замечаю вокруг, не замечаю даже, когда гостя приходит ко мне и садится на краешек кровати. Я радуюсь ей. И радуюсь, что пришла не сегодняшняя, уверенная в себе и готовая учить, вещать и советовать, а та, из прошлого, – ищущая и растерянная. В той было так много боли и нервности, так много жажды добра, справедливости, любви и самоотдачи! Какие-то необычные состояния случались тогда с нею. Она несла в себе заряд нервных вибраций, и это создавало суету в ее тяжелой жизни. И не было ей ни остановки, ни передышки, ни отдыха. Она могла бы летать, но не летала. Мы говорили с ней так хорошо – и всегда о Главном. Она говорила, что не верит в Бога, хотя всем существом своим знает, что Он есть. Она говорила, что живет в Его присутствии. Она говорила, что задыхается. И я видела, что это правда. Я знала (или мне казалось, что я знаю), *что* было ей нужно. Ей нужно было научиться такому состоянию, когда ничего не надо, потому что всё есть, и всё есть Бог. Тогда она стала бы счастливой, светлой, гармоничной. Ее нужно было высветлить. И я поила ее своим молоком, которого было у меня много. Не знаю, пила она тогда его

или нет, не знаю, *что* она тогда пила. Но мне казалось, что я вливаю в нее это свое молоко. А оно небесное, не жидкое, не телесное. Оно – свет, прозрачные струи, потоки нашего Света.

И вот она опять пришла ко мне, – значит, ей опять нужна моя помощь. И опять, как тогда, я хочу помочь ей. И опять, как тогда, хочу поить ее своим молоком. Я знаю (или мне кажется, что знаю), *что* ей сейчас нужно. Ей нужно дать Тишину, Свет и Покой. Пытаюсь поить ее нашим Светом. И, как только начинаю поить ее, он и ко мне возвращается. Исчезают тоска, нервность, недовольство. Появляются Дом, Молитва, Бог. Мне кажется, что мы сейчас полетим. Но нет, мы не можем полететь, потому что в этот момент она совсем не хочет летать, да и не можем мы взлететь вместе. Разные полеты у нас. Мы можем только издали смотреть друг на друга. Быть в жизни друг друга. Никогда я не забываю о ней. И она обо мне сказала: «Человек, без постоянной памяти о котором я не смогла бы справляться с наиболее трудным в моем ежедневье». И добавила: «С моим вечным люблю, спасибо». Я так же могу сказать о ней: «С моим вечным люблю – и спасибо». Но вместе идти и вместе летать мы не можем. Можем только любить. Издали. Заочно. Но не переставая...

Гостя уходит. А Тишина и Молитвенность растут. Они выливаются в то состояние, которое я называю экстазом, только экстазом внутренним, без движений, без звуков, без действий. Неподвижным, устремленным вглубь и вверх... Как нужна сейчас музыка! И она приходит. Поет и молится внутри меня тишина, поет и молится любовь, поет и молится всё мое существо. И тянется в бесконечность, которая уже есть, уже раскрылась внутри меня. Кажется, я сейчас взлечу. Как же мне хотелось, как всё время хотелось летать, а полет не рождался. Вот, значит, чего не хватало мне для полета. Нужно было начать поить другого. Отдавая свой Свет, мы находим Полет. Господи, спасибо, что учишь меня, спасибо, что учишь! Я ведь и раньше знала, что больше всех мы должны быть благодарны тем, кто пьет нас, берет нас. Пусть они берут меня! Пусть они берут Тебя всюду и во мне. Какое это блаженство – поить жаждущего. И за это блаженство еще и вознаграждение, или просто подарок – этот полет, такой долгожданный, такой желанный. Ведь на свете нет большего счастья, чем счастье летать. Господи, сохрани мне это состояние. Научи меня жить в полете, не нуждаясь в отдыхе, не опускаясь на землю. Научи, протяни меня до бесконечности. Чтобы я касалась одновременно Тебя и тех, кто жаждет моего молока. Пошли мне жаждущих, Отче.

Дарить. Дарить бесконечное, несказанное, неугасаемое. Дарить. И потом, раз начав, дарить и дарить бесконечно, непрерывно.

Всегда. Всю жизнь. Все жизни. Чтобы каждый шаг, каждый поступок, вдох, взгляд были дарением, каждая мысль, каждый жест, каждая улыбка, каждая слезинка, и все молитвы, и всё молчание, и вся безмолвная тишина, и всё-всё-всё-всё, что только может быть в нашем Доме и в нашем Космосе, и всегда, и всегда, и всегда...

* * *

В нашей комнате лютневая музыка, а за окошком нашего купе – осень. У нас тоже. Мы – вне Времени. Но как-то переплелись несколько времен. Наша лютневая ночь в небе нашей любви. Прогулки нашей осенней бессловесности. Движущийся поезд и неподвижность слышимой Тишины... Мы едем в Петербург. Мы слышим средние века. Мы в древней Армении. Мы в Одессе начала века. Мы в Бруклине. Мы в Италии. Мы в Осени. Мы в отпуске. Мы в бессловесности нашей любви...

Утро началось пасмурным небом. Это за окошком. А у нас оно началось Бердяевым. Мы читаем всего с полстранички. Радуеться и размышляем вместе с ним о Боге, который не есть сила и власть, и даже не есть бытие... Нам захотелось музыки. Мы приглашаем Моцарта. И сразу выглянуло и засияло солнышко, очистилось и заголлубело небо, размышления наши стали казаться тяжелыми и неуклюжими, а Бог – не сила, не власть, и даже не Бытие, а свет и радость, парение в бесконечности, а может быть, и сама бесконечность, но не страшная, не далекая, а родная и близкая, как мамины руки; Бог – не судья, а любящий и любимый – наполняет собой нашу комнату и нас с тобой, и наш двор, и пляж за окном, и желтеющие деревья, и заголлубевшее небо. И хочется гулять, хочется к морю, хочется туда – в наши уединенные прогулки.

Что делается сейчас с нами? Где мы? Где время? Было ли начало у этой Тиши, будет ли конец?

Этот куст, у которого, замороженная, я опускаюсь на землю, или нет, мягко плавно воспаряю на землю под куст, прекрасный, молящийся всеми своими желтыми и красными листочками, этот куст – не Бог, он – Божье творенье, как ты да я, и я молчу у этого куста, не мешаю его молитве, – понимаешь, понимаешь, любимый?..

Мы только что искупались в море. Мы шли к нему с самого утра, с самого первого утреннего лучика знали, что придем к нему, но не знали, примет ли оно нас. Оно приняло.

Мы купались одни. На пляже несколько человек гуляющих. Но в воде никого. Только море и мы в нем. И оно принимает нас. И обжигает собою, потому что вода холодная. Я распахиваю руки и обни-

маю его. И снова оно принимает и обнимает меня. Оно выпускает меня в себя...

И вот теперь я сижу на земле у куста. А в теле моем струится что-то горячее. И хотя я знаю, что сказали бы мне врачи, но что мне за дело до врачей, когда всё мое «я» знает, что это море струится во мне, продолжая обжигать меня собою. И радуюсь ему, и зову его, и хочу, чтоб внутри навсегда осталось это горячее, слегка пекущее струение холодного моря во мне, сидящей на земле под осенним кустом, впустившей в себя Тишь. А вокруг меня небо. И зеленая, всё еще зеленая трава. И как странно, что горячие струи моря во мне нисколько не нарушают Тишины и Покоя. Господи, какая молитва – этот наш сегодняшний день, наша прогулка, купанье...

* * *

Мне кажется, что ты не прилетал ко мне долго – две или три жизни. И за это время много чего сделалось внутри нас. Вот так когда-нибудь встретимся мы после моей смерти. И сразу прильнем друг к другу, и сиротство уйдет... А почему мне так кажется, почему? Событий было немного, да и внутри нет переполненности... У меня такое ощущение, что где-то глубоко-глубоко во мне происходит нечто большое и важное, но это так глубоко, что я и сама не только не знаю, что это, но и не всегда ощущаю процесс...

* * *

...У нас снег сыплет хлопьями, и я люблю тебя!

В комнате царствует музыка Моцарта, она уносит нас в высь светлую, в высь чистоты и безгрешности. И в этой выси парит нежная моя любовь, легкая, как снежинки, что летят за окном, лохматые и большие.

Черные птицы пролетели сквозь белый полет снега, ни капельки не нарушив белизны, а лишь подчеркнув ее собою.

Белые чайки летят, смешиваясь с белым снегом, еще больше оживляя его своим лётном.

У нас праздник. У нас празднично тихо, светло, торжественно.

Не могу оторваться от снега за окном. Не могу унять волнения: эта домашняя детская сказка и беспредельный космический простор одновременно, и это – нам. За что? Почему? Наверное, всё-таки за нашу любовь, за то, что я люблю тебя.

Мы идем тихонько (даже и материально тихонько – потому что спокойно), а вокруг нас – зимняя сказка. Начинает смеркаться, и всё одето в тайну. Мы идем в – или по этой тайне, глядим по сторонам и держимся за руки. В руках у нас яблоки (значит, и мы – как

все: с покупками), хорошо бы купить новогодние подарки; мы покупаем, но тайна и сказка не прекращаются, и Тишина не нарушается. И нам всё равно, придет ли к нам кто-нибудь, даже лучше, если придет. Потому что никто и ничто не нарушит света и радости, нежности и тишины нашего праздника. И хочется всех одарить светом и радостью, чтобы и им было хорошо и празднично...

...Почему же в душе – Свет? Потому что Моцарт играет? Потому что музыка Моцарта – важнее и больше всех вин и неприятностей? Потому что не может не быть света, когда есть музыка Моцарта или Баха?..

Хорошо, светло и тихо. Высоко и *дома*. Всё растворено и нежно, спокойно и светло, молитвенно и тихо. Хорошо. Это не праздник, а то, что лучше праздника. Не молитва, а то, что может быть долго-долго. Но и молитва тоже. Потому что не всегда одинаково. То безуильно напряженно, то больше безуильно, чем напряженно, а то – экстаз. И он напряжен. Он высок и прекрасен. Я молюсь ему и благословляю его. Но в экстазе нельзя быть долго. Душа не выдерживает. Она устает...

И приходит прекрасное, блаженное думанье-недуманье, размышление, но не мыслями, а всем существом своим, то странное и волшебное (медитативное) состояние, возможное только в тишине и уединении, только вне дел и суеты, то состояние отрешенности, небытия, *не здесь бытия*, иного бытия, при котором проступают сути вещей и явлений, делаются открытия, при котором ты ни о чем не думаешь и, в то же время, думаешь обо всём. И вольные, бестелесные эти размышления незаметно сменяются такой же бестелесной молитвой, которая переливается в полугрезу-полусон; и в этом полусне происходит что-то такое светлое, такое небесное, что ты сам не знаешь, когда ты взлетел, – еще в полусне, или уже наяву. И снова полуразмышления-полумолитва, и дальше, и дальше...

* * *

Я летала сегодня во сне. Только что летала во сне, и это еще не ушло, не отлетело, и кружится во мне вместе с каким-то подобием не то догадки, не то прообраза будущего открытия...

Но ведь в этом сне было плохо. И я была плохая. Я совсем не ожидала, что взлечу. Бегала по земле, суежилась и торопилась, у меня не ладилось, и я впадала в то нервно-капризное состояние, при котором всё кажется невыносимым и, конечно же, не получается, всё обращается неудачей. Мне нужен хлеб. В одной булочной большая очередь, а я тороплюсь, но где другая булочная, не знаю. И бегу по улицам, ищу

эту булочную. Во сне считалось, что бегу по Одессе, даже знаю район. Но улицы все незнакомые, чужие, как в городе, где ты впервые и ничего о нем не знаешь. И я бегу, а уже темнеет, и становится совсем темно, и я понимаю, что не найду, не успею. По дороге попадается какой-то магазинчик. Думая, что это булочная, вхожу в него, но это кондитерская. Вижу в ней много пирожных, среди них – любимейшие мои, соблазнившие меня трубочки (в дневной жизни я не люблю их). Решаю задержаться, подождать продавца, который куда-то вышел, и потратить двадцать две копейки, хотя денег мало. Пока жду, приходят люди. Один мужчина рассказывает другому, что какая-то женщина бросилась из окна и разбилась, но осталась жива. И почему-то я понимаю, что это моя сестра. В отчаянье сминаю в руках эту долгожданную трубочку, которую как раз протянул мне продавец, и, стыдясь за себя, за нервность, за испорченную трубочку, которую превратила в грязное месиво теста и повидла, за то, что мне всё еще хочется ее съесть, а это уже невозможно, готовая зарыдать или затопать ногами, упрямо бегу за хлебом, к тому же, как оказалось, бегу не по той улице. И я уже точно знаю, что мир плох, что всё плохо, что никогда не будет хорошо, что все против меня и всё против меня (как было с маленьким Николенькой в «Отрочестве» Толстого, когда накопилась тысяча неприятностей: единица, перчатка, ключик. У него это кончилось конвульсиями, это очень нервное состояние, когда человек не владеет собой). И вдруг, не останавливая этого бега (я пробежала по какой-то площади), понимаю, чувствую, что сейчас взлечу. Не останавливаясь, вытягиваю вперед руки и, оттолкнувшись, делаю первый гребок. Как всегда в самом начале, это чуточку трудно, мне нужно приложить усилие, чтобы остаться на воздухе (как на воде). Но уже в следующее мгновение меня охватывают знакомая легкость, ликование, светлая радость. И я лечу, и лечу, и лечу. Подлетаю совсем близко к земле, потом поднимаюсь вверх, скидываю верхнюю одежду, потому что становится жарко. Она тотчас падает вниз, а я всё кружусь и кружусь, летая. Становится так хорошо, как бывает только в полетах. Играя, я завертелась винтом. Это похоже на фигуристов, они тоже вертятся так. Только они на льду, а я в воздухе. Кружусь и одновременно взлетаю вверх, стремительно вверх. Не представляю себе, как это возможно, но, видимо, мне и не нужно представлять, потому что в момент этого кружения-подъема я слышу музыку, неземную многоголосную музыку Света... Почему-то подумалось: «Семисферная музыка», – и я проснулась. Но глаз не открываю. Ощущаю себя, лежащую и укрытую одеялом, улыбающуюся (во сне улыбалась?), но не хочу возвращаться сюда, продолжаю лежать с закрытыми глазами, продлевая полет.

Белый-белый-белый снег. Много белого пространства. И вдруг

по нему пробежала черная кошка. Маленькая-маленькая, совсем черная, только одно белое пятнышко на ней, – вроде запачкалась снегом. Бежит, равномерно перебирает лапками, такая маленькая, такая грациозная, такая гармоничная. Это Божий мир, да? Белый снег и черная кошка – это Божий мир? В кошке присутствует Божий мир? И в снеге? И во мне, видящей снег и кошку; а в это время внутри меня жизнь идет и идет. И вдруг оказывается, что она не успевает перерачивать страницы, эта жизнь внутри меня.

Как я хочу летать с тобой! Летать, как на картине Шагала, как летала та девочка из «Барьера»*, как летал Бах в хоральной своей прелюдии. Я хочу летать с тобой. Я вижу нас, летящих вместе не в небе, а в бесконечности, – а может быть, это и есть небо, не знаю, – какая, впрочем, разница. Вижу нас, лежащих в этой бесконечности, в этом небе. Руки протянуты вперед и вверх, и тела вытянуты, они будто растягиваются, тоже хотят растянуться, вытянуться, войти в бесконечность. Руки протянуты и тела вытянуты, но мы не делаем ни одного движения, ни одного усилия, ни единого жеста. Мы просто лежим, или висим, или плывем, мы просто *есть* здесь, в бесконечности. И не мы плывем, не мы летим, а *нас* плывет, *нас* летит куда-то. И мы совсем не думаем о том, куда мы летим. Потому что сам полет так упоителен, так бесконечно блажен и божествен, что можно ли думать еще о том, к чему он приведет? К чему приведет Бог? Что приведет к Богу? Как прийти к Богу? Вот были вопросы. И вдруг – а что будет тогда, после? Когда придешь... Что будет дальше? Куда Он поведет дальше?

Я улыбаюсь. Хотя внутри меня уже копошится что-то, что тревожится и просит: пусть это будет не скоро, совсем никогда, не в этой и не в следующей жизни. Но если всё идет к Богу, то должен же кто-то или что-то прийти к Нему. И что же тогда? Ведь это конец, завершение, исполнение и начало чего-то нового, иного, уже окончательно непредставимого... Вот и не надо пытаться представлять. Не надо. А разве может быть что-нибудь дальше Бога? А разве может окончиться путь к Нему?..

* * *

Просыпаюсь. Не потому, что поздно, нет, – свет едва забрезжил, еще рассвет не вошел в свою полную силу. И не потому, что сплю уже долго, – заснула недавно, и мне спать бы еще и спать, но в сон мой входит ощущение нежности, и, проснувшись от этой нежности,

* Повесть Павла Вежинова и одноименный фильм 1979 года с И. Смоктуновским и В. Цветковой в главных ролях.

я открываю глаза. Через несколько минут вспоминаю, что это – моя комната, что я живу в ней, что больна. Через несколько минут... но сейчас, открывая глаза, вхожу в чудесную страну нереальных явлений, в нежное зазеркалье струящейся тихой любви. Здесь нет ни грубости, ни греха. Здесь тело любимого не касается моего, но вливается в него, переливаясь. Здесь растворяется все твердое, превращаясь в дыхание ландыша, и сами мы становимся частью этого дыхания, частью света, омывающего нас, частью неги, нас пробудившей...

Тихо-тихо. Тишина внутри, даже оцепенение какое-то. Это потому что тишина всё же двойная: и от хорошего, и от плохого. От нашей Тишины, от безмолвия нашего – и от болезни, которая во мне гнилая какая-то. Я к тебе щекой, можно? Руку твою к своей щеке, хорошо? И ты мне тихонечко что-нибудь расскажешь.

Ты рассказываешь о Белых ночах. И в мою тишину сразу входят белые ночи. Я знаю белые ночи, знаю. Вот же они со мной. Ленинградские, где впервые узнала их и полюбила. Карельские, где собираю ландыши на одном из крохотных островов то ли Кончезера, то ли Ушкозера в Косалме, что под Петрозаводском. Впервые вижу, как они растут, и не жалею рвать их из земли почему-то, а радуюсь им и наивно думаю, что и они мне радуются тоже. А потом Соловки. Всю белую ночь напролет катаемся в лодке по каналам и озерам, варим картошку и чай на костре, плывем назад, возвращаясь на турбазу – Соловецкий Кремль. Начинается восход солнца. Рассвета, конечно, нет, но солнце прячется на какое-то время, а потом восходит. И мы, замороженные, сидим в лодке и смотрим, как два солнца (одно в небе, другое – отражение в зеркале, которое называют водой) поднимаются торжественно и тихо, и освещают весь Божий мир, и заливают его своим Сиянием и Светом. И всё наполняется волшебством и тайной: березы, кусты, трава, вода – неподвижная, зеркальная, серебристая. А мы глядим на это, не зная, где же настоящее, а где отражение. И догадываемся: там, где больше сияния, больше волшебства, больше света чудесного, – там отражение...

Нет, ты не будешь мучиться от невозможности рассказать мне о наших святых Белых ночах. Я их всей собой принимаю, тобой в те ночи вхожу, тобой и с тобой. Конечно, белая ночь – это наше *наше*. Светлое, сияющее, но не яркое, изнутри светлое, без источника света светлое. И тишина. И безмолвие. И покой. И молчание. И молитва. Конечно, конечно. Наш Скит, наш Дом – он всегда в Белой ночи, конечно.

Но... Мы жили тогда на турбазе, на территории Соловецкого монастыря. Мы знали и помнили, что это был монастырь для ссыльных, а потом – Соловецкий лагерь особого назначения – СЛОН. Мы

видели ГПУ-шные звезды на потолках, слушали «подпольные» рассказы экскурсоводов о наказаниях «комарики» (а что такое соловецкие комары, мы испытали на себе, – но ведь мы были защищены сетками, репеллентами и прочими возможными средствами), о смертных пытках муравейниками, когда за одну белую ночь муравьи успевали полностью съесть человека до косточек, о научных лагерных разработках и беспределе бандитов-уголовников и бандитов в погонах.

И это нужно каким-то образом сочетать?

* * *

У меня какой-то полубред-полудрема. Это внутри меня что-то так живет странно: и дремлет, и в то же время живет, да не как в жизни, и не как во сне, а как во время болезни. Так у героев Достоевского бывало, да и у всех так, наверное, при болезни – такое странное, немножко даже приятное, причудливо-нереально-реальное состояние... Музыка журчит-журчит куда-то в бесконечность, и все слова вытекают. Их мно-о-го...

Иду по Кишиневу и тоскую по тебе. Это тоже сон, и события его не имеют никакого значения. Мне снится тоска. Снится тоска по тебе.

А ведь сон-то был совсем о другом, и он был о страшном. Но всё страшное прошло, осталось в нем, я его не помню. Я помню только то, что осталось навечно. Молчание с тобой. Мы плывем, обнявшись, плывем по воде или по воздуху, или по музыке Моцарта, парим в этой музыке, пока тела наши лежат на воде в море. Мы не шевелимся или почти не шевелимся, мы просто зависли и висим в воде, как висели бы, зависнув в воздухе. Что под нами – воздух или вода? Мы сидим, глядя вдаль, и перед нами Черное или Красное море, или Атлантический океан, или Армянские горы, а может быть, Альпы. И мы летаем над ними. Что под нами – воздух, горы, вода? Мы летим, обнявшись. Прикосновения наши так тонки, так бестелесны, как прикосновение солнечного сентябрьского тепла, так же мягки, нежны, неприметны, ласковы. Прикосновения без касания. Растворенность телесного. Растворенность размышлений и дум... Вокруг нас – как бывает на рассвете: нежно, мягко, неярко...

Как я ждала вот такой любви, как наша, как жаждала именно такой любви. Ведь не думала, что это может осуществиться, не могла надеяться, потому что слишком уж было бы хорошо, – а ждала, как сказку, как мечту...

В последнее время так часто я ощущаю, что душа утомляется от горного напряжения и от усталости задремывает. Она задремывает там, в горнем Доме, в нашей Обители. И надеется и хочет проснуться там же, но, чувствуя этот горный воздух в себе и вокруг себя, ощу-

шая его, радуясь ему, она не может не задремать, ей нужен отдых чаще, чем раньше. Болезнь... Слабость... Но ведь усталая душа не спускается вниз, она отдыхает там... Вот и сейчас. Мне хочется спать, недомогание и слабость не покидают меня. Но в то же время во мне есть и живет всё наше – Свет, высота, прозрачность и нежность. Да, вся я утомлена и обессилена. И всё это живет во мне сквозь утомление, сквозь слабость, и просит дать ему отдохнуть... Конечно, я не буду сопротивляться. Я постелю нашу звездную постель и лягу. И тихое задремывание, засыпание будет тоже то ли сном, то ли полетом... Так бывало уже. И в душе – свет..

Мы с тобой хорошо живем. Мы живем не вместе, не вдвоем, а единым существом, единой жизнью. Я не просто живу с тобой, хотя и это правда, потому что я много, почти непрерывно разговариваю с тобой. Стоит нам остаться одним, и я начинаю лепетать словами и предложениями, или без слов и предложений. Безостановочно. И обо всем. И всё-таки не это определяет нашу жизнь. А то, что я – это не я, а мы. Что, живя, я живу с тобой, внутри меня растворенным. И я – это существо, из нас двоих слитое. И, когда я не разговариваю с тобой, даже когда сознание мое отвлекается, я всё равно не есть что-то отдельное, а мы, мы с тобой, наше ты-я-существо, понимаешь?

Мы сплавились, переплавились, и нет теперь ни тебя, ни меня, а только наш сплав. И я не знаю, не помню, рассказывала ли я тебе, или ты сам знаешь, каким родным существом, каким родственным человеком, братом, ощутила я Грегора Нарекаци, прочитав наугад несколько разных страниц его «Скорбных песнопений». Как печально и радостно было узнавать тебя в другом нашем брате, живущем гораздо ближе к нам и во времени, и в пространстве – в Бердяеве, больше похожем на тебя внешне, то есть на твою половинку нашего сплава. Рассказывала, или ты сам знаешь?

Лежать неподвижно, молясь бессловесной молитвой, принимая ласку Света, слыша музыку Баха, улетать, не двигаясь с места, улетать... не как птицы летают, которые всё же работают, делают полет, совершают усилия. А как облака плывут в небе. Божьей Волей, желанием Бога... Хорошо, что человек не умеет летать по своему желанию. Хорошо, что летание – Божья ласка, Божий подарок. Хорошо, что я сейчас не умею летать, а раньше летала. Хорошо, что буду еще когда-нибудь непременно, вот только не знаю, до смерти или после. Хорошо, что такое нежное, такое не синее, а нежно-нежно голубое небо сегодня. Хорошо, что Молитва живет бессловесная, бесплотная, непроявленная. Хорошо, хорошо, хорошо...

...Это ты подарил, мой любимый. Ты – брат, возлюбленный, друг, учитель, ведущий. Ты – моя жизнь, мой воздух, моя душа, мое сердце. Ты родил меня для Бога и Бога во мне. Ты даришь стихи и любовь, тишину и праздник. Ты сотворил для меня Праздник как раз такой, каким он должен быть в нашем Доме, – религиозный светлый Праздник с весельем и молитвой, с любовью и нежностью, без суеты, без суетности, без красного, без потного, без жирной пищи и горячих напитков, с нектаром, с росой розовых лепестков, ландышевых колокольчиков, без марь-ивановн и иванов-петровичей, с Моцартом, Пушкиным, Бахом и всеми любящими, всеми любимыми, всеми молящимися на свете, с Белой ночью и с белой Церковью, с некасаемой лаской, с ласковой нежностью, с улыбающимся молящимся Богом... Господи, а как же молится Бог?..

Вокруг меня невидимое поле, оболочка, шатер, монастырь, Дом. Воздух насыщен тобой, нами, твоей любовью, нежностью и молитвой. Как если бы ты прилетел, обнял, не прикасаясь, и, взяв за руку, улетел бы со мною. И ангелы пели бы бессловесную песню. И вот так и летели бы мы долго-долго, раскинувшись в небе, молча глядя в глаза друг другу, улыбаясь. И никуда не надо спешить. И никуда нельзя опоздать. Времени нет. Есть Вечность. А дух не захватывает. И не страшно, а просто блаженно – дома, *дома*, у себя в гнездышке, в своем гнезде. *Дома*. Как хорошо. Так можно долго. Так можно всегда...

Возьми меня к себе, любимый! Возьми меня! Я не хочу, не могу отдельно. Возьми меня к себе...

ГЛАВА 6. ЛЯ

Теперь ты знаешь – мы, как анемоны,
сомкнуться можем в предвечерний час,
вобрав в себя все то, что день принёс,
и вновь раскрыться, новый день встречая.

Райнер Мария Рильке

Как мне хочется хоть на несколько минут увидеть своего мальчишку. Вот такого, каким я увидела его впервые – смешного и смешливого симпатичного ребенка, готового радоваться, играть, дурачиться, веселиться. Ему было уже двенадцать, хотя казалось, что не больше десяти. И еще казалось, что он счастливый и беззаботный, да он и был беззаботным, и потому, наверное, чувствовал себя счастливым. Будто не остался в городе без отца и без матери, совсем один. Самый близкий человек – руководительница драмкружка, который он посе-

шал какое-то время. Да еще я – которую эта самая руководительница попросила приютить мальчика у себя на несколько дней, пока что-нибудь да решится с ним.

Приютила. На всю жизнь. На всю его жизнь. Она оказалась короле моей. И вот теперь скучаю по нему.

Когда-то мы шутили, что ему придется хоронить меня, а он шуточно отказывался, говорил: «Как-нибудь увильну». И увильнул. Хотя чувство нашего единства не обмануло меня. Мы оба всегда знали, что будем вместе до конца. «Вот только до чьего конца?» – спрашивал он лукаво. «До моего, конечно, я же старше». Это я отвечала без всякого лукавства. Глупая была. Знала же своего насмешника. Никогда не придерживался ни правил, ни очереди. И когда он успел вырасти?.. Вот только что хвастал, что три книжки прочел. Хотел доставить мне удовольствие: читает же, как я и хотела. Только разве же это достижение – три книжки за три месяца!

Оглянуться не успела, и вот он уже их запоем – книжки. И музыка. От чего угодно готов был отказаться, только бы поехать в оперный театр или на концерт классической музыки в филармонию.

И еще раз оглянуться не успела – а он уже со мной о самом серьезном, о самом важном разговаривает. И не просто вопросы задает. Размышляет. И не как маленький со взрослым, а на равных. Вот только насмешничать не переставал – ни в каком возрасте.

Говорю ему о чем-нибудь из *главного*, волнуясь, радуюсь, а он: «В этом же нет ничего нового». Он называет это по-разному: «банально», «все знают», «не ново», но суть-то одна. И никак не возразить ему, потому что действительно не ново. Ну, разве что сказать: оно и не должно быть новым. (Так я и говорю). Сержусь на него: «Не умеешь ты открывать америки, – уверена, что умеет, но я же сержусь на него. – Не можешь проснуться от озарения, от вспышки, от охватившего тебя знания, от радости всем существом понять, почувствовать, постичь то, что вчера просто знал разумом, просто помнил, не вдумываясь, не углубляясь».

И опять я несправедлива к нему. Он очень это умеет. Но он смеется надо мной, и я продолжаю гневно:

– Это страшно, это плохо и опасно для человека. Человек должен уметь совершать открытия. Человеку необходимо, чтобы с ним случались озарения, иначе нельзя. Иначе душа его не сможет расти, или рост этот будет предельно, либо очень затруднен.

– Ну, вот вы и совершили еще одно открытие. Формулируется оно так: человек должен уметь открывать открытое, познавать знаемое, постигать известное. Это важно и хорошо.

– Что ж ты смеешься? Почему ты всё время смеешься?

– Потому что и это ваше «открытие» есть открытие открытого. И еще потому, что вы открываете одно и то же много раз. И стыдитесь этого. Вам кажется, что это означает способность души забывать открытое. А я думаю, что это хорошо. И чем больше открытий, тем лучше, а повторяются ли они, неважно...

– Ну вот. Неважно, повторяются ли, а сам дразнишься: «Ничего нового». Да умеешь ли ты быть серьезным?..

Он умеет. И мне это известно лучше, чем кому бы то ни было.

Зато как хорошо разговаривать с ним, когда он отбрасывает свое ерничество. И тогда получается разговор. Не спор ради спора да умного словца, как это часто бывает, а беседа двух людей, каждый из которых ищет по-настоящему:

– Вы часто говорите: «Так нельзя поступать, потому что Бог не велел. И доказательство тому – заповеди». Но ведь любая ненарушимая заповедь может быть нарушена ради высшего, чем сама заповедь, не так ли? Это не я сказал. Это Померанц сказал.

– Я это знаю, ощущаю и не оспариваю. Не спорю ни с тобой, ни с Померанцем. Скорее, радуюсь совпадению и близости с ним. Да, любая заповедь может быть нарушена. Только надо, чтобы она была ненарушимой. И чтобы то, ради чего она нарушалась, было больше ее, – то есть, чтобы выбор был религиозным.

– Выбор может быть религиозным только в том случае, когда нарушающий заповедь знает и понимает, что он нарушает ненарушаемое.

– Да. И он добровольно берет на себя ответственность за это.

– Но что может быть больше заповедей, данных самим Богом?

– Бог больше заповедей. Бог – это всё, это бесконечно. А заповеди – это то, что Он дал людям, это Его помощь людям, это даже не часть Его (хотя всё есть часть Бога, значит, и заповеди тоже Его часть), это костылики, помощники, поддержка, облегчение, ориентир. Когда человек дорастает до понимания заповедей, это прекрасно. Но как бы высоко ни стояли над нами эти заповеди, они тоже не бесконечны. Их пределы далеки, но они есть. Истинная бесконечность начинается после заповедей, над заповедями, там, где они и не нужны, и не имеют ни своего значения, ни смысла.

– Мы знаем об этом разумом, так сказать, теоретически. Об этом говорят нам религии. Индия учит, что есть Царствие, где нет Добра и Зла, – да разве только Индия? Понятия Добра и Зла предельны, есть нечто высшее над ними. Бог больше заповедей. Но ведь не где-то там, за ними, но и здесь, сегодня, мы часто вынуждены выбирать – нарушить заповедь или следовать ей. Как быть?

– Ответ во фразе «Бог больше заповеди». Надо стараться слу-

шать Бога в себе, Бога, а не Его заповедь, самого Бога. Где гарантия, что мы не ошибаемся? Ее нет. Ошибаемся. И часто ошибаемся. Но лучше ошибиться и совершить грех, честно пытаюсь услышать Бога и Его Волю, чем прятаться за заповедь. И наоборот. Лучше честно следовать заповеди Божьей, чем пытаться оправдаться, что, дескать, воля Бога не такова. Так что же лучше, что религиозней? То, что честней. И то, что бескорыстней. Честней – вот критерий, да? Как Роберт Джордан у Хемингуэя. Он не спорит. Но он убивает, хотя знает, что убивать нельзя.. И он не отказывается от ответственности. Он понимает, что взял на себя грех, а значит, вину, а значит, ответственность. Он так выбрал. Правильно ли? Не знаю. Не мне судить. Но честно. Перед Богом честно.

И он, насмешник, враль и хитрец, он, который всегда утверждал, что лгать хорошо, нужно и весело, перед Богом он выбирал честно.

Ох, как бы мне хорошо сейчас было поболтать с ним. Ладно уж, пусть бы дразнил, насмехался... только бы был...

* * *

...Что-то странное со мной происходит в последнее время. Стоит мне прикорнуть, и я улетаю куда-то в полусон-полубред. Свободно и неподконтрольно плывут мои мысли, перемежаясь с видениями. В них много странностей и сумбура, в них иные закономерности сочетаний и совместимости. Размышления становятся более рыхлыми, и более четкими одновременно. Хочется оставаться в этом полуреальном состоянии, не возвращаться из него. В нем хорошо, легко и сладко плакать. И слезы не вызывают чувства стыда. Правда, и облегчения тоже... Может быть, когда-нибудь так и случится: улечу-уплыву в это фиолетовое пространство, да там и останусь, слушая звуки и музыку с разных планет и галактик. Как у Ростроповича в виолончельной сонате Баха, кажется. Два голоса с разных планет переключаются друг с другом. «Та-та-та-та», – поет один, а другой из далека-далека вторит ему: «Та-та-та-та». «Та-та-та-та», – говорит один. И второй далеко-далеко его слышит и отвечает ему: ««Та-та-та-та». И водит, и водит Ростропович смычком, ведет диалог через космос. А мы слушаем и слышим обоих с обеих планет. И что же? Станем ли мы одним? Успокоится ли тогда эта тяга к дальнему далёку, которое вполне может оказаться нашей родной Землей?..

Ну, вот и утихла немного боль. Теперь самое время поспать. Из полусна – в сон. Спокойный и настоящий. Без бреда, без видений, без музыки, без стихов...

Засыпаю, кажется, но почему-то бормочу про себя знакомое:

Я слышал про старость. Страшны прорицанья!
 Рук к звездам не вскинет ни один бурун.
 Говорят – не веришь, на лугах лица нет,
 У прудов нет сердца, Бога нет в бору...*

«Нет-нет, – бормочу, – у нас все в порядке. И лицо на нашей лужайке не пропадает, только меняется, и сердце из прудов не ушло, и Бог везде, только оглянись по сторонам и подними голову кверху, а уж руки к звездам сами вскидываются. И вообще, боль – это хорошо. Это сигнал. Это призыв к чему-то... А завтра будет новый день. И, может быть, он будет лучше... Сплю.

Но спать без сновидений не получилось...

Я – Чудище из «Аленького цветочка». Издыхаю, лежа на траве, не на тропинке, а просто на траве возле самого забора. И нет у меня надежды, что любовь моя придет вовремя и найдет меня, и спасет поцелуем или как-то иначе. Не придет. А если бы и пришла. Разве я принц? Разве я молод, красив и волшебен? Я – монстр, чудовище. Урод. И надо мне издыхать на траве у забора, такого легкого, такого прозрачного. И расколдовать меня невозможно.

Мне больно и нечем дышать. Умереть хорошо. Умирать тяжело. Я давно поняла это, когда лет тридцать назад мучился, умирая, мой учитель. А потом он умер. И мы его хоронили. И лицо у него было просветленное и прекрасное, хотя глаза и были закрыты.

И я поняла, что ему сейчас хорошо и светло. Не потому, что ушла боль наконец-то. А потому, что он сам ушел от боли, от страхов, от суеты и обид, от ссор и несправедливостей. Туда ушел. И там хорошо ему. Умирать было страшно, и больно, и тяжело. Умереть – прекрасно. Светло и спокойно.

Мне снится, что я засыпаю, что сплю. И в этом сне во сне я сплю без бреда, без сновидений.

* * *

...Как спокойно, доверчиво-радостно живет воробей на ветках куста, сроднясь с ним, став его частью, хоть и может улететь каждое мгновение. Как он светел и гармоничен. В каком согласии живет с кустом и небом, морем и землей. Молча люблюсь, – нет, люблю склоны-луга, покрытые зеленой травой и желтыми цветочками. Эти цветы живут такой полной жизнью, что человечья суета рядом с ними – просто копошеньё без смысла и оправдания. Но их полнота – иных ми-

* Б. Пастернак. Воробьевы горы.

ров, иных измерений. И опять – согласие с Целым, частью которого они являются. Их неподвижная насыщенность... чем? Молитвой? Растворением себя в Целом? Ах, не знаю, они такие маленькие, просто луговые цветы... Брожу, наполненная и переполняемая всем этим, не умея ни справиться с ним, ни выразить его, шепчу какие-то разные строчки, которые не хотят складываться в стихи: «...растворившись друг в друге, стали частью лесной тишины»... «не словами, а запахом трав луговых...»... Но всё это грубо, грубо, и я умолкаю, и молча показываю всё это тебе, и дарю тебе это...

Что-то свершилось, состоялось. У меня об этом бормоталось сегодня разное. О том, что *путь*, вроде бы, закончен. Мы пришли, любимый. И оказалось, что начинается *новое*. Может быть, мы опять родились с тобою? И начали новую, следующую жизнь? Но откуда музыка Моцарта знает об этом? И почему никто другой не знает так полно, как она? Зато она – каждой ноткой? И почему я, зная об этом всё, в то же время не могу рассказать о нем ни тебе, ни себе, ни кому-нибудь еще, кроме Моцарта?

* * *

И опять он пришел ко мне, мой выросший и повзрослевший мальчишка. Такой же озорник и насмешник, как в свои двенадцать и четырнадцать, но весь светлый, просветленный, весь наполненный любовью не известно к кому, абстрактной любовью. Впрочем, почему же «не известно к кому»? Это же он Моцартом просветлен, в него влюблен, им светится. И я радуюсь тому, как хорошо и светло он о нем говорит, ведь совсем недавно по-настоящему услышал его музыку.

Звучит Четвертый соль-минорный квинтет. Воздушный, легкий свет приносит и дарит нам Моцарт. Ясный, целомудренный, не ведающий о грехе.

– Я хочу с вами как можно больше быть сейчас.

Он говорит это, волнуясь, и я понимаю, что дело не в моей болезни, не в страхе потерять меня. «Конечно, малыши», – говорю я мысленно, но не произношу этого вслух, а улыбаюсь только.

– Я хочу с вами слушать Моцарта. Как я его люблю!

И на мою радость, что полюбил Моцарта, огорченное: «Да вы не услышали. Я сказал, что хочу его – с вами – слушать».

Услышала, малыши, услышала. Давно уже слышу...

* * *

Нежное и нежаркое утреннее небо. Голос музыки Моцарта, голос бессловесной молитвы. Он нежно качает мой сон на рассвете, утешая, баюкая и лаская. Море спокойное и тихое. Горы входят в

меня своим Покоем и Молчанием. Или просто кто-то включил Тишину, успокаивая, жалея... Как тогда...

Тот день сперва показался мне таким страшным, что я и не надеялась пережить его. Но очень скоро чувство горя и безысходности сменилось чем-то иным, светлым, странно похожим на то, что бывает во время уединенной молитвы, если тебе кажется, что молитва эта услышана. Был ли ты рядом со мною в то время, любимый? Ведь для тебя это было, может быть, самое трудное время – время перехода.

Когда мне принесли страшную весть, я сначала заплакала. Плакала – и удивлялась, потому что Светом на меня веяло. Но тогда – отчего же слезы; а если горюю, то почему такой Свет?

И я шла медленно и долго, возвращаясь домой с работы по самым тихим и безлюдным улицам, растворяясь в прекрасном и величественном чуде, которое, я знала, произошло с тобою, а значит, и с нами. Потому что вот ведь ты уже ступил и пошел по воздуху как по тверди, и, сбросив подробности, остался сутью, духом, душой...

Мой мальчишка ужасно испугался тогда за меня. Он пришел ко мне такой растерянный и беспомощный, что было непонятно, кто же кого будет поддерживать и утешать. Хорошо еще, что он не пытался говорить какие-то слова, а просто был рядом со мною, ставил пластинки с Бахом, смотрел внимательно, говорил о пустяках. А потом вдруг неожиданно сказал: «Он здесь. Вы видите? Он здесь. И он всегда здесь будет».

А через много лет мой измученный болезнью постаревший мальчишка умирал в больничной палате. Он рассказывал мне, что уже попрощался с сыном и дочерью, а потом добавил лукаво, как в детстве: «А с вами я не буду прощаться. Зачем? Мы же не растаемся»... Через несколько дней он ушел от нас. Но мы и вправду не растаемся...

Теперь моя очередь. Смогу ли я быть достойной вас обоих?

* * *

Любимый, обними мою душу. Без взлета, без преодоления, отдаваясь той, сверху влекущей силе, поплывем, обнявшись, в той бесконечности, где всё тянется к Нему, томится по Нему. Где всё молчит в молитве, а молитва – весь Космос, весь бесконечный Космос. Обними мою душу, любовь моя.

...Когда ты ушел от меня и ото всех в Свет, и только в Свет, я поняла и узнала: подобно тому, как Бог разлит во всем и ощущается

мною в этом небе, в этой пробуждающейся траве, в этой росе или в этих деревьях, так и наша с тобой любовь, дружба, связь, соединение, слитность, слиянность будет теперь разлита во всем, и будет ощущаться мною живым присутствием Бога, неба, росы или деревьев. Материальных же воссоединения или встречи не дано, и не будет дано нам никогда.... И теперь я, кажется, – если только оно не прекратится во мне, – научусь тому, чему ты хотел научить меня – быть и жить одной. Одиночеству.

Станный сон мне приснился сегодня,
 Необычный сон приснился мне ночью.
 В этом сне со мной разговаривал Голос,
 И Голос сказал мне: «Иди один».

– Это он не ко мне, – подумала я. – Это он не ко мне. Иначе он сказал бы: «Иди одна».

И вспомнила я, что совсем недавно со мной уже говорил этот Голос (это было днем: не сном и не явью), и тоже сказал мне: «Иди один».

Я не хотела, я боялась, я не могла...

«Идти мне одной? – Я спросила, тоскуя. – Это очень страшно и очень больно. А как же друзья? А как же любви? Мы росли друг в друга, мы стали одним...»

И я тянула руки к друзьям и любимым. Я не хотела разлук. Я боялась утратить поддерживающие руки.

Но странная, незнакомая сила, не будучи мне ни врагом, ни другом, не будучи злой и не будучи доброй, уже держала меня и несла, и всё дальше и дальше меня уносила. О, куда же она меня уносила? И зачем она меня уносила, не будучи ни добра, ни зла?

И мне пришлось пойти. Пойти по одиночной тропинке, рискуя сорваться, заблудиться, погибнуть. Но я уже знала, что, если дойду, то выйду к СВЕТУ.

Я проснулась. Больница. Ночная палата. Люди спят. Безмолвие. Тишина.

И все тот же Голос, что был когда-то, произносит снова: «Иди одна».

* * *

Где мы с тобой? Не знаю. Нам тихо и светло, как в Церкви. Нам нежно и любимо, как в Церкви. Нам торжественно и покойно, как в Церкви.

Твои маленькие братики-воробышки прилетают на наш балкон греться. Сначала я думаю, что надо их покормить, но они не обращают внимания на рассыпанные крошки, а только ищут местечко

потеплее – возле стенки или в ящике из-под посылки. Туда я и сыплю им крошки: пусть греются и пируют. Лохматые озорники, они совсем не слышат нашей Тишины; они скачут и веселятся, как на празднике с шутками и смехом, но почему-то это нам совсем не мешает.

Вчера я поняла одну вещь. Когда ты ушел, я искала тебя. Я искала тебя, и потому вспоминала твои пальцы, и губы, и смущенную улыбку твою. Я так искала тебя, и казалось мне, что находила, и вздрагивала в ответ и навстречу – влюбленно, любимо, любяще... А потом поняла, что это неправильно, что не так и не там ищу. Я узнала это, когда в небе и море, в траве и деревьях, в Безмолвии и Молитве нашла тебя, любящего и нежного. В паренье и взлете, в покое и тишине белого Арарата... Ах, нет, нет, всё не так, всё не так говорю, да ведь об этом не скажешь...

Мы в музыке Баха. Мы в музыке Моцарта. Мы живем в ней не всегда, но часто и много, и нам хорошо от этого, но слов становится еще меньше. С каждым часом всё меньше слов. А какими словами расскажешь то, что сейчас звучит и растет в нас, растет в нас и поднимает? Какими словами рассказать о том, что звучит и растет в нас, когда глаза глядят в глаза, и Космос вливается в Космос?.. Но ведь деревья молчат, а нам кажется, что мы слышим их молитву. Молчит платан моего детства. Молчит Дерево-друг. Молчит мой тополь за окном. Но когда я гляжу на него, в мою тишину входит его Безмолвие, и в душе открывается еще один луч в бесконечность...

...Мы гуляем с тобой над морем вдвоем, одни, безо всех, только ты, я и море, и небо над ним. И безмолвная тишина в нас и с нами...

...Мы сидим на лавочке высоко-высоко над морем, а оно – синее, полное неба, молитвы и тишины. Стоит только глянуть в эту далеко внизу сверкающую синеву, как в тебя толчком врывается Космос и смешивается с нашим космическим, нашей любовью... Нет, не знаю названий и слов. Это так высоко и небесно. Мой язык не умеет назвать это...

О чем это я? Ах, я ведь хотела с тобой о чем-то поговорить. О чем я хотела поговорить с тобой?.. Да не помню я. Ну и ладно. Всё у нас хорошо. Мы любим друг друга. Небо над нами синее-синее. Арарат в Армении – белый-белый. И есть еще Индия. И Швейцария. И царь Соломон. И Иисус Христос. И много больших и маленьких братьев. Деревья помогают нам, а мы им помогаем. И травы, и цветы, и колосья... Давай постим, любимый, ты приснишь мне...

Это стыдно – так хотеть спать, когда ты рядом, а перед нами море. И быть при этом такой маленькой, что, будь это в комнате,

ты взял бы меня на руки и отнес на диванчик, только я бы тогда пробудилась, наверное, и не хотела бы засыпать...

Ты не сердись на меня, что я такая бесчувственная. Я сейчас слабая, мне сегодня ставили пиявки, и они отсосали мою кровь из головы. Поэтому теперь голова немного кружится, но это ничего. Зато я перестала быть больной и стала здоровой. У меня бывают разные боли, но у кого их не бывает? А между болями я не помню и не думаю о болезнях, может быть, потому, что проснулась моя душа и ей есть о чем думать, кроме болезней.

Родной мой, спать очень хочется, и быть с тобой хочется, и говорить с тобой хочется, и молчать, и спать вместе, вдвоем, обнявшись, примкнув, перетекая, и просыпаться... Родной мой.

Ты так нежно «приспал» меня, что, растворяясь в нежности, улывая в полусон-полумечту, я сама превращаюсь в эту нежность, в эти сон-мечту-дрему-ласку. Может быть поэтому вдруг неожиданно, без усилий и зова с моей стороны выплывают и обволакивают меня кусочки-картинки ...

Поезд. Хорошо в поезде. Вот отъедем от города, и уже через несколько минут, самое большее – через часок, отойдут и спрячутся суета, спешка, хлопоты, город с его серостью, будничностью, всё взрослое, которое норовит налипнуть и помешать. А вместо них за окном будут мелькать и проплывать осень с зеленью и желтизной, небо, поля, степи, леса и лесочки, чья-то жизнь, чьи-то домики и дома. И издали, из окошка, будет казаться, как в детстве, что жизнь в этих домиках таинственная и прекрасная, как в сказках волшебных или у Грина. Ах, как хочется выскочить из поезда вот за этим цветком, как жаль, что никогда, никогда не придется походить здесь пешком, полежать в траве и в цветах, побродить по этому лесу.

Хорошо ехать целый день и смотреть в окошко. Временное и вечное проступают одинаково явно и не мешают друг другу. И это ничего, что мы, может быть, никогда в жизни не вспомним именно эту речку, этот стог сена, эту деревушку. Это ведь мы внешнее их забудем, их вид, их форму. А души их уже вошли в наши в тот миг, как глаза увидели, и смешались в одно с нашими душами, наверное, что-то с ними сделал и как-то их изменил. И как хорошо сидеть, обнявшись, перед окошком вагона, ничего не говорить и всё видеть одними глазами, всё впускать в свою общую душу, и быть всему дружественными и от всего отстраненными этим прозрачным стеклом и движением вагона. Как это хорошо, ведь правда, ведь правда?

...Поезд – сплошное объятие. С кем? С любовью... И чьи-то губы, которые на любом расстоянии, в любую минуту и вправду

*знают, если мои их целуют. И прогулка по Владимиру. И прогулка вдоль реки Клязьмы – темной, сумеречной. А может быть, не Клязьмы, а Волги с ее прекрасным городом по имени Плёс... Нет, Плёс – это не город. Плёс – это тихая песня без слов, ласковое молчанье, и нежная тишина у самой воды, где и лес, и сама река, и насекомые, и птицы, – все живут своей жизнью, и всем им безразлично, есть ли мы, люди, на свете. Потому что мы – прилагаемые, не обязательные. И я тоже так чувствую, но это не плохо, не грустно, а хорошо. И я не огорчаюсь этим, а только хочу дорасти, заслужить, очиститься до них... И я плачу, я впервые в жизни плачу так – слезы льются, но **что** я чувствую – торжественность, причащение, величие этого и радость собственной малости перед этим, – я не знаю. Только слезы эти мне дороги. Мне хочется, чтобы они лились, и от них не становится тяжело, а еще легче, еще летучей...*

А вот небольшой осколок, который я считаю хрусталиком, потому что внутри него – воздух как будто освещен. Он не просто прозрачный, у него именно что солнышко внутри, только его не видно, но всё сверкает так радостно. И хочется приласкать этот осколочек, погладить пальцем и словом – хрусталик, хрустальный...

Всё во благо, когда хорошо внутри. Всё оборачивается праздником. И даже мои банальности, о которых я размышляю с радостью первооткрывателя, – они ведь тоже во благо, и тоже оборачиваются праздником.

Как я боялась холодов, думала: вот кончится теплое время нежной и трепетной осени, и уйдет праздник. Станет холодно, неудобно, уныло. А вышла только что на балкон – морозный воздух обнял меня, укутал свежестью своею и, покалывая, обратился в праздник.

Слышу Моцарта, и мне хочется плакать от переполненности и невозможности вместить. Смотрю за окошко на почти облетевшие деревья, молящиеся в неподвижности и безмолвии, и мне хочется плакать от счастья, что они есть. Я повторяюсь, повторяюсь всё время, всё об одном, но вот и еще одно великое открытие: не надо ничего другого, только это и нужно. Много ли человеку надо? Только любовь бесконечная, и эти повторяющиеся «открытия», эти снова открытые моею душой деревья, трава или небо – вот этого только и хочу...

Путаюсь. Путаясь в словах. Во мне все – умиление и любовь. Но в эти любовь и умиление плохо вхожи люди. Мне лучше наедине с молчаливым миром. Так жили, наверное, пустынные. В любви, умилении и молчании. Без людей...

* * *

Радостная Двадцать вторая симфония Моцарта звучит сейчас в моей комнате. Праздник – как раз такой, как мне хотелось: без вина, без застолья. И гости самые разные: Моцарт и мой мальчик, так Моцарта любящий, в последнее время почти как я любящий; и учитель (не тот, в которого когда-то влюблялись студенты, а тот, которого я сейчас всегда вижу: больной, умирающий, малюсенький, жалобный, но и свободный от тысяч помех); и сестричка, которая иногда ко мне от тебя прилетает; и та девочка, которой уже больше никогда не будет, потому что она давно превратилась в жену и в маму, а собой быть забыла; и тот юноша, который любит, и братик, и так многому меня научил, хотя сам не умел этого; и все, кого я люблю и кто любит меня, – но только внутри, внутри. А снаружи – совсем ничего и никого. Только музыка Моцарта, музыка Моцарта, Божья музыка Моцарта. Если мне суждено когда-нибудь жить в тюрьме или на необитаемом острове, пусть со мной будет музыка Моцарта. И когда я буду умирать от болезни, пусть в моей комнате звучит музыка Моцарта. И когда я умру, пусть в день моей смерти звучит музыка Моцарта, слышишь, любимый...

Простите меня, мои гости. Так много Моцарта сейчас во мне, живой воды-Моцарта, что я отвлеклась от всего остального. Будьте со мной, дорогие. В Моцарте будьте со мной.

* * *

Ведь это совсем как в машине времени! Зачем нужно было ее придумывать и изобретать? Только что мы были в пляжной, туристско-курортной современной Одессе, в ее суете, пестроте, шуме. Прошли берегом вверх минут пять или шесть. Уселись на железобетонный столбик, просидели мгновение (или вечность?) и перенеслись в старую тихую Одессу, поэтическую и романтическую, в южный степной городок, пахнущий травой и морем. И Паустовский где-то совсем близко, мы чувствуем его, хотя и не видим. Мы не видим его, но знаем, что он видит то же, что и мы: то же море, ту же бескрайнюю синь, тех же белых чаек, ту же рыжую глину и зеленую траву. И так же, как нас, его поднимает и уносит, вбирая в себя, высь, тишина, бесконечность. И так же, как мы, он молчит, боясь и не смея нарушить безмолвие. И это потом, позже, он будет писать свою волшебную, нежную, хрустально искрящуюся прозу, в которую войдут и сегодняшнее море, и сегодняшнее безмолвие... А мы?.. Во что они выльются у нас? Этого я не знаю. Потому что перенеслись мы с тобой в прошлое, и про Паустовского уже знаем, а не в будущее, и о себе знать не можем...

Это очень хорошо, что мы не можем сами нажимать кнопки и по своей воле переходить в другие времена. Это очень хорошо, что не мы делаем, а с нами делается, как наши полеты, как наши ласки, как наша любовь... А гуляем мы по нашим с тобой местам. Сначала из Аркадии над морем поверху, потом через заброшенный парк к 10-й станции Большого Фонтана...

* * *

Мы едем к морю – туда, куда мы ходили с тобой вместе когда-то. Мы выходим из трамвая – и сразу волна морского свежего воздуха, ароматного и живого, волнующего и ласкающего. Мы идем по переулочку. Выходим на бульвар и – ах! Белая-белая тишина, белое-белое безлюдье бульвара над серым зимним морем далеко внизу... И сама собой выплескивается молитва: «Как Ты щедр, Господи! Как прекрасен Твой мир! Благодарю Тебя, благодарю!..» Может быть, это плохая молитва, слишком короткая, но она выплеснулась сама и, выплеснувшись, остается во мне, превращаясь в молитву бессловесную. И так мы сидим на бульваре, сначала шепча, потом молча, потом – полностью растворившись в созерцании и тишине...

* * *

В небе – дождь и тучи, деревья волнуются и шелестят о чем-то, а у нас – тишина и безмолвие. Хочу молчать с тобой. Хочу жить с тобой взгляд во взгляд, не отрывая глаз, рук, душ, не размыкая уст для звуков... Всё молится вокруг нас и внутри. Всё – молитва, молчаливая, тихая, без слов. Видел ли ты, как молятся кусты? Даже самые маленькие? Отчего это: если в нас – суета и здешность, то кусты и деревья, море и небо, травы и цветы, – всё-всё живое и Божье скрывает свою молитву, притворяется пустым, никаким, неодушевленным. Но стоит нам впустить молитву в себя, и всё сразу молится вместе с нами, и наполняется Богом, и обращается к Нему. И так всего тогда много, и так всё высоко...

* * *

Новый год. И мой мальчишка, уже женатый, уже папа трехлетнего сыночка, но всё никак не взрослеющий, приносит мне маленькую елку. Я рада ему, и благодарна за елочку, хотя и жаль, что ее, такую крохотную и беззащитную, люди срубили себе на потеху. Но сейчас, когда она стоит в углу, жалобная, тоненькая, без игрушек, я даже радуюсь, что она попала ко мне, а не на шумную вечеринку. И это хорошо, что без игрушек. Игрушки выглядели бы на ней нелепо, она ведь не праздничная, не с шумного бала, а откуда-то

изнутри, из души, или из леса. Я ее люблю и жалею. И не за то, что она – новогоднее дерево, а за то, что она просто деревце с душой деревца, и мне сестричка. Я знаю, что она сестричка моя – сестричка Елочка. Ей умирать скоро. Так ведь и мне тоже. Как же мне не любить ее сейчас, остро и жалостно? А если б и не умирать! Если б я знала, что она будет жить у меня, как жил когда-то тополек на балконе, что мы обе будем жить еще долго и вместе. Разве ж я не любила бы ее, маленькую? Разве она не была бы сестричкой мне? Разве я не обнимала бы ее душу?..

И за лампу спасибо, что починил. Потому что никакой другой, новой, я не хочу, – только эту старую, сломавшуюся. Она – маленькая. У нее шея гнется. И она ж не виновата, что сломалась. Новые – они как взрослые, а эта совсем не взрослая. Как и елочка наша совсем не взрослая. Девочка Елочка.

А давай-ка послушаем Моцарта. Это ничего, что я больная, усталая, заторможенная и замерзшая. Праздник и полет всё равно могут случиться. Ну а если нет – так нет, мы смиримся, правда?

И мы слушаем, даже не слушаем, а тихонько бездумно медитируем. С нами начинает делаться то, что, наверное, делается со всеми, кто слушает эту музыку. Сначала в нас всё улеглось, успокоилось и начало улыбаться тихо и грустновато – не кому-то или чему-то, а просто так, от Моцарта. Потом мы начинаем ласкать детскую, непорочную чистоту этой музыки, вернее, не ее ласкать, а себя к ней ласково прикасать, мы принимаем к ней, причащаемся...

...Мы слушаем вместе. И это – Храм, Храм Вольфганга Амадея Моцарта. И музыка уносит нас к себе....

Пусть бы он посидел со мной, мой мальчишечка, а потом пусть идет к своим праздновать. А у меня всё равно его елочка останется... И лампа починенная. И голос, твердый и четкий, совсем уже взрослый: «Я вас люблю». Спасибо, что любишь, мальчик дорогой. Знаю, что любишь. И никогда не оставишь, знаю. А сейчас иди, празднуй. Пусть тебе будет радостно, хорошо и весело. А мы тут с елочкой по-стариковски... Ну, почему ты не хочешь? Это же веселый праздник, молодой, даже детский...

Он уходит, а мы остаемся с елочкой. Светло, хорошо, тихо. Сумерки. Небо, и тополя, платаны, и взлетающие, вспархивающие белые стаи чаек, и крохотная фигурка очень детского волка, сделанная ребенком. И всё это – от неба до волчонка на окне, от музыки Моцарта и до неподвижных деревьев в далеких и ближних лесах, – всё это и есть мой монастырь, мой храм, мой дом...

Сколько Бога в воздухе... Когда-то это больше всего поражало меня, казалось самым чудесным, что Бог – не в храмах, не в монастырях, не в горах, не в траве, а именно в воздухе, в прозрачности, в *ничем*. И что Он так явно, так ясно виден в этой прозрачности. И даже не в небе, которое хотя бы цвет имеет, оно синее или голубое, и в нем облака бывают очень живописны. Так нет же, и не в небе, а в прозрачности воздуха, который и не видим даже...

Свет, свет, свет, свет, свет! Свет и радость от *ничего*, то есть от всего – от того, что небо голубое, от того, что деревья зеленые, от того, что море перламутровое, от того, что люблю не кого-то, а весь этот Божий мир, – этот мир, в котором разлит Бог, в котором всё – Бог, все – Бог!..

ГЛАВА 7. СИ

Небо... Переизбыток неба...
И дальше небо... Снова небо...
Безмерность неба... Кто ее прервёт?
Райнер Мария Рильке

Проснуться и любить. Проснуться от любви.

Не от боли. Не от страха. Не от толпы забот и обязанностей, которые толкаются вокруг, и каждая требует: «Я раньше, я первая!». От любви. От солнечного толчка внутри тебя, будто любимый коснулся губами твоей души.

А потом жить. Целый день жить в любви, всегда в любви.

Вечером лечь в постель – в любовное облако, и тихо засыпать, покачиваясь в ласковой ее колыбели.

Сон – это та же любовь. Сон – марево, мечта, жизнь вне Земли. Это и не сон даже, а полусознанное парение, та неземная жизнь, которая только и бывает, что во сне и в любви, где-то мы обитаем, только не такие мы – не с руками, не с ногами, а я и не знаю – какие, что-то похожее на те облака, которые я видела, когда было два неба. И нежность, любовь облаков – это же не нежность всё-таки грубых человеческих, хоть и любящих, рук?..

А потом утро. И продолжение полусна, или какой-то *наджизни*, или не над-, а просто *вне* – вне той, что здесь. Она тоже жизнь, но где-то в других измерениях. Ты это знаешь, мы это знаем. А для Земли, для землян (и для меня же самой, когда я – землянка, то есть в этой жизни нахожусь) она *не жизнь*, она *внежизнь* – бесконечное продолжение этой полу-вне-над- самой лучшей, единственно человеческой.

И опять я выпадаю из Времени, как это было когда-то. Я – вне

Времени, там, *где нет Времени*. И в этом Там, где нет Времени, – там несказанно, невыразимо *нежно и блаженно*. Только не так нежно и блаженно, как бывает на земле. И даже не так, как бывает в небе. Ибо то *нежно и блаженно* не только лишено материи, но лишено и чувств, чувствований, ощущений. То *нежно и блаженно* не знает ничего, что рождает человеческие чувства. Ни запаха, ни вкуса, ни касания... Как странно об этом говорить. Приятно, но без ощущения приятности. Блаженно и сладостно, но без земной сладостности и удовольствия... Странно. Да и не может быть иначе. Как же словами об этом... А если заснуть? Если засыпать медленно? Может быть, тогда...

Как рассказать о том, что происходит со мной? Как назвать то место, где я пребываю? Царство? Пространство? Где живу я, где плыву, парю, летаю? Я сказала бы, что живу в экстазе. Но может ли быть экстаз Тишины, экстаз Покоя, *надмирности*? Может ли быть экстаз в болезни и ожидании скорой смерти? Наверное, нет... не знаю...

И всё-таки... Это так высоко. Это так бесконечно... Но ведь все эти слова столько раз уже говорила я. А сейчас что-то новое, что-то опять новое, дальше, еще дальше, где же это?

Мне так тихо сейчас, что не могу ни думать, ни говорить, ни петь, ни даже молиться. Только смотрю очень долго в небо за окном и за тополем, слушаю шум прибоя. Птицы пролетают стайками над берегом и влетают в мою комнату – там, в зеркале. И кошка бродит, простая беспородная кошка. Что видят мои глаза? Не знаю. Они смотрят куда-то внутрь, и я не умею назвать то, что они видят. Я ничего не говорю, ничего как будто не чувствую, и в то же время знаю, что это не отсутствие жизни, а наоборот. Может быть, это транс? Медитация? Или молитва? Или это та ночь длится во мне, тянется в бесконечность. Если она продлится во мне еще и еще, если она не покинет меня и останется во мне навсегда, то я успею всё-таки, осуществлюсь, сбдусь на земле в этой своей жизни. Как у Марины:

– Не жалеите! Всё сбылось,
Всё в груди слилось и спелось.

Спелось – как вся даль слилась
В стонущей трубе окраины.
Господи! Душа сбывлась:
Умысел Твой самый тайный*.

* Марина Цветаева. «Золото моих волос...»

* * *

...Так тихо и мягко не может быть знойным летом, так бывает только в сентябре.

Мы входим с тобой в ласковую воду. Она журчит, течет совсем-совсем близко от наших лиц, от наших глаз. Я смотрю в воду, чистую, прозрачную, я вижу в воде себя, и дно, и наши ноги, ступающие по дну, тоже ласковому и мягкому. Я танцую. Танцую в воде под музыку Моцарта, танцую мягко и плавно. И тело мое в воде избавилось от неуклюжести. Оно полуплывет-полуплывает плавно, плавно. Будто оно невесомое и плывет-танцует в воздухе. Только его не носит, как былинку, – мой танец медленный, плавный. Танцуют руки, танцуют ноги, спина, всё тело. И во всёём этом тишина и молитва...

А потом мы летаем с тобой. Мы плывем по воде так, как плыли во сне по воздуху. И я специально повторяю все те движения, так же подгребаю под себя воду, как во сне подгребала воздух. И вода так же плотно держит меня, как воздух во сне. Это – как сон наяву, как осящественный сон. Только всё-таки лучше летать, как облако. Оно не летит, оно плывет по воздуху. Я ложусь на воду и не шевелю ни руками, ни ногами. Вода сама держит меня, как держал бы воздух. Так можно долго летать, от этого не устает. Так облако плывет-летает в небе...

Белые чайки. Синее море. Что-то поет внутри какую-то бесконечную песнь. И тянется-тянется сквозь нас Тишина. Как всё тихо, как тоненько, как воздушно, прозрачно, растворено... Ты рассказываешь мне об Армении, а я слышу о том, как ты любишь меня. Я рассказываю тебе о танце под музыку Моцарта, а ты слышишь о моей любви к тебе, нежности и молитве. Я говорю о полете, а ты о нас слышишь... И мне хочется донести до тебя всё то, в чем живет, плывет и летает моя любящая, моя любимая тобой душа, но одно наплывает на другое, а где же всё остальное? Ведь всё, абсолютно всё кажется важным...

И снова: проснуться от любви... И не вымолвить ни слова. Потому что любое слово – как резкий диссонирующий аккорд. Не шевелиться. Не двигаться. Ни движением, ни звуком не нарушить тишину, покой и гармонию, лад, небо... нет, не небо – НАДНЕБО: то, что там. Над... Не знаю, как назвать это, не знаю никакого слова, никакого имени этому космосу внутри меня, этой бесконечности, которая вообще никогда ни в чем не может уместиться, но каким-то образом обитает во мне.

Мы держимся за руки... И сразу меня заливает тихой теплой лаской прикосновения твоих рук. Наверное, это была самая первая ласка, которой научился человек. Взять за руку, положить руку, прикоснуться рукой... Это теплая, чистая, не жаркая, надежная ласка близкого родного человека, друга...

Ты так много ласкал меня, а запомнилось мне больше всего вот это ощущение ласковой нежности, даже не нежности, а... сказать не умею. Любящая благодарность? Ласковое тепло? Теплая нежность? Названия нет, а оно во мне, оно дышит, ласкает, греет, оживляет... Опять пытаюсь назвать словами. Оно любит и любит, оно окутывает тебя собою, меня тобою, я даже не знаю, чье это тепло – мое к тебе или твое ко мне? Наше? К нам? Ах, всё равно ничего не смогу я назвать, обозначить, выразить...

Вот и эта немота охватила нас, сразу обоих. Только ты молчишь целомудренно, а я, как более нетерпеливая, оскверняю уста, пытаюсь сказать несказанное.

...Мы пришли в весну. Далеко внизу перед нами – море. Вокруг зазеленевшая трава и деревья то ли с почками, то ли с листочками прорезающимися. Пахнет свежестью. И запах этот волнует. Небо – светлее моря. И всё это – Тишина. Пока шли, эта Тишина с робким запахом свежей земли оборачивалась мирами, и я ведала их и поведывала о них тебе. Но можно ли перенести их на бумагу? Можно ли удержать на бумаге Тишь и Безмолвие? Рассказать о ней, усмирившей слегка сумасшедшую нашу сегодняшнюю влюбленность, кружение головы, растущее от минуты к минуте? Сколько их было сегодня, этих минут? И как плясало всё внутри от влюбленного ликования, а сейчас умиротворилось. Рука твоя умиротворилась. Ее нежность льется в меня, как и раньше, но не кружит голову, не пьянит, а сама становится Тишиной. Любовь моя, Любовь моя, твори меня, твори. Видишь ли ты, как я тянусь к тебе, как протягиваю к тебе руки через все расстояния и невозможности, как неостановимо тянется к тебе, протягивается к тебе моя душа?..

Как хорошо летается моей душе. Как хорошо ей летается вместе с твоей. Как хорошо ей сейчас летать, и нестись, и парить, и не двигаться.

Снег идет. Холодный ветер; снег не падает сверху вниз мягко и ласково, он несется косыми, почти горизонтальными полосами, сухой и колючий. Как странно, что нам совсем не холодно летать под этим холодным и резким ветром. Мы не ощущаем его. Вокруг нас холодно, колюче, неудобно. Всё в стремительном и остром движе-

нии. А мы парим в тишине. У нас светло, солнечно, ясно. Где же мы летим? Где то пространство, в котором сейчас наши души? Оно не здесь, оно не отсюда...

Белый снег в темном вечернем городе, белый-белый, тихий-тихий, и сказочный, и праздничный. Снежушка, снеженька, снежок...

Давай погуляем по тихой снежной сказке. И пусть праздник светится в нас. Хорошо. Тихо. И не хочется слов, и не хочется мыслей. И даже музыки не хочется, хотя в голове копошится какой-то нежный вздор о Моцарте, который был северянин и, наверное, тоже любил эту снежную тихость. И о том, как это хорошо, что он не с юга, где всё слишком сочное. И о нашей Одессе, которой повезло быть не слишком северной и не слишком южной.

Что-то хорошее думалось мне вчера днем, что-то важное и большое, с проблесками открытия, радостное. Но заснула ночью и «заспала» всё это. Сейчас пытаюсь вспомнить, но получается схематично, сухоовато – не то, а о том... Жалко. А было хорошее. Конечно, куда оно не ушло, осталось во мне, и теперь всегда во мне будет до следующего раза, когда опять «откроется». Оно было о смерти. О том, что смерть может быть не страшной. Я догадывалась об этом не разумом, а чувством.

Если б в то время, когда, с наушниками на голове, я живу в музыке Моцарта или Баха, кто-то подкрался сзади и убил бы меня, или лучше просто без всякого убийства остановилось бы сердце, не вынеся такой полноты, разве это было бы страшно? Мне кажется, это было бы прекрасно. Или заснуть навечно в твоих объятиях... Стоп. Вот и загвоздка. Страшно не мне, не знающей, а просто остановившей прекрасное мгновение. Страшно тебе обнаружить, что ты обнимаешь мертвую. Всем любящим меня страшно без меня остаться. А для умирающего смерть может быть совсем нестрашной.

Это у меня «второй этап» в развитии моего отношения к смерти. Первой ступенькой было принятие смерти вообще, не для близкого окружения. Какой будет третья ступенька?..

Зерно должно умереть в земле, перестать быть зерном, прорасти и стать новым ростком, новой жизнью. Мертвых нет. Они живы в нас. Они живы во мне. Ты умер. Ты прорастаешь или пророс в земле новым ростком, новой жизнью. Я жива пока. Ты живешь во мне. Ты прорастаешь во мне новой жизнью, новым ростком, новым бытием.

Что будет потом? Что будет, когда я тоже умру и начну прорастать

новой жизнью? Кто или что будет тогда моей и нашей землей? Только бы мне не провалиться в ту тьму, куда ты не сможешь ко мне пробиться...

* * *

Думать не хочется. И размышлять не хочется. А хочется быть. Быть. Не делать что-нибудь, не шевелиться. Быть. Может быть, это молитва. Только в ней нет ни единого слова. Есть какое-то струение. Струится неподвижность, струится Вечность. Так бывает? А может быть и не струится, а просто есть, существует. Может быть, это я от привычки к движению ощущаю бытие как струение...

Мне столько нужно успеть тебе рассказать. И я боюсь, что потом оно потускнеет, забудется...

Вчерашний день был емкий, насыщенный и, кажется, хороший. Зеркало рассказывало и показывало мне то, что хотело и считало важным. Потом я уснула, мне приснился сон, и сегодня с самого утра я была под влиянием этого сна, который казался мне очень значительным, наполненным символами и, может быть, явившийся знамением... Это был сон о том, что мучило и беспокоило меня, сон о мире взрослых, который втянул меня в себя, о тягостной, мелкой торопливости этого мира, ненужности и тщете его мучительных усилий, лживости его бед, безысходности, безнадежности, одинокости. И сон о взлете, о выходе через взлет, через полет. И о том (вот и открытие), что этот взлет – не награда, ведь я не заслужила его ничем, ни в жизни, ни во сне, – а дар Божий. И еще о том, что, взлетая, не думаешь о том, можно ли это, не привилегия ли это, не грех ли это, не вина ли перед другими, – а взлетаешь, потому что в момент, когда ты понял, что ты можешь взлететь, ты понимаешь это как «Господи, сейчас я взлечу!», ты принимаешь этот дар и взлетаешь, потому что иначе не можешь. Это потом можно рассуждать о том, что отказать от Божьего дара грех больший, чем тот, которого ты боялся. В тот момент ты не думаешь, в твоём сознании отсутствует «лететь – не лететь». И во время полета ты легок и свободен, блажен, светел и радостен. И ты не думаешь ни о какой вине, ее нет. Потому что у тебя и не было выбора. Только и можно, что с радостью и благодарностью принять. И ты принимаешь, потому что дышать воздухом того взрослого мира – смерть от удушья, особенно после горного воздуха, которым тебе уже довелось подышать. И потому, приходя в этот мир, выполняя свои обязанности, но не соглашаясь стать его жителем, не следуем ли мы за Господом Богом, Отцом нашим, не принимаем ли мы из Его рук блаженный святой дар – нет, не награду, а милость, подарок? Говорить о вине не нужно, бессмысленно...

Я думаю о людях, не умеющих хотеть. Я знаю, почему им плохо. Знаю, почему они не могут быть счастливыми. Потому что они жертвуют большим ради меньшего. Потому что они предпочитают не бесконечное, а конечное, не большое, а малое, не вечное, а временное. Потому что стирка для них важнее прогулки или возможности поразмышлять. И вот они откладывают на потом главное, не терпящее отлагательств, – ради неглавного...

* * *

Сидим над морем. Молчанию нашему не хочется слов. Не хочется говорить, писать, думать. Мы растворяемся в воздухе и в море, становясь их частью, неотделимой, неотделенной. Но в то же время, – и это опять чудо, но оно не удивляет нас, – в то же время мы видим море, видим небо, видим теплый воздух так, как будто они – одно, а мы – другое, хотя мы не другое, мы – одно. Перед нами, совсем рядом, стоят деревья. Их четыре около нас, да еще куст с детками-кустятками. Все они тоже стоят над морем и видят его всегда, но хоть видят они одно море, и сами – деревья одной породы, – а все разные. Их можно любить все вместе – деревья. Но лучше общаться с каждым отдельно, по-разному. Видят одно море, а видят разное. Слушают сейчас нашу с тобой душу, вбирающую в себя море, а слышат разное. На них нет листьев, и поэтому кажется, что они танцуют. Вернее, танцевали – и вдруг замерли в танце. Но танцы у всех разные. Два дерева над кустом с детками тянутся друг к другу, но куст с детками стоит между ними, им никогда не дотянуться. Они и грустят, и любят, и улыбаются от счастья и нежности. Они исполнены любви, поэтому не только вбирают в себя море, растят свою душу и любовь, но и себя даруют и посылают морю. Мы слышим их диалог с морем, слышим их беседу с нами и отвечаем им тишиной, смирением, любовью.

Третье дерево застыло в причудливой ломаной мелодии XX века. Оно нервное; что-то черное, дерганое мучает его. Оно не хочет Тишины, а хочет барабанного перестука и пляски. Оно тоже часть моря, наверное – часть того моря, которое есть стихия, хаос. А оно – маленькое, ему не выдержать бури, и оно гримасничает, как ребенок, когда не может по детскому слабосилию вступить в желанную драку.

Четвертое дерево – женщина. Ее танец спокойный и плавный. Она утешает нервного соседа, но не словами утешения, а нежностью и дыханием покоя...

Как хорошо мне дружить с деревьями. Я не рассказываю им всё – как привыкла рассказывать близким друзьям, – потому что они молчаливые и не знают языка слов. Но я ощущаю их родственность, их родство, их близость, Ощущаю себя их младшей сестричкой. И мне

кажется, что как от них исходит ко мне нечто, чему я не знаю названия, но что воспринимаю большим, Божьим, так и они воспринимают в себя то, что исходит из моей души. И потому они – как-то иначе, не так, как близкие мне люди, – но знают обо мне всё самое главное, самое глубинное. И мы потому сестры и братья, что в них и во мне один Бог. Конечно, мне можно возразить, что Бог во всех и во всем один. Может быть. Но я этого так сильно и остро, как с деревьями, не чувствую. Бог один во всех людях, а всё-таки мы с тобой такие родные, потому что у нас с тобой, и только у нас двоих, – один Бог. Может быть, у других – похожий, близкий. И тогда эти люди становятся нам близкими. Но один – только у нас. Так и с деревьями. Сейчас я очень-очень чувствую, что мы – дети одного Бога. И несем в себе одного Бога. Только проявляется Он в нас по-разному. И жизни наши разные. Моя душа воплощена в ходячее говорящее существо под названием «человек», а их души воплощены в растения под названием «дерево». Какая разница? Общаться нам очень легко, если не на уровне плоти, где всё у нас разное, а на уровне духа, Бога, в нас живущего, одинакового, одного... Да и так уж ли не на уровне плоти? Ведь обнимаю я их, прижимаюсь к ним. Вдыхаю в себя их запах...

А впрочем, это неправда, что только с деревьями мы в родстве. А трава? А птицы? Господи, да мало ли! А запах сырой земли в лесу, или даже в парке. Трудно, наверное, породниться с запахом, но зато сколько любви к этой черной и рыхлой земле!..

Стоп, тут что-то не так. Я эту землю люблю истово, но она про мою душу не знает, или я не знаю, что она знает. Не знает даже, что творится со мною от этого ее запаха. А деревья не только по-своему *знают*, но и по-своему *реагируют*. Между нами происходит какое-то общение, они посылают мне что-то и что-то вбирают в себя.... И душа моя знает, что каким-то недоступным моему восприятию образом, деревья тоже по-своему живут Главным и в Главном. И знают об этом. И думаю я, что они больше живут Главным и в Главном, чем многие люди... Что ж, если я не знаю языка деревьев, зато душа моя начинает его постигать...

Впрочем, в последнее время я особенно остро и виновато ощущаю свое родство со всей природой – не только с растениями, но и с камнями, землей, горами, водой... А вдруг это потому, что она, природа, зовет меня, говорит со мной, обращается ко мне. Может такое быть? Ведь я часто разговариваю с ней, почему бы и ей не поговорить со мною? А если это правда, что мне тогда делать? Я не могу понять, о чем она меня просит... А может быть, не просит? Может быть, готовит меня? Может быть, это потому, что мне скоро переходить в иное состояние?

Что есть природа? Всё сущее. А после смерти остаемся ли мы ее частью?..

* * *

...Море ласкало меня тобою сегодня. Солнышко грело нежно. И тоже не приближалось, чтобы нежное тепло не стало жгучим огнем. У теплого воздуха – твои пальцы. Хорошо было лежать на берегу с закрытыми глазами и позволять ему обнимать меня. Хорошо бы увидеть тебя глазами и нырнуть в твои – целиком, без остатка. Прикоснуться. Улечься на доньшке глаз твоих и коснуться губами души. Взять за руку. Прислониться щекой. А ты так далеко, так далеко сейчас, так недостижимо далеко, так недостижимо далеко вверх... Ах, нет, нет. Ты в каждом листике каждого дерева, и в воздухе, и в музыке, и в Пушкине, и в морском прибое, и в лесной тишине. Ты – в молитве. Ты – в дыханье. И много тебя, и всюду ты. И каждая мысль – ты. И каждый вопрос – тебе. И каждое мгновение – с тобой. Потому что люблю. Потому что любим. Потому что Бог.. Ты не ушел. Как Он не ушел. Вы вдвоем зовете меня оттуда, из вашей выси. А я тоскую по вам, плачу и мучаюсь, но подняться к вам не могу..

И опять наплыв. Так бывало уже.

Они, в том фильме, в «Барьере», летают почти как мы. Может быть, на самом деле они летают совсем как мы, но в кино это трудно снять. В жизни полеты не требуют так много движений, всё еще более плавно, и протяжно, и тягуче, и внутренне...

А мы? А как мы летали с тобой? Ты тоже сперва испугался? Или сразу поверил? Ты полюбил полеты. И захотел летать. И летаешь. И рождаешь полеты во мне. И у нас никогда не было и не будет так страшно, и непонятно, как у них после полета. Но не моя в этом заслуга. Не моя. Это всё твоя любовь сделала и сотворила. Это всё твоя любовь. Это она, любовь, дала мне крылья в самый первый наш день, через несколько минут после встречи. Мы еще ничего не знали, мы и думать не думали о том, что будем дружить, а, тем более, любить, а крылья уже были, уже были у меня, хотя я и не знала, что эти крылья от твоей любви. Я вообще не знала тогда, что они есть, крылья. Они от улыбки твоей появились. От лица твоего, чем-то внутри меня и тайно от меня узнанного и сразу родным признанного.

Ты давал нашей любви дыхание, образ, слово, песнь и, конечно, полеты. И вот теперь я мучаюсь от невозможности что-нибудь высказать, от необходимости летать в одиночку. Но почему в одиночку? Разве не продолжаются наши совместные полеты? Разве ты не прилетаешь ко мне, не летаешь со мною?

И всё-таки они летают не так, как мы. Ну и ладно. Как мне стало легко и отрадно, когда они полетели. Как мне сразу стало дома, и я заулыбалась, хотя знала, что будет дальше, и чем это кончится. Мне очень хотелось, чтобы они полетели, как мы – взявшись за руки, раскинувшись в небе, лежа на животе и чуть-чуть подгребая свободной рукой. Или лежа на спине, глядя вверх, совсем без движений. Или обнявшись... Но они летают по-своему, иначе. И всё равно по-нашему. Они, правда, летают очень пластично, руки и тела будто танцуют в воздухе. И я поверила им, поверила, что они летают, даже ему поверила...

Хотя с ним не всё в порядке, всё-таки. Для него влечение – это что-то о мужском и женском, о красном и потном. И чудо полета происходит не с ним. Это она берет его в свое чудо, в свой полет.

Зато о ней и говорить нечего. Она знает главное, это же очевидно. О Влечении знает она, что Влечение – это та нежная и волшебная сила, которая влечет нас к любимым. К улыбке любимого, к душе любимого, к Богу в нем. Это нежная, святая, чистая сила любви. И это та космическая сила, которая влечет нас к Бесконечности, которая поднимает нас, возносит в полет, когда не мы летим, а нас летает, направляет, а мы отдаемся полету, и только души в нас устремляются всё выше, влекомые этой прекрасной силой...

Потому что летать надо не от Земли, а к Небу!

Во всех моих прежних взлетах был толчок. И это было самое трудное: оттолкнуться, оторваться от земли, лечь на воздух и полететь. И не забояться, что упадешь, потому что иначе и в самом деле упадешь. Это было трудно, потому что я летела от земли, с земли. Потом я летела к небу, летала в небе, но взлетала с земли. И вот в какой-то момент впервые не отлетела, не летела с земли, а только к небу. И потому не надо было толчка, преодоления. Ах, ну почему я не могу ничего объяснить! Это не умствование, не пустой треп. Это – радость, озарение, открытие. Летать без отлета. Летать, потому что сила притяжения Неба больше силы притяжения Земли.

Космос такой большой. Он впускает нас, но не знает нас, не любит, не замечает. Отчего же так непреодолимо влечет нас туда? И откуда мы знаем, что он состоит из света и нежности? Целая бесконечность Света, целая бесконечность Нежности. Бесконечной нежности, Безначального Света. Всегда света? Всегда нежности?..

* * *

Я летала! Летала во сне, думая, что наяву, «проверяя» это и

убеждаясь: да, наяву. Мне снилось лето, снились море, солнце, одесские улицы и пляжи. Был солнечный веселый праздник, я не помню, что там происходило во сне, хотя что-то же, наверное, происходило, были какие-то события, но это неважно, и я совсем не собиралась летать, но вдруг оттолкнулась двумя ногами от земли и... даже сама не ожидала и не заметила, как же это... лечу. Полет-радость, полет-ликование, полет-солнце. Я летала над одесскими улицами и над морем. И, летая, думала: «Теперь уже никто не скажет, что это во сне». Подлетала к домам, дотрагивалась до них рукою и говорила: «Вот ведь моя рука чувствует стену, значит, это не во сне». И радовалась и больше загребала руками воздуху, чтоб полет становился еще стремительней и радостней... Когда проснулась, не огорчилась, а только удивилась: «Значит, всё-таки это было во сне?»

И всё же полеты возвращаются ко мне потихоньку. Почему? Потому что я выздоравливаю? Или потому что болезнь потеряла свою устрашающую силу? Как и страдания? Как и смерть?

...Мы заснули днем от счастья, задремали, обнявшись, слившись, переплетаясь. Не заснули – погрузились в то, что бывает, когда обнимаем друг друга. Не знаю, сколько спали, пробудились от чьего-то крика, испугались. Всё оказалось в порядке. Что было во сне? Не помню. Но помню, – нет, не помню, знаю, чувствую, ощущаю, – что там, до пробуждения, мы были вместе, и от этого осталось ощущение насыщенной полноты той совместной жизни. Там было не помню что, но знаю, что мно-о-го. И я подумала, что, может быть, и в смерти будет, как во сне? И, пробудившись для новой жизни, мы не будем знать, что было там, в смерти, но будем ощущать, что было мно-о-го, что были вместе, что была любовь... Как и сейчас ощущаем – о той прошлой жизни?...

Как мне хочется летать с тобою, нет, не летать – быть с тобою там, где летают, где полеты естественны, как дыхание, нежность, любовь... Там, вверху, ты один, без меня?..

* * *

...Мы с тобою одни в целом мире. Потому что все спят, и так тихо... За окном ночь. В ночи – белый снег. Наше белое венчание... Что-то очень хорошее шепнул мне сегодня на ухо Бог. И я теперь живу, улыбаясь, тебя улыбкой лаская. Всё будет у нас опять хорошо. Вот только еще чуть-чутьочку, вон до того беленького облачка доживем, долетим, долюбимся... Небо нежное-нежное. Мы встретимся. Ты подожди меня. Вот у того облачка и подожди.

Я могла бы сказать тебе, что вижу тебя в осени, в небе, в море, в нашей комнатке. И это была бы правда. Я могла бы сказать тебе, что слышу тебя в тишине, в шуме моря и листьев, в музыке Моцарта и Баха. И это была бы правда. Но это – маленький кусочек правды. Ты – всюду и всё. Это правда, но и это не вся правда. Дело не в том, что мне не надо видеть твое лицо в осени, в небе... во всем; дело в том, что ты обитаешь во всем этом растворенный, нематериальный, – и это хорошо, это в тысячу раз лучше, чем материальное лицо. Дело не в том даже, что ты одновременно обитаешь в этом всё, что видит, слышит и воспринимает моя душа, и во мне самой, в моей душе, видящей, слышащей, воспринимающей. И ты – не часть этой видящей, слышащей, воспринимающей души. Не часть, потому что часть можно отделить, выделить, а ты – ты неотделимо, невыделимо в ней, ты – она, душа, она и есть, я знаю, ты слышишь меня. Но дело даже и не в этом, а в чем-то другом, чего я не могу назвать ни тебе, ни себе, потому что оно не выходит на уровень слов и мыслей. Я не чувствую этого, оно живет во мне, и я радуюсь и благодарю Бога, потому что это еще один, новый, большой, лучший дар Его нам. Потому что это надежда на новую встречу, на вечную встречу, когда я дорасту, и, может быть, скоро. И если я буду плохая, то нельзя мне будет даже просить о прощении, – понимаешь? – и о встрече нельзя нам будет просить.

А может быть, я немножечко знаю, как назвать это словами. Может быть, я знаю, как попробовать говорить о том, что случилось. Это просто, совсем просто. Ты превратился в мою любовь. Ты превратился в мою любовь к осени, к небу, к тишине и молитве, ты превратился в мою любовь к Богу и Божьему миру, к людям и зверушкам, к травам и деревьям. Чем больше во мне любви, тем больше во мне тебя. Чем больше я люблю не тебя, тем больше тебя люблю, и обнимаю, и ощущаю в объятии, – слышишь меня, слышишь?.. А, может быть, и это не то, опять лишь кусочек правды...

Хорошо у нас дома! Хорошо быть в нашем Доме, даже когда у нас плохо. Наше «плохо» всё-таки в миллион миллиардов раз лучше иного «хорошо». Какое это спасение и счастье, что у нас есть наш Дом...

Хорошо, что вокруг и в нас тишина и безмолвие, что нет суеты и горячки, что съезжилась и спряталась в уголок болезней, что не кружатся слова, что тянется через нас в бесконечность эта нить, у которой не было начала и не будет конца.

Тебя ли, себя ли качаю в колыбели, тебе ли, себе ли шепчу мамыны слова.

Выйти на улицу после дождя и, вдохнув неожиданно ароматное

небо, воскликнуть произвольно: «Господи, какая благодать это небо, и этот воздух, и этот запах дождя! Спасибо, Господи!»

Наш маленький парк снова обернулся лесом. Он не всегда это делает, но сегодня сделал. И стало тихо-тихо, как в лесу, и немножко темно, как в лесу, и воздух стал сыроватым, лесным...

Мы в парке, где тысячу лет назад гуляли уже однажды. Мы в том же парке, но идем в другую сторону. Мы идем над морем долго и неторопливо, а вокруг нас – деревья и кусты, а над нами – синее небо и солнце. Мы молча гуляем по улочкам, по переулкам, через Отраду и Аркадию, по бульвару на Манхэттен-бич, через набережную над Сеной, по тропинкам, ведущим к Нерли, прямо к церкви, и дальше – домой.

Мы спускаемся с горы и видим у ее подножья толпу людей. Они слушают того, кто стоит перед ними и говорит, улыбаясь: «В каждом из вас Вселенная. Погрузите ум в сердце, спрашивайте свое сердце, слушайте через свою любовь. Блаженны знающие язык Бога».*

Мой сон продолжается? Нереальность происходящего вокруг меня и со мной всё еще не может прорвать реальность того, что происходит во мне, происходит так скрыто, что и сама я не знаю, что же там творится, и только отдельными вспышками проблескивает оно в сознательное – в чувство, в мысль, в ощущение...

Нежность полусна-полупробуждения. Вот только *что* было что-то в моем сне. И не помню что, но помню *как* – тихо, по-детски, нежно и невесомо. И вся тихость, вся детскость, вся нежность и невесомость, – все они плавно-плавно переплыли, перелетели из сна в утро. Я молчу, не говорю слов и даже не держу за руку, потому что мы и так вместе, так не друг с другом, а друг в друге, слиянно, как нетелесное сливается. И так, с тобой внутри себя, – нет, с нами во мне, лежу тихонько и пытаюсь следовать за тем, что только что проплывало бессловесно.

Почему «проплывало»? Потому что оно медленно и плавно текло в полусне-полуяви-полумысли-полусостоянии. И то совсем растекалось-расплывалось то ли дремой, то ли наджизнью, то сгущалось в облачка – мысли ли, воспоминания ли...

Мы летим, нет, плывем с тобой в Космосе. Мы плывем то ли медленно, то ли неподвижно, потому что нас движет и влечет что-то, чему я не знаю имени: это немножко похоже на то, как плывут

* Притчи царя Соломона

предметы по тихому течению воды – безуильно, не сами, влекомые. Мы лежим на боку лицом друг к другу. Мы касаемся друг друга только руками, вытянутыми над головой, – я правой, ты левой. И так и плывем боком... Я не умею, да и нужно ли словами об этом?

Нет, я понимаю, Космос не всегда только свет и нежность. Он может быть и тоской, и томлением, и одинокостью бесконечной. Но он всегда – любовь. Потому и может быть этим всем, что всё это в любовь входит...

Выхожу на балкон и окунаюсь в Космос. Протягиваю руку и трогаю его. Перебираю пальцами, ласкаю глазами свой платан со свисающими шариками, такой родной, такой ручной, такой домашний, и всем существом своим знаю, что он – частичка Космоса, и в Космосе живет. Космос касается моих глаз и входит внутрь. Космос касается моего лица и растворяет меня в себе. Я растворяюсь в Нем, делаюсь Им, и, в то же время, вбираю Его в себя, вдыхаю, выпитываю. Как мало пространства вокруг меня: несколько деревьев, нахохлившийся мокрый голубь, два беззаботных воробья. Внизу – асфальт, вверху – небо... Космос не требует пространства. Космосу оно не нужно. Космос – в деревьях, в голубе, в воробьях и, конечно, в Небе... Значит, и во мне... Это даже не молитва, это нечто иное... преобразование?.. Я – земная, живу на земле, отягощена земным. В моей душе угроза скорой смерти, тоска и страх предстоящих страданий, тревога болеющей тети, гнев, растерянность и жалость к армянам, евреям, узбекам, туркам, грузинам и всем остальным, отчаянье от ужасной судьбы моей первой родины, незнание, как жить, маленькие заботы и переживания, собственные и окружающих меня близких... И, при всем этом, во мне Космос, и сама я – Его частица? Значит, и все мы тоже? Не только я, не только хорошие и простые люди, но и те – тоже ведь наши братья, – которые жгли дома армян или турок, резали и убивали людей, сжигали их в газовых печах? Они все – тоже Космос, тоже частица Его?.. Как жить с этим?..

Любить. Ответ на все вопросы – любить. Не плоть любить. Бога любить. Не плотью любить. Богом в себе любить. Ах, хорошо, хорошо, хорошо бы...

* * *

Вижу нас... Как я к тебе через непогоду чудом прилетела, а ты ждал меня в аэропорту... И еще почему-то ужасное вино, которое ты пил и меня уговаривал... Заселяю нами таллиннский хутор. Вижу себя в гамаке, ты склоняешься надо мной близко-близко и покачиваешь гамак, и молчишь. И я молчу. Тишина хутора – и наша с тобой Тишина...

Я живу любовью. Меня уже не было бы, если бы не было во мне любви. Живу, любя каждую секунду, как каждую секунду вдыхаю воздух, пью кислород, дающий возможность жить. Мое существо пропитано любовью, как тело пропитано кровью, и водой, и чем-то еще, чему я не знаю названия, но без чего оно не умеет быть живым. И всё это – правда, вернее, частичка правды, потому что мало, плохо и бледно говорит о том, что на самом деле есть моя любовь; то, как живу я с нею, держась за нее, храня ее в себе.

Я храню в себе свою любовь, как храню Бога в себе. А любовь, как Бог, – да она ведь и есть Бог, – хранит меня.

Моя болезнь не может победить любви, потому что съедает только тело мое. Не она определяет сроки. И не следует мне ни бояться этих сроков, ни думать о них. Любовь во мне. Бог во мне. Какая защита может быть надежней? Я знаю, что это так, и верую в это, как верю в воздух, воду и хлеб.

Я всё могу, потому что люблю. Всё могу, и всё мне подвластно. У меня чудеса совершаются, а я и не удивляюсь. Я всех люблю, потому что Бога люблю. И всех хочу радовать, всем хочу подарить брызги своего счастья. Стихи могу сотворить, только они в слова не одеваются. Музыку творю, только без инструмента и голоса. Ничего не боюсь, хоть знаю, что уязвима, а не боюсь всё-таки... В том состоянии, в каком я живу сейчас, которому не могу подобрать названия, но которое, думаю, и другие знают по себе, – в том состоянии вдохновения, любви возможны всякие чудеса. Возможно чудо исцеления. И тогда жизнь продлится еще, может быть, долго. А возможно иное, высшее чудо – чудо принятия. Принятия Божьей Воли, даже если это влечет твою смерть. «Над смертным часом нет власти»*. Мудрец прав. Но с доверием и без страха слушаю Бога в себе. Каждую секунду хочу слышать Его, рожденного любовью.

* * *

Лежу тихая-тихая, тише слова, тише звука. Разве можно передать Тишину человеческими словами? Но тогда зачем спускаться к словам, молясь? Не лучше ли нам молиться вот так – Тишиной, Покоем, высотой утра, – еще и не утра, а предрасветного часа, не тронутого людьми, человеческими хлопотами и суетой?..

Лежу, вернувшись к сознанию от снов, чистая от мирского, вымытая Тишиной, лежу без движения, без звука, без жеста. И всё во мне – Тишина. И всё – горний Свет утра. Это самое чистое и высокое время. Сейчас мы ближе всего к Нему. Только Ему, только к Нему и направлено плавное течение Тишины, которому мы отдаемся.

* Притчи царя Соломона

Потом мир войдет в нас со своими законами. Придут заботы, хлопоты, разговоры, встречи. Будут приходиться люди. У них прекрасные намерения. Они так хотят помогать и поддерживать... Пусть останется Молитва предрассветного утра. Пусть не замутится этот светлый и тихий поток. Пусть утро и день обнимают нас своей Тишиной, своей неподвижностью, высью...

Наверное, это называется словом «СЧАСТЬЕ».

Счастье? При болезни и болях? При страданиях, тревогах и страхах? При понимании того, что жизнь земная подходит к самому краю? Что многое недоступно уже, а многое никогда не случится? Что впереди – уход, только уход, скорый уход. Через немощность, беспомощность, страдания тела?

Да, счастье. Только слово – такое маленькое. Нет, это не просто счастье, это гораздо больше.

Медленная, протяжная, тягучая тишина без начала обнимает меня.

И вот я вхожу в следующее небо.

Всё становится иным, хотя одновременно в нем есть всё, что было прежде, в предыдущем небе, только оно становится еще тоньше, разреженнее. В этом следующем небе всё видится и чувствуется иным, но и прежним. Это новое-новое имеет какой-то цвет или свет, но я не знаю, как описать его. Он немножко голубой, очень светло-голубой, и в то же время беловатый. Голубой, но в белом инее. И всё – в таком молочно-голубом воздухе... или не воздухе... не знаю. Оно – очень светлое, это и в самом деле не цвет, а свет. И оно очень нежное. Не теплое. Не холодное. Но родное-родное. И всё, что здесь происходит, оно такое же, как раньше, но совсем другое – тоньше, мягче, нежнее. Здесь всё как бы размыто, как бы менее оформлено, как в акварелях. Это небо прозрачней, светлей – без присутствия солнца. Откуда идет свет? Не знаю. Источника света нет, но оно само светлей. А всё – более облачное, больше похоже на облако, чем на... нет, не умею...

Я в этом своем следующем небе. Где ты, возлюбленный мой? Я не знаю. Может быть, ты рядышком, а может быть – за тридевять земель и жизнью. Ты любишь меня. Я вижу, потому что вижу тело твоей любви – глаза, глядящие в мои. В них – любовь. В них – высь, покой... нет, не покой, что-то иное, хотя тоже напряженное и спокойное, ведущее куда-то ввысь. И эта высь, и эта даль тоже в твоих глазах. Я смотрю в твои глаза и слышу Тишину, которая несет нас куда-то... Бог... Почему люди не знают, где Он всегда виден, почему не знают?..

Я знаю теперь, что Космос рождается не где-то, не в воображе-

нии, а в глазах любящих, когда они смотрят друг на друга. Даже если любящие в разных городах, в разных странах, в разных мирах, на разных планетах или в разных временах и на разных небесах. Всё это уже не имеет значения, потому что начинается всё Главное и лучшее. Молча обнимают друг друга души, молча плывут они в Космосе Баха, молясь Ему, отдаваясь Ему, причащаясь Ему, ничем не нарушая молчаливой Молитвы...

Неужели есть люди, которые могут объяснить, рассказать музыку Баха! Неужели жил на свете человек, такой, как другие, который ел и пил, любил жареную картошку больше, чем вареную, работал за деньги и считал музыку своей профессией, говорил слова, как все люди, и вообще был «как все», а потом шел к органу и создавал то, что мы называем *музыкой Баха*? Потому что у него была фамилия, и эта фамилия звучала БАХ? И он писал, сочинял и мастерил, пользуясь правилами или законами гармонии? А может быть, наоборот? Может, правила и законы создавались потом на основании его музыки, продиктованной Богом, записанной его, Баха, рукой человеческой?..

Наверное, самым большим из моих «открытий» было открытие о том, что Бесконечность – не где-нибудь, а здесь; что Вечность – не когда-нибудь, а сейчас; что рай и ад – не после смерти, а сегодня. Мне подумалось об этом, потому что, глядя в окно, я вижу одновременно наш двор, серые дома, верхушки деревьев, голых и замерзших, – и частицу Бесконечности, которую, если бы описывать как глазами воспринимаемую, то ведь опять-таки – двор, дома, деревья. Да еще небо. Да еще воздух... И так же они вместе – одновременно – и то, и другое, как и молитва во мне, Бахом рождаемая, и беспокойство из-за неоконченных дел, и осознание того, что не побывала, но была и есть в Вечности, в Вечности живу, а уйду – так ведь это и есть: от Бога отворачиваюсь, – а Она, Он, ждут, да и не ждут, но примут всегда, в любой момент примут... Хорошо. Вот поэтому-то и не может быть конца. Какой же конец, когда Бесконечность? И что уходит – не очень хорошо, но и не очень страшно. Только бы возвращалось. А оно возвращается. И открытие совершается снова и снова, опять одно и то же, в который раз уже одно и то же – открытие Бога, открытие Бога во всем, открытие Бога в себе, открытие всего (и себя) как Божьей частицы и Божьего обиталища... Господи! Спасибо... За Бесконечность в моем дворе, в моей комнате, со мной в одно время, Господи...

Тихо-тихо, коленопреклоненно и вся устремляясь ввысь, вот так молюсь я в Храме души моей. Твоя рука гладит мои волосы, рождая музыку Баха этой своей лаской. Бах звучит в нашей комнате, рождая

молитву-любовь-благодарность и ту устремленность ввысь, которая переходит в медленный и плавный полет-парение, молитву... будто тянулись руками к Господу и так, протягивая руки, почувствовали, что *кто-то* или *что-то* оттуда влечет меня к тебе, и тело мое без усилий, не преодолевая никаких толчков и препятствий, само поднялось за душою... Так бывает с телами-предметами, если где-то далековерху притягивает их магнит. Предмет летит сам. Его влечет сверху сила притяжения. Тело не летает само. Его привлекает сверху Сила Небесная.

Тихо-тихо летит в темном Космосе моя душа. Тихо-тихо. Бесконечность обнимает ее. Бесконечность влечет ее к себе. Бесконечность возвращает ее себе, причащает ее, распрямляет, омывает ее собой...

Ты знаешь, что со мной случилось что-то страшное, и ты зовешь меня к себе. И вот сейчас, летя за Бахом в темном пространстве, я знаю, что душа моя летит на зов твой, летит туда, где ты.

Может быть, она не удержится там, ведь ей пока еще рано, но сейчас она летит к тебе, летит *туда*. И это сделал ты. Ты вынул мою душу из страха и возвратил ее Космосу. Я хочу сказать тебе это, но не умею. Если сейчас ты смотришь в мои глаза, ты понимаешь, догадываешься, видишь, чувствуешь, что ты сотворил с моей душой. И, может быть, смеешься от радости и надежды.

Ты опять спасаешь меня. Когда я просила тебя: «Помоги!..», – я не знала, как и чем помочь. Но знала: если мне может помочь хоть кто-нибудь, кроме Бога, нет, вместе с Богом, то это только ты. И что ты pomoжешь, спасешь, вынесешь на себе. Я люблю тебя. Я благодарю тебя.

Мне кажется, что, когда мне всё-таки надо будет идти на смерть, и я буду бояться тем смертным тоскливым страхом, ты возьмешь меня, обнимешь, успокоишь и поведешь. И в твоих руках, ощущая их тепло и нежный покой, я не буду бояться больше.

...Соединяет ли нас сейчас дугой через небо протянувшаяся музыка Баха...

ЭПИЛОГ

Если пшеничное зерно, падши в землю,
не умрет, то останется одно, а если умрет,
много-много плода принесет.

Евангелие от Иоанна 12 стих 24

«Почему вы все время улыбаетесь?», – спросил доктор, оформляя результаты моих анализов.

«Не знаю, – ответила я, продолжая улыбаться, – оно как-то само.»
«Это, конечно, хорошо, что вы не падаете духом. Нужно не терять надежды. Когда человек надеется и верит, что всё будет хорошо...»
Доктор ушел, а улыбка всё еще не хочет уходить от меня.

* * *

Тишина моря проникает в мой дом, что не от мира сего, сливается с тишиной моего дома, с тишиной его обитателей, с моей тишиной. Спят обитатели дома моего. Спят и не знают, как смешиваются друг с другом их сны, как переходят от одного к другому, какие бродят по спящему дому страхи, надежды, любви, прозрения и вопросы. Потом проснутся и станут озираться по сторонам удивленно и даже с опаскою: «Откуда они обо мне это знают?»

Тишина моря на рассвете... Тишина Черного моря с запахом водорослей и мидий, с плеском прибоя. Тишина леса с еще не проснувшимися деревьями и зверьками. Тишина озера с застывшим зеркалом воды, ожидающим рассвета и восхода. Тишина и чистота утра...

Хорошо. Потому что весь мир – нежность и свет. И верится, что то, чем вчера мучился, – пустяки и преодолимо. А на самом деле всё хорошо, и ты хорош, и все хороши. Потому что весь мир – Бог. И Бог во всем и во всех. Эманация Бога...

Но если есть эманация Бога, значит, должна быть эманация всего, что по дороге к Нему...

Эманация мамы, друга, той одноклассницы, Гамлета, Мышкина или Дон Кихота.

Эманация Моцарта, Мандельштама, Леонардо да Винчи.

Эманация Толстого и Достоевского, Пушкина и Шекспира...
Ведь все они обитают в нашем воздухе.

Значит, есть или будет когда-нибудь эманация меня, – того, что есть я, – вместе с тем, что я в себя от других и другого вобрала...

Я вбираю в себя, вдыхаю в себя эманацию одесской весны над морем, эманацию киевской осени или техасской зимы.

Хотя вместо этого могут быть горы Кавказа или Швейцарии, древние Мексика или Египет, или святая земля Израиль – это не имеет значения.

И есть ведь еще эманация белки, серой или рыжей белки с черными блестящими пуговками-глазами, то удивленными, то обиженными. Эманация птиц и зверей.

И всё это – разлито в воздухе, которым мы дышим. И значит, мы вдыхаем его. И значит, оно в нас. В тебе, во мне, в каждом. И значит, я – это все, а все – это я...

Лежу на правом боку и смотрю в зеркало возле кровати. А из

него на меня смотрит женщина. Мы улыбаемся друг другу. Кажется, она что-то говорит. Прислушиваюсь, но ничего не слышу. Тогда всматриваюсь и всматриваюсь в эти говорящие со мной уста. Начинаю различать слова и медленно повторяю:

– Мож-но от-дать мно-го. Мож-но от-дать всё. Да-же жи-знь. Но не спо-соб-ность ле-тать...

Долгая пауза. Ожидаю молча. Чувствую, что это еще не конец. И снова:

– От-дать спо-соб-ность летать – это отдать Бо-га...

Я нахожусь на последней черте своей жизни. И так естественно, так вовремя мне вспоминать свой путь, дорогу свою...

* * *

Вологда. Мы только что возвратились с прогулки по монастырю, и он всё еще живет во мне, даруя причастность к великому, даруя причастность к единому...

– Представляешь, – говорю я, волнуясь, – представляешь – много-много кругов. Один в другом, один в другом. Они не соприкасаются друг с другом. И через все эти круги проходит прямая без начала и без конца. Она пересекает их все. И, значит, она – одновременно на всех них, понимаешь? А на этой прямой рассыпаны мы, люди. Ты, я, каждый. И это значит, что каждый из нас через эту прямую со всеми-всеми кругами соприкасается, сам становится частью этой прямой, этой бесконечности и всех времен, всего целого...

Пройдет сколько-то лет, и я прочитаю у Зинаиды Миркиной: «Только причастный Тайне чувствует, что жизнь его – не обрывок, а бесконечная нить. Нить эта проходит сквозь сердце и ощущается сердцем. Сердце не знает, откуда она появилась и куда уходит, но знает, что она бесконечна. И это знание сердца – любовь».

И я обрадуюсь, что не одна, что это правильно – то, что со мной происходит.

Стою в XXI веке перед иконами XV века и перебираю пальцами, потому что ощущаю в них ниточку, цепочку. Стою и держу эту цепочку, а до меня ее держали другие люди, и несли ее, потому что знали, что должны ее передать. Дионисий в XV веке писал икону, изображая на ней тех, кто жил в I веке, а те, в I, сами эту же цепочку приняли, и так из рук в руки, из рук в руки. И сейчас она у меня, и оттого что я в XXI веке стою в храме XV и вижу тех людей I века, я вроде их всех соединила. И теперь, когда они все во мне, я понесу эту нить, эту цепочку, я должна понести ее дальше, и мне непре-

менно нужно ее дальше передать, чтобы она из-за меня не прервалась, потому что она бесконечная.

* * *

Когда я впервые узнала о том, что ожидает меня, это было так страшно, неизбежно, неотвратимо.

Я хотела «стараться». Хотела «вести себя хорошо». Хотела выполнить те требования, которые, как мне казалось, предъявляет мне Бог. Но я знала, понимала, что обречена на провал, что страдания мои, как и старания мои, ни к чему не приведут, что «хорошо себя вести» я не сумею, что требования не выполню и даже их не пойму.

И тут же кто-то подхватил меня. И я увидела воздух. Невидимое увидела я. И сумерки, или даже темнота вечера или раннего дорассветного утра не мешали, а помогали мне видеть свет. И увидела я облака и небо. И почувствовала себя счастливой. Счастливой почувствовала я себя тогда, ибо была дарована мне благодать.

Благодать даруется грешникам. Но я же и есть грешник, не праведник я. Благодать – путь к спасению. И она дается в подарок. Подарок грешнику. Даром. Не за что-то – в дар.

Благодать – Божья рука, протянутая тебе в помощь. Бери ее. Иди за ней. И радуйся. Ты не один...

Это и было началом последнего моего пути, вобравшего в себя всё.

Впереди было многое. И открытие мира как Бесконечного Единства, в которое и я вхожу малой крупичей. И восприятие этого бесконечного мира внутри себя. И познание бесконечного единства бесчисленных миров, в их бесконечном многообразии, не отвергающем этого единства. И радостное, счастливое понимание, что многообразии и единство – это одно.

Потом голос сказал мне: «До сих пор я нес тебя. Теперь иди сама. Своими ногами».

И опять оказалась я на своей тропе. И нужно было пройти ее снова, но *самой*.

Проходить шаг за шагом, кочку за кочкой то, через что так легко, так радостно пролетала на Божьей ладошке, было и трудно, и страшно, больно, и тяжело.

Но это всё – после того, как изведена Благодать.

И я не одна, потому что никогда уже одна не бываю.

Ни в минуты молитвы, когда вверяю себя Ему и Воле Его, не снимая с себя ответственности.

Ни в мгновения озарений, когда искорки Истины возгораются во мне и освещают дорогу.

Ни в трудах, ни в праздности, ни бодрствуя, ни сновидя...

Ибо знаю, что я – это не только я, что я – это все, кого знала и любила, кого знала и не сумела полюбить, о ком знала и помню, о ком знала и забыла... Все, все они – я, потому что во мне обитают.

Ибо знаю, что я – это не только я, но и все растения, все живые существа, все горы и скалы, и камни, и вода, и песок, – и всё-всё-всё-всё.

Ибо знаю, что не только я люблю мир, небеса и Вселенную, но и мир принимает меня. Вселенная меня любит.

И знаю: Благодать – путь к спасению грешника.

И знаю: люби ближнего, ибо это ты сам.

И знаю: любя друг друга, мы Бога любим.

И знаю: нельзя любить Бога, людей не любя, себя не любя.

И знаю: вновь и вновь слышу голос Божий.

Всё хорошо, Господи. Всё хорошо.

Нью-Йорк

Хельга Ольшванг

* * *

их мысли будто якоря
застряли в сомкнутых канавах
и в человеческих тяжелых нравах

А. Введенский

В дорогах людных, за экраном
и в лекционных деревянных
по очереди говорят
о мире знающие точно.
И в карту светят фонарем –
в ее раздвинутые бедра,
в ее растянутые ребра,
в отдельные материки,
на почки двух Америк глядя,
на печень – Африки, на легкие
Зеландию и Антарктиду
и многосложные кишки
Истории, в ее болезни.

Глядят, поочерёдно дышат
на пересвеченные снимки,
деревьев мозговитых слепки,
коронки, горные мосты,
надземной линии протезы,
и точная причина жизни
становится понятна им.

А жизнь себя не понимает.

* * *

Сегодня с нами холод разучивает новую вещь.

На весь дом мелко стучат задвижками нижние окна,
льдом закипают

близкие, с видом таким,
как будто им нужно прилечь

или спеть, а они не умеют.

Стол накрыт как постель,
чайника дно отражается в крышке,
взаимно забыли включить и наполнить.
Так он тут и стоял.

Так они и не спели.

ЗЕМНАЯ КОРА

...осина осину поддерживает за локти – сомнамбулу
над путями в бурю,

тополь подмигивает на ветру,
быстро-быстро считает свое – походили с ума,

спятили, не было никаких тут путей
на земле, а были

только мы,

просто деревья, смотрители достанционные,
корешки-звездочеты,
детский сад, а не лес,
сад, а не лес,

без имен были мы глупых,
росли бесконечно всюду,
в раю без рельс.

Это в молниях лиственница ревушая,
это ива остекленел над собой,
это яблоня-висельница, все мы порознь, а были общее,
до земледелия перед зимой.

Уму не хватает развилки понять это время, мимо
состав преступления катится, грохот и блеск.
Кто мы теперь и зачем стали ими?
Шелестит и качается мозг.

RUMBLE

В омуте водятся у ивняка
черепахи,
чернофигурные ратники и айоры
голые,
камни в камнях и веревках тяжелой воды.

В этой части парка темнее всего,
таблички у самой земли
с именами деревьев покрыты птичьим помётом:
Ива Плакучая – *Salix, Salicaceae...*

Не наклоняйся –
так ничего не увидишь,
не оборачивайся,
а то перестанет шагать и качаться живая природа.

Осколки и вмятины от пикника
озирает любовная пара бездомных, обнявшись.
К ним лицо поверни.

ВМЕСТО ЛИ БО

(с китайского)

долго ли коротко ли
или завтра
заново тень разматает тебя
развернет
к свету «на тысячу ли» как папирус
прочтет и отложит
либо задумает новым ручьем

будешь тянуться расти
словно желание
в каждой точке пути
навстречу и прочь
сокращаться как сердце
ли
сокрушаться как солнце
по нашим телам
безграничным
может быть это письмо

может быть это черта водит рукой у земли
 тело не видит
 куда его тень ведет
 тот кто за тысячу ли хочет коснуться тебя
 тут за юань
 шалую тетку нашел чтобы тень
 длинного дня скоротать

* * *

Заново распускает и заново ткёт она
 его тело петляющее.
 Тянутся сутки, ныряет челнок.
 Мокрый до нитки вернется ли к ней невредимый,
 или сухим из воды
 вышел в обратную дверь?

То опускает она горизонт
 то поднимет, как море –
 нет никого ни с одной, ни с другой стороны.
 Заново ткись, расстояние – ткань поперечная в ямах,
 между людьми берегов и скитальцем, между тобой и тобой.

Тело в пути, бесконечную букву
 можно ли помнить?
 Что я от горя плету?
 В складки, в обрывки волны прячется серая точка,
 заново книга слепая пишет себя и поет.

КОНЕЦ ДЕКАБРЯ

Вода распрямляет за лестницей лестницу,
 ряды и ворота воды
 навстречу прибывшим.
 Кто это, в лучистой соломе бредет по колено
 и крестится,
 Кто это, гляди?

Кто эти ростральные матери в синем,
 с младенцем – одним на двоих,
 похожим на львенка?
 Его пламенеет зевок

и в рот ему смотрят
притихшие жители сел и морей и пустынь,
простые животные – все как один,
(которого три)
Кто это, цари?
Какая им разница, судьба выпадает –
из века ресница.

Гляди на спелёнутого красно-синим крест-накрест
и женщин за ним
и рощи,
солону и хворост, дарёные вещи –
зачем они там?

Зачем повторяется этот орнамент и эта звезда
вокруг перестеленной скатерти,
драной как мира вода?
В домах и расселинах плавают елки, блестит чешуя,
и праздник остывший несут на тарелке в жильё,
двоится Мария и нет никого у нее.

Нью-Йорк

Татьяна Данильянц

Согревающий смысл

ПОСВЯЩЕНИЕ

1

Гудки твоих стихов.
Толчки, пощечины, бугры.
Гудки тебя и раны.
Руки рваные огня.
Спаси меня, спаси,
спасибо,
Я есмь.
Есмь я.

2

Тут не тепло, тут пронзительно.
Взгляд исподлобья твой, исполнин.
Выйти как есть, в наготу:
в ветер, в дождь, в поле, в снег.
Выйти как есть.
Но сберечь троекратно огонь,
жесткий, жесткий, как речь он.

3

Задувает, завывает, воет,
хлещет по лицу.
Зеленая ящерка, павлиний бег,
приберег для детства сей человек.
Показался, сократился и улетел,
крылышка алмазами
прозрачных тел.

НЕБОКАРТА

внутри человека созревает зло
как огромный нарыв оно точит его
с небосвода на него
смотрит огней ряд
и блестит под ногами его
вертоград

стой как есть
излечись
пропусти сквозь себя луч
или

мсти мсти
гори гори
огнедышащий ад

есть у каждого выбор
посмотреть в окно
там светится лед
и гремит
гремит колесо

у каждого выбор есть
мертвенный променять
на блестящий
сверкающий
пылающий
лад

* * *

эти птицы-мастерицы
бабушка в ушанке ветра
золота монументальность
лиц немногих здесь сердечность
день стоит как ложка в масле
отчего такая радость
посмотри вокруг щебечет
жизни благодать
жизни благодать

ЗОЛОТЫЕ СТОГА

Марко Бравуре

Перенесли зиму, переживем и лето.
 Перенесем тело через барьеры света.
 В духе мало веры, а хотелось бы больше,
 но пляшите ветки, салютуйте алым.
 Души, как города, мерцают ночью,
 но и днем мерцают зеленой точкой.
 Есть у тела дело: превратиться во что-то,
 что себя не знает, но стремится очень.
 Этот город странный, потому что осень
 здесь стекает красками с небосвода,
 превращая всё на пути разом,
 в русское белое. Белое поле.
 И стога пылают золотом нежным
 в памяти отрока и отроковицы,
 на поляне памяти – свет играет.
 Свет играет и золотится.

ИСПОВЕДЬ ЦВЕТКА

я рос как рос
 стремясь сквозь рост
 свой трепет огненный
 взрастить
 я рос как Пруст
 я рос как Фрост
 стремясь к познанию реки
 и был мой мир
 большой водой
 мелькали
 ясени дубы
 цветы мелькали
 и цвели
 и падал в легкие снега
 и ночь кружилась и ждала
 как лось как бык
 я упирался в рост
 я был
 я был
 я рос
 я рос

Андрей Иванов

Синее пламя

Человек остановился и смотрит вверх. Над ним парит чайка, – ее вопли похожи на издевательский смех. Акварельные облака сохнут; немного пуха, паутинки сумерек.

Птица разрывает петлю, с клеточкой улетает. На зависть легко. Чистое ото льда море как обещание весны. Зима стала длинней, тянется и тянется – аж до апреля на лужах белый лед... даже в мае холодно! Уехать куда-нибудь, лежать под зонтом, ни о чем не думать. Солнечное око жмурится, зябко входит в залив.

Ты заглядываешь сюда и с высоты своего времени смотришь на этот закат, как на открытку, которую я закладкой вложил в мою книгу; ты видишь шоссе, по которому несутся машины, – это Палдиское шоссе; ты видишь серую полосу вдалеке – это Таллинский залив. Прихрамывая, человек перебегает на другую сторону шоссе, петляет, уходит, его не видно, он сам по себе. Он – это я.

Море, лес, тропинки...

Раньше ощущение дома меня не покидало, я всегда мог вернуться, и всё налаживалось.

Я бы хотел сейчас пойти по одной из тропинок, дойти до зарослей камыша, вытащить оттуда мой спрятанный «Салют», пройти мимо верб, елей, сосен, оседлать велик и дальше верхом – по асфальтовым дорожкам – домой!

Угасающее небо, росчерки солнечных прядей. Желтая стрела громадного крана. Подтаявший край облака. Налетает стружка дождя. Ледяные капельки. Ты поднимаешь воротник, ветер мешает насладиться мечтой: однажды у тебя будет дом, который сложится вокруг тебя из твоего шифра, из намеков, расставленных на полях и вдоль дороги; сначала фантом, затем стены; ты его отвоюешь у ветра, дождя, серого неба, морского прибоя, автострады, грохота и пыли; после нескольких ключевых усилий ты сможешь сказать: чик-трак, я дома! Ты наконец-то там, где никто не посмеет попросить тебя предъявить документы. Ты отвоюешь отрезок покоя у бесконечной дороги, ты оставишь за спиной ночи-станции, полные крика и вони, раз и навсегда забудешь чесоточных пассажиров, с которыми тебе придется делить свою жизнь, биться в кровь и зарабатывать синяки, из-

за пары сотен евро... Jesus!.. пара сотен... за две ночи пара сотен, это даже больше последнего гонорара за роман, который писал полтора года; кинули триста пятьдесят евро, подавись! как псу кость – держи свои триста евро, засунь их поглубже! До сих пор жду. А ты мечтаешь, что у тебя будет дом, в котором ты когда-то жил как человек. Не то миф, не то идея. Сон, мечта, модальность. Future in the past. Детский рисунок мелом на стене. Ты веришь, что можешь его вернуть. Наивный, в тебе живет эта надежда – маленький огонек. Ты думаешь: дом – там, надо только до него дойти, скинуть тяжелую обувь и грязную одежду, помыться, расслабиться на кухне, закинуть на табурет усталые ноги, закрыть глаза, двадцать минут в полной темноте; ты забываешь ночную бегодную, ругань и скрип колес гаснут, исчезают; ты слушаешь, как сопит кошка, ворочается сын, с улицы светит фонарь, из твоей кружки идет тепло, чай остывает, ты не пьешь, держишь ладонь над кружкой, ощущает тепло – и тихо, как мираж, в теле зреет тончайшее, как предвестие весны, ощущение дома. Ты несмело окунаешься в это облачко, позволяешь ему себя поймать, ты заворачиваешься в это розовое паутинное чувство, сам себе мурлыкая какие-то слова, вот ты почти уснул, почти уговорил свою мечту, сладостное чувство дома почти оплело тебя, но где-то еще твердеет недоверие, к ядру подступают грозы, теплые струи, весна обступает сердцевину, ты сучишь лапками и крылышками, чтобы завернуться в кокон, замираешь и ждешь, когда это чувство, подобно действию наркотика, укрепляясь, вырастит и поглотит тебя. К сожалению, оно не успеет затвердеть. Надо шевелиться. Время! И ты опять ползешь в Тонди на развозку. Слипшись с десятком себе подобных, едешь в микроавтобусе на заброшенную трикотажную фабрику в Пыргумаа. Ощущение дома в тебе убывает с каждым километром. Двое суток ты будешь в кромешном аду, ты будешь рабом, мертвецом, зомби.

Но до пятницы пока далеко. Даже здесь, на ветерке, еще ничего. Сегодня понедельник. Поскорее забудь эти выходные и пьянку. Дурак, надо было отвертеться, не давать десятку. Пропил десятку! Свистит ветер, гоняет под ногами бумажки, блестки, серпантин – остатки праздника. I am always late to the party – я живу с этим ощущением. Сто девяносто в кармане (триста в уме).

Карнавал вильнул и прошел мимо, просыпал тут, поссал там, но один поцелуй и парочку объятий я урвал, посмотрел на голую грудь (в такой холод оголилась), красивые икры, круглые жопы. Меня поцеловала какая-то пьяная или обдолбанная. Может быть, травести или трансгендер. В машине нас было четверо: я, Шарпантюк, Сева Миллионщик и Забей-Забудь.

С ними ехать всё равно как в банде на дело, хату поднимать или

еще что. Они смолили L&M (синий) и несли пургу. Мимо шел парад. Кретины материли их вдоль и поперек. Катились самокаты, тянулись ткани. Я опустил стекло, чтобы помахать, высунулся, и тут на мне повисла пахучая, мягкая, цветная – не то женщина, не то переодетый парень. Поцелуй, хохоток, цок-топ-скок. Все они спешили дальше, дальше... Сверкали латексом обтянутые задницы, в покупательских тележках лежали полуголые, их весело катили кентавры на роликовых коньках... Визжали и махали радужными флажками безумно накрашенные мулатки... Стучали ботильоны... Переливаясь и побрякивая, всё ушло в прошлое и больше никогда не вернется. Они растаяли в дымке. Привидения и миражи – не из нашей жизни... Вдоль всей дороги цветная стружка... серебряная крошка... перья, обрывки серпантина...

Свободен до пятницы. В шесть часов вечера в пятницу ты умрешь на весь уик-энд, чтобы потихоньку восстать в понедельник. До пятницы три дня и четыре ночи, в четверг начнет крутить, в костях будет ломить предчувствие обморока, и я затыну: *Thursday is pathetic – by Friday life has killed me...* Но утро в пятницу еще мое целиком. Я отведу сына в школу, дождусь его из гардероба, мы поднимемся к расписанию – таков наш маленький обряд – посмотрим, какой у него урок; вокруг будет много шумных детей, он произнесет номер кабинета, скажет «ну, пока», я пожелаю ему удачного дня, он махнет мне с последней ступеньки, а я пойду на автобус, или пройду пешком, вернусь домой, может быть, даже напишу немного, лишь бы отвлечься. По мере движения стрелок с горки я начну сворачиваться, как скисшие сливки в горячем кофе. Ближе к трем я начну себя уговаривать: «Это ерунда, всё равно как уснуть на денек-другой, ты проснешься, а у тебя в кармане деньги». В три нацеплю маску раболепия, надену старую куртку, поеду в Тонди, чтобы сесть на автобус, потому что с этими придурками в одной машине я больше не поеду, пусть я и скинулся на бензин до конца месяца, хватит, отрезано, я с ними больше не поеду, плевать, пусть будет противно в вонючем «Икарусе», пусть хоть битком набитый Форд-Транзит – всё равно, любая из этих машин тебя привезет к той же фабрике с тускло светящими и нервно помаргивающими старыми люминесцентными лампами. Не всё ли равно, с кем ехать в Ад? Лучше с вонючими бомжами, чем с этими гомофобами. Что они такое? Ненависть и нытье, великая могучая и деньги. В сущности, их сознание сводится только к этим двум вещам: Россия и деньги. И то и другое – химеры.

Нет, напрасно я вышел из себя. Теперь начнутся интриги. И дверью безобразно хлопнул. Надо себя сдерживать.

Да забудь! Вон закат какой, посмотри! Вглядишься в этот ускользающий свет, тоскливо стынущий на ветвях елей, на полоске при-

брежного камыша, на заборчиках и железных ограждениях. По тем дорожкам я убежал в чернеющий лес, когда мне бывало невыносимо печально, и долго шел вдоль обрыва, подставляя ветру лицо...

Мимо промелькнул: *DEPOSSE**, – смотрю троллейбусу вслед, он перечеркнул все мои мысли, он идет в депо! Сегодня всё проносится мимо. Стоило отойти от остановки – и всё.

Тратить деньги на такси, еще десятка.

Всегда получаешь по заслугам: расслабился, не учел что-то – получи! Жизнь коварна, неусыпно следит за тобой, подстраивает события, подгоняет старых знакомых, подмигивает из прошлого. Ничто не случайно. Жизнь расставляет хитрые ловушки. Ее комбинации восхитительны. Она видит: разбитый, усталый, загнанный в угол, ты куришь, и, чтобы досадить тебе еще больше, жизнь ведет мимо тебя девочек, они царапают тебя насмешливыми глазками, цокают их легкие каблучки, вбивая гвозди в дряблую чувственность. Жизнь чует слабую эрекцию в твоих штанах, слышит шорох мыслей: счастливым я был только однажды – в Huskegaard. Что это за стоны? Ты будешь наказан! Принесите мне хлыст! Г-жа Жизнь тебя высечет! Провозглашая те дни, растраченные в цыганском вагончике, днями своего цветения, ты делаешь шаг в сторону могилы, предавая саму Жизнь, а она – видит. В хиппанском райке каждый дурак мог быть счастливым, там счастье подносили на блюде, простое и понятное, как «Листья травы», оно курилось из каждой трубки, из каждой глотки, каждая рожа источала благодать; если ты достаточно прост в душе, готов себя ограничить и наслаждаться, несмотря на сквозняк в твоих карманах и проницаемость твоего вагончика, коротко говоря, если ты – поэт и аскет, то в Хускега быть счастливым тебе сам Бог велел. Попробуй оставаться собой здесь, на этой дороге, когда карнавал прошел мимо. Хватит сидеть, пора действовать! Чтобы вызвать машину, нужен нормальный жилой дом. Что это за улица вообще? Где я? Какой-то индустриальный лабиринт. Никто не станет жить у зоопарка. Нужно идти дальше. Вон там какие-то домики! Туда!

Старушка смотрит в окно. Не беспокойтесь, проуа, мы проходим мимо. Еще пару домов. Ну, вот, заурядный дом, с зеленым заборчиком, яблонькой, акацией, предупреждение о злой собаке. Если сюда вызвать такси, наверняка приедет. Достаем телефон. Не хотелось бы никого нервировать, вертеться в задрипанном виде возле такого дома, но он сам меня приманил. Листья робинии шелестели: давай, позвони, видишь, дом как дом, № 31, отчетливо виден, фонарь светит, all right, звони, к такому домику подъедут...

* В депо (эст.)

И я позвонил...

В такси разморило, я думал о Леночке: только бы она не ворчала, мне даже показалось, я сказал вслух: из-за чего злиться?

Таксист хмыкнул.

– Лена, ты же видишь, у меня всё из рук валится... до чего я скатился!.. не надо было одалживать Томилину... смешно ссориться из-за такого пустяка... она сразу его раскусила: *никакой он не оппозиционер – ноги этой мокрицы здесь не будет!* Ну, не сердись, мой слабый скрипучий голос... мой жалкий жест... из-за ничтожных трехсот евро ссориться... Этот крен я выправлю, триста евро – не велика беда, а вот что касается остального...

– По Лаагна или по Нарвскому поедем?

– По Нарвскому, пожалуйста, мимо моря...

– Моря сейчас не видно, но как хотите...

Придурок, моря не видно, вон огоньки плывут, мне больше и не надо, я простор чувствую с закрытыми глазами.

Я знаю, у нее есть право на меня злиться, она редко ошибается, ее чутье не подводит.

Нет, я не такой уж безнадежный. У меня пока случаются пробы – мои романы. В остальном – сплошной bleak house. Деньги бережем, как бедуины воду. Каждую подачку стараюсь растянуть, а время употребить на большой роман. Литература – что тяжба, Jarndyce & Jarndyce, тут победителей не бывает, все уходит на дно, остаются круги на воде – слухи, пустая болтовня...

Подъезжаем. Сейчас будет лесок. И я выйду. Ну. Сколько там? Десять? Ну, вот. Еще чуть-чуть.

– Спасибо, остановите пожалуйста, здесь я выйду.

Через лесопарк. Сонные фонари, подмигивая, освещали мой путь. Под ногами змеились корни. Елки хватали за рукава. Между деревьями какие-то тени бродят. Или кажется.

Многоэтажные свечи из красного кирпича, возле них стоят наши белые блочные здания, девять этажей, пять этажей, вон тот, потерянный, со светом наверху, этот мой.

Налившись мертвой тишиной, дом спал, и даже фонари вокруг дома светили приглушенно.

– Это кто здесь возится? – говорит она шепотом.

– Я, – отвечаю шепотом и быстро на кухню, мою руки, делаю бутерброд, она за мной. – Чего не спишь?

– Весь мокрый, грязный. Я уже и чай разогрела, вот, с лимоном, возьми мед.

– Угу, спасибо.

– Да не жуй ты этот бутерброд, есть суп.

- Не, спасибо. Бутерброд, чай и спать, измотался...
- Где-то шастает, на телефон не отвечает, ребенок из-за тебя не спит: где папочка, спрашивает.
- Работал.
- Работал он...
- Да, сидел в троллейбусной будке и писал. Где мне еще писать?
- В будке?
- Да. Возле зоопарка.
- Как тебя туда занесло?
- Говорю же, из машины выскочил, там шел гей-парад...
- Гей-парад?
- Эти козлы матерились. Ну, я и выскочил.
- Нечего было с ними пить.
- Последняя попытка влиться в коллектив.
- Тебе там пишут. Сулев приглашает на собеседование.

Пойдешь?

- Конечно. Может, возьмут.
- Вряд ли, но попробовать можно. Второе из издательства.
- Что на этот раз?
- Опять хотят какой-то документ.
- Конца этим бумажкам не будет.
- Не будет. Уж я-то знаю, десять лет там прожила. Зайди к Томилину. Спроси деньги. Ты их ему не подарил. Месяц прошел...
- Да.
- Завтра на счет триста тридцать евро. Горим синим пламенем.
- Сто восемьдесят есть. Сто пятьдесят достану.
- Где?
- Буду думать.
- Пашке напиши.
- Его в любой момент турнуть могут.
- Ну, пока не турнули, напиши. Отдадим через неделю.
- Я уже рублюсь, завтра.
- Ладно, иди спи. Нечего было Томилину в долг давать. Тоже мне нашел пассионария...

Д. спросонок был ватный. В 58-м много людей, стояли, Д. вис на мне. Шли через темный двор Муз. Академии, каркали вороны. Д. вспомнил, как мы летом спасали голубя от вороны. Ворона преследовала раненого голубя с подбитым крылом. Я убедил Д., что голубь спасется под машиной. Мы верим, что он выжил. На той же асфальтовой дорожке каждый год мы собираем слабых пчел, переносим их на травку, где они и засыпают. Д. верит, что мы их спасаем.

Навстречу вышло несколько китайцев.

Всегда сжимаюсь в школе.

Позвонил Сулеву насчет собеседования. Голос показался неуверенным. Я переспросил, приходить или нет? Он – да, да, конечно, к десяти. Но всё-таки неуверен. Может, не приходить? Приходи!

Гулял по Вышгороду, полировал в уме эстонские фразы. Немного постоял на смотровой площадке с видом на Балтийский вокзал. Никого. Произнес небольшой монолог. Неубедительно. Смотрел на крыши домов. Слишком серо, чтобы найти Lembitu. Вдруг мгла сдвинулась и выпустила три светло-серые колонны Дома Культуры.

Произносил эстонские фразы, пока не убедился, что говорю без запинки, отправился в hotel N.

Не понадобилось. Сулев был нервный, менеджеру сегодня не до меня: в отель вселились аферисты, заказывали дорогое шампанское, не заплатили, оставили фальшивые данные и исчезли. Полиция разбирается, допрашивает ночного администратора. Она в слезах, сочувственно сказал Сулев, она не виновата, ее заболтали. Он сделал мне капучино (бесплатно), убежал таскать чемоданы приезжих.

Внезапно позвонила Т., пригласила в гости. Конечно, приду. Попросил у Сулева двадцать евро, дал.

Так, так, записал я в блокнот: +20 евр. (130 в уме) Минус: вино, семена... Не с пустыми же руками в гости... Какие семена веганы едят? Спрошу в лавке.

Т. – известный художник. Она над многими колдовала. Кого только не превратила в куклу! В закутке ее мастерской есть шкаф, в котором стоят политики из папье-маше (по секрету сказала, что набила их не опилками, а песком из кошачьего туалета). Самая дешевая стоит полторы тысячи евро.

«Это круче, чем портрет, – считает она. – Если дашь согласие на право использования своего образа, оформим документы. – Речь идет о каком-то сертификате. – Можно будет возить по международным ярмаркам и выставкам. Будешь получать проценты.»

Может быть, настал момент дать такое согласие? И в ближайшем будущем это будет моим единственным источником дохода?

В последний раз мы виделись, стыдно сказать, полгода назад, пошли с ней в «Черный пудель» пить кофе. Она себе заказала какой-то веганский десерт, поинтересовалась у официантки по-эстонски, лихо забросала ее вопросами; ни я, ни официантка, ни свеча на нашем столике – никто не понял, что она спрашивала. Я открыл рот, официантка хлопала ресницами, свеча мигала. Т. сплела перед нами прядь витиеватых предложений, непринужденно: тра-та-та и та-та, потому что тра-та-та и вот еще та-та. Что бы это значило? Официантка ушла на кухню спрашивать. Я напустил на себя устало-

скучающий вид, но сам чувствовал, что Т. меня рассматривала; чувствовал, что она насквозь видит мою жалкую жизнь, блокноты выпирают из карманов, салфетки, карандаши, мой старый мобильник, потрепанные рукава рубашки, в которой я слишком часто появляюсь на фотографиях, хромота, старые ботинки, длинные сальные волосы и просветы на темени, седая щетина. *Ты – старик*, говорил мне ее взгляд, она готова мне поставить ногу на лицо и давить, давить. Когда я сказал, что в России сейчас настоящий фашизм, она оцетинилась: «Тебе с Пашкой надо реже встречаться – он на тебя дурно влияет».

И всё равно – молодец. Пусть хоть медальон с Киселевым на шею повесит или портрет Путина с Медведевым над кроватью, это не имеет значения, когда знаешь человека тридцать лет.

Тридцать лет!

Я помню, какая потерянная она была десять лет назад, сидела с детьми дома, с трудом дописывала магистерскую, а потом потихоньку начала выходить в город, сперва пугалась всех вокруг; я видел ее затравленный взгляд, она доверху была забита «детскими проблемами» и Маканиным, по которому писала магистерскую, и прочим, не знала ни эстонского, ни английского. Нет, больше, чем десять лет назад, все пятнадцать! Сначала вытаскивала меня из депрессии, можно сказать, откачивала от суицида; убедившись, что я в порядке, нашла работу в школе для глухих, преподавала там русский язык, пошла на телевидение, и вот теперь – Кукольный Дом, всевозможные курсы за плечами, смело говорит и на эстонском, и на английском – преодевает социал-дарвинизм.

Сколько спросить у нее? Сразу сто пятьдесят? До следующего уик-энда. Так, я взял бутылку вина за шесть девяносто, кулек семян за два с половиной, у меня остается десять евро. Я могу у нее попросить сто. Стрельну сорок у Пашки. Нет, попробую у нее все сто пятьдесят. Пашку в этом месяце лучше не дергать.

Я остановился перед витриной. Представил, как смотрю на нее. Осмотрел себя. Огляделся. Никого. Можно играть. Я делаю неприличный вид, встаю вполоборота. Делаю жест и произношу: «Сто пятьдесят евро...» Нет. «Сто евро, до конца дня...» Да – до конца дня. Немного сморщился: «Горим синим пламенем...» Вот так – ключевая фраза: горим синим пламенем, точно. Или так: «Черт, мы горим синим пламенем!» Улыбка. Это, пожалуй, чересчур. Одним уголком рта... И покачать головой. Посмотреть вдаль. Тут же сказать реплику: «Представляешь, из Москвы суки до сих пор не перевели – уже за три книги жду!». Она, конечно, поддержит: «А чего они там, охуели?» Я скажу с возмущением: «Да конкретно, уже все сроки вышли!». Она даст деньги, и я их спрячу в карман, сжавшись внутри, – в такие

минуты я похож на книгу, которую закрыли, но между страниц держат палец, на корочки давят, а палец не дает страницам сомкнуться.

Вечеринка началась в три часа, мы выпили по бокалу за знакомство, новые подруги Т. – художницы, артистки, худенькие, молоденькие – спели какую-то кришнаитскую песенку, включили the best of Shocking Blue и бросились танцевать, к третьей песне вымотались, плюхнулись на диван, одна за другой, бледные, изможденные, бессильно смеялись, катались и шутливо дрались подушками; одна говорила с акцентом (или мне показалось), я посматривал на них, учтиво изображая, будто разделяю их радость, они были в легких кофточках, в коротеньких юбочках, в облегающих спортивных трико, они боролись, одежда сползала, я несколько отвлекся и, когда мы оказались на кухне с Т. вдвоем, застенчиво попросить в долг, – всё это меня отвлекало, их легкие туники, чулочки, мелькающие руки, щебет и локоны, танцы, вино, – в последний момент внутри что-то сжалось (не подходящий момент, но чем дольше ждал, тем меньше верил в себя, тем сильнее думал о Пашке: не сегодня, сегодня не получится, спрошу у Пашки, да).

Мы снова сели за стол, девушки пришли в себя: давайте выпьем еще вина – давайте еще выпьем – давайте-давайте, вина много!.. Мы выпили, они быстро захмелели, пилились на меня как на человека, о котором *многое* слышали, но ничего толком не знали; не человек, а клубок слухов, за любую ниточку потянешь, какое-нибудь насекомое вытянешь.

Как много веганы едят! За два часа они сожрали целые горы салатов, фруктов и сухофруктов. Хлебцы, печенье... А как много они говорят о еде! Еще больше они о ней думают. Наверняка. Я просто уверен. Как хорошо, когда можешь есть всё подряд, – не надо думать о еде. Диета отнимает время. Зачем себе так жизнь усложнять? Зачем все эти новые подружки? Ладно куклы, Т. недурно на них зарабатывать, не то что акварели моей жены. Первое время картины висят на стенах, затем их заменяют другие акварели, они странствуют из комнаты в комнату, пока их не выносят на балкон, оттуда тесть их увозит к себе в гараж, где они быстро портятся (теперь гараж я называю акварельным мавзолеем), и мне это понятно, но – веганство, подруги, оставленные мужьями, каждая обросла кошками, у каждой жалкий, просящий подаяния взгляд, бледность и высушенный, обессиленный голос. Они доведены до крайности, их головы едва держатся на шеях, они уныло повисают, как цветы наперстянки, глаза их всё время бродят по полу. Неужели Т. скоро превратится в такую же пожелтевшую наперстянку? У нее было много увлечений. Она успешно переболела мистицизмом, спиритуализмом, фитнесом, астрологией. Было что-

то еще... С годами мы теряем силы и рассудок. Увлечения высасывают из нас сознание, вяжут по рукам и ногам, как паутина.

Т. выглядела вызывающе хорошо; наперстянки делились с ней своими рецептами; я слушал одним ухом, наперстянки радовались зернам, которые я принес, набросились на меня с вопросами. Я сказал, где купил их, дал адрес, хотел рассказать, как ужасно питался в Париже, я стал настоящим ипохондриком, одно вино и булки, немецкие сосиски... Я вернулся в полном нервном расстройстве (провал был такой, что вспоминать страшно), а у меня на кухне, как назло, дверца шкафчика не закрывается, я ногой по ней съездил, она и отвалилась; весь вечер прикручивал... Наперстянки посмеялись бы, конечно. Ну, а мне зачем это? Совершенно незнакомые люди похихикают над моей неустроенностью... Ничего не стал рассказывать, они заговорили о новом телевизионном канале – бездна возможностей; одна подала заявку, ее пригласили на кастинг. Ко мне на колени запрыгнула Кити, кошка Т., сфинкс, настоящая ящерица, я инстинктивно сбросил ее и ушел покурить на балкон.

Т. живет на девятом этаже – в хорошую погоду видно море.

Только закурил, появляется Т.

– Чего сбежал?

– Я не сбежал.

– Сбежал-сбежал, дай покурить.

Я дал ей сигарету.

– Разговоры о телевидении... – и не закончил фразы, сделал гримасу. – Мне показалось, или у нее акцент?..

– Не показалось. Она с Украины, пробивная девочка.

– Такая устроится.

– Устроится-устроится. Она вся горит. Ничего не боится. А чего ей бояться? Не возьмут, ну и ладно. Надо пробовать.

– Правильно делает.

– Правильно-правильно. Это мы тут сидим, никуда не ходим. Глаз замылен ни к черту. И слушай, мы все такие пессимисты: *нас не возьмут, кому мы нужны, эстонцы всюду берут своих...* Вроде бы да – скорей эмигранта с Украины примут, чем местного русского, – да и то бабушка надвое сказала. Правда ведь? Никто не запрещает отправить сивишку.

– Лотерея.

– Бесплатная, заметь. Вот она молодец, в каждую дверь – тук-тук, можно? С одной стороны, простота душевная, с другой – *а что с меня, дескать, взять, я с Украины, мне терять нечего...* Пойдем внутрь, холодно.

– У нас тоже есть с Украины...

Мы вошли.

– А надо ли ей это? Подумаешь, живут нелегалы. Где их нет? Было трое, осталось двое.

– Чего задумался?

– Да, ерунда...

– Ой, я забыла Пауля покормить...

В аквариуме плавал осьминог. Я удивился.

– И пластинку надо поставить, – ловко поставила на проигрыватель винил *Thick as a Brick*, бесконечно осторожно опустила звукосниматель. Давно забытый гитарный перебор...

Мне было интересно, отреагирует тварь на музыку или нет. Нет, никакой реакции, конечно. Только водоросли вокруг шевелились...

– Бедный, всеми забытый наш друг, – сюсюкалась Т. – Ты помнишь Пауля?

– Нет, я и вертушки не помню.

(Очень старый *Pioneer*.)

– Это наш младшенький опыты ставит...

– Соединил два увлечения: аудиофилию и океанологию?

– Ага, слушай, талант! Он теперь еще фокусы ставит, выступает. Пауль у нас очень любит музыку... и чтобы с ним говорили... Осьминоги не умеют врать, ты знал?

Водоросли двигались, осьминог обвил щупальцами ветку – чувствует во мне лжеца Пауль? Шевеление водорослей, движение воды и эта затаившаяся тварь. Я вспомнил, что недавно видел С., он прятался в закутке бывшего казино, от которого брали свой первый ряд лотки со старушками, торгующими цветами. Ветер трепал его волосы, одежда шевелилась. Он был здорово помят. Лицо – как сплюснутая пивная банка. Пустой пакет трепыхался.

– Кажется, ты говорила, будто С. в Питер собирался?

– Да.

– Я видел его с неделю назад. По нему и не скажешь.

– Собирается-собирается, и правильно делает. В Питере ему будет лучше. Все дешевле, это раз. Хорошо платят, – два. И наверняка связи...

– Не знаю.

Я пожегился. В Питере?.. – *лучше, дешевле, платят хорошо?..* Верится с трудом. Я вспомнил, как Артур Курносов ел устриц в парижском ресторане морепродуктов. Таким, может, и лучше. Он бы и этого осьминога съел, наверное. Начал рассказывать про него, и вдруг:

– Слушай, мне до конца дня обязательно на счет сто евро положить надо – горим синим пламенем...

– Конечно, конечно, о чем речь, – она ринулась искать свой кошелек.

Я заговорил о Париже, о моей неврастенической слабости, о сломанной дверце, о большом романе, который из меня высосал последние силы. Она дала деньги. Быстро спрятал в карман (сорок в уме; написать Пашке, императив), продолжая балагурить о Париже – теми же интонациями, как если бы денег совсем не было, но мы оба чувствовали: *что-то не то*. Я шутил, она смеялась, я смотрел Т. в глаза, а сам думал о своем...

Ее глаза – две черные гладкие бусины, по их поверхности летят картинки, мелькают слайды, кадры из нашей общей кинохроники, которые наши глаза, как камеры, снимали в институте, глаза и сердца фиксировали всё, на что бы мы ни взглянули, у нас с ней были свои истории, свои персонажи: С., П., Маэстро и еще чертова дюжина лиц... куда там!.. гораздо больше... сотни лиц проносились по гладкой поверхности маленьких черных, как нефть, бусинами, глаз, проносились поезда, мелькали комнаты, бары, концертные залы, со сцены придурки читали стихи, за бесконечным столом пили водку безумные филологи, шляпники, сони, мартовские зайцы, жабы со словарями, совы с вращающимися бобинами в голове, навозные черви курили кальян и завязывали на моей шее дымные петли, меж тем черные кролики в сторонке рыли нам могилы, да, черные кролики всё время копали и теперь продолжают, а твои поэтишки, Т., они сочиняют нам эпитафии, одним языком читают Введенского, а другим языком (ибо у каждого поэта раздвоенное жало) сочиняют эпитафии, и на каждого посматривают поэты так, словно примеряя свою эпитафию, они воображают, как мы содохнем, они фантазируют, как прочитают свои стихи над нашими могилами.

Когда-то меня такие мысли воодушевляли, я часто вызывал их в сознании, но теперь они меня угнетают. Тот я – я прежних дней – имел право на многое: нагло смотреть людям в глаза, слушать любую музыку и дерзко говорить о поэтах и писателях. А я нынешних дней – я, который покорно таскает свинные туши по засаннным канализационным коридорам, чтобы заработать свои сто евро, – ничего не может, ни на что права не имеет. Прежний я читал Поплавского и работал сторожем в двух местах; когда частник давал сто крон за то, чтобы приглядели за его машиной, тот я брал, но совестился и делил сотню со стариком. Теперь, получая двести евро, чувство странной унижительной гордости наполняет меня, еду в автобусе и спрашиваю себя: что случилось? что со мной произошло? когда? важно понять: когда это произошло со мной?.. смогу ли я когда-нибудь найти зазор?.. смогу ли вернуться?

В детстве я любил разглядывать пластинки, рассматривал бороздки, находил царапины, а потом перестал...

Если бы я мог взять мою жизнь, как пластинку, наклонить,

посмотреть на свет, увидеть верные бороздки и прошмыгнуть сквозь спасительные аккорды в прежнего себя...

Я так унизил мое сердце. Каждый мой роман – компромисс, каждый подписанный договор – унижительный компромисс, каждая поправка, стремление «привести текст в божеский вид» – постыдный компромисс. И отвратительное ожидание: будет ли мой роман в списке или нет? Ждешь, поджилки трясутся, открываешь шорт-лист: ну, есть?..

Раньше мы лазили в катакомбы отрываться, – как клево там курилось! Нам даже казалось, что ходы тех катакомб – это наши дыхательные пути, так сильно мы смолили! Может, мы все еще там, заживо замурованные в стенах храма природы? Поглощенные мхом и грибами, мы лежим в коконах и видим сны об этой жизни, вместо нас вернулись наши двойники – голядкины, допельгангеры, унтерменши – встали в очередь за документами, на которые в прежние дни нам было насрать, устроились на работу, живут отдельными жизнями, думая о себе, словно каждый едет сквозь свой тоннель, никого не желая видеть. Разве это мы? Ну, скажи! Это какие-то подставные. Искорка догадки: нас нет!

Что-то промелькнуло: чайка!.. когтями по подоконнику... ффрр!.. дрожь по спине...

– Я видел Пашку.

– Ну, как он?

Холодные нотки; не терпит она его. Он радикален, его можно понять...

– Ну, знаешь, – нет, она не желает его понимать, – я никогда не пойму эти его русофобские статусы в ФБ. А в остальном, как он?

Я повел плечом, стараясь казаться безразличным.

– Не договариваешь...

– Ерунда.

– Расскажи!..

– Да всё то же...

Не поверила.

Осьминог в аквариуме перебирал щупальцами – тоже не верит?

Идти.

– Слушай, пойду я! – объявил громко, чтобы наперстянки услышали, чтобы сразу бесповоротно. Они всполошились: *как! куда? уже? еще не вечер!*

– К сожалению, надо бежать. Дела!

Т. обнимает меня:

– Береги себя.

– Ты тоже.

Андрей Грицман

Стынет след

* * *

Мы будем вместе. Я с тобой.
И ты со мной. Даже когда погаснут за рекой
огни костров поминovenья в рощах.
Исчезнут от деревьев тени ночью.
И он пройдет по саду на зарю.
Шаги мы не услышим поутру.
Когда уснули звери и цветы.
Людьми давно уж сожжены мосты.
И только сад задумчиво стоит.
Еще темно. Одна звезда горит.
И где прошел он, ветка шевелит-
ся. И мы все ждем. Прошло уж много лет.
Река течет и зреет плод и стынет след.

IVY HILL*

Неслышный шорох запыленных фото.
Молочное свечение рутины.
Так в сумерках глухого карантина
спят пятна неразборчивого света.

Непрочна ткань родительского быта,
вернее, материнского, иного
и нет, другого нить забыта.
Оставлена за временным порогом.

Поэтому и строишь на рассвете
дом, теплый и условно-иллюзорный,
когда душа, теперь за всё в ответе,
плетется от парковки вдоль забора.

* Дом для престарелых русских эмигрантов в Нью-Джерси.

* * *

Памяти Михаила Юдсона

Господи, дышать так трудно.
Как низко небо. Граница близко.
А всё, что надо: глаголов связка, банан, ключи,
фалафель, ручка.
Остыл компьютер, душа теплеет,
к пути готовясь, домой на волю.

И что ж ты, Миша, нас тут оставил?
Факир метафор. Дыра чернеет
в исходе боли. А может, всё же
еще за банкой через дорогу
на Бен Йехуда?
Как было раньше.
Путем Ухода – не надо больше.

Мы в тупике: пакгауз звуков,
Наречий наледь, х--ня искусства.
Спасибо Миша, что дал нам слово.
Так стало пусто. Так стало пусто.
До встречи, Миша.
До встречи снова.

Ноябрь 2019

* * *

Сколько здесь было всего.
Душой облученное место.
Надо пройтись бы легко
сквозь временную завесу.

Ночью горят на песке
факелы встреч неизбежных.
Где-то, начавшись в Москве,
тянется нить по безбрежной

жизни залетной души.
Кто его знает, что значит?
В дальней Вселенной глуши
свет недоступный маячит.

Нью-Йорк

Илья Прозоров

Ди-трейн*

Ди-трейн зашипел тормозами, несколько раз качнулся справа налево и завис прямо над серыми водами Ист-Ривер. Сквозь равномерное гудение электричества в вагон доносилась барабанная, неумолкающая никогда дробь Манхэттенского моста. В этом месте поезд останавливался редко, но сегодня был именно такой редкий день, и почему поезд посреди моста, не мог объяснить никто из пассажиров. Вернее сказать, это никого не взволновало из сидящих и стоящих в вагонах, похожих на пациентов клиники, ожидающих в коридоре своей очереди к врачу. Всем было наплевать, почему завис Ди-трейн посреди Манхэттенского моста прямо над Ист-Ривер в центре этого громадного города, в центре этого необъятного мира.

Саша сидела на оранжевом пластиковом сидении. Она была частью вагона, но не была еще частью тех, кому плевать, почему Ди-трейн завис прямо над Ист-Ривер посреди Манхэттенского моста, в центре этого громадного города. В котором все зовут ее Сашей, хотя по-настоящему она – Салима. А полное имя... нет... лучше не знать полного имени, потому что полное имя произнести человеку неподготовленному непросто. Поэтому все и сокращают до простого «Саша».

Сашу родил Узбекистан – выжженная солнцем родина песка, родина труднопроизносимых для европейского человека имен и звуков и сухого ветра, который выжигает всё живое на своем пути. Раньше мало кто мог показать ее родину на карте. А сейчас... сейчас достаточно вбить название страны в интернет-строку и получишь полную информацию с подробными описаниями местности, ландшафтов, достопримечательностей, культуры, еды, животного мира – скотного рогатого и людского, с лицами, морщинами и проблемами, с номерами телефонов, zip-кодами и мэйлами, и с прочей ненужной для человеческого мозга ерундой.

Составы подземки работали как часы, двигались с одинаковой скоростью и почти никогда не обманывали пассажиров. Неслись по грязным и старым тоннелям, тарабанили колесами по стыкам рель-

Лауреат Премии им. Марка Алданова, 2019.

* Ди-трейн (D – Six Avenue Express) – круглосуточный маршрут нью-йоркского метрополитена (Прим. автора)

сов, извивались гусеницами на стрелках и любили останавливаться посреди перегонов и стоять по несколько минут, словно вспоминая что-то очень для себя важное. Здесь, на этих бесконечных перегонах подземки, под колеса поезда несколько месяцев назад Саша бросила свою родину, как бросили до нее тысячи, миллионы таких же, как она, и как бросят еще тысячи и миллионы. Саша не выносила, когда поезд внезапно останавливался в тоннелях. Но еще больше – когда поезд застыл здесь, на Манхэттенском мосту, потому что здесь, на Манхэттенском мосту, ей в лицо смотрела новая родина, ее новый город, который дразнил душу своими утренними бледными огнями. Саша смотрела на огни, и ей хотелось выть; выть протяжным и глухим воем, чтобы ее услышал весь мир. Чтобы этот мир сказал ей, просто сказал или – нет, намекнул, – что всё у нее сложится, всё будет непременно хорошо.

Но Саша не умела выть. Вместо воя урчал от голода ее желудок. Саша отвернулась от окна, в котором назойливо играли огни ее новой родины и посмотрела на стенку вагона, где висел пестрый плакат:

НОВЫЙ МЮЗИКЛ АЛЛАДИН.

ШОУ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ. БИЛЕТЫ УЖЕ В ПРОДАЖЕ.
НЕ ПРОПУСТИТЕ ГЛАВНОЕ ТЕАТРАЛЬНОЕ СОБЫТИЕ ГОДА

Саша посмотрела на плакатного Аладдина. Аладдином был индус. Такой же, как она, потерявший родину под колесами подземки и обретший новую на ее многочисленных перегонах. Индус-Аладдин улыбался белоснежной улыбкой, обнажая по-солдатски ровно построенные зубы. На его голове возвышался желтый кокон чалмы.

Город не спал, город не ложился спать со дня своего основания. Саша тоже разучилась спать. В этом городе нельзя спать, если ты хочешь добиться успеха. Лишь Ди-трейн словно погрузился в дрему. Вслед за ним и Саша погружалась в воспоминания.

Ровно год назад она вырвалась из плена. В буквальном смысле этого слова. Пленом была не тюрьма, не бордель, не подвал киднепперов – часто случающиеся на пути девушки из Узбекистана с Америку. Пленом стал родной дом, где родители прятали своих многочисленных детей (их было семеро) от мировых катаклизмов, бед, войн и великих переселений народов. Саша работала в родном селе, в маленькой парикмахерской: стригла, красила, подрезала, ровняла, снова красила, снова стригла... Это у Саши получалось довольно неплохо. Иногда она садилась за аккуратный белый столик со сло-манной ножкой, перемотанной толстым слоем изоленты, и терпеливо

наносила ярко-красный лак (красный тогда был у местных девушек в моде, впрочем, он и сейчас там в моде, которая вряд ли поменяется в ближайшие несколько сотен лет) на длинные, сухие женские ногти. Ногти сопротивлялись импортной краске, потому что они привыкли к земле, воде и раскаленному воздуху. Лак слезал после недели изнурительных полевых работ; в выходной женщины бежали к Саше – в выходные Саша мечтала о своих выходных. У Саши в ту пору было много ухажеров. Секрет такой популярности был прост: Саша много работала и много зарабатывала (по местным, конечно, же меркам). Мужская же часть населения села работу принимала за занятие постыдное и недостойное, предпочитая целыми днями отдыхать в тенишке. Женщины не протестовали, а кто бастовал, получал кулаком. Саша и сама несколько раз заработала довольно сильные тумачи от старшего брата, которому осмелилась намекнуть на его безделье.

Тогда к Саше прибился парень из соседнего города, прибился с намерениями серьезными. Шашина семья хором уговаривала ее сыграть свадьбу и уехать в Ташкент. Саша сопротивлялась, кричала на мать и отца. Чтобы Саша знала свое место, отец избил ее до полубморочного состояния. Она провалялась несколько недель дома; потолок стал ее окном, миром ее фантазий. На потолке висели древние паутины и жил огромный старый паук с бородой. Саша по ночам виделись кошмары.

А потом она опять стригла, красила и стригла, красила и снова стригла, и опять красила. Пока к Саше на работу не пришел ее жених, вытащил Сашу за волосы на улицу и стал ее тщательно избивать, крича на всю улицу, что Саша изменяет ему в подсобке со своими клиентами (Саша делала и мужские стрижки). Кое-как Саша вырвалась из рук ревнивого ухажера и побежала в спасительный, как ей казалось, родительский дом. Но жених уже успел рассказать Шашиной семье о ее «похождениях». В этот день Саша окончательно повзрослела. Она стала старше не на год-два, не на десять лет, а сразу на целую жизнь. Она стала мудрой и безжалостной. Мир менялся после каждого отцовского удара. Саша четыре дня харкала кровью и не могла ничего есть.

Отец постелил ей на чердаке, где Саша прожила несколько месяцев. Мать носила ей воду и пищу, но разговаривать не имела права. Саша поняла, что родители – просто люди, запуганные, затравленные своим временем; ей стало их жалко, ведь они не видели ничего хорошего и светлого в своей жизни. Саша не была в обиде на родителей. В какой-то момент Саша почувствовала, как к ней приходят новые силы; она подумала, что ее жизнь дороже любой другой, и что она ценит свою жизнь и обязана хранить ее в первую очередь... Два месяца – хороший срок, чтобы всё обдумать и всё взвесить.

Ранним утром, когда Сашин срок домашнего заключения подходил к концу, к ней на чердак поднялась очень красивая девушка. Саше показалось, что девушку эту она уже где-то видела, может быть, в прошлой жизни. Девушка села на край кровати, внимательно посмотрела Саше в глаза.

– Ты помнишь меня? – ласково спросила она.

Саша ответила, что не помнит. И вообще, кто ей разрешил сюда подняться, если даже мать с дочкой разговаривать не имеет права.

– Я сказала ему, что я из прокуратуры. Твой отец доверчивый человек и очень боится властей.

Саша испугалась.

– Не бойся. Я к тебе приходила когда-то в парикмахерскую, помнишь? Мы еще спорили, в каком лучше возрасте выходить замуж, – девушка подняла правую руку и показала красивое блестящее кольцо из белого золота с маленьким бриллиантом на безымянном пальце. – Помнишь, я заполняла для тебя анкету?.. – улыбнулась девушка.

Ну конечно. Саша вспомнила, что красивая девушка втянула ее в какую-то авантюру, связанную с лотереей и поездкой в Америку.

– ...У меня есть новости для тебя.

Саша боялась новостей. Саша не привыкла ждать от жизни хорошего. И сейчас она насторожилась, как сова, и даже приподнялась в постели, уронив подушку на пол. Что-то страшное обязательно должно произойти, так решила Саша. Кровь ударила ей в голову. Получается, что эта красивая девушка пришла, чтобы забрать Сашу и отвезти ее в отделение, а дальше в тюрьму. Саша слышала про местные тюрьмы, откуда девушки живыми выходили только за очень большие взятки. Саша хорошо знала, что таких денег в ее семье никогда не видели. Значит, вот такой финал, вот так всё должно закончиться, не успев начаться. Саше всего двадцать восемь, а ее жизнь давно подошла к титрам на экране; все ожидания рухнули в одну секунду с появлением вот этой девушки. Саше хотелось позвать на помощь, пищать, как птичке, кричать, орать, драть глотку...

– Поздравляю, ты скоро уезжаешь в Америку!..

В первые дни в Нью-Йорке она была ошарашена городом и людьми. Было не до воспоминаний. Она приехала, не зная ни слова по-английски. Ее первые месяцы полуподвальной крысиной жизни на окраине Бруклина стали отличной школой для выживания. У Саши не было родственников в этом многомиллионном городе, не было ни друзей, ни даже знакомых. Она была одна – и точка.

Ди-трейн, наконец, тронулся и устремился вглубь Бруклина. Саша достала блокнот и еще раз пробежалась по списку:

Масло арахисовое
Хлеб со злаками и изюмом
Горчица
Подгузники, две упаковки, с запахом клубники
Губная помада, алого цвета
Набор карандашей, разноцветных
Чулки капроновые
Порошок стиральный

Саша прикидывала, в какой магазин пойти; решила выйти на 20-й авеню и пешком вернуться по 86-й. Где купить продукты, она знала. С чулками и подгузниками было сложнее. Больше всего она боялась разговаривать с продавцом. Конечно она воспользуется гугл-переводчиком, посмотрит транскрипцию, произношение, но посмотреть в глаза продавцу, – этого Саша боялась больше всего. Если бы не ее дурацкая застенчивость, она бы давно выучила язык. Признаться, Саша и по-русски говорила отвратительно, путала окончания, терялась в деепричастных оборотах, словно в темных бруклинских кварталах. Но русский был единственным спасательным кругом в этом огромном эмигрантском океане, где Саша плавала в своей дряхлой лодчонке, потеряв все мыслимые и немыслимые ориентиры, обронив весла и сломав мотор. Да, конечно, существовала и узбекская диаспора, но Саша не для этого уехала из Узбекистана, чтобы опять погрузиться в тот мир, с его неписанными, но хранимыми законами.

Этот район Бруклина Саша уже неплохо знала. В одном из многочисленных коричневых домов на Кропси авеню она снимала комнату у престарелой больной женщины Виолетты Борисовны. Бедная старушка приехала сюда несколько лет назад по приглашению единственной дочери. Поначалу всё складывалось как нельзя лучше: Виолетта Борисовна жила с дочерью, которая работая в офисе в Манхэттене, имела приличный по местным меркам годовой оклад, плюс к этому американского ухажера из Нью-Джерси и новенький «Фольксваген Поло» белого цвета, взятый в кредит. Еще с Виолеттой Борисовной и дочерью жила маленькая собачка по кличке Сэм. Пока дочь и будущий зять работали, Виолетта Борисовна держала в доме идеальный порядок, гуляла с Сэмом и по воскресеньям ходила в православную церковь недалеко от дома благодарить Всевышнего за стабильность и благополучие дочери. Однако Виолетте Борисовне под закат жизни было уготовано страшное испытание. Прошлой зимой ее дочь и будущий зять пустились в мини-путешествие в Атлантик-Сити – развеяться немного, погулять по побережью. Виолетта Борисовна накануне поездки рассказала об этом соседке-еврейке из Минска, Алле Александровне. Та только покрутила пальцем у виска и

сказала, что зимой там делать нечего, что ехать туда – затея глупая и бессмысленная. Но отговаривать дочь Виолетта Борисовна не посмела, боялась ее жесткого характера, доставшегося от отца-офицера Северного флота. В день отъезда Виолетта Борисовна места себе не находила, бегала взад-вперед по квартире, молилась, плакала и пила пустырьник, привезенный с собой из родного Петрозаводска. Ближе к полуночи уснула. Разбудил ее тревожный звонок в начале пятого утра. Как известно, такие ранние звонки ничего хорошего не сулят. Маленький белый «Поло» был раздавлен в лепешку уснувшим за рулем водителем огромного грузовика. Что было с Виолеттой Борисовной, лучше не вспоминать. Осталась она на всем белом свете одна с маленьким вечно скулящим Сэмом. А через несколько недель Сэм сбежал, и стало ей совсем одиноко и невыносимо.

Виолетта Борисовна стала быстро хереть. Потребовался постоянный уход и помощь. Соседка поначалу вызвалась помогать, но в парикмахерской она познакомилась с Сашей, делавшей первые робкие шаги в карьере маникюриши, и свела ее со старушкой. Саша была рада переехать из полуподвальной сырой комнаты, где всюду орудовали серые чешуйницы, в пусть маленький, но теплый угол. Виолетта Борисовна быстро нашла с Сашей общий язык. Да что там язык! – Она полюбила Сашу по-матерински. Саше было немного неловко ощущать такое к себе внимание. Она привыкла к злым и угрюмым родителям, которые за всю жизнь ни разу не улыбнулись. Какая там любовь!

Каждую ночь Виолетта Борисовна вскрикивала во сне и потом тихо и протяжно рыдала до утра, уткнувшись головой в подушку. Саша ее успокаивала, искала слова для утешения, но получалась какая-то глупая смесь из русских и узбекских слов.

Аптека, прачечная, «7-Eleven», аптека, McDonald's, снова аптека, прачечная, овощной магазин, суши-бар, Western Union Bank, аптека... Саша терялась в вывесках. 86-я улица Бруклина всегда поражала своим изобилием. В родном Сашином селе такая картина могла только привидеться. В Бруклине можно жить, не выезжая на «большую землю» годами. Многие так и делали.

Через три долгих часа метаний по магазинам Саша, наконец, купила всё, что было написано дряблой старческой рукой на клочке бумажки.

В двенадцать часов дня ноль ноль минут Саша зашла в квартиру на Кропси авеню.

– Это ты, my dear? – тихо спросил из кухни ангельский голос старушки.

– Я, – так же тихо ответила Саша.

Она не первый раз почувствовала неприятный запах в квартире, будто за радиатором на кухне разлагался какой-то переспелый фрукт. Однозначно, Виолетта Борисовна дряхлаела. Саша понимала, что как только хозяйка умрет, Саша вылетит на улицу. Саша боялась улицы. Всё, что угодно, переживет, – только бы не на улице.

– Ну, как твои успехи, деточка? – ласково спросила Виолетта Борисовна, вытирая руки о кухонное полотенце.

Саша поставила пакеты с продуктами на стол, села рядом и заплакала.

– Я ничего не понимаю, – сквозь слезы говорила она, – я совершенно ничего не понимаю. Мне так тяжело понимать, что от меня хотят.

– Деточка, перестань плакать, – Виолетта Борисовна обняла Сашу за дрожащие плечи, – разве что-то страшное произошло? Подумаешь, первый раз пошла на курсы языка. Выучишь. У тебя выбора нет. Даже я, старая развалюха, и то кое-что выучила. Сама! Смотрела вот телевизор, слушала радио. В этой голове еще кое-что нужное оседает.

Виолетта Борисовна, кривым указательным пальцем, похожим на корень имбиря, постучала по своему виску, давая Саше понять, что не весь еще мозг превратился у нее в труху.

– Там все так смотреть на меня, когда я пытаюсь говорить что-то. Я была, как эта... дура я была, – не унималась Саша.

Если бы не упорство старенькой Виолетты Борисовны, Саша вряд ли вообще дошла до курсов английского языка, которые ей по программе полагались бесплатно, какое-то количество часов в неделю. Об этом Саша впервые узнала от старушки, и сегодня в свой первый за последние несколько недель выходной она собрала всю волю в кулак, «замейкапила» себя до неузнаваемости и отправилась в Манхэттен, на Седьмую авеню. Для неразговорчивой Саши два часа урока превратились в пытку. Молоденькая девушка в огромных очках RayBan и жирной родинкой на шее, из которой торчал длинный черный волос, словно допрашивала Сашу. Саша смотрела на этот волос и мечтала его аккуратно выдернуть пинцетом. Нет, девушка ничего сложного не спрашивала, наоборот, подталкивала всех к правильному ответу. Учеников было трое, поэтому девушка спрашивала много и основательно. Сашу бросало в дрожь от каждого вопроса. С горем пополам она выудила нужные слова, прошла тест и была зачислена в начальную группу.

Виолетта Борисовна, успокаивая Сашу, все повторяла, что боязнь у Саши пройдет, надо только начать хоть что-то говорить.

– Знаешь что, dear, – неожиданно сказала она, – тебе надо найти

бойфренда. И желательно не эмигранта. Только так ты выучишь язык до совершенства.

– Что вы такое говорить! – с ужасом посмотрела на старушку Саша. – Кому нужна дура из Узбекистана, языка не знать, да еще и...

– Послушай, деточка, – перебила ее Виолетта Борисовна, – я приехала сюда, не зная ни одного слова на английском. Мне было шестьдесят пять. Тебе двадцать восемь. Улавливаешь разницу?

Виолетта Борисовна смотрела на Сашу глазами, полными заботы и тоски одновременно. Эти глаза за последний год выплакали столько слез, что ими можно было напоить весь Бруклин. Саша видела, как день ото дня эти глаза теряют свой первоначальный голубой цвет, теряют ясность. У Виолетты Борисовны появилась странная привычка не смотреть собеседнику в лицо. И еще было непонятно, шутит она или, напротив, говорит что-то важное.

– Саша, – сказала она, понизив голос, – надо срочно замуж! Срочно, деточка. Иначе тебе капут.

Виолетта Борисовна медленно провела большим пальцем по шее, показывая «капут», потом стала откусывать заусенец на этом большом пальце и сплевывать откусанную кожицу на пол. Повисла глупая и долгая пауза. Саша смотрела перед собой, слушая рычание холодильника и сопение старушки.

Виолетта Борисовна будто опомнилась:

– Деточка, ты всё купила, что я тебе написала? Верни мне список.

Саша протянула старушке клочок бумажки с каракулями. Виолетта Борисовна надела очки и принялась ловко, словно фокусник, вынимать из бумажного пакета покупки. Достала горчицу.

Горчица.

Хлеб.

Порошок.

– Не тот, конечно, – она попыталась сделать вид, что расстроилась, – но тоже сойдет. Надо обязательно брать по sale. Запомни!

Арахисовое масло .

Карандаши.

– Буду рисовать Сэма.

Виолетта Борисовна достала упаковку подгузников и хватилась правой рукой за сердце.

– А это что? – вопросительным взглядом посмотрела она на Сашу.

– Как что, – ответила Саша. – Подгузник. Разве вы не видите?

Виолетта Борисовна всем весом плюхнулась на стул.

– Саша, ты точно тупенькая, – она вертела в руках огромную

пачку подгузников, – это детские подгузники! Деточка, на кой черт мне детские подгузники?

– Откуда я знать. На кой черт вам помада эта!

– Чтобы ходить в гости. Сашка, я от тебя многого не требую. Разве ты не знаешь, что существуют подгузники для взрослых?

– Давайте я пойти и поменять, – предложила она, – ноу проблем. Я не знать, что есть подгузники для взрослых.

Обе замолчали. Саше было неловко глядеть на старушку. Подумать только, Виолетта Борисовна красит губы, надевает чулки, ходит в церковь и тут же в церкви ходит под себя. Человеческое изображение рисует самое паскудное и неприятное всегда с такой ясностью, что становится немного страшновато.

Оказывается, существуют подгузники для взрослых, подумать только! Каждый день Саша узнавала что-нибудь новое. Интересно, как выглядят подгузники для взрослых. Саша не заметила, как эти слова произнесла вслух.

– Очень просто они выглядят, – ответила Виолетта Борисовна. – Как подгузники для детей. Только там надпись «for adults». Слышишь, *фор эдалтс*.

Саша не выдержала и засмеялась. Следом за ней засмеялась и Виолетта Борисовна.

– Хочешь жрать, Сашка? – сквозь смех спросила она. – Небось проголодалась!

Старушка не дождалась ответа и, подскочив со стула, кинулась к холодильнику, достала с верхней полки несколько яиц, нагрела сковороду и приготовила яичницу. Всё это она провернула с необычайной быстротой и ловкостью. Саша успела только руки помыть и удивиться проворности старой домохозяйки. Саша старалась быстро всему учиться у Виолетты Борисовны, чтобы стать максимально независимой от чужой помощи. Но внимательно наблюдая за жизнью старушки, она не желала заканчивать свою жизнь вот так: в глубоком одиночестве и без малейших перспектив на тихую и спокойную старость.

Много одиноких бабушек, брошенных и неуклюжих, встречала Саша в Бруклине. И каждый раз представляла на их месте себя. Не быть этому, она всё будет делать ради цели. Цель была одна, как и у восьмидесяти процентов жителей этого города: своя квартира... Пусть маленькая, пусть на первом этаже, пусть без балкона, пусть с ржавчиной в ванне, пусть далеко от ближайшей станции сабвея, пусть с огромными жирными тараканами, постоянными обитателями Бруклина, но квартира! Своя квартира в Нью-Йорке. Еще Саша очень хотела успешно выйти замуж, и вот эти две цели между собой у нее

всегда чередовались. Но с хорошей квартирой мужа сами подтянутся, слетятся, как пчелы на мед, и будет из чего выбрать.

Саша набросилась на яичницу, как тигр. Сегодня она еще не ела. Запила черным кофе без сливок и сахара, съела тост с арахисовым маслом. Масло Саша наносила всегда тоненьким слоем. Виолетта Борисовна на это ей говорила:

– Бери больше, Саша, чай, не в Узбекистане живем, – и радостно кудахтала.

Сейчас Виолетта Борисовна смотрела в окно, перекинув через плечо кухонное полотенце. Эта картина располагала к серьезному разговору, и старушка воспользовалась этим.

– Все-таки надо тебе бойфренда, Сашка, – материнским тоном начала она, – крепкого, с башкой и руками. И чтобы никакого другого языка не знал, кроме английского. И жить вам вместе. Можете здесь жить, я вон уйду... Тихо. Не перебивай. Эта квартирка ведь моя, Сашка, – шепотом погружала Виолетта Борисовна Сашу в свои тайны, – я все документы успела сделать. Какую-то часть выплачивать еще десять лет надо. Но ты ведь справишься. Что там десять лет – пролетят, как один день! Эх... а ведь хотели они меня тут и оставить, а сами переехать в Джерси, дом там купить. Ездила бы каждые выходные, внуков нянчила, а теперь... Сашка, Сашка моя. Жизнь иногда кажется такой несправедливой. Скотской она кажется, прости господи. Знаешь что, Сашка. Думала я обратно уехать домой. Чего вытаращилась! Да, домой. Там же остался дом, огород. Да и Женя там похоронен. Нечего мне тут делать... Давай, ищи бойфренда. Ищи, Сашка, крепкого и надежного мужчину, – тряся кулаком в воздухе, по-партийному вещала старушка. – Стального американца ищи. Из других штатов, те цепкие... Любить будешь его, готовить и стирать. Детей нарожаешь, дети сразу гражданство получают. Будут тебе благодарны потом, что родила мать их здесь, а не где-то там... в зажопинске. Прости, Господи!

Тяжелый разговор она затеяла, Саша такие разговоры не любила. Какие только междоусобицы и войны ни происходили в эмигрантском мире Бруклина на почве квартир! Краем уха Саша слышала на работе жуткие и страшные истории, где подставляют, грабят и травят только ради одних квадратных метров. Да и верилось с трудом в такой благородный жест со стороны Виолетты Борисовны. Переживая внутри свое горе, она могла ляпнуть все, что угодно. Саша была к этому готова и постаралась не придавать ее словам большого значения. Бредит старая, подумаешь. Но кое в чем Виолетта Борисовна все же была права: Саше нужен мужчина. Никто не знал, что Саша изнывает по мужчине. Последний раз она делала

это перед отъездом сюда, почти полгода назад. Там произошло что-то неуклюжее и мерзкое, о чем Саша вспоминать не любила. Полгода. Но попытки, безусловно, были.

С первым Саша познакомилась в самолете по дороге сюда. Им оказался иранец, у которого в Квинсе нелегально жил брат. Саша остановилась в их квартире до следующего утра. В эту же ночь она разделась – но иранец испугался такого резкого поворота событий. Он прикинулся глубоко религиозным и убежал спать к брату в комнату. На следующий день Саша покинула квартиру, оставив в квартире иранцев триста долларов. Об этом она узнала, когда расплачивалась за хот-дог в соседнем квартале и не обнаружила в кармане завернутый целлофановый пакетик с деньгами. Найти обратную дорогу она уже не смогла – Саша терялась среди одинаковых кирпичных домов Квинса. Что так напугало иранца? Саша знала: огромный шрам чуть ниже груди. Его она получила в детстве, прыгая по гаражным крышам. Прыжки были любимым занятием местной детворы. Саша могла делать это с закрытыми глазами, она наизусть знала количество гаражей и расстояние между ними. Внезапные февральские морозы превратили крыши гаражей в каток, Саша не рассчитала прыжок, поскользнулась и пропорола себе живот о встречный жестяной навес. Сашу зашивали, перешивали и выхаживали. Выходили. Так и появился на свет некрасивый, мясистый шрам.

Первое время Саше нужно было где-то жить. С этим помогла та самая красивая девушка из Узбекистана, благодаря которой Саша и оказалась в Америке. Коротая вечера в единственном интернет-кафе во всем поселке; девушка штурмовала русскоязычные группы и форумы Америки, вела переписку, выписывала подходящие объявления. Через неделю ей удалось договориться с какими-то молдаванами с Брайтон-Бич. За свою услугу девушка попросила пятьдесят долларов.

Когда Саша не смогла найти обратной дороги в квартиру иранцев, она вдруг вспомнила, что ее давно ждут на Брайтон-Бич по адресу, который был написан жирным черным маркером на большом листе, да еще и продублирован на втором листе – это если Саша потеряет первый. Девушка говорила, что лучше появиться там в день приезда, иначе хозяева могут передумать, и она останется на улице. Давно Саша так не бегала. Три с половиной часа провела она в сабвее, мечась с одного конца линии на другой, теряясь в бесконечных станциях и переходах. Приехала сначала на Penn Station. Там блуждала по огромному вокзалу, зареванная, забитая потоками людей, села в итоге не на тот поезд и укатила в Бронкс. В Бронксе рыдала громко, чтобы слышали люди. Подошел полицейский, Саша протянула уже основательно обтрепавшийся лист с адресом. Полицейский – огромный темноко-

жий мужчина, похожий на бульдога, сначала подумал, что над ним шутят, но потом, видя испуганное лицо Саши, подвел ее к карте сабвея и подробно объяснил, куда ехать и где сделать пересадку. Саша почти ничего не поняла, однако ей стало приятно, что полицейские в этом городе такие вежливые. На ее родине полицейские умели только вымогать взятки.

Добралась Саша, когда на улице уже стемнело. Дверь ей открыл сутулый мужичок, на вид пятидесяти лет, в черной траурной рубашке и с грустными, но хитрыми глазками. Мужичок сразу понял, кто перед ним стоит, и красивым бархатным голосом запел на весь коридор:

– О, *май гад!* Ну наконец-то. Мы думали, что потеряли тебя. Даже написали письмо твоей покровительнице в Узбекистан.

Мужичок сделал широкий шаг назад, что, по-видимому, означало приглашение пройти в дом. Убитая сабвеем, Саша почти рухнула в прихожей. На шум прибежала худенькая женщина в белом костюме Juicy Couture со стразами, длинной седой косой до поясницы и фантастически глупым выражением лица. Мужичок помог Саше снять верхнюю одежду.

– Лида, – закричал он, – это та самая девочка из Узбекистана! Молчит, как рыба. Ни слова не проронила. Может, она глухая, Лида?

Саша плюхнулась на маленький пуфик у двери и принялась стягивать свои любимые туфли-лодочки, которые после первого знакомства с Нью-Йорком можно было смело выкидывать на помойку. Тоже можно было проделать и с ногами: пятки стертые в кровь, на больших пальцах сбоку волдыри и мозоли. Вот награда за проделанный сюда путь.

– Я – Салима, – робко сказала она, – или Саша, можете так меня называть.

Сашу накормили, напоили, выделили угол под лестницей. Она отдала почти все оставшиеся доллары, но была рада хоть какой-то крыше над головой. Здесь она прожила несколько месяцев. Жила бы еще год, но мужичок нарушил все ее планы. Пока жена Лида по ночам работала на заправке кассиром, он повадился заглядывать к Саше в ее маленькую комнатку и справляться о ее делах. Саша поначалу не понимала, откуда в нем проснулся такой интерес к ее скучной жизни. Каждый новый вечер, как только жена уходила за порог, он спускался со второго этажа в новой чистой майке, источающей запах духов, в чистых и свежих носках. Такие мелочи не могли быть незаметны даже уставшей под конец дня Саше. Как-то под вечер он, как всегда, спустился к Саше, подвинул табуретку и сел возле ее кровати. Саша лежала в наушниках, слушала музыку. Он даже не заговорил с ней, не спросил о ее делах, как это делал обыч-

но. Вместо этого он стал медленно массировать Сашины ноги. Потом поцеловал одну из них, окинул лежащее тело жадным взглядом и набросился на него всем своим костяным мешком. Саша вырывалась, билась, что есть мочи, но мужичок умело работал руками и через несколько мгновений Саша уже чувствовала его полную власть над собой. Все длилось недолго, такие мужчины всё делают быстро. Вытирая потный лоб, он ушел к себе наверх и больше не показывался.

Всю ночь Саша плакала. Утром она ничего не сказала Лиде, чтобы ее не расстраивать. И тогда Саша собрала весь свой скарб и ушла жить в подвальное помещение парикмахерской, где незадолго до этого нашла работу. Хозяйка парикмахерской сочувственно выслушала рассказ о домогательствах и сама предложила поселиться Саше в подвале здания, где хоть и было сыро, но зато без неожиданных гостей.

Виолетта Борисовна посмотрела на Сашу:

– Ну что скажешь?

Саша виновато опустила голову и пожала плечами. Виолетта Борисовна не унималась:

– У меня соседка Алла Александровна, ты видела ее, еврейка из Белоруссии. Хорошая женщина. Да какая женщина, – всплеснула руками старушка, – что я вру! Такая же старая рухлядь, как и я... зато внук у нее есть, Максим, кажется, зовут, твой ровесник. Красивый, чернобровый, – она специально тянула прилагательные, чтобы выставить соседкиного внука в лучшем свете и таким образом заманить Сашу в свой мега-проект, – на английском – как на родном. Работает деливерибоем, зато всегда при деньгах. Живет здесь недалеко, на 83-й улице. Экономный, любит животных. Не курит и не пьет. А, Сашка! Тебе такой точно нужен. Нарожают мне внучат, Сашка. Буду я сидеть с ними, а вы доллары заколачивать. Ну что скажешь?

Саша несколько раз сталкивалась на лестнице с тем, про кого говорила Виолетта Борисовна. Что сказать, бредила постаревшая Виолетта Борисовна без всяких сомнений. Сеяла чушь и ересь на всю кухню. Саша мечтала заткнуть уши и не слышать этот словесный поток, но это только обидело бы и без того ранимую Виолетту Борисовну. А ее уже понесло не на шутку.

– Давай-ка, Сашка, мы на недельке к ним и ходим, а! – весело сказала она, обрадовавшись своей идее. – Я сделаю котлетки по-киевски, ты настроаешь что-нибудь свое, национальное, острое. Купим вина.

Виолетта Борисовна просила, умоляла. Это читалось в ее глазах. Отказать было невозможным. Саша надеялась, что старушка постепенно забудет о своей затее, вернется к своим будничным делам и будет

тихо почитать советские детективы на айфоне, мыть бесконечно полы во всей квартире и засыпать перед телевизором. Не забыла.

Через недели две после вышеупомянутого разговора, сидя за завтраком, Виолетта Борисовна поставила Сашу перед фактом:

– В субботу мы с тобой идем к соседям на ужин.

Саша чуть картофелем не подавилась, а старушка включила свой учительский тон:

– Наденешь лучшее. Эту, как ее там, – она щелкала пальцами обеих рук, – блузку Guess я у тебя видела, розовую. Вот ее надень. Хотя нет, стоп... Розовый тебя не сделает умнее, ты у нас и так девочка недалекая. Оденься лучше поскромнее, свитер есть у тебя?

Саша, выгаращив глаза, отрицательно покачала головой.

– Тогда я отдам тебе доченькин. Она его один только раз и надевала. Как раз серенький, нечего тебе выделяться... как фифа по Бруклину ходишь. Джинсы наденешь, волосы в пучок, – наставляла старушка. – Краситься много не надо ни в коем случае. У них семья скромная, они этого всего не любят. Зубы почистишь перед выходом, жвачку пожуюшь. Духами не надо брызгаться. Так, что еще! Вроде все... а-а-а, не забудь поменьше болтать. А то рот откроешь, сразу кровь из ушей у всех польется.

Виолетта Борисовна расхохоталась во весь голос.

Суббота настала. Всю ночь накануне Саша не спала, представляя, как будут развиваться события. Неужели сегодня решится судьба и прыщавый чернобровый парень заберет ее к себе на 83-ю улицу или, наоборот, он переедет к ним на Кропси авеню, и они заживут тихой мирной бруклинской жизнью эмигрантов, нарожают детей, к Саше приедут обязательно ее мать и отец посмотреть на внучат и...

Виолетта Борисовна уже второй час прихорашивалась в ванной. Оттуда доносилась древняя, как мамонт, песня, которую она очень неумело напевала:

Полночь, полночь вот уже пробил,
А Марианна позабыла, что я ее здесь жду.
О Марианна, сладко спишь ты, Марианна,
Мне жаль будить тебя, я стану ждать...

По странному звуку, похожему на шарканье тапочек по кафельному полу, Саша догадалась, что старушка пританцовывает. Или пытается пританцовывать.

Сидя перед зеркалом на кухне, Саша применяла всё искусство мейкапа, чтобы привести свое лицо в презентабельный, с ее точки зрения, вид. Морщины – она видела морщины на своем еще молодом

лице! Морщины не пропадут, они будут только увеличиваться в размерах и размножаться, словно глисты в больном теле. Саша боялась постареть. В ее родном селе девушки в тридцать пять лет выглядели, как потрепанные, изнасилованные тяжкой судьбой старухи. Трудная сельская жизнь не щадила их юные лица. В любой точке планеты Саша легко узнает своих по тем самым морщинам вокруг глаз, по ссохшимся от песчаных бурь волосам.

– Золотце, ты пойми, – кричала из ванной Виолетта Борисовна, – никому не нужны твои тонны косметики. Сейчас мужчины ценят естественность, ты слышишь? Естественность, глупая ты девочка.

Через полчаса дамы были готовы покинуть свое логово. По правде сказать, обе выглядели ужасно. Свитер, подаренный Виолеттой Борисовной Саше, смотрелся неуклюже, рукава свисали словно спагетти. Но старушка этого не замечала, ей нравилось, что вещи дочери не пропадают даром. Саша не сняла свитера, чтобы не расстраивать старушку.

– Как ты похожа на доченьку, – обняла ее Виолетта Борисовна.

Так они стояли минуту. Саша была ниже ростом, и на макушку ей капали теплые старушкины слезы.

– Так, всё, хватит соплей, – успокоилась Виолетта Борисовна, вытирая слезы рукавом блузки. – У нас, Сашка, сегодня важная миссия. Давай-ка лучше присядем на дорожку.

Обе сели на кухонные стулья. Помолчали секунд двадцать, как это всегда бывает вместо заявленной минуты, встали и направились к входной двери. У двери Виолетта Борисовна неожиданно остановилась и посмотрела на Сашу строгим взглядом.

– Сашенька, дорогая моя, – сказала она, – я тебя умоляю, ты, главное, молчи, золотце ты мое. Молчи и старайся ничего не говорить, пока тебя не спросят. Я тебе буду помогать. Помни, что молчание – золото. Мне так моя мать всегда говорила, а она, на секундочку, блокаду прошла. Молчание, Сашка, золото. С богом!

Соседка Алла Александровна жила на последнем этаже дома. Из ее окон был виден унылый Бенсонхёрст парк. В его глубине располагалась детская площадка, откуда с утра до вечера доносились детские голоса. Соседка любила эти звуки и нарочно распахивала окно настежь в своей комнате. От этого в квартире всегда было прохладно, зато свежо. Алла Александровна быстро открыла гостям, когда те постучались, будто всё это время стояла под дверью и ждала.

– Хэллоу, хэллоу, – закричала она на весь коридор. – Здравствуйте, дорогая Виолетта Борисовна.

Старушки обнялись, смачно поцеловав друг друга в щеки. Виолетта Борисовна сделала шаг в сторону, чтобы показать Сашу. Со

стороны это выглядело очень странно, будто подняли огромный бархатный занавес, а за занавесом оказался маленький хрупкий карлик.

– О, *май гад*, какое прелестное создание! – расплылась в улыбке Алла Александровна. – Только сейчас увидела. А ведь живем в одном доме, а я, дура старая, как ни зайду, так тебя дома нет.

Это было правдой. Соседка заходила достаточно часто, но Саша всё время работала. Или была на курсах английского, или в спортзал ходила. Последнее время она заимела такую привычку. Услышала от кого-то, что это модно, и побежала в первый попавшийся фитнес-клуб на 86-й улице. Саше помогал тренер, молчаливый женоподобный парень с красным лицом и густыми черными бровями, по всей видимости, татарин. Он отлично говорил по-английски и по-русски, и Саша так и не поняла, откуда приехал этот некрасивый краснолицый юноша. Приходилось заниматься в белой футболке из хлопка, чтобы скрыть шрам. Под мышками мгновенно появлялись темные пятна, и Саша этого ужасно стеснялась, но решиться надеть топик – ни за что. Шрам никогда и никто не должен увидеть.

– Проходите, мои милые дамы, – рассыпалась в вежливостях Алла Александровна. – Через полчаса придет Макс, и мы с вами отведаем отличной запеченой картошки. Моей фирменной, с вашими котлетами по-киевски.

Виолетта Борисовна протянула соседке огромный пластиковый контейнер с ароматными котлетами. Их она накануне делала целый день, изрядно помучившись у плиты. Саша попыталась приготовить плов, но он получился такой отвратительный, что Виолетта Борисовна деликатно намекнула о невозможности его потребления в пищу. Это не помешало Саше съесть перед сном две тарелки.

Квартира, где жила соседка, была точь-в-точь, как у Виолетты Борисовны. Даже холодильник стоял на том же месте. В прихожей висела небольшая картина, по всей видимости, написанная когда-то хозяйкой. На картине был изображен пейзаж с полем, двумя копнами сена и одиноко стоящей посреди поля лошадкой. Лошадка жевала траву, с неба на нее улыбалось солнце. Рядом с картиной висел прошлогодний календарь, на котором застыло тринадцатое июля. Дверь на кухню отсутствовала. В кухне Саша увидела красиво накрытый стол с бутылкой шампанского посередине. Бутылка стояла, словно небо-скреб, гордо и величественно. По квартире разгуливала рыжая кошка. Увидев Сашу, она подлетела к ней и стала бегать вокруг ног. Потом замерла, понюхала Сашин носок, резко отскочила и скрылась в ванной.

– Проходите к столу, – сказала Алла Александровна, – ничего пока руками не трогайте. Ждем Макса! О, *май гад*! Слива, ты что натворила, гадюка лесная!

Она смотрела на маленькую коричневую кучку в ванной.

– Ну, Слива, бестолочь ты такая! Который раз за день, и опять убирать. И что интересно, Виолетта Борисовна, слышите, – ворчала из ванной Алла Александровна, – не хочет этакая ходить в лоток. Я ей даже песка новомодного купила. Все равно ни в какую. Эх, Слива, гадока...

Началась суета. Алла Александровна стала бегать из ванны на кухню и обратно. Сначала схватила совок у помойного ведра, убежала с ним. Потом вернулась за салфетками, глупо улыбнулась Саше и убежала обратно. Послышался удар совком по чему-то твердому. Из ванны пулей выскочила Слива и убежала в гостиную. По всей видимости, соседка решила наказать кошку, но та оказалась проворней, и хозяйка промахнулась, ударив пластиковым совком по кафельному полу. Саша почувствовала аромат, доносящийся из ванной, и ее чуть не стошнило. Она чудом сдержалась, закрыв нос рукавом.

– Вот она у тебя шустрая, – смеялась Виолетта Борисовна. – Ты бы ей мужика, что-ли, нашла, Алла Александровна!

Одно было на уме у Виолетты Борисовны: всех вокруг переженить. Есть такой тип женщин, которые считают своим жизненным долгом сосватать одинокие сердца. Когда их проект выгорает, они переключаются на кого-нибудь другого. Но если им удается свести двух незнакомых людей, лучшим подарком для них будет их свадьба. Они будут ходить и говорить всем, что это их заслуга. Всё же с Виолеттой Борисовной была немного другая история, более прозаичная. Ее можно было понять – она потеряла единственную дочь. И у нее остался достаточный запас материнской любви, который надо кому-то отдавать.

– Ну-с, девоньки, – зашла на кухню Алла Александровна, словно ничего и не произошло, – по бокальчику давайте выпьем, пока Максик бежит.

Она достала из холодильника открытую бутылку и разлила всем по бокалу.

– У меня тут на все случаи хранится. Саша, ты не стесняйся, можешь меня звать на «ты». Не хочу этого – «Алла Александровна». Я еще пока что Алла. Зови меня Аллой.

Саша в ответ ничего не сказала. Соседка вытерла руки о полотенце и взяла бокал.

– Девоньки, – чмокнула она губами, – чтобы всё у нас было чики-пуки, олл райт, как говорится!

Послышался звон бокалов, и в это время открылась входная дверь. Зашел Макс с черной сумкой Nike на плече. Сердце у Саши забилося, а внушительный глоток шампанского на голодный желудок

нежно ударил в голову. А вдруг сегодня всё и произойдет. Вдруг это ее звездный час. То, о чем она с таким сладострастием мечтала последние годы, о чем втайне молилась, что занимало всё ее воображение, может свершиться здесь, в этой маленькой кухне на Кропси авеню, за тысячи километров от ее родного села, где сейчас, наверное, уже утро, где выживают ее отец и мать.

– Максик, дорогой, – искренне обрадовалась Алла Александровна, – проходи, садись. Так, пора накладывать ужин.

Парень аккуратно присел на краешек стула и вежливо поздоровался. Соседка возилась у плиты, отвернувшись от гостей, и разговаривала спиной.

– Ой, Максик, – ткнув вилкой в сторону Саши, сказала она, – это вот Саша. Она живет у Виолетты Борисовны. Саша, напомни, откуда ты?

– Узбекистан, – почти шепотом ответила Саша.

Ей показалось, что она умудрилась исковеркать все буквы в названии своей родной страны. В общем-то, так и получилось. Она это поняла по взгляду Виолетты Борисовны, которая чуть не расплакалась. Повисла неловкая пауза.

– Пойду помою руки, – нарушил молчание Макс, – после спортзала руки липкие.

– Ты заниматься в зале? – вырвалось у Саши.

– Да. А что?

– На 86-й улица?

– Да.

– Я тоже ходить туда, – торжественно сказала Саша и, довольная, откинулась на спинку стула.

Макс пожал плечами и ушел в ванную. Виолетта Борисовна готова была умереть прямо здесь, на кухонном стуле. Одной рукой она закрыла покрасневшее лицо, а другой стряхивала пылинки на брюках. Или делала вид, что стряхивает.

– Ой, Саша, – спасла ситуацию соседка, – я когда только сюда приехала, ни слова на англише не понимала. Как карась среди щук плавала, плавала... – она надула щеки, показывая караса. – Потом к тетке стала ходить, тут недалеко живет. Она мне очень помогла, направила. Язык обязательно надо учить. А лучше – два языка. Один – английский, другой – русский. Здесь много русских, всегда пригодится. Правда, Виолетта Борисовна?

Виолетта Борисовна молчала. Она недовольно сжала губы, как обиженное дитя, у которого отняли любимую игрушку. У Саши впервые закралась обида на старушку. Сейчас она чувствовала себя товаром, выложенным на витрине. Весь этот спектакль разыгрывался для

одной Виолетты Борисовны, и все участвующие в разной степени это понимали. Чувствовалась такая чудовищная неловкость во всем происходящем. Наверное, сама Виолетта Борисовна уже была не рада своему проекту и готова была сбежать при первой возможности. Того же хотела и Саша. Но обе знали, что это чревато испорченными отношениями с соседкой, а у Виолетты Борисовны и так не было подруг в этом огромном эмигрантском океане. Саша посмотрела на стареющие руки Виолетты Борисовны, на ее худенькую несчастную фигурку, и обида быстро сменилась жалостью и теплотой. Саша иногда ненавидела свое большое, исколотое ранами сердце, готовое простить даже самого отморозенного ублюдка на земле.

В школе она училась плохо, рано начала работать и пропускала занятия. Отец бил Сашу за неуспеваемость, карманных денег она от родителей так и не увидела, равно как и подарков на дни рождения, поэтому работать приходилось, чтобы питаться в школьной столовой и покупать себе одежду. Она прощала родителей и любила их больше всех на белом свете, хоть свет для нее и не был белым. Брат крал у Саши деньги, таскал ее за волосы. Она его тоже прощала, покупала ему сигареты, алкоголь. Когда Саше исполнилось четырнадцать лет, брат забрал ее с собой в Ташкент на какую-то мужскую пьянку, где продал ее на ночь своему другу-демпелю за несколько долларов. Так Саша стала женщиной. И после этого она всё равно простила брата и всё равно продолжала его любить.

Наконец-то уселись за стол. Бокалы быстро наполнялись шампанским, и Саша уже хотела съесть чего-нибудь, чтобы раньше времени не сползти от опьянения под стол. Наглая Слива сидела под столом и караулила случайно упавшие на пол вкусности.

– Вы смотрите, не зевайте, – предупредила Алла Александровна, – а то наша Сливка быстро сметет все с вашей тарелки.

Загремели вилки, застукали ножи. Из вкусных котлет полилось зеленое масло и растеклось по тарелке. Бутылка шампанского быстро закончилась, передала эстафету следующей, такой же, из холодильника. Говорили только две старые женщины. Саша и Макс сидели, словно и не было их тут.

– Как хорошо у нас в Минске было в семидесятых, – вспоминала хозяйка квартиры. – Мы жили на Герцена в коммуналке, в дореволюционном доме... эх. И всё было у нас, что для жизни надо. Хают сейчас Союз, поливают его помоями, а жили-то дружно, правда, Виолетта Борисовна? И не нужны были эти доллары! Жили без этих дурацких долларов. Целее были.

В слове «доллар» она специально делала ударение на второй слог, показывая тем самым свое пренебрежительное к нему отноше-

ние. Это не мешало Алле Александровне в буквальном смысле целовать эти доллары. Она не доверяла банкам и по старой привычке хранила деньги в книгах, которые нашли свой вечный приют на полке в гостиной. Для сотенных купюр Алла Александровна определила место в «Преступлении и наказании» Достоевского, которые номиналом поменьше приютились в «Обрыве» Гончарова. Алла Александровна каждую неделю пересчитывала накопления, вела журнал расходов, перерасходов и поступлений. Даже когда новые деньги в тайник не приходили, она всё равно их пересчитывала, целовала и аккуратно раскладывала между страницами.

– Деньги любят счет, – приговаривала она.

Всё же иногда пропадали мелкие купюры, но она списывала это на свои ошибки при пересчете.

– А сейчас, – продолжала она свой монолог, – все разговоры об этих долларах. Тьфу. Все в погоне за долларами. Хапают, хапают. Пытаются заработать больше, чем могут. А к сорока годам жалуются на боли в спине. Конечно, если столько на эти доллары работать, то к тридцати будешь, как старик.

– Точно, – быстро подхватила понравившуюся ей мысль Виолетта Борисовна. – Вот взять американцев. Им-то хочется любви и заботы, а пока не раскроешь кошелек, не покажешь, сколько у тебя там, никто тебе никакую заботу и не подарит. А о любви и говорить нечего. Умерла давно эта любовь. Это мы еще застали любовь, а нынешнему поколению я не завидую... совсем не завидую. В какое страшное время живете вы, молодежь! И чем дальше, тем страшнее. Никакого просвета нету.

Женщины одновременно вздохнули и чокнулись бокалами.

– А какие пирожные продавались в кафе «Пингвин», объединение! – всё глубже и глубже погружалась Алла Александровна в океан своих воспоминаний. – Зайдешь зимой, продрогшая вся, после работы, возьмешь пирожное со сливками и вишенкой сверху, отхлебнешь горячего чаю... и вот оно, счастье! Господи помилуй, о *май гад!* А потом пришел этот доллар бесовской, и не стало пирожных наших. Мой Николай в девяносто втором и заболел, сразу после развала Союза. Он мне тогда так и сказал: «Все, Аллка, кончилось наше общечеловеческое счастье, кирдык нам настал». И ведь как в воду глядел. Зачах бедненький, не дожил до своих пятидесяти восьми. Как Максика-то он любил, всё игрался с ним, возился, в Александровский сквер гулять водил за ручку. Помнишь, Максик?

– Конечно, помню, – утвердительно покачал головой Макс.

Алла Александровна нежно посмотрела на него.

– Весь в мамочку. Она у него работающая. Умница.

– Да ладно, ба. Прекрати, – отбрыкивался внук.

Алла Александровна любила единственного внука, поэтому была послушна его командам, как верный хозяину пес.

– Расскажи нам про себя, – обратилась она к Саше, аккуратно складывая перед собой салфетку. – Я вкратце знаю историю твоего приезда, мне Виолетта Борисовна кое-что успела рассказать. Хочется вот от тебя услышать, как ты там жила у себя, счастлива ты после переезда сюда?

Саша почувствовала, как лягнула ее под столом тяжелая нога Виолетты Борисовны. Она даже не успела сформировать в голове свой ответ, как старушка принялась рассказывать о ее жизни в третьем лице, будто Саши здесь вовсе не было.

– Ох, и какая тяжелая жизнь у нее была, – запела старушка, – вы не представляете, Алла Александровна! Семья у нее большая, работала она за всех. Сашка ничего, кроме мозолей на своих ладонях, и не видела. Девка пробивная, стойкая. В обиду себя не даст, – подмигнула она Саше. – Иногда – как стукнет по столу, скажет мне: «Вы что, Виолетта Борисовна, старая развалюха, не смейте плакаться, только вперед!» Я словно оживаю и забываю про всё свое горе. Молодец Сашка, за нее и выпьем.

Врала Виолетта Борисовна. Врала и с удовольствием запивала свое вранье вкусным шампанским. Чтобы Саша ударила кулаком по столу! Да ни за что. У нее не было привычки кого-то учить, наставлять и давать советы.

Виолетта Борисовна не унималась:

– А как готовит! Пальчики отгрызешь. Да что там пальчики, тарелку оближешь. Красавица и умница. Да, есть проблемы с языками... но это устранимо. Работает день и ночь. А денег сколько скопила, страшно представить. На себя ничего не тратит, всё на карту. Купит только продукты домой – и всё. Сколько ты, Саша, уже накопила денег, а?

Саша не хотела отвечать на этот вопрос. Но три пары сверлящих глаз заставили ее.

– Семнадцать тысяч, – ответила она.

– Врешь поди! – Виолетта Борисовна, видимо, сама не ожидала услышать такую цифру. – И правда, семнадцать? Ну красавица, умница! Невеста с приданным.

На Сашиной тарелке валялся одинокий кусок котлетки, проткнутый в нескольких местах вилкой. Он был до того жалок, что Саша разглядела в нем себя. Такая же откусанная, с огромным шрамом.

После Сашиного признания старушки оживились, заелозили на своих стульях. Один Макс сидел спокойно и смотрел на свою тарелку.

– Молодец, Сашенька, здесь в Америке только так и надо. Я тоже кое-что имею в своем сейфе, – вдруг призналась Алла Александровна.

Часто сказанное ею опережало ее мысли. Она таким образом нередко доставляла себе множество хлопот. Ляпнет что-нибудь эдакое, чего вслух никак говорить нельзя, и сидит потом красная, как рак. Окружающие списывали это на ее возраст, но близкие Аллы Александровны знали об этом недостатке и лишний раз семейные секреты перед ней не раскрывали, чтобы, не дай бог, это не стало достоянием эмигрантского мира Бруклина. Слухи здесь разносились, как семена в поле, подгоняемые ветром: быстро и надежно.

– Знаете что, Алла Александровна, а почему бы нам с вами не пройтись немножечко?.. – вдруг предложила Виолетта Борисовна.

– И правда, – после некоторой паузы ответила Алла Александровна, – прекрасные ноябрьские деньки у нас стоят.

Она поняла намек и приняла правила игры.

Погода и впрямь стояла замечательная. Для ноября это было рекордное тепло, и весь Бруклин щеголял в летней одежде. Окна часто держались открытыми до утра, и никто не простужался. Для бездомных людей и животных, для гуляющих на воле умалишенных наступил настоящий рай. Теперь они оккупировали близлежащие парки для ночлега. В дневное время найти свободную скамейку в парке не представлялось возможным – все чилили, греясь на солнышке, посасывая пиво. Алла Александровна надела свой дежурный красный пуховик, предназначенный для вечерних прогулок.

– Вы тут, главное, Сливу не кормите, – обратилась она к внуку, – и не давайте ей запрыгнуть на стол. А мы через часок вернемся.

Саша обратила внимание, как, стоя в дверях, Виолетта Борисовна что-то шептала себе под нос и один раз даже умудрилась перекреститься. Хорошо, что никто, кроме нее, этого не заметил. Дверь хлопнула, и наступила страшная тишина. Слышны были только тиканье часов в коридоре и стук Сашиного сердца.

– А Виолетта Борисовна так и пойдет, – неожиданно прервал тишину Макс, – без верхней одежды?

Голос его сильно поменялся. Из нежно-покладистого он превратился в холодный, стальной. Теперь перед ней сидел не внук Аллы Александровны, а опытный боец с нелегкой судьбой эмигранта.

– Она зайти домой и взять куртка, – осторожно ответила Саша.

– Отрывки прошлого, – ядовито сказал Макс. – Никчемные старые дуры, которые профукали свою жизнь. И теперь кудахчут здесь, как в курятнике.

– Это ты о ком? – спросила Саша.

– О наших бабках, – резко ответил он.

– Они очень старый, – встала на защиту бабушек Саша, – они многое не понимать уже. Это ты молодой. Ты знать, как жить сейчас. А они жить там, – и она махнула рукой куда-то в сторону.

Макс с нескрываемой злобой посмотрел на нее.

– Да они сидят тут на наших шеях, – прошипел он. – Вот помрет она, кто ее будет хоронить? Тут ты и выложишь все свои семнадцать тысяч.

– Куришь кальян? – вдруг спросила Саша после недолгой паузы, с целью усмирить пылкого молодого человека. Выпитое шампанское придало ей храбрости.

– Курю, – ответил Макс.

– Пойдем ко мне курить кальян.

Через двадцать минут они сидели на полу Сашиной комнаты, прислонившись спинами к краю кровати и пускали облака серого дыма с терпким ароматом вишни. Сашина комната была завалена одеждой. На полу валялись тюбики от многочисленных кремов, лаки для волос, стеклянные бутылочки из-под духов.

– Сколько ты отдаешь за комнату? – спросил Макс, выпуская изящную струю дыма.

– Четыреста пятьдесят, – ответила Саша.

– Это еще гуд. Я отдаю больше.

– Стоп, ты же жить с мамой? – удивилась она.

– Это тебе бабка сказала, – презрительно ответил Макс, – слушай ее больше. Я живу один, снимаю за семьсот баксов. И комната меньше твоей вдвое.

– Ого, – удивилась Саша.

Дым не собирался выходить в распахнутое окно, ожидая посмотреть интересное кино. Он медленно струился под потолком, словно воды широкой реки. Саша откинулась на кровать и смотрела на эти потоки дыма. От этого у нее сладко кружилась голова. Она достала из джинс телефон и включила первый попавшийся трек. Саша обладала ужасным музыкальным вкусом – его она притащила с собой из Узбекистана, где всё отставало на несколько десятилетий. Комната на мгновение превратилась в узбекскую чайхану.

– Нравится тебе тут? – спросила Саша, обводя взглядом комнату.

– Как в кишлаке, – улыбнулся Макс. Шампанское вперемешку с ароматным кальяном тоже закружило его. – Есть у меня один знаковый, кажется, из Азербайджана. Тоже любитель покурить кальян. Сейчас сидит в тюрьме за махинации, похоже, депортировать его будут.

– А где ты работать?

– Я деливери-бой, – коротко ответил Макс и выдохнул огромную

струю дыма. Он так странно открывал рот, выдыхая дым, что был похож на факира, пускающего огненные шары.

Макс о чем-то сосредоточенно задумался. В его неполные тридцать – глубокие морщины на лбу, прыщи, несколько седых волос, сломанный в детстве нос, красивые ресницы и высшее экономическое образование, полученное в Минске. Его мать в середине нулевых приехала сюда в поисках своего женского счастья. И нашла его в лице местного адвоката – американца с темным бандитским прошлым. Она вышла за него замуж, они поселились в Бруклине, на Ocean Parkway. В Минск она больше не возвращалась и держала связь с родными по телефону и интернету. Долгие годы Макс жил с Аллой Александровной, которая после отъезда дочери взялась за его воспитание. Муж ее к тому моменту уже давно лежал в земле. Алла Александровна не собиралась покидать родной Минск, где прожила всю свою сознательную жизнь и где у нее была огромная квартира в центре города с лепниной на потолке. В конце концов, дочери удалось сломить ее крепкий совковый характер, и бабушка с внуком уже два года как числились новоиспеченными американцами. Макс был рад этой перемене. В родном Минске он не видел никаких перспектив для будущего. Институт окончил «для галочки», даже отношения с девушками не заводил, чтобы не влюбиться и не завязнуть потом в семейном болоте. Но больше всего он был рад наконец-то отделаться от Аллы Александровны. За десять лет жизни он возненавидел ее. Перед матерью Макс поставил условие: либо он живет с ней или один, либо он потеряется по дороге в Америку, и мать никогда его больше не увидит. Мать поддалась на условие, – не видела сына десять с лишним лет, – и сняла Алле Александровне маленькую квартиру на Кропси авеню. Где-то в глубине души дочь тоже не хотела жить с матерью-старушкой.

Алла Александровна поначалу сильно оскорбилась, даже подумывала вернуться обратно на родину. Потом обида ее утасла. Отложенные матерью на учебу Максудоллары ушли на жилье Алле Александровне. Пришлось Максудойти работать и вкусить всю тягость эмигрантской судьбы. Первую работу он нашел в бруклинском зоопарке в Prospect Park. Убирал клетки, мыл ограды, помогал ухаживать за животными. Уволился, когда в обезьяньем вольере на него напала самка и вырвала клочок волос на голове. Макс отделался легким испугом и проплешиной на макушке, начальник даже выплатил ему какую-то компенсацию «за причиненные моральный и физический ущерб». В зоопарке Макс познакомился с Джуниором, красивым афроамериканцем из бедной бруклинской семьи. Джуниор был старше Макса на пару лет и успел отмотать срок за ограбление лом-

барда. Срок небольшой, но достаточный, чтобы впитать всё самое гадкое, что предлагает тюрьма. Джуниор втянул Макса в какую-то идиотскую авантюру с покупкой серых телефонов из Китая, занял у него внушительную сумму денег и исчез с концами. Макс лишился и денег, и веры в дружбу. Когда мать узнала, куда он потратил все свои накопленные деньги, у нее случилась истерика. Она за долгие годы жизни в Нью-Йорке познала цену каждому заработанному доллару.

Как-то не клеилось у Макса на новой родине. За два года он так и не стал «настоящим американцем». Учеба в ближайшие несколько лет ему не светила точно. Девушку найти нереально, кому нужен нищий полубеженец. Макс пошел в ближайшую к дому пиццерию и устроился деливери-боем. Языком он владел, еще в институте неплохо выучил английский. Оттачивал его, работая официантом в одном из модных минских ресторанов, где тусовалась местная золотая молодежь и куда захаживали иностранцы, работавшие в филиале международной компании, обосновавшейся в соседнем переулке.

Пропавший Джуниор за время их недолгой дружбы пристрастил Макса к азартным играм. Всё свое свободное время они проводили за игровыми автоматами. Теперь он решил завязать с этим. Отдавал деньги матери, которая якобы клала их в банк под проценты. Саша всего этого, конечно, не знала. В эмигрантском мире Бруклина не принято делиться подробностями прошлой жизни. Понятно, что переезжали на новое место не от хорошей жизни. Искали возможности, искали пути, искали доллары, в конце концов. Здесь, в огромной Стране № 1, переполненной деньгами, долларов хватит на всех. Но не все в состоянии раскрыть свои карманы пошире и заполнить их заветными зелеными баксами. Эмигрантская жизнь – ринг, борьба с судьбой. Когда ты стоишь на этом ринге, у тебя всего несколько шансов, тогда как у судьбы их бесконечное множество, и на твой удар она отвечает, как правило, смачным нокдауном. Удар – и ты начинаешь терять сознание, в глазах помутнение, горизонт заваливается, потом еще удар, – и ты лежишь на земле, беспомощный, брызжешь кровавой слюной, рычишь, ненавидишь, но ничего сделать уже не в состоянии. Хочешь жить – вставай и иди дальше. В эмигрантской жизни нет черного или белого, есть только черное и серое. Черное – это поражения, серое – фон жизни. Всё, что могло бы стать белым, ты должен оставить. Иначе сломаешься и уедешь обратно. А там... там тебя уже никто не ждет. Будут показывать пальцем и говорить: «слабак». Эмиграция – это билет в один конец.

Есть у этой жизни главное, самое страшное оружие, какого нет в жизни обычной, – там, на исторической родине: ностальгия. О, да... Этого слова боится каждый второй эмигрант. Каждый первый болен

этой болезнью. Ностальгия – это красивая девушка с милым детским лицом и нежными ручками молочного цвета, которые она кладет тебе на плечи. Она приходит к тебе в жизнь незаметно, ты сначала ее не замечаешь. Она изредка мелькает в твоём сознании. Она, вроде, нравится тебе, ты испытываешь удовольствие, призываешь ее, даже заигрываешь. Потом она завладевает тобой и, словно медленный яд, поражает весь организм, поедая каждую его клеточку, проникая во все дыхательные пути, сжирает мозг, делая тебя слабым и бессильным. Ты становишься зависим от нее, как от тяжелого наркотика. Слезть с него удастся немногим. Кто проигрывает бой, возвращается обратно. Это борьба, ринг.

Саше повезло. Вспоминать, кроме жалкого существования в селе, было нечего. Да, сейчас ей приходится работать практически без выходных. Да, у нее нет своей крыши над головой, она, словно крыса, бегаёт из укрытия в укрытие. Но здесь она точно знает, что у нее всегда будет возможность вступить с судьбой в равный бой и попытаться, хотя бы попытаться, что-нибудь изменить. На родине такой возможности не было. Люди там давно свыклись с полунищенской реальностью, с отсутствием работы, денег и возможностей. Девушки с детства привыкают к побоям и унижениям со стороны старших братьев, отцов. Когда выходят замуж, эстафетная палочка передается от отцов-братьев к мужьям. И они лупят своих жен с остервенением. Быть женщиной там страшная карма. Здесь Саша чувствовала себя в безопасности. Здесь она могла ощущать себя полноценной женщиной, не испытывая притеснений со стороны мужчин.

– Устал я, – вдруг сказал Макс и сделал страдальческое лицо.

– Отчего ты устал? – толкнула его в бок Саша. Она не умела обращаться с мужчинами. От этого все ее движения получались грубыми и резкими.

– Да... – махнул рукой Макс, – вечные эмигрантские траблс. – Слушай, – повернулся он к ней, а можешь меня выручить?

– А что мне за это быть? – ехидно улыбнулась Саша. Она пыталась заигрывать с Максом, но от этого выглядела вдвойне нелепее.

– Я даже не знаю, – замялся Макс. – Что ты хочешь?

– А тебя, – недолго думая, ответила Саша.

Дым продолжал плавать под потолком, боясь вылезти в открытое окно на самом интересном моменте. Макс застывшим мертвым взглядом смотрел на Сашу. Его жизнедеятельность выдавали только гуляющие туда-сюда скулы. Он не хотел ее, он не мог ее хотеть. В ней он не находил ничего из того, что может вызвать желание. Саша одевалась, как на рынке, в стразы и розовое, красилась по максимуму, скрывая морщины, крайне небрежно рисовала себе искусственную

родинку над губой, в стиле Мерлин Монро, да и пахло от нее всегда каким-то дешевым лаком для волос, а не вкусными духами. Макс и сам не был Ричардом Гиром – об этом он знал, поэтому высоко не взлетал, боясь упасть и разбиться вдребезги, – но Саша...

Дым, гуляющий под потолком, краем глаза наблюдал: прыщавый парень, будто набрав в себя побольше воздуха, приблизился к девушке. Потом дым услышал звук поцелуя, небрежный и громкий. В ход пошли руки, переплетаясь, царапая друг друга. На пол упали серый свитер, джинсы, черные носки, розовые носки, белая футболка из коттона. Все это перемешалось в одну большую кучу. Потом дым увидел худые ноги в синяках. Худые ноги в синяках цеплялись за белые крупные ляжки. Клубок из двух тел катался по полу, стонал и ревел, разметая всё на своем пути. Когда клубок вскрикнул и, наконец-то, остановился, в комнате воцарилась мертвая тишина. Только глубокое дыхание мешало тишине полностью взять контроль в комнате. Дым, вздохнув, что посмотрел короткометражное кино вместо полного метра, медленно поплыл в сторону открытого окна. Здесь ему уже было неинтересно.

Они лежали неподвижно. Саша почти не дышала. Еще пару часов назад она даже не догадывалась, идя в гости к соседке, что вечер может закончиться так удачно для нее. Она вдруг осознала, чего ей действительно не хватало для полноценного ощущения себя. Пусть коротко и предельно быстро, зато это произошло, наконец-то, произошло. И сейчас она лежала полностью опустошенная, как сосуд, из которого вылили все содержимое, – но гордая и счастливая. Саша нащупала рукой гофрированный шланг от кальяна, поднесла мундштук ко рту и сделала три смачные затяжки. Кальян отозвался жалобным бульканьем.

– Так что ты хочешь? – спросила Саша.

Макс не сразу ответил. Он выждал паузу, во время которой прикидывал разные варианты. Все эти варианты звучали в его голове неоригинально и пошло. Он решил, что проще сказать прямо, не выискивая специальные слова:

– Ты можешь мне одолжить полторы тысячи?

– Полторы тысячи чего? – переспросила Саша.

– Долларов, – ответил Макс и весь съежился, как съеживаются маленькие дети в ожидании родительского подзатыльника.

Поначалу, когда в его голове зародилась идея взять у Саши в долг, он не предполагал, что сумма будет той, которую он только что озвучил, нет... Он надеялся максимум на пятьсот, не больше. Но теперь грех не попросить больше. Именно финал вечера и повысил цену. Саша молча поднялась, подошла к шкафу, достала оттуда крас-

ного цвета клатч на длинной золотистой цепочке, открыла его и достала жирную пачку долларов.

– Это так выглядят семнадцать тысяч? – удивился Макс.

– Нет, – строго посмотрела на него Саша, – здесь шесть.

Аккуратно отсчитав из пачки полторы тысячи, она положила деньги на кровать и убрала клатч обратно в шкаф, под пыльные коробки из-под обуви. Макс посмотрел на деньги и увидел, что все они состоят из пятидесятидолларовых бумажек. Вот почему пачка выглядит такой внушительной.

– Бери, – скомандовала Саша.

Макс дрожащей рукой забрал доллары и сложил их пополам. Дрожащей из-за быстроты произошедшего. Ожидал мучительный допрос, сверлящий взгляд, ответа «нет», в конце концов. «Дурень. Надо было просить больше», – промелькнуло в его голове.

Они еще посидели немного в тишине, каждый в своих мыслях. Затем Макс оделся и ушел, пообещав вернуть долг в следующем месяце. Саша закрыла за ним дверь, тщательно проветрила комнату и легла на кровать. Одинокó стоял в углу ненужный теперь кальян, похожий на беспризорное привокзальное дитя. Около кровати валялись расплюснутые розовые носки.

Саша прокрутила в голове весь прожитый вечер, ища в нем намеки и скрытые смыслы. Конечно, она мечтала о бесконечной любви с Максом. Если закрыть глаза на его злобу к Алле Александровне, вылечить прыщи на лбу и одеть во что-нибудь более достойное, чем спортивный Nike, то может выйти очень даже ничего. Саша рисовала в своем воображении тихую и скромную эмигрантскую семью с маленькой квартиркой в Бруклине, пусть здесь, на Кропси авеню, пусть даже в этом доме; огромного и ленивого, но доброго сенбернара на длинном поводке, вечно спящего на кухне возле своей миски, забитый до отказа продуктами холодильник, два велосипеда, тесно стоящих в коридоре, на которых они непременно будут кататься вдоль Lower Bay в выходные дни и устраивать пикники в Prospect Park.

Достаточно скудное представление о счастье рождалось в Сашиной голове, но такое представление имело право на жизнь, ведь в нем не было ничего сверхъестественного и неисполнимого.

Ди-трэйн резво мчался в сторону центра. Когда он выскочил из темного тоннеля на Манхэттенский мост, весь вагон внезапно залил яркий солнечный свет, отчего даже у самых серьезных и угрюмых пассажиров на лице проскочила мимолетная улыбка. Второй месяц подряд погода радовала жителей Нью-Йорка. Самые смелые ходили по улицам в одних шортах и парусиновых шлепках. Остальные огра-

ничивались осенними куртками. И только мерзлявые продолжали кутаться, но, скорее, по привычке, чем от холода.

Бездомные радовались солнцу, как дети. Они облюбовали лучшие парки города и валялись на лужайках в форме морской звезды, широко раскинув на сухой траве ноги и руки, подставив под палящее декабрьское солнце свои и без того загорелые физиономии. Город разрывался от бесчисленных туристов, которые съехались на хорошую погоду, словно дикие пчелы на мед. Порой казалось, что в Манхэттене не осталось местных жителей: одни корейцы и китайцы бродили огромными группами, выставив вперед длинные моноподы с телефонами; сверкая вспышками, делали селфи и отправляли их в поисках лайков в бескрайние просторы интернета.

Саша зажмурилась, когда поезд выскочил из тоннеля на мост. Солнце приятно обдало ее своим теплом, мгновенно подняло настроение. Прошел ровно месяц с тех самых пор, как Макс занял у Саши полторы тысячи... и пропал. Саша не искала его, пытаясь выбить долг. Хоть сумма для нее была серьезной, но не такой, чтобы сторожить должника у дома. Было просто по-человечески неприятно, неприятно, что отдалась очередному мерзкому подонку, который мало чем отличается от местных чернокожих бандитов и разводил из бывших соцстран. Саша хотела прополоскать себя, как полощут белье в стиральной машине: тщательно, с порошком с отбеливателем. Смыть с себя любое напоминание об этом человеке. Саше было стыдно за те смешные женские мысли, которые посещали ее во время их первой и единственной встречи. Когда такие мысли возникали в ее голове, она вспоминала молитву, рассказанную в детстве матерью, и шептала, веря в ее целительные свойства. Молитва не помогала. Саша плакала ночами, глядя в открытое окно, считая проезжающие по Кропси авеню автомобили и редких прохожих. Проплакиваясь, зарывалась в подушку и засыпала. Виолетта Борисовна вдруг стала замечать, что Алла Александровна, завидя ее издалека, опускает голову и проходит мимо, не здоровается и отводит взгляд.

– Что случилось, понять не могу? – искренне недоумевала Виолетта Борисовна.

Саша не рассказывала ей про полторы тысячи. Старушка может понять всё неправильно и заболеть сердцем. Не хотела Саша отравлять и без того отравленную ее жизнь. Наконец, Саша дала себе слово, что сегодня она обязательно ей все расскажет. Но только вечером.

«Seven Avenue station», – объявил бодрый мужской голос из динамиков.

Саша пулей выскочила из вагона, мысленно благодаря этот

голос. В нью-йоркской подземке не всегда объявляют станции, и Саша часто зевала свою остановку. Проскочив через турникеты она поднялась по лестнице и оказалась на Седьмой авеню: здесь, на 53-й улице, в огромном коричневом здании на шестнадцатом этаже учили Сашу английскому языку.

Как прекрасен был день! В такие беззаботные теплые дни, когда она тратила свободное время исключительно на себя, к ней вдруг приходило понимание этого огромного города. Она чувствовала его ритм, вливалась в него. Город отличался от того, что Саша видела в детстве на картинках и фотографиях. Запечатлеть его со всей присущей ему атмосферой сладострастия и сумбура, искусственности и, одновременно, колоссальной жизненности не удалось ни одному художнику. Этот город нельзя перенести на бумагу или фотопленку, невозможно нарисовать его красками или снять про него фильм, уловив при этом всё его подлинное величие, потому что он получается другим, чересчур выдуманым и конфетным. Поэтому многим так и не удается его покорить. Чтобы стать его частью, надо уничтожить в себе прошлое и принести себя ему в жертву. Нью-Йорк можно и нужно любить, но нельзя ему открыто транслировать свою любовь. Нью-Йорк не любит тех, кто его откровенно любит. Он любит наглых, независимых селфиш, которые хотят и умеют зарабатывать деньги.

Класс, где занималась Саша уже второй месяц, состоял из таких же, как она, недавно прибывших в этот людской океан и потерявшихся в его пучине, не способных самостоятельно переступить языковой барьер, боящихся зайти в магазин и купить еду, постоянно смущенных и забытых. Здесь с ними работал целый штат молодых учителей, которые разжевывали им всё, как детям, и жонглировали учениками, словно разноцветными мячиками, перекидывая их из класса в класс, в зависимости от успеваемости. Новые для себя слова Саша записывала на липкие разноцветные бумажки и развешивала по всей квартире, подходя к каждой по несколько раз. Процесс заучивания протекал медленно и болезненно. Сначала она вроде бы и запоминала, но, выйдя на улицу, мгновенно всё забывала и доводила себя до истерики, пытаясь вспомнить хоть что-нибудь из недавно выученного. С чем ей повезло – так это с произношением. Ее хвалили учителя. Виолетта Борисовна была в восторге и пророчила Саше большое будущее.

– Ты прям, как в Би-би-си, болтаешь, – хвалила старушка. Телевизор у нее не выключался даже ночью, когда она спала. – Станешь ты, Сашка, ведущей на ТВ. Первой узбечкой будешь, прославишь, Сашка, родину.

Такие мелочи вселяли в Сашу уверенность и надежду на светлое будущее, в котором она сможет найти работу в Манхэттене, где без знания языка не берут даже в уборщицы. Прозябая в эмигрантском Бруклине, многие за двадцать лет жизни знали только несколько слов по-английски, вроде «хэллоу» и «гудбай».

Дверь в класс открылась, и вошел учитель, молодой чернокожий юноша с шишкой на лбу и огромными глазами, похожими на маленькие бильярдные шары. Он что-то жевал, и его жирные губы извивались, как червяки, насаженные на рыболовный крючок.

Очень хотелось спать. Саша зевнула несколько раз подряд, подперла голову рукой и под скучное и монотонное приветствие учителя погрузилась в мгновенную и сладкую дремоту.

...Пышные розовые облака, похожие на рваные куски ваты, закрывали голубое небо. Кое-где из облаков вырывались прямые лучи солнечного света и падали на город. Отражаясь в зеркальных окнах небоскребов, они устремлялись обратно вверх и терялись в пучине облаков. Город, который лежал под облаками, с кучкой беспорядочно разбросанных небоскребов в центральной части, походил на Нью-Йорк; городские районы слиплись между собой, перекрыв сушею водную гладь, и превратились в одно сплошное поле, усеянное бескрайними крышами. На верхушках небоскребов развивались узбекские флаги. В небе ревел узбекский гимн. Саша летела над городом и махала рукой, приветствуя бездушные здания. В нескольких небоскребах после Сашино взгляда лопнули стекла и, оттуда фонтаном полилась черная густая жидкость, похожая на кровь и нефть одновременно. В жидкости плескались усатые сомы, и в ответ на Сашину улыбку махали своими скользкими плавниками. Саша подлетела к одному из окон и попыталась поймать сома, но тот лишь ударил хвостом по запястью и исчез в пучине жидкости. В самом низу между небоскребами виднелись ровные линейки городских улиц. По ним сновали люди в одинаковых одеждах с одинаковыми прическами и голосами. Да, Саша слышала их голоса, хоть и была высоко. Люди разговаривали голосом Макса, но разобрать, что они говорят, не представлялось возможным. Саша поднырнула и полетела вдоль длинной авеню, ища глазами хоть одно знакомое лицо. Но лиц у людей не было, вместо них – открывающиеся рты с потрескавшимися губами. Это особенно бросилось Саше в глаза. Она облизнула языком свои губы и почувствовала: сухие и шершавые. Все люди бежали в одном направлении. Саше стало любопытно, куда они бегут, и она полетела вдоль авеню, в конце которой ярко блестели разноцветные огни. Чем ближе Саша приближалась к огням, тем отчетливее слышала она голос отца. Отец стоял на сцене, среди раз-

ноцветных огней и обнаженных негритянок и, держа в руках микрофон, орал что-то невнятное на узбекском языке. Таких слов Саша никогда не слышала, но нутром чуяла – это ее родной язык. Она крикнула отцу: «Отаси! Отец!» – Отец посмотрел на дочь. Саша видела, как из его круглых голубых глаз капаяют хрустальные слезы и разбиваются о дощатый пол сцены. Падение слезы сопровождалось страшным грохотом, похожим на движение гигантских льдин во время ледохода. «Почему ты плачешь, отаси?» – спросила Саша. – «Потому что люблю тебя», – ответил отец. Саша не заметила, как из ее глаз тоже полились слезы. Толпа людей возле сцены замерла в причудливых позах. Остановился весь город, остановились облака, пропали все звуки. Саша почувствовала, что задыхается. Ей хотелось ответить отцу, но она, как рыба, беспорядочно открывала рот и глотала воздух, который становился все горячее и горячее. Саша видела, как отец тоже задыхается и медленно падает на колени. Подлететь она не могла, ее сдерживала неведомая сила. Отец схватился за горло и плашмя упал на деревянный пол сцены. Несколько раз его тело вздрогнуло, как в судорогах, и замерло...

– Эй, не спи, – послышалось позади Саши.

Саша испуганно открыла глаза и увидела перед собой скучающие спины учеников. В конце кабинета губастенький учитель мелом чертил на доске огромными буквами слово «verbs» и не обращал на сидящих в классе никакого внимания.

– Ты чуть не свалилась под парту, – опять послышался голос за Сашиной спиной.

Пребывая в полусонном состоянии, она не сразу сообразила, что обращаются к ней. Сидящий сзади ткнул Сашу в спину кончиком шариковой ручки. Она повернулась к обидчику.

– Привет, – глядело на Сашу сияющее от улыбки лицо, с большим носом картошкой, аккуратной бородкой и невероятной красоты зелеными глазами.

Саша покраснела. Ей удалось только фыркнуть что-то в ответ и, сгорая от стыда, она отвернулась, закрыв лицо руками. В такие моменты ей всегда хотелось одного – реветь. Но в классе было так тихо, что это сразу привлечет к ней внимание.

Содержание своего пророческого сна Саша уже не помнила. Да и зачем помнить, когда с ней, постоянно изнывающей по мужскому вниманию, заговорил настоящий парень, еще и с такими гипнотически красивыми глазами. Сердце билось, как сумасшедшее. Что-то продолжал лепетать губастенький учитель у доски, но Саша не слышала и не видела его. Она видела перед собой только это лицо, сияющее улыбкой, с носом картошкой.

«Кто он, откуда? Что делает здесь?» – Саша попыталась немного привести себя в чувство, подуспокоиться. Как же хочется обернуться к нему, сфотографировать его глазами и уложить в свою память! Нельзя, нельзя этого делать! Тогда он сразу увидит ее неуверенность, определит, откуда она и что из себя представляет на самом деле. Саше вдруг стало стыдно за себя, за свое происхождение и внешний вид.

Что так смутило ее? Может быть, впервые она почувствовала искреннее внимание мужское к себе. Ведь все мужчины, которые ненадолго появлялись в ее жизни, оставляли на память лишь долгие месяцы непрерывных страданий, долги и иногда даже синяки от побоев. Добрых намерений там не было с самых первых секунд, но Саша сознательно подавляла в себе чувство собственного достоинства ради одного только присутствия рядом хоть какого-то мужчины.

– Все свободны, – громко сказал учитель, – встречаемся через неделю.

Саша расценила это как божественный знак, спасение от очередного позора. Она устремилась к выходу. Весело скрипел под ногами паркет. На лестнице она уронила ручку, но поднять ее и задержаться хотя бы на секунду не посмела – ей казалось, что зеленоглазый сосед бежит за ней следом и непременно хочет ее догнать.

Очнулась она уже в вагоне метро, когда Ди-трейн остановился на Манхэттенском мосту, ожидая зеленого сигнала семафора. И опять этот мост, опять Ист Ривер, опять барабанная дробь под ногами. Как она сюда попала? Может, ей это все приснилось? Может, не существует никаких курсов английского, убитой горем Виолетты Борисовны, комнаты на Кропси авеню, денег, солнца, этого беспощадного города...

Стоп. Город есть. Вот же он – смотрит на Сашу своими железобетонными глазами, подмигивает ей зеркальными окнами и смеется ей в лицо теплым декабрьским солнцем. И Виолетта Борисовна, небось, заждалась ее с овсянкой на молоке и яичницей-глазуньей. И комната не убрана. А за тысячи километров отсюда ее любимые родители льют по вечерам слезы по любимой дочери. И брат тоже часто вспоминает сестренку, потому что негде теперь стрелкнуть пару узбекских сумов. И английский Саша учит.

– Verbs, – тихо произнесла она.

Конечно, учит... учит. И красивый парень был там, в одном с ней классе, он тоже учит английский. Он сказал Саше «привет». Он первый сказал Саше «привет»! Так не бывает...

...Ди-трейн зашипел тормозами и медленно покатился в сторону Бруклина. Вагон был полупустой: город работал, и до ланча оставался еще час. Саша обратила внимание, что плакат с Аладдином, который сверкал белыми зубами и приглашал всех на свой мюзикл, давно

сменился на рекламу водки. Ей стало жаль актера-индуса. Ведь наверняка он талантлив, раз сумел пробиться до подмостков Бродвея. А теперь вместо его белоснежной улыбки на стенах вагона висят плакаты с покрытой инеем бутылкой водки и маленькими дольками лайма. Проглотила индуса водка. Водку проглотит реклама очередного фильма про подруг-нимфоманок, приехавших покорять Нью-Йорк. Фильм проглотит реклама музея пыток, а музей пыток проглотит предвыборная кампания республиканцев-демократов... и так по кругу. Выживает тот, кто больше всего необходим городу в этот момент – или кто больше заплатит. Этот город умеет расставлять приоритеты. Подобная философия не отличается глубиной мысли и непостижимой мудростью. Зато Сашу она вполне устраивает. Жизнь ее не стала сказкой после приезда сюда, но научила смотреть по сторонам и наблюдать жизнь, которая показывает свой оскал. Саше пока удавалось лавировать между острыми ее клыками и оставаться при этом человеком. Город разрешал Саше участвовать в своей жизни и даже по-своему оберегал ее. Другим везло меньше.

– Что с тобой? – охнула Виолетта Борисовна, увидя Сашу, когда та буквально влетела в квартиру и снесла дверью пару только что начищенных старушечьих сапог.

– Ничего! – ответила Саша, ставя сапоги на место. Виолетта Борисовна любила порядок.

– У тебя красное лицо, дарлинг... и глаза. Выдают тебя твои глаза, – на этих словах старушка взяла Сашу за руку и потянула на кухню, где на столе стояли уже остывшие кофе и яичница-глазунья, с двумя кусочками хлебного тоста.

Саша села за стол. Виолетта Борисовна села напротив и направила на нее свой испытующий взгляд, полный ожидания. Так голодные собаки ждут что-нибудь съестное от своего жестокого хозяина.

Саша сделала вид, что взгляда не замечает, и принялась уничтожать яичницу, надеясь поскорее покинуть кухню и запереться в своей комнате, предаться сладострастным мечтаниями и прокрутить в голове сегодняшнее утро еще раз, с самого начала, убедиться, что всё это происходит действительно с ней, и что жизнь ее движется, и что она сможет быть по-настоящему кому-то необходима. Не старой развальной Виолетте Борисовне, доживающей последние годы своей безрадостной жизни, а настоящему мужчине. Мужчине, который будет в Саше видеть женщину, а не инструмент для займа денег.

Сейчас Саша не замечала Виолетту Борисовну и только слышала ее громкое сопение. Старушка не долечила свой осенний насморк и потому последние два месяца говорила в нос и бегала каждые полчаса в ванную отхаркивать сопля. Она делала это так громко, что бед-

ной Саше приходилось закрывать уши, чтобы не слышать этих тошнотворных звуков.

– Ну, – не удержалась Виолетта Борисовна, – что с тобой было, Сашка?

Та в ответ улыбнулась и ничего не ответила. Виолетта Борисовна расценила это как неуважение к себе и решила обидеться.

– Хорошо, – подняв гордо подбородок, сказала она, – раз ты не считаешь нужным со мною делиться, я удалюсь.

Встала и ушла в свою комнату, демонстративно хлопнув дверью. Саша и этого не заметила. Сейчас она больше всего хотела побыть одна, наедине со своими новыми мыслями. Подобные мысли не приходили ей в голову ни разу в жизни. Хотя нет, стоп...

Было что-то похожее лет пятнадцать назад, когда была она еще совсем юной восьмиклассницей, но уже работавшей посудомойкой в местной поселковой столовой при умирающей автобазе. Тогда какой-то парень, старше ее лет на шесть, приехал в автобазу на практику из далекого села. Они познакомились, когда она вечером уходила с работы домой, а он жил в местной гостинице, и им было по пути. Проводил ее домой раз, потом второй... А на третий Саша зашла к нему в номер гостиницы, где кроме раскладушки и фанерной тумбочки с облезлой краской не было ничего. Внутреннее убранство номера радости у человека вызвать не могло, зато провоцировало радость у полчища тараканов, которые чувствовали себя здесь, как в санатории. Они не стесняясь людей, нагло бегали по едко-зеленым стенам номера, залезали на люстру и с шумом падали на пол, иногда попадая за шиворот заезавшемуся жильцу. Саша не замечала тараканов. Ее не смущали даже огромные красные волдыри по всему телу, оставленные потревоженными разъяренными клопами, когда Саша тонула в грязном белье гостиничной раскладушки. Саша тонула в белье каждый вечер на протяжении двух недель. Потом парень уехал в Ташкент, обещал звонить... и пропал.

Саша уничтожала лицо слезами, рвала волосы, планировала совершить самоубийство и тщательно изучала вены, чтобы резануть быстро, но без обратного билета в этот мир. Не решилась она на вены и в отчаянии пришла к матери просить совета. Мать перепугалась за дочь, рассказала всё отцу. Тот, недолго думая, выписал Саше рецепт от таких мыслей в виде резинового куска шланга, который выбил из нее всю юношескую дурь. Теперь каждый день отец встречал дочь после работы у ворот автобазы. Такой была в жизни Саши первая любовь.

...Доев быстро приготовленный заботливыми руками старушки завтрак и выпив холодный горький кофе, она бросила посуду в рако-

вину, не помыв ее, чего никогда прежде не делала, и убежала к себе в комнату. В комнате было темно и тихо. Саша сняла джинсы, свитер, кое-как поправила измятую постель и, закрыв лицо одеялом, пустилась в очередные сладостные и полуэротические мечтания. Они были именно полуэротическими, со строго очерченными гранями, – Саше всегда казалось, будто кто-то подглядывает ее киноленту видений. Она мечтала всегда об одном и том же, только действующие лица в мечтаниях менялись. Главная мужская роль отводилась тому, в кого Саша на данный момент влюблялась или кто ей очень нравился. Сейчас ей приходилось напрягать свою память, чтобы собрать по крупицам то мужественное, но простодушное лицо, которое посмотрело на нее таким пронизывающим взглядом в классе. Вслушиваясь в звенящую тишину своей комнаты, она перебрасывала себя мысленно обратно в сегодняшнее утро, искала в нем хоть какой-то знак или намек на приближающееся чудо. Чудо, о котором мечтают все знакомые ей девушки из родного села, о котором мечтают здешние эмигрантки из бывших соцстран, о котором мечтала и ее мать, когда была молодой девушкой, полной возвышенных желаний. Суровая реальность подарила матери Шашиного отца. Мать быстро постарела, ее желания и мечтания превратились в пыль и унеслись далеко в пустынные степи, смешались с песком и навсегда себя в том песке похоронили.

Теперь каждый день после работы Саша бежала в зал. После знакомства с Максом она перестала туда ходить, чтобы лишний раз не встретиться, хоть это он должен был ей денег, а не она ему. Ей казалось, что за неделю до следующего класса английского удастся привести себя в форму. Она перестала влезать в половину своего гардероба после обильных и калорийных ужинов от Виолетты Борисовны. Кстати, старушка не спешила мириться с Сашей. Она ходила по квартире, словно привидение, и пряталась в своей комнате каждый раз, как только Саша снаружи поворачивала ключ у входной двери. Саша приходила уставшая и измученная, поэтому на демонстративное поведение старушки никакого внимания не обращала. Оставшиеся часы перед сном она тратила на изучение русского языка: смотрела в интернете обучающие ролики и бессмысленные русские сериалы. Однако это не особенно ей помогало. Саша продолжала говорить на русском с явными ошибками.

Неделя пробежала быстро, настал долгожданный день класса. Ночь накануне Саша не спала. Прикидывала, как поэффектнее зайдет в класс, окинет взглядом однообразные скучные лица, среди которых поймает его взгляд и, слегка улыбнувшись, сядет на свое место. С пяти утра заперлась в душе и провела там целый час, докрасна рас-

парив тело. Сделала маникюр и намейкапилась до неузнаваемости. В последнем она явно переборщила, но отнеслась к тому философски. Для фриков в Нью-Йорке – настоящий рай. Пока Ди-трейн вез ее в Манхэттен, как мантру твердила про себя одни и те же слова: «Я ехать туда учиться, я ехать туда учиться, я ехать туда учиться». Таким образом она настраивала себя на естественное поведение. Когда Ди-трейн в тысячный раз выскочил на Манхэттенский мост, только тогда она заметила скверную зимнюю погоду, пришедшую в город незаметно, окутавшую серым непролазным туманом бесконечную армию небоскребов. Саша расценила это как недобрый знак. Чем ближе Ди-трейн подъезжал к Седьмой авеню, тем быстрее билось ее сердце.

В классе никого, кроме Саши и двух новых учениц армянской наружности, не оказалось. Опять тот же губастый учитель чертил мелом на доске слово «verbs». За темными, немтыми окнами класса гудела улица. Губастый, зевая, предложил вырезки из статей «Нью-Йорк Таймс». Саша прочла свою статью и осталась довольна собой. В последнее время она рванула далеко вперед в пополнении словарного запаса и построении простых жизненных диалогов. Однако грамматика у нее по-прежнему хромала. Но такой проблемой страдали все ученики в классе.

Сидя в Ди-трейне по пути домой, она могла снова окунуться в бесконечные мечтания. Но чего-то не мечталось Саше сегодня. Она вдруг пришла к очень горькой мысли, что наступила пора мечты воплощать в реальность, иначе убежит жизнь так далеко, что догнать не успеешь. Нельзя, нельзя оставаться одной в этом безумном городе. Кто-то должен защитить ее от этого безжалостного города и его черных небоскребов, в пасмурную погоду похожих на сырые вековые деревья в дремучем лесу. Виолетта Борисовна, может быть, и рада бы ее защищать, но она стара и сама нуждается в поддержке.

– Я же поругалась с ней, – произнесла вслух Саша, глядя перед собой на оранжевые сиденья вагона.

Вспомнила, как слышала недавно глухие рыдания за дверью, когда собиралась на работу. Это рыдала Виолетта Борисовна, вспоминая дочь и держа обиду на единственного близкого человека в этом городе – на Сашу. Саша не зашла, даже не постучалась к ней и не спросила, всё ли в порядке.

– Какая же я дура! – сказал себе Саша громко, как бы давая понять окружающему миру, что раскаивается.

В тот же день Саша забежала в маленький фруктовый магазин на 86-й улице, купила так любимых Виолеттой Борисовной больших красных апельсинов, манго; в винном магазине купила бутылку калифорнийского полусухого и, придя домой, помирилась со ста-

рушкой, обняв ее пахнущее лекарствами тело и поцеловав в морщинистую щеку. Примирение закончилось второй бутылкой, припрятанной для праздничных случаев в кухонном шкафу. Виолетта Борисовна сияла, глаза ее горели ярче кухонной люстры.

– Кстати, – вдруг осторожно начала она, поднимая бокал и любясь содержимым, при этом закрывая им себя от пристального взгляда Саши, – я сегодня видела Аллу Александровну и...

– И?..

– И Макса, – спокойно добавила старушка.

– Они вам сказать что-нибудь?

– Что они мне скажут, Сашенька, – вздохнула Виолетта Борисовна; было заметно, как ее это волнует. – Даже в мою сторону не посмотрели. Знаешь что, Сашка... Бог им судья! Вот Бог – и никто другой. А я тебе, Сашка, деньги эти отдам. Я же тебя познакомила с такими людьми.

– Как вы узнали про деньги? – удивилась Саша. Ее руки задрожали мелкой, нервной дрожью.

– Господи, Сашка! Я человек поживший, советский... Думаешь, я ничего не поняла? Поняла сразу, просто до конца верить не хотела. В этой жизни, Сашка, деньги приносят только беду, прости, Господи, – Виолетта Борисовна трижды крупно и плавно перекрестилась.

Она не стала продолжать. Вместо этого отхлебнула из бокала маленький глоток вина.

– Не надо денег, – подумав немного, ответила Саша. – Это грех евоный, пусть жить с этим грехом.

– «Его», а не «евоный». Дурочка ты, – усмехнулась Виолетта Борисовна. Но усмехнулась по-доброму, по-матерински, с глазами, полными нежности и слез.

Вместе допили вино, съели все апельсины, половина из которых оказалась гнилыми. Обнявшись еще раз десять перед сном, разошлись, наконец, по своим комнатам.

С этих пор в маленькой квартире, что на Кропси авеню, воцарился мир. Виолетта Борисовна с еще большей заботой и нежностью стала относиться к Саше, обустроивала ее быт таким образом, чтобы ничего ее не отвлекало и не мешало отдыху после тяжелого рабочего дня. Но внимания к себе она требовала в еще большем объеме, чем раньше. Сидя вечерами за ужином, Саша слушала бесконечную старушечью болтовню, моргая тяжелыми от недосыпа веками и проваливаясь иногда в секундный сон, забывая, что держит одной рукой вилку со свисающими макаронами, а другой пытается отломить кусок лаваша из армяно-бруклинской лавки, который по вкусу больше напоминал обычный хлеб, чем настоящий армянский лаваш.

Вечерами они смотрели кино. Саша по просьбе Виолетты Борисовны включала на ноутбуке старые советские комедии, и они, сидя вдвоем на кухне, хохотали над однобоким и скучным киношным юмором. Виолетта Борисовна знала все фильмы наизусть. Можно было смело отключить звук, она бы всё озвучивала сама. Другого это раздражало бы, но только не Сашу. Видя искреннюю старушечью радость, она закрывала на такие мелочи глаза.

Однажды, за несколько дней до Рождества, они сидели на кухне и смотрели «Берегись автомобиля». Виолетта Борисовна, как дитя, прыгала на стуле от каждой фразы главного героя. В середине стола стояла наполовину пустая бутылка калифорнийского полусухого, рядом на маленькой тарелке лежал нарезанный тонкими ломтиками копченый сыр «Гауда», а на деревянной доске для хлеба валялась одинокая ветка от винограда. Виолетта Борисовна пребывала в таком превосходном настроении, что даже попросила Сашу зарядить кальян, что случалось крайне редко. Когда фильм был поставлен на паузу и Саша занялась ритуалом приготовления, Виолетта Борисовна неожиданно спросила:

– Как поживают твои занятия?

– Хорошо, – коротко ответила Саша, и в ее голове опять возник тот недостроенный рыцарский образ с красивым лицом, который ей так врезался в память. Образ потихоньку забывался в последние дни, а сейчас заиграл новыми красками в Сашиной голове. Ничего не подозревающая старушка взбаламутила неумную фантазию. Саша вспомнила, что завтра у нее класс, о котором позабыла ее глупая, мечтательная голова.

Виолетту Борисовну такой ответ удовлетворил, да она и не хотела отвлекать Сашу от приготовления кальяна. Виолетте Борисовне оставалось только с наслаждением наблюдать за игрой Сашиных рук. Когда всё было готово, Саша подпалила спичкой маленький квадратик угля. Уголь весело зашипел и заискрился. Саша сделала несколько коротких и мощных затяжек, и вечерний свет кухонной люстры перемешался с ароматным вишневым дымом. От дыма и бульканья колбы всё вокруг сделалось каким-то мягким и уютным. Сидя за пеленой густого дыма, Виолетта Борисовна от удовольствия кричала.

– Вот так красота, Сашка, – шептала она, глядя на переливающиеся под кухонным абажуром волны дыма, – мастерица ты на все руки. Замуж пора, Сашка, за-а-а-муж...

Саша будто не слышала этих слов и, сделав еще несколько глубоких затяжек, передала мундштук Виолетте Борисовне. Старушка очень смешно схватилась двумя руками за ручку шланга и присосалась к мундштуку, как присасываются дети к соске. Саша расхохота-

лась во весь голос, а Виолетта Борисовна закашлялась, содрогаясь всем телом.

– Тьфу, – сказала она сквозь кашель, – сейчас задохнусь. – И скривила такую смешную рожу, что Саше оставалось только выбежать из кухни в ванную, чтобы привести себя в чувство от рассыпающегося из нее смеха.

В ванной она быстро смыла с себя всю косметику, завязала волосы пучком и задержала взгляд на зеркале.

– О *май гад*, – Саша уже вставляла английские словечки в русскую речь, – какой страшный киз*.

Она смотрела в зеркало, подробно изучая каждую морщинку на своем лице. Да, лицо в зеркале сильно отличалось от фотографии в паспорте. Как же крепко успел изнасиловать ее этот город за прошедшие месяцы! И не только внешне, но и внутренне. А сколько еще уготовано ей, Саше, – маленькой и хрупкой девушке из далекого Узбекистана. Лучше не думать об этом, иначе можно свихнуться, надеть глупостей, психануть и купить билет домой, улететь – и жалеть всю оставшуюся жизнь. Сколько Саша слышала таких историй, в которых финал был один и тот же: обратный билет домой. Нет, нет... С ней такого не будет никогда. Она не вернется. Не для этого она отстояла в бесконечных очередях, боролась с бюрократической машиной, выслушивала хамство и унижения со стороны сотрудников всех мыслимых и немыслимых государственных структур, давала взятки, отдавая последнее, не спала ночами, влезала в долги и т. п. Чтобы в один миг вернуть всё это обратно! Нет, нет и еще раз нет. Бывшая родина должна быть похоронена на многочисленных перегонах нью-йоркской подземки, утрамбована там как следует – и точка. Ее дом здесь. Навсегда.

Сложно сказать, в который раз по счету Ди-трейн вез Сашу в сторону Манхэттена. За этот год он, Ди-трейн, стал для нее почти родным, таким старшим братом, с кем она делится своими самыми сокровенными мыслями, о которых боится напоминать даже себе. Ди-трейн знал все самые потаенные и грешные мысли всех жителей той части Бруклина, которую он в течение последних пятидесяти лет перевозил в Манхэттен и возвращал обратно в Бруклин. Ди-трейн и о Саше знал всё. То, о чем сложно было думать в будничной сутолоке, возникало в ее сознании в полупустых вагонах сабвея. Сидя на перепачканном оранжевом сиденье и одиноко качаясь в такт колесам, она уходила в себя, переставая слышать окружающий ее мир. Запутанными бывали ее путешествия в себя.

* Девушка (узб.)

Она рано познала предательства, унижения и позор. Прошла не сгибаясь, держа удар, разбивая лицо и руки в кровь. К двадцати годам прошла такую жизненную школу, какую люди за пятьдесят редко проходят. А если и проходят, то перевоплощаются в жестоких животных, ненавидящих всё и вся. Саша, наоборот, полюбила жизнь и людей еще больше. Любовь в ней никогда не угасала – это был единственный источник ее жизнестойкости, смысл ее пребывания на земле. Что бы она делала без этого!

...В который раз Седьмая авеню. Длинная, нарядная, многолюдная. Саша редко ездила куда-то еще, довольствуясь родным Бруклином и небольшой частью Манхэттена. На Седьмую она попадала раз в неделю, по вторникам. Она зашла купить воды в 7-Eleven на углу. В магазине – никого, кроме продавца и двух маленьких студентов с рюкзаками размером с парашюты.

– Эй, привет! – послышался знакомый голос за спиной, когда Саша стояла на кассе и расплачивалась за воду.

Саша сразу поняла, что обращаются к ней. Что-то стукнуло в районе сердца, задрожали руки, зазвенело в ушах; всё закрутилось перед глазами. Стоящий за прилавком продавец пуэрториканской наружности начал превращаться в цветную массу, расплылся за кассовым аппаратом вместе со своими жиденькими усами. Он что-то говорил Саше, но она его уже не слышала. Не оборачиваясь, она сделала огромный шаг в левую сторону, к двери, всем весом толкнула ее и очутилась на тротуаре. Городской шум сразу привел ее в чувство. Саша быстрыми шагами дошла до угла, свернула и только тут поняла, что в магазин заходила купить воды, и что воду эту оставила на прилавке и не забрала сдачу с двадцатидолларовой бумажки.

– Какой позор, – подумала Саша, сдерживая подступающие слезы. Она даже ущипнула себя за мочку правого уха, иногда это помогало.

Саша успокаивала себя, что можно вернуться за водой и сдачей чуть позже, когда урок начнется, чтобы быть уверенной в том, что не встретится с ним лицом к лицу. Это была последняя, посетившая ее мысль. Парень появился внезапно, как всё появляется в этом городе.

– Ты забыла воду и сдачу! – сказал он, глядя ей прямо в глаза.

Теперь она четко видела его лицо. И ничего впечатляющего в этом лице не было. Обыкновенное лицо обыкновенного человека. Темные волосы, кое-где проскакивает перхоть, кое-где уже прорастает седина. Обыкновенные уши с мясистыми и розовыми мочками. Обыкновенные потрескавшиеся губы. Большой нос картошкой. Но глаза и улыбка... Глаза и улыбка говорили ей, что всё остальное – чепуха, не стоит даже обращать внимание. Надо смотреть в эти глаза, отдаться этим глазам. Таких глаз Саша никогда не видела прежде.

– Спасибо, – ответила она, аккуратно забирая из его рук бутылку воды. Про деньги забыла.

– Почему ты всё время убегаешь от меня?

В его голосе проскакивала та легкость, от которой даже самый недоверчивый расплывется в улыбке. Саша сама удивилась, как легко ответила на его вопрос и, кажется, без единой ошибки:

– Откуда я знать, что у тебя на уме?

Ну – почти правильно. Акцент ее всё равно выдавал. Он это заметил и, конечно же, спросил:

– Откуда ты?

– Из Узбекистана, – гордо ответила Саша. Впервые она так гордо отвечала, откуда родом.

– Как тебя зовут? – спросил он, вцепившись взглядом в Сашины, бегающие от волнения глаза.

– Это что, допрос? Ты есть полиция?

Поток смеха вырвался из него, как будто он всё это время себя сдерживал. Сашин акцент имел свойство веселить даже самых угрюмых людей.

– Я похож разве?

– Меня зовут Саша...

– Саша? – переспросил он, снова рассмеявшись, но уже не так явно, как в первый раз. – Я думал, что на твоей родине таких имен нет!

– Салима... а сокращенно – Саша. Тебе так будет легче, верь мне! – заметила она, и обратила внимание, что у него над верхней губой под порослью скрывается маленький розовый шрам.

– Красивое имя.

– А тебя как зовут? – спросила Саша, делая вид, что не услышала комплимент.

– Как хочешь, так и называй.

– Я серьезно...

– Алекс меня зовут. Сокращенно от Алексей. Меня здесь так называют. Мне нравится... Так что зови меня Алекс. Может, ну его – этот английский! Давай его прогуляем, – предложил Алекс, вытаскивая из кармана телефон, чтобы посмотреть время.

– Давай, – не задумываясь ответила Саша.

В этот день она совершила свою самую длинную в жизни пешую прогулку. Вместе они прошли весь Бродвей и вышли к Бэттери-парку, где он купил ей большой хот-дог и банку соды «Dr. Pepper» в киоске. Казалось бы, такая мелочь. А ведь никто и никогда ей ничего не покупал! Сашу это немного настораживало. Привыкла она, что за хорошим сразу следует плохое, что расплата за эти живые и волнующие мгновения не заставит себя долго ждать.

По пути в Бэттери-парк он рассказал ей историю своего «побега» из родной страны, как он это сам называл. В этой истории было мало нового для Сашиных ушей, но один момент всё же засел у нее в памяти, а именно – смерть отца. Она сделала вывод, что это и явилось основной причиной «побега». Вообще, он был похож на человека, за которым по пятам ходит его прошлое, мрачное и тяжелое, но какое – знал только он сам. Таких людей очень много в этом городе.

В Нью-Йорке он обитал второй год. Приехал когда-то туристом и остался. Через месяц подал на политическое убежище и до сих пор ждет интервью. Хорошо изучил местную жизнь эмигранта и познал все законы выживания. Сменил десятки комнат и углов от непопулярного Стейтен-Айленда до недружелюбного Браунсвилла. Мог похвастаться количеством профессий, полученных за два года.

– Прокачиваю скиллы, понимаешь! – замечал он на это шутя.

Сейчас работал официантом в баре на Лексингтон авеню и, по его словам, имел неплохие чаевые каждую смену.

В Бэттери-парк они сели на скамейку напротив Гудзона. Саша держала хот-дог и стеснялась его откусить, хоть и была голодна.

– Видишь там, вдалеке? – спросил Алекс, показывая на маленький островок вдаль. – Это статуя Свободы. Ты, вообще, знаешь, что такое статуя Свободы?

– Я видеть ее один раз, – робко ответила Саша, судорожно вспоминая, видела ли она статую в действительности или только на картинке.

– Я в детстве постоянно ее видел по телеку. Мне повезло... мои родки ни в чем себе не отказывали, и у нас в доме в каждой комнате было по телеку. Я мог уединиться и смотреть круглыми сутками американские фильмы и MTV. Счастливое время было. Я уже тогда знал, что обязательно уеду жить в Америку. – Он на секунду замолчал, закрыл глаза и провел рукой по виску, будто вспоминая какую-то важную информацию. – И вот мне казалось, – продолжил он, – что в Америке меня ждет офигенное будущее, с офигенными перспективами, понимаешь! Пока в институте учился, спал и видел, как выхожу из самолета в аэропорту Кеннеди и ныряю в свою новую жизнь... с перспективами там и всё такое. Оказалось, что мое образование здесь нафиг никому не нужно, можно им смело подтереться. Я почти сразу понял, что к чему. В интернете ничего не читал, никаких отзывов там и форумов, всё на своей шкуре испытал. Мне так нравится больше, это моя ведь школа жизни – и все такое, понимаешь! Я – как волк, но волк сильный... Спасибо этому городу за прокачку, – и он демонстративно встал, поклонился в направлении города и сел обратно на скамейку. – Статую никто не видел вблизи из тех, с кем мне прихо-

дилось общаться. Многие даже не знают, где она находится. А ведь для еще не прибывших сюда, но мечтающих, это символ новой жизни, маяк, к которому бегут люди, будто мотыльки.

Саша не знала, что ответить ему. Честно говоря, она слабо понимала, о чем говорит этот симпатичный молодой человек. Но она уже не боялась себя и жевала резиновый остывший хот-дог, запивая вишневым «Доктором Пеппером». Саша давно не ела такой еды; точнее, она ела ее впервые, и живот предупреждал ее о возможных последствиях громким рычанием, будто внутри перекатывались тысячи мелких шариков, лопались и перекатывались вновь.

– Где ты сейчас живешь? – спросила она, чтобы хоть как-нибудь поддержать разговор. Она уже начинала мерзнуть от этой продолжительной прогулки и думала только о горячем душе.

– В Квинсе.

– О, далеко, – покачала головой Саша.

В тот день он проводил ее до дома. Они еще немного посидели в парке напротив и разошлись: Саша пошла домой, а он поехал в аптаун, где у него была какая-то важная встреча.

Встретились они только через неделю, в маленьком и уютном баре на Bay Parkway. Был полдень, и в баре никого не было. Только одинокий хозяин с белыми седыми бакенбардами и недовольным лицом сидел в кресле и смотрел в телевизоре бейсбол. Игра была ответственной, потому что хозяин каждый раз бил по столу ладонью и что-то бубнил себе под свой длинный вороний нос. Он вяло посмотрел на вошедших гостей, моргнул им левым глазом в знак приветствия и уставился обратно в телевизор. Сам бар напоминал логово какого-то монстра, где даже муха без разрешения пролететь не имела права.

– Что будешь пить? – спросил Алекс, аккуратно усаживая Сашу на длинный барный стул, боясь скрипнуть его ножками об пол и потревожить хозяина.

– То же, что и ты, – ответила Саша.

Взяли по бутылке «Короны» с кусочками лаймов внутри. Надо было видеть походку хозяина, чтобы оценить масштаб его ненависти к посетителям. Алекс даже предложил уйти в другое место, но Саша была здесь не в первый раз и успокоила его тем, что хозяин относится так ко всем посетителям.

– Ты думать, что он нас ненавидеть, потому что мы говорим по-русски? – спросила шепотом Саша, будто хозяин понимал, о чем они говорят.

– Откуда я знаю, как у вас здесь относятся к русской речи...

– Не бойся, не убьют, – улыбнулась Саша.

Хозяин небрежно кинул перед ними миску с арахисом, поставил

две золотистые бутылки пива и поспешил обратно в кресло досматривать бейсбол.

– Давай выпьем, что ли, – предложил Алекс, ударив горлышком своей бутылки по Сашиной. Получился неприятный звон, который, в общем-то, никак не потревожил скучную обстановку в баре.

Саша не чувствовала теперь никакого смущения, не думала, как выглядит со стороны. Она поняла вдруг, что впервые ведет себя естественно и своею естественностью никого от себя не отпугивает. Она не чувствовала того огня, жара, который пылал в ней при первой встрече с этим человеком, который пылал в ней при встрече с другими мужчинами. Саша вспоминала, что жар этот быстро спадал и становилось холодно. А сейчас... сейчас было просто спокойно. И главное – легко.

– Тебе нравится здесь? – спросил вдруг Алекс.

– Здесь – это где? В баре или в Америке? – уточнила Саша.

– В городе, в Бруклине... в Нью-Йорке.

– Я не знаю пока. Пока мне не очень понятно, – призналась Саша и пожала плечами.

– Пора определиться уже, – заметил Алекс. – Кстати, как у тебя с английским?

– Неважно, но я заниматься. А у тебя? – Саша зачем-то задала этот вопрос, хотя видела и слышала, что язык у него в полном порядке.

– Неплохо. Я на курсы пошел просто попробовать... в первый раз. А во второй... Во второй пришел, чтобы увидеть тебя.

Саша ответила легкой улыбкой и поспешила сделать спасительный глоток пива, чтобы скрыть свое замешательство. Он заметил это и решил не продолжать, тактично сменив тему:

– Я хочу пойти учиться, получить образование, уехать потом в Калифорнию...

– Тебе здесь не нравится? – оживилась Саша.

– Почему не нравится! Нравится... Просто здесь потом наступают зима, типичная такая зима, от которой я в свое время бежал.

– В Калифорнии ты был?

– Еще нет, – признался Алекс, – но планирую. Поедешь со мной?

– Надо подумать, – ответила Саша, хотя сразу представила, как оба они едут на широком хромированном «Кадиллаке» с откидным верхом по длинному пустынному шоссе в сторону голубого океана. Калифорния именно так и представляется тем, кто там не бывал.

Пиво допили. Заказали еще два. На хозяина внимания уже не обращали и болтали о всякой ерунде.

– Иногда хочется вернуться в детство, – говорил Алекс. – Там все было честным каким-то, реальным... Детство у меня всё прошло

в Америке, понимаешь. То есть, я вроде и не был здесь никогда, но воспитан на американских фильмах, на американской музыке. Английский еще в школе выучил. В детстве Америка была не такой, какой на самом деле оказалась... Когда я был шестилетним пацаном, мои родители всерьез задумались эмигрировать в Аргентину. Продали мебель, технику. Я хорошо помню пустую квартиру, голые стены и матрасы вместо кроватей. Огромные тюки с вещами лежали в коридоре и ждали своей отправки. Мне хоть и было шесть лет, а помню – как будто всё вчера происходило. И эта обстановка меня заразила. Вот где-то там, наверное, и родился у меня замысел будущего переезда. Я с этой идеей жил. И вот – я тут...

Она слушала внимательно и не понимала, что говорит этот молодой человек. Ей было с ним хорошо, но история его детства была диаметрально противоположной ее собственной. Какие к черту фильмы, какая музыка, Аргентина! И где вообще эта Аргентина находится? Саша всего этого знать не знала, да и не было у нее времени в детстве для таких увлечений.

– Ты очень много думать о прошлом, понял, – сказала Саша.

– Как будто ты не думаешь, – возмутился Алекс. Ему не понравилось, что Саша так легкомысленно относится к его словам.

– Я думаю, конечно, – вздохнула Саша, никогда прежде ни с кем на такие темы не говорившая, – но стараюсь убирать это из головы. Убирать, понимаешь... фьюх – и пустая голова, понял? – и она махнула в воздухе рукой, показывая, как опустошает голову от ненужных мыслей.

– С пустой головой в этом городе не прожить, – заметил Алекс. – Надо скиллы прокачивать, постоянно прокачивать. Конкуренция чудовищная.

Алекс прислушался к телевизору. Там обсуждали будущие изменения в эмигрантском законодательстве.

– Ты мусульманка? – вдруг спросил Алекс.

– Да, но... Я плохая мусульманка, – с грустью ответила Саша, – не молось, пью вот пиво... – и она стукнула пальцами по бутылке.

– А ностальгируешь часто?

– Что это? – не поняла Саша.

– Ну, как объяснить, – искал подходящие слова Алекс, – это... это когда вспоминаешь прошлую жизнь, родителей, страну...

– А-а-а, это, – засмеялась Саша. – Это я не делать никогда.

Она солгала. За последние месяцы она часто вспоминала родителей, брата. Вспоминать – это один момент, а вот написать, позволить... Этим она похвастаться не могла. Мать, которая каждый день молилась о ее здоровье и благополучии (о чем мать еще может

молиться, когда ребенок живет за тысячи километров от родного дома?), боялась лишний раз Саше написать даже маленькое электронное письмо. Мать придерживалась мнения, что если дочь не пишет – значит, занята обустройством своей нелегкой жизни. Зато отец давал о себе знать почти каждую неделю: то пришлет короткое СМС с упреком, что совсем, мол, позабыла семью, то позвонит во втором часу ночи и, не объясняя причины, попросит перевести несколько сотен баксов. А недавно родители задумали покупку нового дома и попросили у Саши денег. Взаймы, естественно. Она не колеблясь следующим днем переслала все свои накопления. Теперь, в теории, родители должны были Саше двадцать тысяч долларов. Но это в теории. На практике же Саша отлично понимала, что о деньгах можно забыть. Есть такая непреложная истина: если дал родителям в долг денег, назад ты их уже не получишь никогда. Это такой бартер: мы тебе подарили жизнь, а ты с нас еще что-то требуешь! Единственное, что Саша попросила, – прислать подробные фотографии нового дома, как только родители его приобретут. Не хотелось Саше думать плохое, например, что деньги ушли на самом деле к брату, который родителей держал в страхе своими выкрутасами и пьяными выходками.

– Я вот часто вспоминаю, – вздохнул Алекс, – хотя, казалось бы, что там вспоминать. Перед отъездом работал, как негр. Продавал духи по квартирам, представляешь! – и он засмеялся и покраснел одновременно.

– Ты продавать духи? – удивилась Саша и тоже засмеялась.

– Да, представляешь. Продавал по всей стране. Один раз пришлось уехать за сотню километров от дома. Заблудился, телефон кнопочный, зима. От одного поселка в другой шел восемь километров. Там меня чуть не хлопнули, мужик какой-то, на уголовника похож. Открыл дверь и пистолетом в лицо тыкать стал.

– Прямо в лицо? Пистолетом? – переспросила Саша, которая таким историями научилась не доверять.

– Да. Настоящим. А в другой раз мужик открыл пьяный. Сказал, что через две недели помрет от рака и ему все равно. Готов был купить несколько флаконов духов, только чтобы я с ним выпил. Ну, я пригубил. Паленка какая-то была, меня чуть не стошнило. Купил он, в общем, духи, и я убежал от него побыстрее. А потом...

– Что потом?

– А потом приехал в этот поселок через пару месяцев. И первый, кого я встречаю, – этот мужик. Идет, шатается. В руке бутылка водки.

– Причем тут эта... – Саша искала слово, щелкая пальцами, – что ты там называл...

– Ностальгия.

– Ностальгия, да. Причем тут это?

– Я когда там работал, в день видел по сто лиц. По сто, понимаешь! Люди ненавидят людей, в этом я убедился. Они живут с желчью внутри, понимаешь?

– Понимаю, – кивнула Саша, хоть и не совсем понимала значения слова «желчь».

– И вот по всему этому дерьму я иногда очень скучаю. Странно, как человек любит скучать по дому, пусть даже если там и было не очень хорошо.

– Здесь этого тоже хватает, – сказала Саша.

Оба замолчали. Орал только телевизор, отрывая свой новостной понос. Саша молчала не потому, что ей нечего было ответить, – наоборот, ей хотелось рассказать ему о своих схожих мыслях. Ее тоже жгла эта самая ностальгия. Саша потихоньку попадала в ее цепкие лапы. Но она не стала ничего говорить, а только подумала, насколько одинаковыми бывают людские судьбы. Ей понравилось, что сперва она не понимала его, а теперь, после такой пустяковой его исповеди, между ними что-то зародилось.

«Такого парня, – подумала Саша, – надо срочно показать Виолетте Борисовне. Что она скажет, интересно?»

И она его показала. Вечером следующего дня Саша встретила Алекса у станции сабвея. Вместе они зашли в магазин, купили две бутылки калифорнийского полусухого и медленно пошли в сторону Сашиного дома.

– Она очень старый, – говорила Саша, – у нее был страшный трагедия год назад.

Алекс выслушал подробную биографию Виолетты Борисовны и про себя наметил те места, куда в разговорах со старушкой лучше не забредать.

Между тем Виолетта Борисовна, зная о приходе гостей, накрыла шикарный стол. Приготовила ужин сама, в лучших традициях русской эмигрантской кухни. На небольшом кухонном столе разместились фирменные котлеты по-киевски, салат из свежих овощей, отварной картофель, тарелка с аккуратно нарезанным салом и миска с фруктами. Всё – более, чем скромно, зато с огромной любовью к сделанному.

Виолетта Борисовна ждала гостей с минуты на минуту. Гости же попали в пустяковую, но очень омрачившую их вечернее настроение ситуацию.

У дома они столкнулись с Максом. Саша напомнила ему о долге, а он кинул в ее адрес какое-то грубое слово на английском. Алекс был не из тех, кто себя умеет сдерживать в таких ситуациях, ведь в юности у себя во дворе он носил прозвище «Алекс-панчер» за свой мет-

кий удар левой. Саше пришлось постараться, чтобы остудить его внезапный пыл. Алекс включил «Алекса-панчера», и Максусу осталось только пуститься в бега, что он и сделал, на ходу показывая средний палец и выкрикивая чудовищную брань. Саша рассказала Алексу о Максе и его долге.

– Жаль что мы в Америке, – сказал Алекс, – так бы я его оприходовал до неузнаваемости. Садиться не хочется из-за такого подонка.

Вроде ничего криминального и не случилось, но оба пребывали в унылом настроении.

– Что случилось? – спросила с порога Виолетта Борисовна, хорошо разбирающаяся в настроениях.

– Встретили Макса, – коротко ответила Саша, снимая кроссовки, – щит, хэппенс.

– Какой еще «щит хэппенс»?! – возмутилась старушка, не ожидая ответа, и вопросительно посмотрела на Алекса.

Саша представила ей приятеля. Прошли все коридорные формальности. Затем помыли руки в ванной, и все трое уселись за стол.

– Так что там этот Макс? – вспомнила Виолетта Борисовна.

– Бэд гай, этот Макс, – сказала Саша, – Алекс его чуть не убил.

– Вы простите, молодой человек, – обратилась старушка к Алексу, – мне вот это «Алекс», ну жутко не нравится. Можно я вас по старинке, как привыкла, буду звать просто «Леша»? А вы там между собой уж как хотите.

– Как пожелаете, – улыбнулся Алекс.

– Вот и славно, – обрадовалась Виолетта Борисовна, – а Макс этот сам себе и навредит. Нет у таких людей будущего...

– Поверьте, есть, – перебил ее Алекс, – и здесь, в Америке, они достигают небывалых высот. Я одного такого знал. Где он сейчас, не знаю. Но человек по лезвию ножа всю жизнь ходил, и ему – как с гуся вода.

– Бог им судья, Лешенька, – решила закончить неприятный разговор Виолетта Борисовна, ставя перед гостем тарелку щедро наполненную котлетами и картошкой, – вы лучше ешьте оба.

Алекс откупорил вино и разлил его по бокалам. Виолетта Борисовна первая произнесла тост.

– Вы – молодые, – медленно начала она, держа наполненный бокал на вытянутой руке, – и у вас всё впереди. Главное, будьте людьми. Оставайтесь людьми в этом огромном, страшном и жестоком мире. Любите друг друга, защищайте друг друга и никогда не предавайте. Что бы ни произошло... оставайтесь людьми.

Все трое чокнулись бокалами и застучали вилками о тарелки. Кухня наполнилась разговорами об эмигрантской жизни. Сравнивали

страны, искали плюсы и минусы. Говорили об учебе, об образовании, которое так необходимо в Америке.

– Я вот Саше говорю, что надо постоянно учиться, – сказала Виолетта Борисовна с набитым ртом, – а она, дурочка, не хочет!

– Не дурочка, – воскликнула Саша, – я ходить учиться. Мы познакомимся с ним, – она кивнула на Алекса, – на курсах английского.

– Надо же! А я всё стеснялась спросить, где ты нашла такого красавца, – улыбнулась старушка, глядя в его красивые и довольные глаза; по всей вероятности, Алекс давно привык к комплиментам и несколько не смущался.

– Давайте лучше выпьем, – предложил он и, ловко выхватив бутылку с середины стола, начал разливать вино по бокалам, причем начал с бокала Виолетты Борисовны. Та только хлопала глазками и мурчала от такого к себе внимания.

– Вот Саша, какой кавалер, – восторгалась старушка, слегка наступив под столом своей ступней на Сашину ногу.

В промежутках между тостами много говорили о будущем России, о политике. К полуночи допили вино. Виолетта Борисовна заметно опьянела, и из ее уст посыпались какие-то совершенно немислимые предложения:

– Оставайся-ка у нас ночевать, Лешенька. Ляжешь у Сашки. Куда ты на ночь глядя?

У Алекса хватило ума ответить вежливым отказом. Он умело перевел разговор на другую тему, рассказал несмешной анекдот и поспешил удалиться.

– Завтра – дела, – улыбнулся он своей фирменной улыбкой, обнял Сашу, еще раз поблагодарил Виолетту Борисовну за вкусный ужин и исчез за дверью.

– Вот это удача, Сашка, дай я тебя расцелую, – кинулась лобызаться Виолетта Борисовна, как только дверь за Алексом закрылась, – вот так повезло! Пойдем еще по бокалу перед сном и go to sleep...

Виолетта Борисовна наполнила бокалы до самых краев, закупирила бутылку и убрала в холодильник.

– Вот теперь Сашенька, послушай меня внимательно, – шепотом начала старушка, как будто кто-то из посторонних сидел в соседней комнате и подслушивал их разговор. – Такого парня терять нельзя. Шанс – один на миллион. Потеряешь – второго такого не найдешь, и сама утонешь в этой махине под названием «Америка». Я умру – куда ты, Сашка, пойдешь... пропадешь. Хватай его и беги замуж. Деток делаете – всё, как я тебе говорила. Слушай меня. Я хоть и стара, но советы мои никому никогда зла не делали! И никаких «но», Саша. Нельзя тебе одной здесь жить, сожрут тебя, моя дорогая. Он тебя защитит,

видно что парень-то хороший. Эх, прям как мой зять... – лицо Виолетты Борисовны как-будто сразу сжалось в кулачок, сморщилось...

– Хорошо, я вас поняла, – немного подумав, ответила Саша.

– Молодец. Давай, зови его сюда, – оживилась старушка, – пусть переезжает к тебе, – предложила она вдруг таким тоном, что возразить было невозможно. Но Саша возразила:

– Мы будет жить сами. Снимем здесь, рядом с вами...

– Нет, нет и еще раз нет, – строго сказала Виолетта Борисовна, – вы будете жить здесь. И мне спокойно, и вы всегда будете сыты, с крышей над головой. Хоть буду знать, что с вами всё в порядке.

Саша долго не решалась осуществить предложение Виолетты Борисовны. Потянулись трудовые будни, Саша не виделась с Алексом, да и звать его в гости не торопилась. Общались по телефону. Он ей лишних вопросов не задавал, хоть и пытался понять, почему больше не зовут. Виолетта Борисовна каждый день спрашивала, когда он придет, а Саша всё списывала на работу и нехватку свободного времени.

– Для таких дел времени не жалеют, – ворчала Виолетта Борисовна.

Сашу еще терзали сомнения. Не могла она представить себе совместной жизни с Алексом, как мечтала раньше о других мужчинах. Как правило, она давала полную свободу своему разбушевавшемуся воображению. А сейчас – пустота в душе; обычная пустота в душе обычной девушки из американского мегаполиса, работающей по шесть дней в неделю с утра до ночи. Саша больше занимала мысль, как бы скопить приличную сумму, закупить тряпья и съездить в Майами. Почему именно в Майами, Саша не могла объяснить. Просто услышала где-то название этого города – и оно прочно засело в голове.

Встретились они с Алексом только через неделю на площади Гранд-Арми у восточного входа в Центральный парк. До этой части Манхэттена Саша прежде не доезжала. Было достаточно прохладно для прогулки, и Алекс, через час гуляния по Центральному парку, привел ее в маленькое уютное кафе на 57-й улице, недалеко от пересечения с Бродвеем. Там они пили кофе и ели пирожные, которые Саша особенно любила. Он как-то совершенно точно угадывал ее вкусы; впрочем, Саша на это не обращала внимания. Сейчас ее больше беспокоил внезапно начавшийся после прогулки насморк.

– Мне нельзя болеть, – переживала Саша, вцепившись двумя руками в горячую кружку с кофе.

– Не болеешь, – успокаивал ее Алекс, – в противном случае, я выйду на работу за тебя и буду стричь сам твоих клиенток.

– Ты уметь стричь? – на полном серьезе спросила Саша, не понимая шутки.

– Да нет же, – усмехнулся Алекс, – это я пошутил. Всё будет в порядке. Кстати, как там Виолетта Борисовна?

– Хорошо, – коротко ответила Саша.

– Я вот думал вытащить ее куда-нибудь. Сидит, никуда не выходит. Что скажешь?

– Не знаю, – пожала плечами Саша. Она действительно не знала, как к этому отнестись.

– Согрелась? – спросил Алекс, когда Саша осушила до дна кружку с горячим кофе. – Давай я возьму еще.

Он встал и направился к барной стойке. Саша смотрела на его крепкую спину в изящном черном свитере, на такие же крепкие, пусть и кривоватые, ноги в джинсах дудочкой, – и не понимала, что делает рядом с этим молодым человеком, почему продолжает с ним встречаться, тратить свое драгоценное свободное время. Почему не приглашает его в гости, почему не ложится с ним в постель...

– Держи, – Алекс поставил перед ней кружку, из которой валил приятный согревающий пар.

– Thanks, – вежливо ответила Саша.

– Слушай, – придвинулся Алекс, – ты стала лучше говорить на английском. Тебе надо больше практики.

– Я работать с одними русские, – сказала Саша с ужасным узбекским акцентом. Непонятно почему, но ей хотелось нагругить Алексу, послать его куда подальше за его чрезмерное внимание и доброту, за его услужливость, за его красивую улыбку. Когда Саша злилась, узбекский акцент становился особенно заметен.

Как-то на том беседа и закончилась. Точнее, перетекла в скучные разговоры о грин-картах, зарплатах и прочих эмигрантских вопросах, которые волнуют каждого, кто решил бросить якорь в этой стране. Алексу такие разговоры порядком надоели за годы, но он добросовестно рассказывал Саше всё, что знает. Они дошли пешком до Columbus Circle и сели в Ди-трейн. Здесь разговор прервался? и каждый задумался о своем. Саша думала о грядущей праздничной распродаже, Алекс... Алекс думал о Саше. Он смотрел на ее отражение в вагонном окне и думал о том, что Саша боится раскрыться, боится настоящих чувств. Он думал, что между ними что-то может получиться: он так же одинок, как Саша, так же ищет простой ласки и тепла, одичавший за два года своей сумбурной жизни в Америке. Он был готов любить и заботиться. Да-да, любить и заботиться об этой глуповатой девушке с ярко накрашенным лицом. Собственно, он уже всё давно решил, и в этом его решении было правды больше, чем во всей его предыдущей жизни.

Ди-трейн мчался сквозь Манхэттен по грязным обветшалым тон-

нелям, забирая и выплевывая на станциях пассажиров. Когда поезд привычно выскочил на Манхэттенский мост, его тормоза громко зашипели и всё его длинное металлическое тело замерло над серыми водами Ист-Ривер. Саша подняла голову и в который раз посмотрела в окно на этот город, на ее новую родину с такими низкими серыми облаками, из которых сплошной стеной шел мягкий и пушистый снег – первый настоящий снег за все зимние месяцы. Внезапно завибрировал в кармане телефон. Она достала и увидела, что пришло сообщение от матери.

– У них там сейчас ночь, прочту потом, – подумала Саша и убрала телефон в карман.

Ди-трейн продолжал стоять на мосту. В вагоне была мертвая тишина, только гудело электричество. Чтобы занять себя, Саша еще раз достала телефон из кармана, открыла сообщение и прочла следующее: «Отец умер сегодня. Больше у тебя нет отца. Мать». Саша положила телефон обратно в карман, закрыла лицо руками и тихо заплакала.

– Что случилось? – спросил Алекс.

Папа умер, – ответила Саша, преодолевая комок в горле, что сдавил дыхание. И зарыдала так громко, что пассажиры в вагоне обернулись в их сторону.

– Ну, тише, тише, – обнял ее Алекс, – не плачь. Не надо плакать.

Саша плакала всё громче, черные капли слез вперемешку с черной тушью текли по ее почерневшему лицу.

Алекс прижал ее к себе. Она плакала ему на свитер, и теплые черные слезы впитывались в него.

Ди-трейн вдруг тронулся. Саша продолжала тихо всхлипывать, вжавшись лицом в его свитер. Она ощущала, как крепко сжимает ее руку Алекс. Она не понимала, почему раньше не замечала этих красивых рук, его спокойного, равномерного дыхания... – и она вдруг поняла, как права Виолетта Борисовна. Это дыхание никогда не предаст ее, не выкинет на обочину жестокой жизни. Саше вдруг захотелось обнять Алекса, прижать к себе этого одинокого, сильного мужчину. И Саша прижалась к нему еще сильнее, закрыла глаза. Она подумала об отце, которого никогда больше не увидит.

Ди-трейн спокойно катился по чугунным эстакадам Бруклина, честно выполняя свою круглосуточную работу, как и последние полвека. Входили и выходили из вагонов люди, торопясь укрыться в своих теплых домах от непогоды. А Ди-трейн катился и катился в привычном спокойном ритме. И ничто не могло помешать ему катиться по блестящим и мокрым от снега рельсам.

*Нью-Йорк – Таллинн
2018–2019*

Лена Берсон

* * *

Зря мы елку убрали с ее треногой,
Забаюкали хвойное острие.
За беспомощность платишь не то, что много,
А пожизненно носишь в ломбард старье.

Ты выходишь на кухню, как раньше мама,
И покорно качаешься у стола.
За беспомощность платишь не то, что мало –
Вообще до копейки, до дна, дотла.

И кивая на луковицу в стакане,
Как на купол с зеленой стрелой над ним,
Понимаешь внезапно, что нас не станет,
Но останутся те, кто еще любим.

И стыдись, что становишься только старше,
Расторопная, будто временщики,
Разминаешь комки ледяного фарша,
Как в потемках невидимые снежки.

Что зима без остатка преодолима,
Мы не знали заранее, не реви.
Так мучительна хрупкость еще любимых,
Как постылая оторопь нелюбви.

* * *

Рыба ищет, где глубже, где вода холодней,
Где ни сетью, ни донкой не управиться с ней,
Где она, опускаясь, не дыша, в глубину,
Мельхиоровой ложкой приникает ко дну.

Птица ищет, где выше, где покой так широк,
Где обманчивый воздух, как слоистый пирог,
Где двуострые крылья в тонкой корочке льда
Исчезают с радаров навсегда, навсегда.

Если едем в трамвае по железной воде,
Мы как будто бы вместе и как будто нигде.
Шумно тают сугробы у сараев складских.
Много званых, мы тоже среди тех, среди них.

Теплым пивом на вынос оттопырен карман,
У вокзала, на горке, кем-то сорван стоп-кран.
Пес бежит вдоль дороги, беспардонно ничей.
Бог не ищет, где глуше, не стыдясь мелочей.

Бог не ищет, где лучше, ничего не стыдясь.
Мало избранных, что ли, не выходят на связь?
Ловит алчущим ухом – а в ответ тишина.
Бог не требует речи, но надеется на.

Как для каждого камня сам разводит раствор,
Как состав его тайный между пальцев растер,
Как двуострые крылья погружает в него,
Как не требует слово ничего, ничего.

* * *

Два маленьких – муж, жена, с улыбкой горелки газовой,
Заходят в жилой барак, пылающий на боку.
Проеденный солнцем снег...
– Да не были тут ни разу мы!
...Течет по главному дну, как масло по молоку.

На кофточке под пальто у ней голубые катышки,
Она ударяет в дверь обтаявшим кулачком.
– Хотите большой портрет из паспортной фотокарточки?
И скорбно берет заказ, пока он стоит молчком.

Он ради родной земли пожертвовал слабой печенью –
Она расклевала что смогла донести до рта,
А что не сумела – тем снежок у крыльца отсвечивал,
И он узнавал свои, освоенные места.

Жена подставляла грудь – ложись, отдыхай, а где уж там.
Он болью распахнут так, как жарким стыдом закрыт.
Нам нужно не так уж мно... Голик да совок да денежка,
Чтоб выкроить что-нибудь и сына отправить в Крым.

Хотите большой портрет – скупой, черно-бедный, сахарный?
В лазури, в глазури и мерцании хрустала?
Мы встанем как задний план, как фоновый шум распаханной,
Воздушную вашу твердь собою утяжеля.

Где согнутая спина бежит, как чеснок по корочке,
Поземка гнилой барак охватывает с торцов,
Он тянется к ней, к ее насквозь пропотевшей кофточке,
Пока многоликий Бог подсвечивает крыльцо.

* * *

Время госмузыки, бани в отделе колбас,
Мы нахлебались портвейна под взрослые здравицы.
Мама сажает в цветочный горшок ананас:
Где-то достала, сварила кусочек – не нравится.
«Темная ночь разделяет, любимая, нас»,
Как мы стараемся с ней уговорами справиться.

Как мы стараемся выискать слово в подстрочнике,
Жгущее пальцы острее монеты заточенной.

В праздник проснешься, и будто бы нет ничего,
Только под окнами дождь собирают лопатами.
Как и откуда приходит ничье Рождество
В твердые пяльцы двора, переулком распятого?
Вроде тепла, обмахнувшего на кольцевой,
Вроде билета на поезд (не знаю – куда-то там),

Вроде снежка, уцелевшего в продранной варежке,
Вроде внезапного снега: «А валит-то, валит-то!».

Очередь в кассу, сметану дают на разлив,
Шарфы исландские – на бигуди ли, на шею ли,
Время приходит – пора протирать хрустали,
Скалывать первую изморозь иглами швейными.
Если мы выросли, что же мы не доросли
Не до спасенья друг друга, так для утешения?

Возле подъезда фонарь замигал и погас –
Видно, сигнал подавал не допереводимый.
Темная речь обступает, любимая, нас,
В ней ничего, кроме светлого дальнего дыма.

* * *

Снег пошел за окнами барака,
 В комнате отчаянная тьма.
 Если ты завел себе собаку,
 Значит, Бог не дал сойти с ума.

Снег на надоедливой рябине,
 Всё погасло по сравнению с ней.
 Перекрестье вытопанных линий
 В сумерках контрастней и синей.

Озеро Маджоре или Комо –
 Не синей, чем площадь у ларька.
 Ни чужой, ни кто-нибудь знакомый
 Не придет дразнить наверняка.

Завтра будет оттепель и слякоть,
 Из-под снега выступит гнилье.
 Вот, к примеру, ты зовешь собаку –
 И не помнишь имени ее.

* * *

Посмотри на меня, мой друг, Гекльберри Финн,
 То-то мы провели их всех, повернув на юг.
 Наши тени лежат в реке, проглотив жасмин.
 Посмотри, как бывало, Гек, это я, твой Чук.

Вдалеке от родных лачуг, помертвелых крыш,
 Их намного острее жаль, но слабее, – нет?
 Пробирается под амбар вереница крыс
 Будто «Слава КПСС», преломляя свет.

Говорить ни о чем – зачем? Раскрути винцо,
 Прижимая к губам ноль-семь как трубу – горнист.
 Даже рыба идет на нас, на таких живцов,
 Даже время идет, и глаз у него мучнист.

А когда, докурив бамбук, я сойду под снег,
 Затяни на мешке узлы, а потом ослабь.
 Отвернись от меня к воде, догоревший Гек,
 Где сминает тебе лицо ледяная рябь.

Ramat Gan, Израиль

Мария Игнатьева

Три жизни

1. ШУРА

Погруженная в вымя
доярка внепланово
поражает своими
надоями главного
человека народного –
замполита в тужурке,
он дыханья неровного
в отношении Шурки.

Но она, дура-баба,
любит Ваську-прораба.

За малиновым логом
одуванчиков тыщи.
Потрясенная Богом,
Шура выхода ищет
из чужого фильма
на родной природе:
два плюс два не выходит,
выходит фига.

В конце века на праздник
надевает подрясник.

Мать Аглая зевает
в монастырском коровнике.
Молоко заливает
ладненький, ровненький
нидерландский моторчик
доильного робота.
Ничего между строчек.
Рокот без ропота.

На том же месте
пребудет до смерти.

Шелест бумаги,
прошумевшей по столу:
подлетает ангел,
хватя за апостольник:
под ним молодая
Шура, и космы те.
Кажется, умираю,
прости меня, Господи!

До свиданья, Шурка.
Чего ж так жутко?

Всхлип души на погосте:
жизнь не впрок устроена –
от отцовской грозди
до детской оскомины,
сериал на студии
бывшего Горького.
И уже не «кто кого?»,
а «кому что будет?»

Входит смерть, по Камю,
отворяя тюрьму:
ни кина, ни механика.
Я одна, да уж не маленькая.

2. ВОРОНЦОВСКИЙ ПАРК

Вон «Горячая выпечка»,
к ней впритык – «Общепит».
Шепелявка на цыпочках
темный сникер облизывает,
дед деньгами шуршит
над бумажником плисовым.

Жизнь густая, заросшая
догорает в огарке.
Такое хорошее
светит солнышко в парке,
как при аэростате
Франца Ксавье Леппиха:
рыба-шар-нелепица,

сверкая на старте,
в синем небе копала
капут Бонапарте,
да в плен попала.

Ирина Васильевна,
с давней одышкой,
сумочкою под мышкой,
различает усиленно
в приступах радости
признаки старости.

Фантазия недетская
расцветает бурно:
тело молодецкое,
будущая урна,
а пока круп да рыло,
на цепях Сатурна
скачет, как рыба
в аквариуме космоса,
в форме конуса –
бух! – с обрыва.
В деле таком,
нет чувств – просто ком.
Дай чебурашке
рай в пятиэтажке...

По пути из поликлиники
купила финики.
Диагноз до лампочки,
сизжу на лавочке,
разглядывая с нуля
облака, тополя,
палатки, бабушек.
Домой пора б уже.

Будни кузнецкие,
трудодни фанатика:
жар-птица советская
из железного фантика,
со звездой отделка,
тоже – фьюить – улетела как.

Уплыть и возникнуть
в облаке пыли.
Куда приплыли?
Кого окликнуть?
Уже не вынырну,
я нынче выпрыгну –
с пятого панельного
этажа корабельного,
К матери-кадровичке,
бабушке-меньшевичке,
прапрадеду с тросточкой.

А финики-то с косточкой.

Я не от косности,
я не упёртая –
нет Бога в космосе,
Бог это социум,
в нем дышат мертвые
навстречу Солнцу,
и жизнь несется.

3. ГАСТАРБАЙТЕР НА ПАСЕКЕ

На бургундской пасеке
льют мед в бочонок
Войтек с Вась Васем
в белых комбинезонах,
все руки в пчелах.

Потрепанный водкой,
на чужбине одичалый
лопочет Войтек:
заходите, девчата.
вечером на чай, а?

В испарине небо сине.
В поте лица Василий,
браслет на запястье
незалежной масти:
слава Украине.

Живу ничего так –
просто и плоско,
соскабливая с решеток
заклепки воска,
кагаю свечи
вот такие – архиереям,
для нас – помельче.
– Руками? – Машинкой.

Ворочаю время
между раем и адом
для детей и жинки,
живут в Гуляй-поле.
Мне же в неволе
ничего не надо,
я человек с ошибкой.

У меня диагноз,
типа судимости:
мне люди в тягость,
уходите все.
– Делать вам нечего?
– Войтек, до вечера.
И Вась Васю:
– Прости, не ругайся.

В конце недели
у поляка похмелье,
а Василий Верхий
в галстукe двухцветном
молится в церкви
с видом победным,
ведущим к цели.

Не пьющий, не лгущий,
без жены живущий
собственным дубликатом.
Аббат хозяин
совестью терзаем,
похотью притязает,
но деликатно.
Вцепились, как аликаты,

МАРИЯ ИГНАТЬЕВА

две липецкие девки,
французские студентки:
волосы ноликом.
носы пятеркой.

Уходит в каморку
патриот к алкоголику.
Хромает ночь впереди,
храпят по очереди.

А утро высыпет
с соловьиным присвистом
сирень и черешню.
Вдыхая бережно
бутоны свежести,
замрет от нежности:
почти как дома,
где Рома и Тома,
Тома да Рома.

Как всё, что вижу здесь,
напрасно пыжится,
стремясь к нормальности
сильней реальности,
а та – так странно
жужжит, как пасака,
хоть не до смеху, а
ржу непрестанно:
– Как ты приехала?
– Паромом, Васенька,
а к полвторому
перевезу Рому.

– Что п'ачешь, брат?
Василь, ау! –
Ой, Богородица!
Месье аббат,
Василий трону'ся.
Василь э фу.

Сижу в шкафу.
Всё то, что с пятницы –
и лица девок,

и шутки пьяницы,
гуденье пчельника –
удручало внимание,
всё в понедельник
приобрело значение.
Кончились тени –
прошло отчаяние.
Сто тысяч чистыми
Адам заработал
кровью и потом
на хлеб единый:
осознание истины –
и вновь стал сыном
в родном Эдеме,
со всеми теми,
с кем жил так долго
из чувства долга.

Тише, тише,
куда, Войтишек?

Как детку масеньку,
увозят Васеньку –
Ангелы, отстаньте,
пустите меня к Таньке! –
на «скорой помощи».
И нет мне помощи.

Барселона

Николай Ник. Браун

Всем матерям российским

Главы из поэмы

СЫНОВНЕЕ ПОСЛАНИЕ

Поэма «Всем матерям российским» была создана в Сибири – в Белом Яре Верхнекетского района Томской области, в режимной ссылке, куда Николай Николаевич Браун был этапирован в 1976 году из политлагеря на Урале, после семилетнего срока.*

В поэму включены также стихи, написанные ранее: во внутренней тюрьме КГБ на Шпалерной (в тогдашнем Ленинграде, улица Воинова) и в спецполитлагерях: Барашицево (в тогдашней Мордовской АССР) и Кучино (в Чусовском районе Пермской области).

Обращенная автором к своей матери, поэма является одновременно посланием ко всем тем матерям, которые были разлучены с сыновьями, вставшими на путь сопротивления или борьбы с безбожным чужеродным режимом, – только что арестованными или уже отбывающими срок.

Короткая, как воззвание, по духовной глубине она охватывает трагедию всероссийского масштаба.

Рукописный экземпляр поэмы был отправлен из Белого Яра, минуя негласный почтовый контроль, с надежной оказией – для «питерских единоверцев» – и был ими сохранен. Являясь документом времени, поэма, предельно сжатая по форме, как будто предназначена автором для устного запоминания.

Поэма состоит из 36 стихов-глав, написанных в разные годы заключения и в режимной ссылке. Мы предлагаем ряд глав из нее.

*Георгий Ермаков***

1

Запретное сыновнее послание,
Что наизусть затвержено в предание,
Как бы колючей проволоки моток,
Распутываю тайно – видит Бог!

3.03.78

2

Не от себя лишь одного –
От тех, кого давно уж нет,
И тех, чье скорбное родство
Молчит в тисках тюремных лет...
3.03.78

3

Стихи, что в лагере, в тюрьме
Твердил я часто наизусть,
Как в тайнике, хранил в уме,
Чтобы не стерла скорбь и грусть;
Чтобы при обысках тоски
Она их не смогла изъять
И заглянуть в черновики,
Где лишь в разлуке – сын и мать;
Стихи с этапов, что, молясь,
Я от забвенья уберег,
Призвав к ним вдохновений власть, –
Ведь был их вес в пути жесток!
Стихи – что все с одним клеймом,
Как бы с нашивкою бушлат, –
Лишь с верой, что, вернувшись в дом,
Сын все их вслух прочтет подряд...
23.10.77

4

Всем матерям российским,
Ждущим своих сыновей,
Словно теней стигийских –
Из тюрем и лагерей;
Тем, что их не дождались
И не дождутся вовек
Из подневольной дали,
Где годы кружились как снег;
Тем, что ждать только будут
Не взятых еще никем
Детей, что на воле покуда –
Бессонного сердца причуда –
Тень эха изустных поэм!
5.11.77

6

Сыну – допрос, а матери – сон,
 Как будто вышел он на балкон,
 Мальчиком – лет пятнадцать назад,
 А за ним пришли, увести хотят,
 От перил отрывают руки, а он
 Кричит, словно с собственных похорон...
 И кто там погиб и кто тут спасен?
 И сон как допрос, но допрос – не сон.

28.10.77

11

Душно за двойною рамой
 В камере моей,
 Потому что нет от мамы
 Из дому вестей,
 Потому что слов стихия
 Стала мне тюрьмой...
 Ах, как душно жить в России,
 Боже, Боже мой!

*12.10.69, Санкт-Петербург.
 Тюрьма на Шпалерной*

12

Как самый благостный сигнал
 Для утреннего часа, –
 Проснулся я и услышал
 Колокола от Спасо-
 Преображения, и вот
 Увидел мглу сырую,
 И к центру площади народ,
 Идущий врассыпную.
 А в храме – выдачу просфор
 И праздничное пенье,
 И прихожан нестройный хор,
 Молящий о спасенье
 Всех гибнущих от нищеты
 И страждущих от горя...

И вижу вдруг, какходишь ты
 И, постояв в притворе,

Припоминаешь, как хочу
Я быть с тобой, на воле,
И ставишь за меня свечу
Угоднику Николе!

*1.10.69, Санкт-Петербург,
Тюрьма на Шпалерной*

14

Не падайте, матери, в ноги мучителям!
Не стойте ни в очереди к прокурорам,
Ни писем не шлите... ко их заместителям!
Надежду не тешьте бесчестящим вздором!
Что будет – то будет! Лишь сделайте главное:
Найдите в себе материнские силы
Молчать и не славить расправы бесславные,
Когда сына тронула тень от могилы!

30.10.77

15

Не ходите на Красную площадь!
Не вызывайте к рубиновым звездам!
Если сын ваш расстрелян – всё проще,
Если жив – то для муки был создан...
Пусть в Кремле правды нет – и не надо!
Пусть холоп воцарился на хаме –
Будьте чистыми, тепла лампаду,
Сердце слезно омойте во храме!

30.10.77

16

Не ищите спасенья у Спасской башни,
Прошений не суйте зазря часовому,
Живите торжественней и бесстрашней,
Лишась вашей прежней семьи и дома!
И всё-таки новому сыну – без злобы –
Правду откройте, хотя бы вкратце,
С кем ему жить придется бок о бок,
И за какое счастье сражаться!

30.10.77

17

Когда-то лампада у враг тюрьмы,
 Теперь – передача в канун зимы.
 Здесь горько с неволею рядом стоять,
 С одной лишь виной, что российская мать!
30.10.77

19

Дома не были откровенны...
 Как теперь сказать, что не так?
 Между нами замки и стены,
 Разгляди сквозь них, кто здесь враг!
 Ведь и в каждом почти семействе
 Так привыкли друг другу лгать,
 Что лишь в правде, не в фарисействе,
 Обвинить может сына мать!
 Ну, а если, не обвиняя,
 Что-то знать захочет о нем –
 Звезднобратия приказная
 Заградит этот путь огнем...
9.11.77

20

Не сорок мучеников – более того!
 Не тысячи младенцев избитых,
 А миллионы, запертые в стены
 Из лжи и ненависти – братьев пленных,
 В безвестьи гибнущих обыкновенном,
 Как будто не случилось ничего, –
 Десятки миллионов, ныне тленных,
 Нашедших с почвой кровное родство...
3.03.78

22

Говорю для тех, кто способен
 Вопреки всему – воспринять
 В сверхъязыческой мира утробе,
 Что такое без сына мать,
 Мать-вдова, от сына безвинно
 Отделенная – не навек? –
 Полосой огнестрельной, трясиной
 И забором, где дождь или снег.

Мать, виновная, что родила,
Прикоснувшись к судьбе-тюрьме,
Ту частицу недетской силы,
Что сломила тюрьму в уме.

12.11.77

23

Листовки, винтовки, бомбы...
О, сколько слегло сыновей,
Воюя с совдеповской пломбой,
Не сорванной с лагерей.
Но тот лишь духом сильнее,
Кто знает – понятно и мне! –
Что всех здесь виновней Идея,
С наручниками извне.

11.11.77

24

Мелькнут года, пройдут десятилетия,
На всё есть свой – земной и Божий суд.
Но всё ж из лагерного лихолетья
Скуёт эпоха цепь скупых минут...
По звеньшкам, как чётки, пальцев между
Переберут и вкованные в ней
Мерцанья звезд в решетках, как надежды
Молящихся российских матерей!

3.11.77

25

О Мачеха-Родина!
С диким упрямством
Ты сына, как пасынка, вновь проклянешь:
С Великим безумством,
Единым тиранством,
Где в Зле Неделимом повсюду есть ложь!

5.11.77

26

На суде, со скамьи подсудимых,
Скажут дети мне ваши при вас
То, что вы, в согласьи лишь мнимом,
Так боялись открыть напоказ;

Так боялись побоев и пыток,
 Пораженья в псевдоправах –
 Звездно-молотно-серпный избыток
 Вам внушал суеверье и страх!
 А теперь, словно вмиг воскрешенный
 Или вынутый вдруг из петли, –
 Зазвучит детски-кровно-исконный
 Голос молча казнённой земли...
19.11.77

27

На скамье несвободы, в зале суда,
 День рожденья однажды отметил свой.
 Помню, мать мне приветно кивнула тогда.
 Мой ответ – в пару слов – не прервал конвой.
 И, кивнув, показала жестом она,
 Как когда-то держала меня на руках...
 А теперь лишь тюремная держит стена
 Крепко так – на неласковых замках!
 Кто тюрьмой, кто любовью, кто смертью пленён,
 Но не всякому мачехою-судьбой
 Дан был день, где, как сын, он от Духа рожден...
 Будь от века день благословенен такой!
24.11.77 В день рождения

28

В день именин Заступницы Марии
 Увенчан я желанием одним:
 Да сохранят тебя мольбы мои ночные,
 Как я твоей любовью был храним!
9.08.73, Кучино.
Политлагерь на Урале

29

Есть на Руси издревле почитанье
 Священных богородичных икон.
 В них образ материнского страданья
 С младенцем – чаще всех запечатлен.
 Есть среди них икона «Умиленье»
 И «Утоли моя печали» есть,
 «Всех Радосте скорбящих» – их значенье
 И вспоминать некстати всеу здесь.

Но образ, где в страданье безымянном
Целительная скрыта благодать, –
Пребудет самым ревностно-желанным
Везде, где есть страданье, сын и мать!

3.11.77

30

Свиданье с матерью – всего на час.
В тюрьме, перед этапом, под конвоем.
Сиянье ласковых, усталых глаз,
Прикосновенье любящей рукою

Через барьер казенного стола,
И собственный порыв – навек прижаться
К единственной, что в муках родила
Меня, в эпоху лжи и святотатства,

И детское сознание вины
Перед морщинкой каждой меж бровями –
Над яблоками, что принесены
И стали здесь запретными плодами.

И боль за всех таких же матерей,
Что на беду себе, среди страданий,
Растили нас для тюрем, лагерей,
Для множества смертельных испытаний.

И тяга на прощание в дверях
Перекрестить до встречи облик милый,
Как, может быть, она меня в слезах
У колыбели по ночам крестила...

23.06.70, Барашево, Политлагерь в Мордовии

31

За решеткой вагона в окне – полустанок,
Автоматы конвойных и пасти собак,
Пар морозный – и вольный перрон спозаранок,
Жесты тех, кто хотел бы нам бросить табак.
И с младенцем грудным на руках между ними –
Темноокая мать, что нам машет вослед...
Я, конечно, не стал бы речами пустыми
Тормозить эти призраки лагерных лет,

Если б только не вспомнилось, как на Урале,
 Вместе с матерью – детскому ль впору уму? –
 Мы вагонам таким же рукою махали,
 И смотрел я им вслед, как себе самому.

28.05.70, Барашиevo, Политлагерь в Мордовии

33

Если вдруг ты на подвиг идешь –
 и смертельна расплата,
 Если вдруг неудача, тюрьма,
 смрадных пыток часы, палачи –
 Передай свою жизнь, как записку,
 еще не погибшему брату,
 Вспомни мать, помолись,
 в остальном – до конца домолчи!

2.03.78

36

Молитесь, матери, молитесь!

За всех, погибших в тюрьмах,
 Умерших на этапах,
 Замученных в лагерях,
 Насмерть залеченных
 За стремление к познанию
 Ликов Истины.

Молитесь, матери, молитесь!

За всех, умерших в ссылке,
 Без вести пропавших,
 Застреленных при побеге,
 Не вынесших испытаний –
 Пропавших душою самоубийц,
 За всех, за кем охотится неволя,
 Как сыновья в разлуке молятся о вас –

Молитесь, матери, молитесь!

1.11.78

Санкт-Петербург

*** Ермаков Георгий Иванович (1931–2015) – публицист, мемуарист. Родился в Брянской области, из крестьян. Семья была разорена коллективизацией. Во время войны после 1943 года. Ермаковы были вывезены на работу в Германию, в лагерь под Аугсбургом. По окончании войны вернулись в СССР. Георгий учился в ремесленном училище, служил; в 1960-м закончил Высшее инженерное морское училище. По специальности – корабельный радиоинженер. 20 апреля 1974 г. был арестован КГБ в Ленинграде. Осужден по статье 70 УК РСФСР «Антисоветская агитация и пропаганда». Узник уральских политлагерей дважды: с 1974 по 1978 и с 1981 по 1986. В 35-м политлагере тайно сконструировал радиоприемник, по которому можно было слушать свежие новости по «Голосу Америки» и радио «Свобода». Режимную ссылку после срока отбывал в Кара-Калпакии. В 1986-м был освобожден в связи с пересмотром дела. После освобождения проявлял политическую активность, выступая за декоммунизацию страны, за люстрацию, в конце 1980-х вступил в НТС, с 1992-го – активный соратник Российского Имперского Союза-Ордена. В 1990–2000-е годы принимал участие во многих массовых общественных мероприятиях, митингах, маршах протестов, подписывал правозащитные документы. В июле 1992 года участвовал в Сахаровской конференции узников политлагерей в Чусовом Пермской области, в открытии памятной доски на бывшем бараке 35-го политлагеря на Урале: «Отсюда уходили на волю последние политзаключенные коммунистического режима». Публиковал статьи и мемуары. Предисловие к поэме Николая Ник. Брауна «Всем матерям российским» было написано им в 2007 году. До конца жизни проживал в Санкт-Петербурге, похоронен на Северном кладбище.*

Санкт-Петербург

Виталий Амурский

БЕРЛИНСКИЙ ДИПТИХ

1

О, сколько лет, как станций, – прочь и мимо,
Однако словно до сих пор со мной
Ночной кошмар Восточного Берлина
Вблизи со смертью дышащей Стеной.

Безлюдье гэдээровской платформы,
Где всё, должно быть, взято на прицел;
В изогнутой фуражке, в серой форме
Проходит по вагону офицер.

Холодный взгляд по паспортам и лицам,
Сличающий дотошно точность их;
Нет, очевидно, – не тевтонский рыцарь,
Но может быть из рода таковых.

Ровесник мой он был или чуть старше, –
Не знаю, ощутить однако смог:
Мы оба из эпохи ратных маршей
И культа блеска маршальских сапог.

Всё было скверно здесь, но так знакомо,
Как будто меня чудом занесло
В трехмерное пространство ленты Ромма
Про то, как заурядность прячет зло.

Довольно долго поезд был на месте.
Потом пошел, и, словно от обуз
Освобождая душу, воздух пресный
Стал вдруг приобретать особый вкус.

В оконной раме краски дня густели,
Пройдя сквозь неземные витражи,
И незаметно исчезали тени
Сомнений в том, что всё же стоит жить.

Как оптимист я был отнюдь не пылок
Ни прежде, ни тем более теперь,
Когда привычный мир дышал в затылок,
А в новом еще не было потерь.

2

Памяти Фридриха Горенштейна

Я сомневался, думая, едва ль
Смогу услышать и узреть воочию,
Как прозвучит тут Ленину: «Goodbye!»
И фото Хонеккера разлетятся в клочья.

В Берлине нет того, что именуют «шарм»,
С другими городами мало схож он,
Но от Стены оставшийся тут шрам,
Точнее, шрамы – чем-то наши тоже.

УРОК ПАМЯТИ*

Ржавчина каски дырявой
Да потемневший крест...
Танки Гудериана
Помнятся ли тебе, Брест?

Я не о сорок первом,
С ним никаких морок –
Там всё просто и верно.
Я про иной урок.

Тот, где без Гёте и Лермонтова,
Под барабанный бой,
Наши флаги и Вермахта
Реяли над тобой.

Серп и молот в соседстве
С гитлеровским пауком...
Лучше б сегодня сердцу
Думалось о другом.

Только не получается,
Даже когда тишина, –
Будто душа-печальница
Прошлым оглушена.

* * *

Родина – не фильмы про победы,
Не в стихах воспетая земля...
Родина – вопросы, где ответы
Каждый сам находит для себя.

Малая она или большая,
Властвует в ней правда или ложь, –
Только за собой мосты сжигая,
Глубже ты ее осознаешь.

Иногда ж, с годами за плечами,
Возвращаясь в мыслях к ней извне,
Лучше видишь суть ее печалей
И чужих, что по ее вине.

* * *

Всё, что было, трогать не хочу я,
Прошлое – безмерная дыра.
Отчего же душу мне врачуют
Голоса со старого двора?

Из времен, где мир шпаны отпетой
И солдат вчерашних без погон,
Что с Москвой поры послепобедной
Примирали спирт и самогон.

Да, не всех тогда она встречала
Музыкой оркестров духовых,
Лишь казалось: Бунчиков – Нечаев
Пели вместе именно для них.

Но, увы, как в сумерках весенних,
Уловить мне было не дано
В их глазах какого-то веселья
Или героизма, как в кино.

Коммуналки, темные бараки,
Будни без зарубок и примет –
Пьяная любовь и спьяну драки,
И тоска, которой края нет.

Серые года! Но нет причины,
Чтоб не поминать и их добром –
Ведь тогда меня читать учили
И писать на языке родном.

* Осенью 1939 года в Германии отмечалось 190-летие со дня рождения Гёте, а в СССР – 125-летие Лермонтова. В Бресте (тогда Брест-Литовске) в том же году, 22 сентября, состоялся символизирующий «братство по оружию» советско-германский военный парад.

ИЗ ПУШКИНСКОЙ ТЕТРАДИ

Михайловское. 11 января 1825 года

Время – лекарь знакомый,
Даже попросту – друг,
Но на сердце оковы –
Закоснелый недуг.

Ни Одессы, ни юга
С жаркой пылью степной –
Нынче псковская вьюга
Где-то здесь, за стеной.

Вот и Пущин уехал,
След снежком замело,
Только, будто бы, эхо –
Колокольчик его.

Нет, почудилось. Смолк он.
Где же, кстати, свеча?
Меж собакой и волком
Приближается час.

Рюмки няне Арине
Убирать надо, но
Остается в графине
Недопитым вино.

Пламя в старом камине
Еще жметя к дровам.
Жизнь идет, но отныне
Не увидеться вам.

* * *

Уже полвека с лишним с той поры
 Прошло, но не забылись мне аллеи
 Тригорского, где те же комары,
 Что и при нем назойливо звенели.

И в домике в Михайловском, пускай
 Музейной тишиной он был наполнен,
 Дождь за окном, точь-в-точь такой, как встарь,
 О нем, тогда изгнаннике, напомнил.

* * *

Изящный портрет в медальоне –
 Плеч мраморных дивный овал...
 Ах, милый мой Пушкин, давно ли
 Он сон у тебя отнимал.

Но им ли ты был очарован,
 И, может быть, линии лгут:
 Пленяла тебя Гончарова,
 Ланская – указано тут.

А если здесь та же Наталья,
 Чьи кудри легки и нежны, –
 Выходит, в сомненьях летал я,
 На то не имея нужды.

Шучу, только всё-таки, к слову, –
 Я будто охвачен тоской,
 Смотри на твою Гончарову,
 Но видя лишь облик Ланской.

* * *

С лицейских лет терпеть не мог мундир
 С воротником, обхватывавшим шею,
 Предпочитал простой сюртук. Без дыр
 Для орденов – я их в виду имею.
 Любил и был любим, но в жены мог бы взять
 Красавицу достойнее, иначе
 Не нужно б было тихо повторять
 О снеге и о Комендантской даче.

Париж

Владимир Торчилин

Рассказы

ЗИМНИЕ БОТИНКИ

Как часто вечерами, мы и в тот вечер сидели у Сашки перед телевизором и потягивали пиво, глядя – или, точнее, почти не глядя – на экран, где на льду сражались настоящие мужчины. Так, дань традиции. И чтобы особенно не разговаривать. Да и то, за столько лет дружбы нам уже не обязательно было и разговаривать, чтобы чувствовать друг друга. Сашка, по-моему, даже глаза прикрыл. На пиве сосредоточился. Жена его, как всегда, возилась на кухне – даже такого частого гостя, да, в общем-то даже и не гостя, а почти что члена семьи, она считала своим святым долгом накормить чем-то вкусненьким, на что она большая выдумщица и мастерица. Так что запахи до нас доносились волшебные. Лепота...

Тут на пороге возник Сашкин отпрыск – юное двадцатилетнее чудо по имени Игорь.

– Отец, дядя Коля (это я), – зашел попрощаться.

– Ну, и куда это ты намылился в таком изысканном виде, сынок? – поинтересовался Сашка.

Надо сказать, что ребенок и впрямь выглядел исключительно солидно – в темной тройке при галстукe и в сияющих коричневых туфлях.

– Да сегодня руководство дает прием в честь приобретения какой-то европейской фирмы и просили выглядеть формально. Пропустить нельзя.

Игорь только недавно был принят на работу солидной финансовой компанией и пока еще относился к своим рабочим и внерабочим обязанностям со всей серьезностью неопита.

– Хорошо! – с видимой гордостью констатировал отец. – А туфли так просто шик!

– Ну уж шик, – не согласился Игорь, – самый обычный «Кларкс», и даже не слишком дорогой. А не какой-нибудь там «Лобб» или «Берлутти». Экономно живу. Но выглядят вполне прилично. Ладно, откланиваюсь.

Игорь вышел. Сашка несколько мгновений смотрел ему вслед.

Потом лицо его как-то погрузтело и затуманилось, и он, не глядя, как слепой, протянул руку назад к столу с пивом, пытаясь нащупать очередную бутылку.

– «Графиня изменившимся лицом бежит пруду», – прокомментировал я. – Чего это с тобой вдруг сделалось?

Сашка немного помолчал, а потом грустно сказал:

– Нет, ты можешь себе представить – «Кларкс», «Лобб», «Берлускони» – то есть «Берлути» этот! Я слов этих и сейчас-то не знаю, а уж в его годы – только «Скорород» да «Парижская Коммуна»... А им всё как будто так и надо.

– Ну а что ты хочешь? Времена меняются, и люди меняются вместе с ними. Не то что наше послевоенное поколение. И зарабатывает к тому же, а не у родителей клянчит. Так что дай ему Бог.

– Оно, конечно, – и Сашка запечалился еще больше.

– Да что на тебя эти туфли так подействовали, в конце концов! Пусть хоть и «Кларкс», которого ты не знаешь.

Сашка еще помолчал.

– ...Ты знаешь, вот сейчас вдруг вспомнил. И не думал даже, что где-то в голове это хранилось. А на туфли поглядел – оно тут как тут. Будто вчера или даже сегодня утром было. Я ведь рассказывал тебе – отец после войны недолго прожил. Точь-в-точь, как я читал у кого-то, уже не помню, – «Мы не от старости умрем, от старых ран умрем». Вот и умер. Так что мать нас с братом младшим одна тянула. Как сейчас понимаю, пупок рвала, только чтобы у нас всё, как у людей, было – одеты, обуты, сыты. Мы ее дома почти и не видели – с одной работы на другую. Только записки оставляла – что к обеду разогреть, а что к ужину. Разве что когда нам надо было гардероб обновлять – а росли мы оба быстро, так что даже сносить одно не успевали, а уже надо другое покупать, – тогда она воскресную прогулку по магазинам устраивала. Вот и тогда – зима на носу, а оказалось, что мои прошлогодние зимние ботинки на ногу уже не налезают – выросла нога за лето. Хорошо, ботинки младшему пойдут, ну а мне-то всё равно надо. Так что пора в обувной. А тут такое дело, мы с ребятами из класса накануне вечером стояли у подъезда, трепались, как обычно, а мимо нас Антон Иванович шаркает из соседнего подъезда. Он с войны вернулся контуженным и слегка не в себе. Чуть что – на людей кидается. Мы его «Антон Иванович сердится» звали – фильм такой старый был. Ну вот, шаркает он, а на нем уже ботинки зимние – уродливые такие, какой-то войлок, к галоше кнопкой пристегнутый. Мы дождались, пока он подальше отошел, и стали хохотать – что за ужас он на себя напялил. Какой-то стариковский кошмар, хотя сам-то он еще совсем не старый был. Скорее, как отцы... у которых они еще были.

Ну, похихикали, похихикали, потом про что-то другое заговорили. Но эти ботинки у меня перед глазами так и стояли. «Прощай, молодость» их еще называли. Как можно такое дерьмо делать – мне тогда такой вопрос в голову и не приходил, а вот как такое дерьмо можно добровольно на себя натянуть – пришел. И когда мать меня в магазин повела, я только и думал, чтобы вот такие ботинки не подвернулись. Ну, как ты сам понимаешь, именно они целую полку и занимали. И цена у них, как сейчас помню, была девять рублей пара. Мама тут же за них и схватилась.

– Смотри, сынок, – говорит, – и зимние, и теплые, и цена хорошая. Давай примерять.

Ну, сел, как приговоренный, на лавочку, примерять. Примерил. Как раз, даже немного свободные – на вырост, значит.

– Вот и хорошо, – улыбается мама, – значит, берем, и вопрос решен.

А я сижу, и глаз от пола поднять не могу, и слова вымолвить. Разве она сама не видит, какое уродство. А еще как меня ребята в классе и у подъезда засмеют. А мне пятнадцатый год – как тогда насмешки чувствуются! Так и молчу и слезы глотаю.

– Ну чего голову повесил, – слышу мамин голос. – Не нравятся, что ли?

Неужели, думаю, и сама увидела, какой ужас и какие стариковские. Поднимаю глаза, чтобы подтвердить, что ни за что эти ботинки не надену, и вижу, как мама на меня с жалостью смотрит и улыбнуться пытается, только улыбка какая-то не своя получается.

– Ладно, посмотрим, сколько мы еще добавить можем, чтобы что-нибудь получше найти, – и в сумку лезет.

А чего там лезть-то? Еще вчера вечером, когда она меня попросила записную книжку ей из сумки принести, я видел, что в открытом кошельке только и лежало, что две пятерки, трешница и рубль – как раз, чтобы после ботинок хлеба, масла, молока и пельменей две пачки нам на воскресный семейный ужин купить. Какие там «лучше»...

И вдруг помимо своей воли говорю совсем не то, что хотел:

– Да что ты, мам, отличные ботинки, и мне в самый раз, и теплые. Берем, конечно.

Вижу – у мамы слезы на глазах, но снова улыбается. И теперь – по-настоящему. Прижала голову меня сидячего себе к животу и добрую минуту не отпускала. Наверное, чтобы я слез ее не видел. Так и купили.

– Ну и смеялись ребята? – спросил я, чтобы хоть что-нибудь сказать.

– Да нет, не особо. Может, день-другой подшучивали – даже не

запомнилось, а потом и это прошло. А я их еще года два, а то и три, носил – нога больше почти и не росла. Так что малой кровью себя человеком почувствовал. Точнее, я сам не очень понимал, как именно я себя чувствовал, но понимал, что правильно сделал. Вот так.

– И молодец, – говорю я, – только что было, то было. И отрезало. И парень у тебя хороший. Пусть даже и про «Лобб» знает.

– Хороший... Хороший...

Сашка опять помолчал.

– Маму жалко...

ТЕМНОТА

Конечно, когда приходится слышать, что раньше сахар был слаще, молодежь воспитаннее, зима холоднее, а лето жарче, то к таким утверждениям можно отнестись и вполне скептически. Кто может точно это установить? Да и далеко не все так считают, даже если иногда что-то подобное и говорят. Но вот что ни у кого не может вызвать сомнения, так это то, что темнота раньше была не в пример темнее. Вспомните хотя бы свое детство (я обращаюсь к тем, кому за пятьдесят). Как ребенком вы ложились в кровать, мама опускала плотные шторы или задвигала ставни, закрывала дверь в коридор или в столовую – у кого куда дверь спальни выходила, – и вы оказывались в темноте абсолютной. То есть в такой, что хоть закрой глаза, хоть держи их открытыми – разницы никакой. Разве что при закрытых глазах было куда страшнее – хоть и понималось ясно, что и с открытыми глазами ты никакого чудища, приближающегося к твоему лицу из этой темноты, не увидишь, но всё равно – открытые и вытаращенные в темноту глаза давали призрачную надежду, что вдруг все-таки увидишь и успеешь как-то спрятаться или вернуться. А вот с закрытыми глазами шансов на спасение не было никаких. И неважно, как долго приходилось лежать и тарачиться, всё равно никаких даже контуров в темноте не проявлялось – не привыкали глаза, да и как можно привыкнуть к полной темноте, а в придачу еще из-за отсутствия зрительных раздражений до невозможности обострялся слух, и из каждого угла и особенно из-под кровати начинали заползать в уши какие-то шорохи, скрипы и вздохи, так что казалось, что враг подбирается со всех сторон – и спасения нет! Только и оставалось, что заорать в ужасе: «Мама!», а когда обеспокоенная твоим криком мама открывала дверь, через которую мгновенно врвался спасительный свет, прокладываящий желтую дорожку от двери до твоей кровати, ты начинал жалобно просить оставить хоть маленькую щелку, хоть крошечную полоску света, в которую можно было вцепиться взгля-

дом и забыть и шорохи, и скрипы, и страшных обитателей темноты, а потом даже и закрыть глаза и спать, спать, спать... Но это, конечно, если мама могла посочувствовать и пожалеть или хотя бы вспомнить свои когдатощные страхи в темноте, а вот если мама была беспамятной или бесстрашной, да еще и из тебя желала воспитать сильного духом мужчину, то после поцелуя в лоб и прощальных слов: «Не бойся и не кричи – ты уже не маленький и ты мужчина!» – дверь наглухо закрывалась, спасительный лучик исчезал, и ты снова оказывался один против сплошной темноты и всего, что ее населяло... И спасался, как мог, зная теперь, что на маму и дверную шелку надежды больше нет, – натягивая одеяло на голову, или пряча голову под подушку, или даже садясь в постели – почему-то сидя казалось безопаснее, чем лежа, – наверно, в надежде, что так скорее встать и убежать (неважно куда и от кого – главное, из темноты и к свету!), чем из положения горизонтального, – до тех пор, пока не уставал окончательно и сон не настигал тебя в самый разгар твоих страхов. Вот это была темнота! Всем темнотам темнота – настоящая, без дураков.

Все не так теперь. Если ночью я вхожу в свою спальню, где ставни закрыты, а плотные шторы опущены, и закрываю за собой дверь в столовую, где уже темно, то оказываюсь вовсе не в полной темноте, как когда-то, а в окружении многих разноцветных огоньков, пусть слабеньких, пусть каждый сам по себе, но вместе дающих достаточно света, чтобы безошибочно найти путь до кровати, раздеться и сложить, не промахнувшись, снятую одежду на стоящий у кровати стул, и откинуть одеяло, взявшись точно за его угол, и не попасть головой мимо подушки. И когда уже лежишь, то эти огоньки всё еще с тобой и даже наводят на какие-то мысли... Вон тот, слабенький желтый, вдалеке – это подсвеченный выключатель, чтобы ты не шарил рукой по стене, если ночью тебе понадобится выйти из комнаты, а знал, что именно на этот огонек надо надавить, чтобы зажглась лампа под потолком. Тут сразу и вспоминаешь, что на самом деле в подпотолочном светильнике не одна лампа, а три, но вот как раз одна перегорела, и тому уже чуть не неделя, а ты за дневными хлопотами всё забываешь ее заменить, так что вот надо прямо завтра с утра, и на этот раз просто обязательно... А вот те – не поймешь, то ли три, то ли четыре бегающие светящиеся точки... – сколько раз пробовал посчитать, но они так быстро перемещаются, что глаз не успевает разобрать, сколько же все-таки, – это панель проигрывателя, на котором ты гоняешь диски, когда чувствуешь себя усталым или больным и хочется днем полежать хоть немного в кровати под хорошую музыку, закрыв глаза и ни о чем не думая. А тут, кстати как раз и думаешь, что вот уже давно не заказывал по почте никаких новых дисков, а рекламные бук-

леты, каждодневно переполняющие твой почтовый ящик, подробно рассказывают тебе о бесконечном количестве свежих записей... каждую вторую ты бы с удовольствием послушал... Вот завтра с утра и надо будет заполнить купон из буклета и бросить его в присланном в том же буклете конверте на почте... Ну просто обязательно надо...

А вон тот зеленый глазок – это стоящий на угловом столике компьютер. Экран, естественно, погас, как ему и положено, в целях сбережения энергии, а этот огонек говорит тебе, что хоть экран и погас, но машина не спит и на стреме, и стоит тебе только чуть двинуть мышкой, как сразу и экран загорится, и все бесконечные возможности выплывут на него в виде маленьких иконок, которые ты разбросал на экране по углам просто, чтобы выглядело не как у всех, – ровным столбиком слева или строчкой внизу. Тут только и вспоминаешь, что как раз сегодня забыл перед сном почту проверить. Но не подниматься же из-за этого... Так что завтра, прямо с утра... А вон та красная полоска – это она в самом низу телевизора горит. Гореть-то горит, но с огорчением думаешь, что вот купил дорогой телевизор, а не включаешь его уже бог весть сколько времени, так надоела тебе однообразная тупая жвачка по всем каналам. А может, не по всем? Должны же быть какие-то, где только документальные фильмы про природу показывают, – их же можно без конца смотреть, или музыкальные номера, или еще что-нибудь нейтральное. А ведь ты так и не проверил всё, что тебе по твоей телевизионной подписке положено. Судя по цене, в пакете этом каналов должно быть без счета, неужели ничего для себя не найдешь?.. Вот и надо будет завтра прямо с утра заняться... Делов-то...

Вот такая теперь темнота. Не просто с огоньками, а еще и с напоминаниями о том, чего ты не сделал и что просто обязательно должен сделать следующим утром. С этим и засыпаешь... И так к этой новой темноте с огоньками привыкаешь, что напрочь забываешь, какой она была когда-то. Тут как-то зимой сидел я дома, смотрел через окно на густо падающий мокрый снег, наглухо залепляющий окна, – без кружков и стрел или каких бы то ни было еще геометрических фигур, а просто сплошным слоем, – и гадал, смогу ли я завтра утром отъехать от дома и когда расчистят дороги, да и решил пораньше спать лечь. Вдруг еще с утра придется машину откапывать. Лег, перебрал глазами огоньки и заснул. Проснулся по естественным причинам ночью... и сердце оборвалось: меня окружала сплошная, настоящая, темная, как самый черный цвет, как ламповая копоть, темнота. И сразу же, прежде чем я даже попытался сообразить, что, собственно, происходит, меня накрыл тот самый настоящий детский ужас со всеми ползущими из темноты чудовищами и шорохом под кроватью.

Как будто я был маленьким мальчиком в своей когдатой спальне добрых пятьдесят лет назад, и мама только-только решительно закрыла дверь, велев мне быть мужчиной. Попробуй тут! И продолжалось это – да откуда я знаю, сколько это продолжалось! – во всяком случае, достаточно для того, чтобы я покрылся холодным потом так, что даже подушка и простыня намокли! Потом, правда, отпустило, и я добрался, шаря руками по стенам, сначала до двери, а потом и до туалета. Обратное было уже легче, но вот сразу по новой заснуть без знакомых огоньков не удалось, и я долго ворочался, уговаривая себя, что я и правда мужчина...

А утром зазвонил телефон, и записанный на пленку мужской голос принес мне извинения за то, что ночью снегопад оборвал электрические провода, и на восстановление нормального хода дел, то есть поставок тока потребителям, потребовалось несколько часов. Голос также понадеялся, что многие этого события даже и не заметили, поскольку произошло оно посреди ночи, когда все добропорядочные граждане, должно быть, мирно спали. Так что мне просто не повезло... Зато вспомнил, какой она была – настоящая беспросветная темнота прошлых лет.

Да, и сахара настоящего не стало, и лета жаркого, но вот настоящую темноту у себя дома точно можно только по случаю увидеть и прочувствовать. Да и то без гарантии. Не стало ее – настоящей-то темноты... Как когда-то была...

Бостон

Семен Крайтман

* * *

...и тогда один вагон говорит вагону другому:
«знаешь, Войцех, я так измучился в этот месяц
без продыха возим, возим.
знал бы не согласился.
помнишь Грасю?
вон ее подгоняют к перрону.
а ведь я почти что женился, почти сцепился.
думал, будем возить, думал, будем вместе.
эх, ее бы, Войцех, на восемь осей поставить...
возим, возим, нет ни конца ни края.
и когда они кончатся, скажи на милость?
а воняют, матерь Божья, как же они воняют.
доски мои уже начали подгнивать местами...»
другой вагон говорит:
«понимаешь, Милош,
у меня самого всё нутро исцарапано в древесину.
вот взгляни (дверь открывает) ногтей обломки,
но думаю всё закончится очень скоро.
надо просто делать дело, согласно уставу, чину.
да ты не расстраивайся, будут еще девчонки,
может и отпуск дадут,
всё ж Рождество Христово».

* * *

а я ведь тоже жил в Одессе пыльной...
и позже тоже жил в Ташкенте пыльном.
всю жизнь свою я жил в каком-то пыльном...
и эта пыль так плотно влипла в поры,
что изменила их, что заменила, и было
так прикольно, так умильно –
куда подует ветер, там и город,
в котором я такой пылеобильный
живу, а после скажут: «это жило
там за углом, и там, за тем углом,
пыля, касалось мягких женских листьев
и прилипало к пурпуру цветов,
не оставляя никаких следов».
а вот мой друг, умерший Божьей волей...

а вот та женщина, какая Божьей волей
заполнила собой мои слова,
невзрачные, как зимняя трава,
как мелкий дождь над бесконечным полем,
она и он... им ветер ни о чем.
слова и смерть – не суетливый чёлн
на волнах, не безвольный воск огарка
свечного. как же всё произошло?
когда мне сердце холодом свело
и обожгло глаза электросваркой?

* * *

я выглянул в окно. под песнь сирен
ныл мелкий дождь, дымился Карфаген,
срывались в море волны, и со стен
лилась смола кипящая. в народе
носились слухи о конце времён.
плыл над землею колокольный звон,
песок был укрошен и застеклен...
тогда я принят был в мальтийский орден,
и меч так по-французски целовал,
что кровь текла по всем моим словам,
как этот дождь по черным проводам,
как та смола по стенам Карфагена.
так я смотрел в открытое окно
на север, где мне было суждено
галер венецианских торжество,
где волн закатных розовая пена.
где дон Мигель, лишившийся руки,
другой рукой писал свои стихи
и всё происходило вопреки,
сопротивляясь жизни, как недугу,
и в тот же час среди других земель
звучала солнца яркого свирель,
и злой и пьяный раби Кориэль
сжимал штурвал и правил на Тортугу.
так я смотрел в окно. летел баклан.
бил барабан, текла по проводам...
вода текла, и сердце заходило.
и было всё горящим и живым,
моим. часы показывали дым.
на холмах дальних Иерусалим
стоял один и призывал мне милость.

* * *

начало дня.
тревожная зима.
слюна спешащих к побережью гончих
шипит на скалах.
низкие дома
на панцири похожи.
дождь игольчат.
он шьет песок,
как сказочный еврей
шьет лапсердак.
он создает из многих
песчинок время, призрачность смертей,
и столько в нем божественной тревоги,
и столько человеческого в ней.

* * *

вода напоминала Шардоне.
искрилась, пела и весло пьянело.
медуза розовела в глубине,
как ягода в спирту.
и утро млело,
как женщина
на тонкой простыне...
и воздух был избавлен от стыда,
от трусости, от лжи и говоренья.
внизу качались мертвые корни,
зеленые лохмотья, лабуда
морская и...
и шевелилось дно.
и камень в язвах крабов и моллюсков,
свидетель финикийцев и этрусков,
раскачивался с ними заодно
и вросших букв рисунок открывал.
и я, пытаюсь жизнь свою измерить
хотя бы в метрах,
я к нему нырял,
читая в нем: «написанному – верить».

* * *

...а потом за соседний столик пришла она.
и, поскольку «она» рифмовалась с «бокал вина»,
появлялся бокал.
и она пила...
ногу на ногу, плащ расстегнув и повесив зонтик
на спинку другого стула.
входил Висконти,
говорил: «мотор».
итальянская старина
за окном
избавлялась от пыли, от времени, начинала скользить,
вернее, выскальзывать из него,
рвать, как пишут об этом, нить...
я же смотрел, как женщина, жить стараясь,
любимому мужу с нелюбимым любовником изменяясь,
вспоминаясь, снимая платье в глаголе «быть»,
подносила к губам вино.
за окном лило.
и лиловый закат, как корабль на льды, вело
на античные стены.
и ползли по камням серебряные лучи,
и стояли боги, примеряя плащи, мечи
и фракийские шлемы.

* * *

Рим был свиреп. Из ржавого его
нечищеного рта торчало жало
жары, такой, что злое молоко
вскипало, пузырилось и бежало
по трещинам волчицных сосцов.
и голуби, тень не найдя, в итоге
пытались влезть под мраморные тоги
расставленных везде святых отцов.
Рим ранен был и старым зверем пах.
клей тёк ручьем от шеи к пояснице.
к апостольским стопам слетались птицы.
в еврейском гетто возле «черепях»
шумел народ. из пересохших горл
не речь плыла, но «ох» и «уфф» одни лишь.

...помог бы нам божественный глагол,
когда бы Данте говорил на идиш? –
подумал я... –
когда бы, возведя
звук слова в многозвучие органа,
писал бы здесь:
«земную жизнь пройдя,
я тоже пил из этого фонтана...»

Herzliya, Израиль

Сергей Яровой

ПЕРВОМАЙ 1989 ГОДА

Привет тебе, мой благородный друг Евгений!
(Когда увижу вновь родные лица?..)
В контексте дружественных отношений
Провинция приятней, чем столица.

В Санкт-Петербурге, как нигде, наверно
(А я на выводы поспешные не падок),
Заметно то, как медленно, но верно
Приходит вся Империя в упадок.

Патриции, блюстители закона,
Наживы жаждою влекомые издревле,
Рабов теперь привозят из Сайгона –
Они неприхотливы и дешевле.

Но и свободных граждан постоянных
Купить легко за звонкую монету,
Коль ты двенадцать тысяч «деревянных»
Отдашь за их прописку горсовету.

Конечно, есть и благородные примеры.
Какой-то Слава, оставаясь честных правил
(Не только в мифах филантропы-миллионеры!),
В дар магазин герою-городу оставил.

Над супермаркетом «Московский» и поныне
Сияет: «Слава – городу-герою!»
Жаль, что никто не знает и в помине,
Что магазин на деньги Славкины построен.

На всё, как говорится, воля Неба,
Но вспомни, как порой, в былые годы,
Народ лишь зрелищ требовал да хлеба –
Теперь он хочет мяса! И свободы!

А на прилавках – сам вчера мог видеть –
Лишь «Трудмирмай» написан, в одно слово!

Его ни съесть и ни надеть, ни выпить...
Народ устал от «кушанья» такого.

Но не грусти! Зато – нас охраняют,
Да так надежно, бережно и чутко,
Что status quo подобный изменяют
Лишь те, кто вовсе лишены рассудка.

Меня сегодня в этом убедили:
Один плебей пытался на работу
Пройти. Его, конечно, не пустили,
Чтоб пользовался митингов свободой.

И чем сильней «страны хозяин» матерился,
Взывая оцепенье к здравым смыслам,
Тем лишь кордон прочнее становился,
Крепя свободу митингов (и мыслей).

Ну, впрочем, темы основные исчерпали,
Пора уже, похоже, и проститься.
В конце письма обычно ставят: «Vale!»
Не станем же и мы менять традиций.

* * *

Ты прорастаешь тонким стебельком
В моей зиме, и окончанье года
Весною дышит, и опять природа
Нас трепетным балует мотыльком,

Чьи крылья сотканы из радуги любви,
Чьи усики – антенны вдохновенья,
Чьей жизни мимолетные мгновенья
Прекрасны, как ты их ни назови,

И служат красоте, любви и счастью.

САМБАТИОН*

Самбатион, река камней, струясь
Долиной к неизведанным пределам,
Нас разделяет, рвется с миром связь,
Еще не словом, но – безумным делом.

Оживший миф. Зловеще вьется пыль,
Ревет поток, ярится камнепадом.
О, эта грань времен! О, эта быль –
Жизнь на границе ада с райским садом!

Дерзнешь ли перейти камней поток,
Едва застынет он субботним часом?
Не убоишься ль, что коварен рок?

Прах сединой на головы садится...
И правит всем непостижимый разум,
А в небе не журавль, а синица.

* Самбатион, или Саббатион, – река, «бросающая песок и камни из огненной воды» (Талмуд). Чудесным образом Самбатион с наступлением субботы затихает. Однако евреи не могут перейти реку, так как это было бы нарушением шаббата.

* * *

Ты была чужою золушкой,
Стала ты моей принцессою,
Что ж склонила ты головушку?
Что ж ты смотришь так невесело?

Все обиды перемелются,
Все печали позабудутся,
Стоит только мне довериться,
Всё, что пожелаешь, – сбудется.

Океанами безбрежными
Омуты печально-синие...
Отчего грустите, нежные,
Несравненные, красивые?

Или нам напел соловушка
Про разлуку-расставание?
Или ворон на головушку
Призывал седины ранние?

Не печалься ты, красавица,
Мной и Господом хранимая,
Всё уладится-исправится,
Всё наладится, любимая.

МОЕЙ ЖЕНЕ

Лене

Луна отгородилась ореолом
От мира внешнего, от призрака, в котором
Есть ты и море, только ты и море.
И память бесконечного простора,
Непостижимого для внутреннего взора,
Неспешно проецирует картины:
Вошедши в Млечный путь наполовину,
Мы счастливы в пространстве звезд Вселенной,
Мы молоды, мы – боги, мы нетленны.
Мы лишь вдвоем на целом белом свете,
Любовь и Море, мы – нагие дети.
И каждое движение мгновенно
Созвездий всполохи рождает во Вселенной,
И в зеркале Луны, движеньям вторя,
В ярчайший жемчуг превращает слезы моря.

Филадельфия

ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ

Юрий Мандельштам

О русской литературе

Статьи 1930-х годов

ВЕСЕЛОВСКИЙ¹

Несколько месяцев тому назад исполнилось сто лет со дня рождения одного из крупнейших русских ученых, историков литературы, Александра Николаевича Веселовского. С некоторым опозданием сейчас вышел в России юбилейный сборник памяти «старшего Веселовского» (ибо и младший брат его, Алексей Николаевич, также занимался историей литературы), включающий биографию и обзор творчества ученого, написанные В. М. Жирмунским, и избранные статьи самого Веселовского². Статьи эти, впервые переизданные, дают очень полное представление о различных сторонах исследовательской работы Веселовского, за исключением, впрочем, той, которая составила ему известность и действительно представляет наибольшую ценность. В книге нет ни одного очерка, посвященного народному творчеству и сравнительному изучению фольклора разных стран.

Объяснение этому пробелу найти нетрудно – основную свою задачу Веселовский разрешал не в отдельных статьях, а в обширном труде. Всё же хоть некоторые главы его следовало бы перепечатать, не то искажается характер деятельности Веселовского. Над народными сказаниями работал он в течение многих лет и, помимо богатейшего материала, им накопленного, оставил потомству именно в этой области блестящее открытие – теорию «миграции сюжетов», воспринятую ныне всей европейской наукой.

Веселовский, конечно, не первый обратил внимание на общность основных сюжетов в эпосе, песенном и сказочном творчестве чуть ли не всех народов. В частности, у нас занимался этим вопросом учитель Веселовского, проф. Буслаев³. Большинство ученых объясняли эту общность исключительно существованием «пра-литературы», от которой ответвились все известные нам литературы. Другие историки ссылались на единство человеческого воображения под всеми широтами и долготами, на сходные бытовые условия и т. д. Веселовский внес в науку предположение о «странствовании» сюжетов и установил сложную и не опровергнутую до сих пор схему вза-

имных влияний эпопей, сказок и песен. Многие западные ученые, в частности, такие авторитеты как Гастон Парис⁴, Больё⁵, Лансон⁶, приняли и разработали эту теорию.

Вне теории «миграции сюжетов», самого бесспорного достижения Веселовского, последний много работал над литературой Средних веков, над итальянским Возрождением и над общими вопросами истории, даже словесности. Эти его работы представлены в книге очерками: «История и теория романа», «Тристан и Изольда», «Поэтика Розы», статьями о Данте, Петрарке, Боккачио, Рабле и др. Все они свидетельствуют об исключительной эрудиции и кропотливом труде, ценность их, однако, умалется пристрастием Веселовского к «бытовым толкованиям» литературных явлений и полным отсутствием художественного подхода.

Историк литературы, конечно, не критик. Он не толкует и не делает оценок, а следит за развитием сюжетов и форм. Однако вполне разграничить эти области невозможно, и критическим чутьем историку обладать отнюдь не мешает. Веселовский, к сожалению, — образец «чистого» историка, с художественной ценностью произведений не считающегося вовсе. Данте или Шекспир для него такие же «звенья» в литературной цепи, как и сравнительно незначачие писатели. Для Веселовского важны не поэтическая, психологическая или онтологическая сущность романа или стихотворения, а лишь новый вариант сюжета. С невозмутимой серьезностью ставит он, например, вопрос, насколько тема любви была подсказана греческим поэтам условиями быта? Все эти оговорки не уменьшают значения Веселовского в историко-литературной науке. Сделать их всё же для правильной оценки его творчества необходимо.

«ИСТОРИЯ РУССКОЙ БАЛЛАДЫ»⁷

По поводу выхода в свет французского издания «Жития Протопопа Аввакума» нам недавно пришлось высказать мнение, что на невнимание иностранцев к русской литературе теперь жаловаться не приходится. Даже специальные вопросы нашей словесности, даже трудные и самим нам плохо известные тексты наших авторов находят иностранных исследователей и толкователей, причем их знанию и проникновенности могли бы позавидовать многие русские историки литературы.

Книга немецкого историка литературы Фридриха Вильгельма Неймана о русской балладе⁸ — новое подтверждение тому. Если бы русский автор написал исследование о французской или немецкой поэзии, то он вряд ли нашел бы издателя; если же чудом ему удалось

бы книгу выпустить, она, скорее всего, сгнила бы на складе. Между тем Нейман написал труд не о нашей поэзии в целом, а лишь об одном стихотворном жанре; судя же по тому, что появилась «История русской баллады» в большом берлинском издательстве, интерес к подобным книгам у немецких читателей существует. В результате можно предположить, что у многих немцев (в других случаях – у французов или англичан) о целом ряде явлений нашей литературы создается впечатление более полное, а то и более обоснованное, чем у большинства русских читателей.

Исследование Неймана не блещет особой глубиной или оригинальностью взглядов; по общему тону и по пристрастию его автора к схемам и классификациям напоминает оно обширное школьное руководство. Высказывает Нейман порою суждения спорные, а оценки дает иногда и просто ошибочные, не слишком разбираясь в дарованиях и достижениях отдельных поэтов (чего стоит хотя бы подробный разбор стихов Никитина!). Но в общем написана книга всё-таки очень толково, основные линии развития русской баллады определены Нейманом вполне правильно. Больше же всего поражает совершенно исключительная эрудиция Неймана, столь доскональное знание русской поэзии, от ее истоков до нашего времени, что просто диву даешься. Он ссылается в тексте на произведения нескольких десятков русских авторов, имена многих из которых неизвестны даже очень просвещенным нашим соотечественникам. В приложении же он приводит список нескольких тысяч русских стихотворений, которые он с большим или меньшим основанием считает балладами. Русскому читателю, знакомому в подлиннике хотя бы с половиной этих стихов, можно было бы по полному праву выдать какую-нибудь специальную премию.

Вступительная глава книги посвящена «общим вопросам» – что такое баллада как самостоятельный жанр и на какие «подотделы» (баллада героическая, историческая, любовная, фантастическая и т. д.) этот вид поэзии распадается. Эта глава – бесспорно, слабое место исследования, ибо определить жанр в точности Нейману всё равно не удалось (он только постарался разграничить его от смежных жанров – былины, песни, поэмы и др.), а условные его классификации, в конце концов, просто никому не нужны. По счастью, в других главах, описывающих различные периоды развития русской баллады, эти схемы почти не фигурируют, и фактически материал куда богаче теоретических рассуждений.

Нейман отрицает существование баллады в точном смысле слова в народной словесности. Историю ее он поэтому начинает рассматривать с конца 18-го века. Указав на влияние устных источников

и французской литературы, он останавливается на стихах Тредиаковского, Сумарокова, Хераскова, В. Майкова, Державина, Карамзина, Дмитриева, Мерзлякова, Турчаниновой. Но вполне сформировалась баллада, по мнению Неймана, под влиянием немецких романтиков. Первым русским романтиком в балладе был будто бы Г. П. Каменев. Подробно разбирает Нейман стихи Жуковского, проводя параллели с Бюргером и Шиллером. Затем упоминает он Загорского, Козлова, Батюшкова. Голицына, кн. Вяземского, Милонова, Полякова, Пнина, Шаховского, Блудова, Катенина, Грибоедова. Наконец, подходит к Пушкину и его плеяде, которым отведен самый большой очерк в книге. Отдельная глава посвящена Лермонтову. Затем идет глава о «малых» поэтах 19-го века, перечислить имена которых здесь просто невозможно. Очерк о «национальной балладе» почти целиком посвящен Алексею Толстому, частично – Некрасову. Стоит отметить, что Нейман остановился на пародийной струе и много пишет о Козьме Пруткове. Говоря об упадке баллады в эпоху символизма, он всё же находит ее элементы у Бальмонта, Брюсова, Блока, Гумилева и Есенина. Так доводит он читателя до времени революции. Высказывает Нейман и уверенность, что русская поэзия – в частности, баллада – не погибла за смутные годы и возродится в будущей России.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЗРЕЛОСТЬ ТОЛСТОГО⁹

О Толстом написано огромное количество книг – конечно, больше, чем о любом другом русском писателе, если не считать Пушкина. Но, как это ни странно, о художественном мастерстве Толстого во всей этой литературе говорится очень мало. Внимание исследователей привлекала в большинстве случаев личность Толстого: его жизнь, его характер, его моральный и религиозный перелом, наконец, – его «уход» и смерть. В творчестве Толстого отмечалась, главным образом, его философская сторона, даже в чисто художественных произведениях раннего периода, написанных задолго до внутреннего «кризиса» писателя. Всё это не только понятно, но до известной степени и закономерно: Толстой, в некотором смысле, всегда был «моралистом», без его духовных устремлений и беллетристика его теряет большую долю своей значительности. Однако он всё же был прежде всего художником, его публицистические высказывания нельзя сравнить с его романами и повестями. Свою духовную сущность, свой эмоциональный и умственный опыт выражал он вернее всего благодаря художественному переживанию и при помощи художественных приемов. Между тем творческий процесс «великого писателя земли русской» историками литературы почти не освещен, как не разобра-

ны его методы, его архитектоника, его стиль. Каждый труд, чем-то восполняющий этот пробел, тем самым становится ценен.

Ценна во многих отношениях и вышедшая в России книга Л.Мышковской о работе и стиле Толстого¹⁰. Достоинно внимания уже одно то, что Мышковская вопрос о художественных методах затронула. Сделала она это с большой серьезностью, хотя явно не всегда с надлежащей полнотой. Но эта область до того мало изучена, что полный труд, пожалуй, пока и не может появиться. Заслуживает внимания и то, что он выбрал поздний период толстовского творчества, опровергая тем ходячее мнение, что Толстой как писатель под конец жизни ослабел. Между тем именно в то время Толстой достиг окончательной художественной зрелости. Такие повести, как «Хозяин и работник», «Хаджи-Мурат», «Холстомер», «Смерть Ивана Ильича», – просто лучшие произведения, вышедшие из-под его пера. Рассматривая работу Толстого этого периода, Мышковская, таким образом, пользуется опытом всей его писательской жизни, судит Толстого по его подлинным вершинам.

Основной недостаток книги – в ее раздробленности. Это не исследование всего творчества Толстого за последние десятилетия, а отдельные очерки, посвященные либо тому или иному произведению, либо частным вопросам, пускай и существенным. Сведения, приводимые Мышковской, любопытны, наблюдения метки, выводы интересны, но чувствуется отсутствие систематизации материала не только в целом, но и в каждом отдельном пункте. Кроме того, очень недурно разбираясь в вопросах построения, автор путается, сбивается в вопросах стиля, смешивая даже очень различные понятия «языка» (т. е. словесного элемента) и «стиля». С языком, впрочем, неблагополучно у самой Мышковской; она пишет: «Этому увлечению отдали дань такие имена, как Пушкин и Лермонтов», или «обработка исторического сюжета о Хаджи-Мурате».

Наиболее интересны главы, касающиеся не чистой «техники» писателя, а самого творческого процесса. Очень тщательно разобран с этой точки зрения «Хаджи-Мурат», которому уделен самый большой очерк в книге. Чрезвычайно показательна борьба Толстого с самим собою: художник сопротивлялся «моралисту» и, в общем, побеждает. Толстой то заносит в дневник, что ему «совестно тратить время на пустяки» (это «Хаджи-Мурат» – пустяки), то жалуется, что работа подвигается медленно и что художественный талант иссякает. Мышковская подробно останавливается на том, как пускал в Толстом корни замысел повести, как он собирал исторические данные и как преображал их в материал литературный. Часто он просто переделывал официальные донесения, показания очевидцев и мемуары.

Основной метод Толстого (впрочем, как почти всякого художника) – превращение рассказа в «показ», т. е. в художественную картину. Достигает он этого драматизацией действия, введением прямой речи вместо косвенной и детализацией описаний. Интересно наблюдение, что почти все герои Толстого охарактеризованы одной какой-либо чертой, причем физическая подробность всегда дает нечто для понимания душевного склада. К очерку приложен черновой вариант «Хаджи-Мурата», так называемый «Шамаринский список», – даже в первой версии эта повесть производит впечатление совершенно потрясающее.

Подобно «Хаджи-Мурату» разобран и «Холстомер». Довольно подробно освещены и народные рассказы Толстого. К сожалению, последний, общий очерк «Стиль позднего Толстого» – куда слабее, по уже упомянутым причинам. Но и в нем подмечен очень существенный для Толстого метод художественного «снижения» или «огрубления». В методе этом таится страшная опасность, которую и указал Толстому Константин Леонтьев¹¹. Однако именно в поздних своих произведениях Толстой и «огрубление» довел до той меры, до того совершенства, при которых об опасностях говорить не приходится.

ПУШКИН И БЕНЖАМЕН КОНСТАН¹²

Хотя мы знаем, что Евгений
Издавна чтение разлюбил,
Однако ж несколько творений
Он из опалы исключил:
Мельмот, Ренэ, «Адольф» Констан¹³,
еще два-три романа,
В которых отразился век...

Из черновиков VII гл. «Евгения Онегина»

В одном из «Пушкинских Временников», выпущенных в Советской России к трагическому юбилею поэта, напечатана статья, привлекающая к себе внимание вдвойне: по теме и по имени автора¹⁴. Имя это само по себе дорого любителям нашей поэзии – статья написана Анной Ахматовой. Автор «Четок» и «Белой стаи» после революции как будто замолкла: во всяком случае, стихи Ахматовой в печати появляться перестали. Прервала Ахматова свое молчание пушкинистскими исследованиями: уже до статьи об «Адольфе» Бенжамена Констана в творчестве Пушкина¹⁵ она опубликовала труд о генезисе «Золотого Петушка».

Можно было опасаться, что замечательный поэт станет плохим историком литературы. Но опасения рассеиваются при чтении

статьи: трудно себе представить более тщательный, даже кропотливый подход к теме, именно в историко-литературном смысле. Кажется, Ахматова не пропустила ни одного упоминания о Констане в стихах или прозе Пушкина, ни одного пассажа, аналогичного, так или иначе, пассажи из «Адольфа». Иное дело – истолкование. От поэта, если он не ограничивается чисто фактическим, вполне подтвержденным исследованием, ждали более человеческого, менее рутинного школьного определения испытанных другим поэтом влияний. Со своими героями Пушкин связан сложнейшими и тончайшими нитями, такие же сложнейшие взаимоотношения существуют у него и с героями Бенжамена Констана, повлиявшего не только на тот или иной литературный образ, но и на личность самого Пушкина, так же как весь роман французского писателя повлиял не только на стиль и технику, но и на переживания Пушкина.

Пушкин, воспитанный на французской литературе XVIII века, всегда внимательно следил и за современными ему французскими писателями. В его статьях и заметках находим мы много очень верных и метких, и, чаще всего, скептических оценок их произведений. «Большая» линия французского романтизма была ему не по душе: Гюго он считал вполне справедливо «второстепенным поэтом», не очень жаловал Ламартина, Мюссе ценил за его вольные «комедии», а не за стихи. Не снисходительнее относился он к романам, которые легко рифмовал с «обманом», к которым весьма легко приложил эпитет «пакостные». Подобно Евгению, в литературе, как и во многом, разделившему пушкинские вкусы (во всяком случае, в известный период), он «чтение разлюбил» и «только несколько творений он из опалы исключил». Кроме творения «Гяура и Жуана», т. е. Байрона, он упоминает в онегинской библиотеке еще два-три романа, в которых отразился век, и современный человек изображен довольно верно. Что это за романы и чем они его привлекали? В черновиках «Онегина» вместо имени Байрона мы находим три названия: «Мельмот» Метьюрин¹⁶ (который в другом месте назван Пушкиным «гениальным»), «Рене» Шатобриана, не раз упоминаемый в Пушкинских стихах, и «Адольф» Бенжамена Констана. Таким образом, тянуло Пушкина к той линии романтизма, которую – условно, конечно, – можно назвать «психологической», т. е. не только провозглашавшей пресловутую «болезнь века» (вернее, «вечную болезнь», по Баратынскому – «недуг бытия»), но и пытавшейся углубиться в нее, объяснить ее причины и не оставить ум «кипящим в действии пустом». Этим привлек без сомнения его и сам Байрон, с которым названные писатели имеют много общего. «Преодолевал» же он не столько Байрона, сколько наивное, псевдопоэтическое направление,

для которого Ламартин и Мюссе куда характернее. Некоторая наивность и ложный пафос, по-видимому, шокировали Пушкина, даже у Шатобриана и Констан – не случайно на пушкинском экземпляре «Адольфа» после пагетической фразы «Я бросился на землю, которая должна бы открыться и поглотить меня навсегда» стоит приписка карандашом: «вранье». Но таких фраз у умного и порою язвительно-го Констан много.

Пушкин узнал и полюбил Констан рано – как публициста и политического писателя. Можно поэтому думать, что и «Адольфа» он прочел в подлиннике задолго до появления его русского перевода, т. е. познакомился с этим замечательным романом раньше многих соотечественников его автора. Действительно, во Франции «Адольфу» сначала не повезло; написанный в 1807 году, он только через восемь лет нашел издателя – и то в Лондоне. В Париже он вышел в 1816 году и не сразу был оценен. Только два тонких критика отметили его: Стендаль, назвавший его «необыкновенным романом», и Сент-Бёв, подчеркнувший его человеческую «истину». Таким образом, по отношению к Констану Пушкин оказался в числе нескольких самых передовых европейских критиков. Когда князь Вяземский принялся только за перевод, Пушкин составил заметку, в которой писал: «Бенж. Констан первый вывел на сцену сей характер, впоследствии обнаруженный гением лорда Байрона... Любопытно видеть, каким образом опытное и живое перо кн. Вяземского победило трудность метафизического языка, всегда стройного, светского, часто вдохновенного».

Эти строки очень знаменательны. Что значит «метафизичность языка» и, следственно, воззрение Констан? Ахматова приравнивает это понятие к «психологизму», в «Адольфе» видит «раздвоенность человеческой психики, соотношение сознательного и подсознательного, роль подавляемых чувств». Конечно, в то время, когда психологический роман лишь зарождался, и это было бы большой заслугой Констан. Но сознаемся, что предшественника Фрейда – или, в другой линии, Пруста – мы в Констане не видим. Пушкин же к чистому анализу души как будто тоже не притягивался. Даже не придавая слову «метафизика» того смысла, которое оно имеет теперь, не дозволено думать, что Пушкин обозначил им не психологический анализ, а более духовную сферу переживания.

Любопытно еще одно: по пушкинскому признанию, Констан коснулся этой сферы раньше Байрона, таким образом, «байронизм» Пушкина родился – или был им основан – именно при чтении «Адольфа». Тип Онегина впервые возник, значит, в душе Пушкина именно благодаря Адольфу, и если в жизни сам Пушкин отчасти воплощал

этот тип, то «пародируя» (хотя здесь дело не в одной лишь пародии) Чайльд-Гарольда, но, прежде всего, и Адольфа.

В творчестве Пушкина тип Адольфа ясно обозначен три раза. Самая очевидная параллель может быть проведена, конечно, между Адольфом и Онегиным: они объединены не только сходством общественного положения и жизненных ситуаций, но даже одним возрастом: «Вам 26 лет, – говорит Адольфу барон Т., – вы достигаете половину жизни вашей, ничего не начав, ничего не свершив», а Пушкин в VIII главе пишет: «Дожив без цели, без трудов до двадцати шести годов»... А вот признания обоих героев более глубокого порядка: «Я кинул долгий и грустный взгляд на время, протекшее без возврата, я припомнил надежды молодости. Мое бездействие давило меня», – говорит Адольф. Онегин ему вторит: «Но грустно думать, что напрасно была нам молодость дана». Таким же «сыном века» представлен у Пушкина и другой герой – Алексей – в незаконченной прозаической повести «На углу маленькой площади»: «он сатирический, рассеянный», – характеризует его Пушкин, а Адольф говорит о себе: «Рассеянный, невнимательный, скучающий... Я распустил о себе славу человека легкомысленного и злобного». Реакция обоих перед лицом любви тоже одинакова: «Я сравнивал жизнь свою независимую и спокойную, – говорит Адольф, – с жизнью тревог, торопливости и волнений, на которую обрекала меня страсть», а Алексей обрисован в следующих словах: «Он не любил скуки, боялся всяких обязанностей и выше всего ценил свою себялюбивую независимость». Самый неожиданный отголосок Адольфа у Пушкина – третье воплощение того же типа, Дон-Жуан в «Каменном госте». Историческая или легендарная фигура знаменитого соблазнителя была обработана Пушкиным именно в направлении Констановском: холодный «ловелас» под влиянием любви превращается в искреннего любовника.

Повлиял Бенжамен Констан, впрочем, не на один лишь тип пушкинских героев, само построение трех названных произведений Пушкина (тот «плин», которому он всегда придавал такое большое значение) во многом сходится с построением «Адольфа», вплоть до повторения тех же сцен.

Основная ситуация VIII главы «Онегина» буквально напоминает решительную встречу Адольфа и Элеоноры. Адольфа приглашает на вечер муж героини, Евгения – муж Татьяны; поведение обоих героев во время свидания совпадает почти в точности. Адольф боится «оскорбить» Элеонору признанием, Онегин предвидит, что Татьяну оскорбит «печальной тайны объяснень»; Адольф предчувствует презренье – и Онегин пишет о «гордом презрении». Наконец, Адольф говорит: «Я должен вас видеть, чтобы жить», и Онегин: «Но чтоб

продлилась жизнь моя, я утром должен быть уверен, что с вами днем увижусь я».

Алексей в незаконченной повести еще ближе к Адольфу. Оба влюблены в женщину, которая старше их на 12 лет. Элеонора и Зинаида описаны в схожих выражениях. Обе рвут с мужем и извещают любовников записками; оба любовника притворно благодарят, а сами начинают чувствовать себя связанными тяжелыми и нежеланными узами. Оба они питают те же светские претензии и так же держат себя на людях. Очень похожи на некоторые ситуации из «Адольфа» и некоторые сцены между Дон-Жуаном и Донной Анной в «Каменном госте».

Слишком большое количество реминисценций делает возможность случайных совпадений маловероятной. Но, повторяем, здесь дело не только техники и литературных типов. Адольф потому так задел Пушкина, что в нем самом жил Адольф. Ахматова сама указывает, что «этот Адольф – Пушкин», и ссылается на некоторые автобиографические отрывки (в частности, «Участь моя решена. Я женюсь»). Это куда больше открывает нам, чем «провинциальные вопросы, связанные с проблемой реализма», которыми Ахматова почему-то сочла нужным снабдить и даже закончить свою статью.

А. П. ЧЕХОВ¹⁷ СБОРНИК ПАМЯТИ ПИСАТЕЛЯ

Советские историки литературы не пропускают ни одной юбилейной даты, чтобы не заняться по этому случаю «пересмотром» творчества «юбиляра» – с кассовой точки зрения, конечно. Такие пересмотры почти всегда доставляют нам настоящие сюрпризы: один и тот же писатель, в зависимости от стажа, может оказаться и «любимейшим классиком», чуть ли не предвестником революции, и классовым врагом, «выразителем настроений отжившего мира». По счастью, пересмотрами дело не ограничивается, и в юбилейные сборники попадают контрабандой статьи серьезные, историко-литературные и библиографические. Таким образом, эти сборники всё же приносят несомненную пользу, ибо благодаря им исследователи могут продолжать свою работу.

Наступила очередь Чехова, в связи с 75-летием со дня его рождения. Юбилейный сборник его памяти носит причудливое название: «Чехов и наш край»¹⁸. Объясняется это название тем, что эта книга издана в Ростове-на-Дону, Азово-Черноморским издательством. (Чехов, как известно, родился в Азовском крае, в Таганроге). В собранном материале ничего специфически «краевого», однако, нет.

В сборник вошли статьи трех видов: о классовой сущности Чехова, о его творчестве и о различных эпизодах из его жизни.

На статьях первого типа не стоит долго останавливаться. Приведу только для примера одну характерную цитату из статьи А. М. Липина: «Чехов нес в себе глубочайшие противоречия буржуазно-либерального мировоззрения, сильно ограниченный в своем размахе мысли и мастерства шорами ‘объективизма’, постепенности, ‘аполитизма’. И, тем не менее, Чехов встал в ряды классиков, любимейших пролетариатом и ему нужных». Как грамотно и как проникновенно: после этого определения Чехова читать, пожалуй, уже не стоит. Статьи историко-литературные написаны не столь кудряво, но по существу мало интересны. Кроме всего прочего, они заняты почти исключительно «Степью», рассказом очень хорошим, но ведь всё-таки не исчерпывающим чеховского творчества. Интереснее всего статьи биографические, хотя и они написаны плохо; вернее, даже никак не написаны. Фактический материал не переработан, никто не попытался хоть кое-как свести концы с концами. Но самый этот материал богат и довольно значителен для жизни Чехова, и это уже заставляет нас отнестись к этой части сборника внимательно.

Очень интересны сведения о предках Чехова, сообщаемые по рассказам его брата, Михаила Павловича. Оказывается, по обеим линиям Чехов происходил от крепостных, выкупившихся на волю еще до крестьянской реформы. С отцовской стороны крепостным был еще его дед, Егор Михайлович; с материнской – прадед, Герасим Морозов. Сын его, Яков Герасимович, вел большую торговлю сукном в Моршанске, Тамбовской губернии. По делам он часто уезжал; во время одной из таких поездок он и умер в Новочеркасске от холеры. Его жена отправилась отыскивать его могилу и захватила с собой двух дочерей. Могилу она так и не нашла, но на север уже не вернулась, а поселилась с детьми в Таганроге. Там ее старшая дочь, Александра Ивановна, и познакомилась впоследствии с Павлом Егоровичем Чеховым. Последний тоже был выходцем с севера и только в 1847 году основался в Ростове, где пробовал заняться торговлей в компании с неизвестным писателем Кукольниковом. Торговля не пошла, и таганрогский купец Алфераки уговорил Павла Егоровича перебраться в Таганрог. К тому времени он и сам уже был зачислен в купцы третьей гильдии, «как за означенным мещанином Чеховым препятствий никаких не состоит, недоимок по податям и повинностям на нем нет». В сборнике приведен документ, увольняющий Чехова из мещан в купечество. Когда Павел Егорович обосновался окончательно в Таганроге, у него уже был двухлетний сын Александр, тоже ставший потом писателем, хотя и значительно менее

одаренным, чем его младший брат. Подписывался он псевдонимом: А. Седой.

В Таганроге, в 1860 году, и родился «Антоша». Детские годы его воскрешает в своей статье М. Андреев-Туркин (по воспоминаниям родных и знакомых Чехова). Чеховы жили в то время в небольшом флигеле, состоящем из трех комнаток с кухонькой. Одна комната «служила для приема гостей, столовой и кабинетом Павла Егоровича». Две другие – были «спальной и детской». Домик помещался в глубине двора на немощеной, пыльной Полицейской улице. За домом росло несколько акаций, на которых были прикреплены скворечни. Вокруг дома рос бурьян, и были протоптаны дорожки. В момент рождения Антоши у Чехова-отца уже было два сына: Александр и Николай, позже родились еще двое: Иван и Михаил.

«Вся маленькая квартира дышала исключительным мещанством.» В семье Чеховых господствовал обывательский, нелегкий дух, которым дети очень тяготились. Маленького Антошу особенно задавила показная набожность его родителей, мало что имевшая общего с подлинной верой. Он всегда стремился уйти в гости к дяде Митрофану Егоровичу, у которого жила няня Иринушка, очень баловавшая Антошу. Развился мальчик очень рано. Говорить стал легко, никогда не шепелявил. Рано выучился грамоте по «Ведомостям Таганрогского Градоначальства», которые отец его заставлял читать, предлагая потом рассказать прочитанное своими словами. Сначала Антоша был очень тихим ребенком, часами забавлявшимся в одиночестве незатейливыми игрушками, несколько позже он расшалился, дразнил своих сверстников, давал им прозвища: «козявка», «стрекулистка», «огурец». Было, впрочем, прозвище и у него самого – «головань» (из-за несоразмерно большой круглой головы). Любил он и пугать других детей. Маленькую Сашу Селиванову он напугал откуда-то раздобытым черепом, в который он вставил свечу, залепив глазные впадины красной бумагой.

Восьми лет он поступил в школу греческой церкви. Учитель его, Вучич, был невежествен и жесток. Детей он постоянно бил линейкой. С родителей же помимо платы требовал подношений съестными припасами. Вскоре отец Чехова взял своих сыновей из этой школы и отдал в Таганрогскую гимназию. Антоша учился неважно. Дела же Павла Егоровича шли всё хуже, и в четвертом классе Антоша решил вместе с братом Николаем поступить одновременно с гимназией в ремесленное училище, на сапожно-портняжное отделение. Николай там не удержался. Антоша же делал успехи, и ему не раз выдавались брюки или жилет «из его материала, им же сделанные». Правда, до настоящего портного ему было далеко, и его сверстники смеялись

над его «неожиданного цвета брюками» и «не сходящимся по бортам гимназическим мундиром».

В 1876 году торговля отца была прикрыта, и Чеховы переехали в Москву. Шестнадцатилетний Антоша остается в Таганроге один. В этот период своей жизни он увлекается танцами, которым учится у танцмейстера Вронди, родом итальянца. Часто посещает он и каток. Тем не менее, он много читает в городской библиотеке, пробует сам писать, организует школьный журнал. Но помещенное в нем четверостишие Чехова, высмеивавшее инспектора Дьяконова, вызвало запрещение начальства, и на втором номере журнал прекратился. Вскоре Чехов увлекся театром – в Таганроге была хорошая, постоянная труппа. Устраивал Чехов и любительские спектакли. Учиться же продолжал едва удовлетворительно и вдобавок любил подстраивать шутки учителям. Так, учителя истории он изводил тем, что на вопрос: «Кто был первым Каролингом?» постоянно отвечал: «Марфа-Посадница». Выпускные экзамены он выдержал с трудом и то благодаря помощи товарищей и классного наставника Букова, передававших ему шпаргалки.

Из писательской жизни Чехова очень любопытный эпизод вспоминает Юрий Соболев в статье «Чехов и Комиссаржевская». С этой известной артисткой Чехов познакомился в 1896 году, когда на сцене Александринского театра ставилась «Чайка». Комиссаржевская играла роль Нины Заречной, отчасти для нее и созданную. Ее игрою Чехов вообще восторгался. В. И. Немировичу-Данченко он писал: «Твою возрастающую антипатию к Петербургу я понимаю, но всё же в нем много хорошего, хотя бы, например, Невский в солнечный день, или Комиссаржевская, которую я считаю великолепной актрисой». Заречную она, по свидетельству Чехова, тоже играла изумительно, что не спасло пьесу от известного провала. Правда, неудача постигла только первое представление, но после него Чехов уехал из Петербурга, и о дальнейшем сообщала ему Комиссаржевская.

После второго спектакля она писала ему: «Сейчас вернулась из театра. Антон Павлович, голубчик, наша взяла! Успех полный, единодушный, какой должен был быть, не мог не быть! Как мне хочется сейчас вас видеть... Ваша – нет, наша «Чайка» – потому что я срослась с ней душой навек – жива, страдает и верует так горячо, что многих уверовать заставит. Думайте же о своем призвании и не бойтесь жизни».

Энтузиазм, с которым Комиссаржевская подошла к «Чайке», внутренне приблизил ее к Чехову. В апреле 1897 года, сообщая Чехову о гастролях в Астрахани, она пишет: «Мы с вами так мало знакомы, а мне это не кажется. Ужасно хочется вас видеть и поговорить». Чехов отвечает пожеланием успеха, «такого же крепкого и

прочного, как моя вера в ваш славный, симпатичный талант». Переписка продолжается, восторженная, почти влюбленная со стороны актрисы, куда более спокойная со стороны писателя. Комиссаржевская беспокоится о Чехове, о его делах, здоровье: «Антон Павлович, сделайте для меня, что я вас попрошу. Это дико, что я говорю ‘для меня’. Но вы должны почувствовать, как я вас прошу. В Ростове-на-Дону есть доктор Васильев. Вы должны поехать к нему лечиться: он вас вылечит. Сделайте, сделайте, сделайте, я не знаю, как вас просить... Прямо сделайте для меня, для чужого человека. Храни вас Бог! Это ужасно, если вы не сделаете, прямо мне боль причините. Сделаете? Да?»

Чехов к Васильеву не поехал, что не мешает Комиссаржевской писать ему удивительно сердечные письма: «Я не хочу писать вам из вежливости. А как я обрадовалась вашему письму!.. Вы напишите мне, Антон Павлович, пожалуйста, напишите. Почувствуйте, как мне этого хочется». В 1900 году они, наконец, увиделись в Гурзуфе, и Чехов подарил ей свою фотографию с надписью: «3 августа, в бурный день, когда шумело море, от тихого Антона Чехова». Встреча эта явно не удовлетворила артистку. «Всё-таки я рада, что видела вас... Мне жаль и непонятно, почему мы с вами так мало говорили... Очень много у меня к вам хорошего чувства, и вы за него дайте мне одно – будьте со мной всегда искренни до дна. Понимаете, не откровенности я хочу, а искренности». Вторая встреча не состоялась. «Ждала вас два дня. Едем завтра на пароходе в Ялту. Огорчена вашей недогадливостью.»

Чехов, конечно, не мог ответить на влюбленность Комиссаржевской взаимностью. Он в это время уже был связан на всю жизнь с О.Я. Книппер. Комиссаржевской он отвечает всё сдержаннее и холоднее. Она просит у него для своего бенефиса «Трех сестер», «Вишневый сад», но обе пьесы Чехов обещал Московскому Художественному театру. Только «Дядю Ваню» он уступает Комиссаржевской. Он уговаривает ее перевестись в Москву, но не в Художественный, а в Малый театр. Вообще, вера Чехова в ее талант сильно упала. Жене он пишет, что отрицает весь петербургский театр: «...кроме Савиной и немножко Давыдова». Тем трогательнее полная преданность ему Комиссаржевской. Последней репетицией, проведенной ею в Ташкенте за несколько дней до смерти, была репетиция возобновленной «Чайки».

«РОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА»¹⁹

Так называется новый, только что изданный в Москве сборник рассказов Бориса Пильняка²⁰. Этот писатель принадлежит еще к первому призыву советской литературы: он выплыл в первый год рево-

люции, среди других «попутчиков» – Леонова, Олеси и т. д. В эпоху НЭПа, казалось, что именно эти писатели – некоторые из них были на самом деле талантливы и умудрялись обходить советскую идеологию во имя жизни и искусства – создают и ведут русскую словесность по ту сторону рубежа. «Человеческую нотку» слышали и в произведениях Пильняка: романе «Гольный год», книге повестей «Красное дерево». Правда, потом он выпустил бездарный роман «Волга впадает в Каспийское море», но всё же известная репутация за ним удержалась.

Новая его книга угашает всякие надежды, связанные с его именем: трудно себе представить более претенциозную, лицемерную, пошлую и пустую прозу, чем эти рассказы и очерки.

Считаясь с требованиями и директивами свыше, многие «попутчики» вынуждены были, говоря советским языком, «выпрямить свою идеологическую линию». Леонов, может быть самый одаренный из них, написал «Соть» – скучный роман о строительстве. Изменили тон и Олеса, и даже Зошенко, которому, как юмористу, позволено большее. Но Пильняк выпрямил линию куда энергичнее, пожалуй, даже и перегнул. Восхвалениям партии и правительства в «Рождении человека» нет конца, причем Пильняк не просто восхваляет, а славословит – подобострастно и отвратительно. Все хорошее связано у него с Октябрем; до этого времени была сплошная мерзость запустения, которая и теперь господствует в Западной Европе. Почему-то Пильняк особенно обрушился на бедную Швецию («Камень, небо»). Чего только он о ней не рассказывает: и художникам там плохо, и сельское хозяйство никуда не годится, и самоубийство Крегера²¹ было заранее предопределено, и Нобелевская премия выдается неправильно (еще бы, ведь получил ее не Алексей Максимович, а «белогвардеец» Бунин).

То ли дело в Советском Союзе! Даже рождение ребенка получает для комсомолки Антоновой совсем другой, праздничный смысл («Рождение человека»). Искусства процветают («Рождение прекрасного»). Палешане, бывшие до революции бездарными «богомазми», т. е. иконописцами, теперь обрели гений и рисуют «Первый поцелуй» и портреты Семена Михайловича Буденного. Гений свой они сознают: «Гениальный Пушкин и гениальный Голиков, т. е. я», – говорит один из них. Процветает и геология, о которой говорится в нескольких рассказах, – удобный символ: «воля эта (т. е. воля партии) ведет к разработке недр земных и человеческих» («Железная тундра»). Кстати, в последнем рассказе Пильняк сообщает читателям важный исторический факт: оказывается, город Кемь был так назван Петром Великим по первым буквам трех слов, образующих непечатное ругательство. Вот как обстояло дело при проклятом самодержавии! Зато теперь в тундре появилась гора Кирова и город Кировогорск. Но что геология?

Работницы на фабриках теперь всегда одергивают нахальных ухажевров («Галеты фабрики Большевик»); в Москве со слезами умиления строят метро («Повесть о спецовке»). Всего не перечислишь: не жизнь, а магометанский рай, с гуриями и прочими удовольствиями.

Итак, Пильняк перестроился. Но он не просто перестроился: он понимает, что от «человеческого» так легко не уйдешь. И он притворяется, что не изменил искусству и примирил в себе партию и индивидуальность. Именно не пытается примирить, а уже примирил. Поэтому он повествует обо всем в тоне глубокомысленности и мудрости, от которого коробит. Он нарочно как будто касается сомнений и страстей человека, чтобы показать, как прекрасны директивы партии. На самом деле от человеческой души он совсем далек, глубина его оборачивается общим смыслом и надуманным ложно-простым стилем. Даже в рассказах о собаках или о шторме на море, сюжет которых избавляет его от идеологии, он фальшив и плосок чрезвычайно. Мнимая любовь к жизни, мнимое глубокомыслие, мнимое мастерство. Короче говоря – халтура.

ФРАНЦУЗСКАЯ АНТОЛОГИЯ СОВЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ²²

Надо отдать должное нашему соотечественнику Марку Слониму и Жоржу Риви²³; они поставили себе в своем труде²⁴ очень неблагодарную и нелегкую задачу и, в общем, справились с ней с честью. Конечно, дефектов в их книге немало, что составители сами знают, ибо в предисловии сделали много оговорок. Некоторых недостатков, пожалуй, нельзя было избежать в современных условиях. Но – повторяем – в общем, эта книга должна способствовать ознакомлению иностранцев с русской литературой по ту сторону рубежа и с условиями, при которых она, если не развивается, то хотя бы влачит существование.

Мы сознательно написали: с русской, а не с советской литературой, ибо М. Я. Слоним в тщательном вступительном очерке правильно указал, что всё живое в этой литературе связано со старыми русскими традициями, продолжая их или являясь реакцией на них. Все «достижения» советских писателей – только разрозненные этапы того пути русской словесности, по которому она могла бы пойти, если бы была свободной. Всё же остальное – слишком многое – в лучшем случае, бытовой и психологический материал для историка. Очень беспристрастно и сильно изображена М. Я. Слонимом борьба между естественными и глубокими стремлениями русских писателей и мертвящим социальным заказом. Картина получилась, надо сознаться, безотрадная. М. Я. Слонима никак нельзя упрекнуть в желании очернить творчество советских писателей, и тем убедитель-

нее мрачный тон его статьи. Отдельные оптимистические выводы никого не обманут, да автор и не стремится к обману. Французский писатель, прочтя эту статью, должен понять весь ужас советской литературной политики, социальных заданий и декретов свыше, регламентирующих писательскую продукцию. Это вступление, может быть, самое ценное во всей книге; отдельные оценки писателей, с которыми не всегда можно согласиться, отходят на второй план.

Еще ярче и категоричнее выводы Ж. Риви в статье о советской поэзии. Он показал несовместимость самого понятия поэзии с коллективизацией и духом материализма. Трагедия Есенина и Маяковского для Риви символичны: она являет собою трагедию поэта в мире, враждебном сущности поэтического творчества. Но перейдем к самим переводам. Здесь невольно приходят в голову возражения относительно выбора переведенных текстов. Составители оговорили в предисловии ряд недостатков своего выбора, но эти оговорки мало что оправдывают. Во-первых, разительна диспропорция между количеством отрывков подлинно литературных и числом бытовых документов. Конечно, последние необходимы, но в книге их слишком уж много. Поражают также два пропуска: в книге не представлены Горький и А. Толстой. Между тем первый сыграл слишком большую (хотя и печальную) роль в развитии советской литературы, чтобы о нем умолчать, да и художественно он всё-таки несравним хотя бы с Пант. Романовым! А. Толстой тоже должен бы фигурировать: его «Петр I», без сомнения, один из лучших романов, появившихся в России нашего времени.

Зато присутствуют в книге писатели, имена которых в антологии советской литературы по меньшей мере удивляют. Не будем вдаваться в спор о большевизме Блока и Белого. За эту ошибку поплатятся на суде потомства многие наши современники. Но чем объяснить выбор Ремизова и Цветаевой, не только находящихся за рубежом, но играющих в эмигрантской литературе роль первостепенную? Так же непонятно присутствие стихов Ахматовой и О. Мандельштама, ни по духу, ни хронологически (ибо они почти не печатаются уже много лет!) к советской литературе неподходящих. И простое человеческое уважение к героической гибели Гумилева должно было бы подсказать Слониму и Риви, что его в советские поэты зачислять стыдно.

Переводов много, и сделаны они отнюдь не одними только составителями сборника. Качество их весьма различно. Переводы Зощенко и прозы Пастернака, например, определенно неудачны. Но большинство находятся на очень неплохом уровне, хотя и сделаны не творчески, а ремесленно добросовестно. Исключение составляет прекрасный перевод стихотворения Цветаевой, сделанный самим автором – и, право, не уступающий подлиннику.

ДНЕВНИКИ И ПИСЬМА ОСТРОВСКОГО²⁵

Творчество писателя неразрывно связано с его жизнью, но связь эта сложна и таинственна. Искусство соткано из тех же человеческих чувств, тревог и страданий, которые направляют личную жизнь художника. Но сочетание этих эмоциональных двигателей – иное, чем в жизни, да и сознательная или бессознательная цель произведения если не всегда преобразует, то всегда изменяет сам состав чувств. Не все переживания писателя поэтому отражаются в его книгах. Между тем жизнь значительного человека, казалось бы, должна быть значительной во всей ее полноте. Этим объяснял еще и Пушкин свое пристрастие к интимным эпизодам жизни великих людей. Объясним и оправдан постоянный интерес читателя к дневникам и письмам художников, запечатлевшим те личные события их душевной жизни, которые как будто не нашли выражения в их творчестве.

Уточним во избежание недоразумений. Существует литературный жанр «дневников и писем», пользоваться которым очень опасно. Так называемый «человеческий документ» исключает творческий процесс, ибо творчество столь же разнится от документа, как картина от фотографии. Но и документальная ценность таких дневников большей частью ничтожна, так как личная исповедь всё же приспособляется к вкусам воображаемого читателя. Именно с такими «документами» сейчас и стоит бороться. Другое дело – дневники, действительно интимные. Они могут, не претендуя на художественность, многое открыть нам: так фотографию можно предпочесть плохой картине. Для этого, однако, нужно, чтобы дневники и впрямь вводили нас в тайники душевной жизни их автора.

Опубликованные в Москве дневники и письма Островского²⁶ должны были заинтересовать очень многих, ибо Островский принадлежит к тем писателям, частная жизнь которых не отражается в их писаниях, или отражается в столь измененном виде, что остается нам неизвестной. С другой стороны, содержательных свидетельств современников об Островском у нас не так уж много. В общем, известна нам лишь фактическая биография драматурга, скорее бледноватая. Смысл же и душевная окрашенность ее, не говоря уже о духовных устремлениях Островского, от нас ускользали.

К сожалению, чтение дневников и писем Островского дает нам в этом отношении тоже чрезвычайно мало. Редко писательские «интимные документы» бывают столь бедными. Островский высказывается скупо не только о своих тайных мучениях и радостях (ведь были же и такие), но и вообще о своей личной жизни. Биография его, как прежде, остается для нас фактическим перечнем событий.

Дневники его можно разделить на две группы: путевые и дере-

венские записи и дневники московские. Путевые записи касаются двух больших поездок Островского: по Волге, от Твери до Нижнего, и за границу (в Германию, Италию и Францию) с известным рассказчиком И. Ф. Горбуновым²⁷. Деревенские дневники охватывают несколько периодов пребывания Островского в деревне Шалыково. Отличительная черта всех этих записей – их описательность. Островский подробно описывает пейзажи, городские памятники, одежды и нравы жителей той или иной области и красоту среднерусской природы. Всё это естественно. Но поражает отсутствие впечатлений, характеризующих сколько-нибудь личность писателя: итальянские города шумнее немецких, парижанки одеваются элегантно, шпиль такого-то собора высотой в столько-то метров, пароход идет от пристани А к пристани Б. столько-то часов с минутами. Кажется, что читаешь учебник географии или путеводитель для туристов.

Московские дневники, даже последний, доведенный почти до смерти, еще беднее. Были в гостях, в театре давали такую-то пьесу (конечно, Островского), принимал в таком-то часу такое-то лекарство. Ни одного признания о собственном творчестве, ни одной оценки или характеристики. Ни одного упоминания о своих мыслях во время роковой болезни. Думал ли о чем-нибудь этот странный человек?

Письма адресованы разным людям из-за границы и артисту Садовскому²⁸, постоянному исполнителю пьес Островского, из Москвы. Все они так же мало содержательны, как и дневники. Садовскому писатель ни разу не дает в письмах указания или совета относительно какой-нибудь роли. Сравнение с ответами Садовского, острыми и точными, и в особенности с приписками Горбунова, красочными и умными, – явно не в пользу Островского. Личность последнего, как и сфинкс, по-видимому, разгадать невозможно.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. «Возрождение», № 4182, 5 мая 1939.
2. *Веселовский А. Н.* Избранные статьи. – Ленинград: Изд-во «Художеств. Литература», 1939.
3. Булаев Федор Иванович (1818–1897), российский лингвист, фольклорист, историк литературы и искусства, глава русской мифологической школы.
4. Гастон Пари (Парис) (фр. Gaston Paris; 1839–1903), французский исследователь средневековой литературы. С 1872 года занимал кафедру своего отца, Полена Париса, в Collège de France; с 1896 года – член Французской академии, в которой занял кресло Пастера.
5. Л. Больё (фр. Beaulieux; 1877–1965), французский филолог, лингвист, славист.
6. Густав Лансон (фр. Gustave Lanson; 1857–1934), французский литературовед, профессор Сорбонны (с 1900 года) и Высшей нормальной школы.

7. «Возрождение», № 4181, 28 апреля 1939.
8. *Fridrich Wilhelm Neumann*. Geschichte der russischen Ballade. – Berlin: Ost-Europa-Verlag, 1937.
9. «Возрождение», № 4179, 14 апреля 1939.
10. *Мышковская Л.* Работа и стиль Толстого. – Москва: «Сов. Писатель», 1939.
11. Леонтьев Константин Николаевич (1831–1891), русский врач, дипломат; мыслитель религиозно-консервативного направления; философ, писатель, публицист, литературный критик, социолог. В конце жизни принял монашеский постриг с именем Климент.
12. «Возрождение», № 4064, 6 февр. 1937.
13. В печатном варианте: «Певца Гяура и Жуана».
14. *Ахматова Анна*. «Адольф» Бенжамена Констана в творчестве Пушкина. – М: Временник Пушкинской комиссии Академии Наук СССР. 1906.
15. Констан де Ребекк, Анри-Бенжамен (Henri-Benjamin Constant de Rebecque, 1767–1830), французско-швейцарский писатель, публицист, политический деятель времен Французской революции, бонапартизма и Реставрации.
16. Метьюрин Чарльз Роберт (англ. Charles Robert Maturin; 1782–1824), английский (ирландский) священник и писатель.
17. «Возрождение», том 10, № 3635, 17 мая 1935.
18. Чехов и наш край. Сборник под редакцией А. М. Линаина. – Азово-Черноморское Изд-во, 1935.
19. «Возрождение», № 3851, 19 декабря 1935.
20. *Пильняк Борис*. Рождение человека. – М.: Гослитиздат, 1935.
21. Ивар Крегер, шведский спичечный король, миллионер; разорившись, покончил с собой в 1935 г.
22. «Возрождение», № 3725, 15 августа 1935.
23. Риви Джордж (George Reavey, 1907–1976), ирландский поэт-сюрреалист, издатель, переводчик и коллекционер произведений искусства, первый литературный агент Сэмюэля Беккета. Его мать, Софья Турченко, была русской, отец – ирландец. Он родился в Витебске; семья переехала в Нижний Новгород в 1909; там молодой поэт получил образование. В 1919 году отец был арестован, мать с сыном уехали в Белфаст. Сведения по: <http://ru.knowledgr.com>
24. *Slonim M., Reavey G.* Anthologie de la litterature sovétique. – Paris: NRF, 1935.
25. «Возрождение», №4199, 1 сентября 1939 г.
26. *Островский, А. Н.* Дневники и письма. – Москва: «Академия», 1939.
27. Горбунов Иван Федорович (1831–1895) – прозаик, мемуарист, актер, мастер исполнения устных рассказов. Широкую известность Г. принесло исполнение своих рассказов в театрах и на благотворительных концертах.
28. Пров Михайлович Садовский (старший) (наст. фам. Ермилов; 1818–1872) – актер Малого театра, который считался выдающимся исполнителем ролей в пьесах А. Островского.

«Меря жизнь гармонией небесной...»

*Письма Бориса Чичибабина к Полине Брейтер**

Часть 2. 1979–1980

Март 1979

...О той песне из «Прошу слова»¹, которую Вам и сейчас хотелось бы петь. Вы знаете, как много нам нужно говорить об этом? Я Вас очень хорошо услышал. Вам покажется, что это не так, потому что я неудачно выразился, что «Вам и сейчас хотелось бы петь ее», но я все правильно услышал.

Ведь Вам не только тех людей жалко, которые ее пели в фильме, не только обманутых (и обманывающих) жалко, – это только один поворот, один угол. Вам и себя жалко, жалко, что Вы не можете поверить, петь, что-то делать, чему-то отдавать свои силы, желания, душу. Вам хотелось бы с кем-то, не с одним человеком, пусть и самым родным, самым дорогим, но непременно еще с другими, пусть немногими, но какими-то людьми, друзьями, братьями, сестрами петь *такую* песню, верить вместе с ними, любить их, идти вместе с ними на что-то куда-то.

Это очень естественно и понятно. Но и обязательно нужно предостеречь Вас, помочь Вам, поспорить с Вами, спасти Вас.

Прежде всего, я мог бы рассказать Вам о себе. Вы просите, Вы хотите, чтоб я рассказывал Вам о себе, а тут был случай, и я его упустил. С *этой песней* (не буквально с этой, эту я, как и Вы, кажется, впервые услышал в этом фильме, но с подобной, с другой, с такой же) связана вся моя биография, весь мой путь до 1967–1968 гг. (примерно).

Я ведь искренно верил, *религиозно* верил, что в этом выход для человечества, единственный, спасительный, всё разрешающий выход. Как ни смешно, как ни жалко Вам покажется, но именно в последние годы перед тем кризисом, который чуть не привел меня к смерти (это были «хрущевские» годы, и об этом тоже надо отдельно), я особенно поверил и особенно хотел петь. «Плывет ‘Аврора’»² – это же «Вперед, вперед, вперед!» Я верил наперекор всему, верил, когда вокруг меня уже никто не верил, верил именно оттого, что верил в Бога, страстно хотел добра всем, добра миру, добра человечеству.

*Продолжение. Начало см. НЖ, № 297, 2019.

В слепоте моей упрямой, одинокой, обреченной веры мне казалось, и я измышлял и «культивировал» в себе, что идея этой песни в ее каком-то чистом, очищенном, не скомпрометированном, не запятнанном, бескомпромиссном, то есть в совершенно немислимом виде, остается спасительно прекрасной, религиозно прекрасной, и не видел и не хотел видеть, что и в самом начале, в самом не скомпрометированном, самом непорочном начале идея эта (как и всякая земная идея, как всякая, любая идея дела) основывалась на насилии и корысти, уводила от главного к предисловному, от вечного к временному, от идеального и духовного к материальному и плотскому, от Бога к твари.

Но и этот несостоявшийся разговор о песне и об идее, иллюстрированный рассказом о себе, должен был бы стать только началом разговора – о Вас, о том, что Вам и сейчас хочется петь эту песню или какую-то другую. Это и естественно, и прекрасно, как я уже сказал, но и опасно, и страшно, и трагично.

Разговор этот был бы длинным и трудным, потому что Вы с самого его начала стали бы перебивать меня, возмущенно и справедливо доказывая, что Вы ведь и сами знаете, что та песня обманная и лживая, что Вы это знаете давно и потому и жалели тех «хороших» людей, поющих ее и не знающих, что они не только обмануты, но и сами обманывают, что они не просто обманутые, но и служат злу, стали его орудием и носителями.

Вы стали бы говорить мне, что Вы знаете не только это, но что знаете и то, что любая такая песня (даже враждебно противоположная этой), любое, всякое дело есть суета, обман и зло. Вы бы говорили мне всё это, и Вам казалось бы, что я не до конца услышал Вас, что я «упрощаю» Ваши чувства, так неточно выраженные словами «Я хотела бы петь такую песню».

А я не «упрощал» бы, я доказал бы Вам, что Вы и сами не осознали всей трагической сложности Ваших чувств. Дело в том, что Вам (и, повторяю, это естественно и прекрасно), не разуму Вашему, не религиозному Вашему сознанию, а той Вашей глине, которая Богом же создана и замешена, действительно хочется «петь такую песню», хочется живого дела.

Это особенно трагично и страшно, потому что у Вас есть именно Ваша песня. Это – «я хочу быть мостиком», «я хочу строить свой монастырь в миру», «я хочу своей жизнью, не навязчиво, не словами, а просто своей жизнью учить девочек, как Жанночка, и мальчиков, как Юрочка, и более старших, и совсем пожилых, лишь бы они сами захотели меня, и быть с ними, и дарить им радость и полет».

Это Ваша настоящая песня, настоящее, подлинное Ваше дело,

но в какие-то минуты, как в ту, когда смотрели фильм и слышали эту песню, это Ваше подлинное, главное, единственное дело, эта Ваша песня, песня Духа, представляются Вам недостаточными, слишком растянутыми во времени, слишком «не от мира сего», и Вам хочется немедленного, живого, разделенного с другими братского дела, как у тех поющих людей или как у «детсадовцев»³.

Когда-то Вы написали в письме, что «накормить голодного, защитить ребенка важнее Вечности». Вот Вам и хочется чего-то важнее Вечности, чего-то более важного, более конкретного, более осязаемого, с песней, с подвигом, с действием, с братьями и сестрами по делу, по песне.

Это тем более трагично и страшно, что Вы – умница и разумом своим наперед знаете, что окажетесь обманутой, но чувством своим, неугомонным, рвущимся к живому делу, к братьям и сестрам, Вам хочется быть обманутой, лишь бы петь, лишь бы действовать.

Это – не разговор, это пунктирный набросок несостоявшегося разговора, а точнее, и не прекращавшегося нашего старого разговора, который – помните? – когда-то назывался у нас «о палаче и жертве», а потом всё время поворачивался разными сторонами – о силе и слабости, о деле и неделе.

И Ваша мысль, которую Вы сами для себя называете «о компромиссе» (потому что на сегодняшнем этапе для Вас именно в «компромиссе» открылось что-то важное и требующее додумать и разобраться), а я назвал бы скорее «о неизбежности зла», «о неустрашимости, необходимости, нужности зла» или, еще лучше, «о Боге и зле», – эта мысль тоже связана с этим непрекращающимся нашим разговором, потому что в Главной Книге всё соединено, связано, перетекает из одного в другое, всё – одно и об одном.

Всё время живу с Вашей мыслью «о компромиссе», о зле в нашей жизни, в нашем мире, о том, зачем оно, как же оно, что оно, если есть Бог, и мы знаем это.

Я Вам когда-то писал, что это – вопрос вопросов. Сейчас я опять думаю об этом. Это большие, смутные и страшные мысли. Ведь они и о том, есть ли что-то «вне Бога». Уже сейчас, потому что всегда, я знаю, что *и есть, и нет*. Но об этом я буду думать еще долго, сейчас не готов говорить с Вами на эту тему. Пока я могу только объяснить, почему я не согласен с Вашим названием этой мысли – «о компромиссе».

Условно, как Ваше, я принимаю его и готов употреблять в разговоре с Вами. В каком-то и очень широком, очень «философском», и очень условном, очень личном смысле, вся наша жизнь, все мировые законы – компромисс. Но ведь, когда мы употребляем это слово, мы имеем в виду нечто иное, особенное.

Компромисс не обязательно что-то стыдное, плохое, это просто соглашение между чем-то и чем-то, не обязательно между добром и злом, между высоким и низким, поэтому компромисс может быть и мудрым, и религиозным, в мировой истории и отдельной человеческой жизни это так часто и бывает. Но компромисс обязательно умышлен, осознан, сознателен. Компромисс выбирают, его ищут, находят, к нему приходят, на него идут. То, чего не ищут, не избирают, не находят, на что не идут, нельзя назвать этим словом, нужно назвать иначе.

То, что наша человеческая природа и все мировые законы компромиссны, может быть правдой только для Того, кто сотворил эту природу и установил эти законы. Для человека и для мира не может быть компромиссом то, что предопределено, то, что естественно, то, что иначе не может быть.

Компромисс начинается с сознательного выбора. Для большинства людей то, что они едят мясо, не является компромиссом, но если бы Вы по моей просьбе или по безвыходности (ну нечего больше есть или в гостях, где нельзя обидеть) стали бы его есть, для Вас это был бы компромисс. То, что весь мир, вся наша жизнь невозможны без зла, нельзя назвать компромиссом.

Мы – не боги, и большинство нас – не святые. Это не компромисс, это Божий закон, Божье назначение. Нам сначала нужно проснуться, нужно узнать. И вот мы просыпаемся, мы узнаем о Боге, мы узнаем о добре и зле, мы принимаем Божьи заповеди. Но и когда мы их приняли, вряд ли нашу предопределенную, природную слабость, нашу невозможность полностью исполнить эти заповеди можно рассматривать как компромисс (разве только в нашем домашнем смысле).

Человек может не есть мяса, может обходить муравьев и носить марлевую повязку на рту, чтоб не вдохнуть невидимые живые существа, но он будет убивать живущих в нем микробов, бактерий – или сам умрет. Человек может не предаваться блуду, любить одну женщину, но он не может быть полностью целомудрен. До поры до времени этого не может хотеть Бог, не может хотеть прекращения человеческого рода. Так и во всем остальном.

Это не значит, что нужно складывать руки и радостно мириться с неизбежным, тем более что оно и приятно, и привычно. Нужно всё время подниматься, всё время повышать нравственные требования к себе, шаг за шагом, пусть медленно, пусть незаметно, подниматься на ту высоту, про которую узнал, которую видишь своим внутренним зрением.

Нельзя утешать себя мыслью, что «ага, раз вся жизнь, весь мир построены и зиждутся на компромиссе, то как же мне, грешному и

слабому, не пойти на сделку с совестью». Этого ни в коем случае нельзя, это – не компромисс, это – падение. Но и впадать в отчаянье нельзя. Бог не хочет от человека непосильного. «Иго Мое – благо, и ноша Моя легка». Если упал – поднимись и продолжай восхождение...

1. Старая революционная песня «Вперед, друзья, вперед, вперед, вперед».

2. Борис Чичибабин. Плывет «Аврора»: Книга лирики. – Харьков: Прапор, 1968.

3. «Детсадовцами» Борис Алексеевич из цензурных соображений называл диссидентов.

Октябрь 1979

Я попробую немного рассказать о нашей поездке в Москву и Ленинград.

В Москву мы приехали в субботу утром, а вечером вместе с Шерой Шаровым¹ выехали в Ленинград, потому что в воскресенье в Ленинградском ТЮЗе шла его пьеса «Девочка, которая ждет». Идет этот спектакль редко, не чаще двух дней в месяц, и поэтому я настоял ехать, с большим трудом уговорив Шеру.

Я сделал это еще и потому, что в этот мой приезд физически почувствовал, какой страшный и чужой город Москва. Вот город, в котором мне никогда не захотелось бы жить.

В Ленинграде на перроне, хотя не было и пяти часов утра, нас ждали люди, сразу ставшие нам близкими и дорогими, – мужчина, мой тезка, и женщина по имени Мира. В такую холодину, в такую холодную рань она была в легком, чуть не летнем не то плаще, не то пальто и с открытой прекрасной седой головой. У нее и не было ни теплого пальто, ни чего-нибудь на голову, – всё, что у нее есть, она отдает другим людям.

Она одинока, кажется, была замужем, но сейчас ни мужа, ни детей; лет ей, наверное, около 40, может быть, немножко больше. Когда-то она была одним из четырех или пяти энтузиастов-учителей, устроивших педагогический эксперимент – интернат для трудновоспитуемых детей на «необитаемом» острове в Финском заливе. Энтузиастов этих всё время травили, несмотря на заступничество Шарова, написавшего о них в «Литературной газете» (с тех пор они дружат), и интернат в конце концов ликвидировали.

Сейчас она преподает историю в школе, во дворе которой и живет в почти нежилом здании. Мы полюбили ее сразу.

Борис – совсем другой человек. Он – мой ровесник, тоже весь седой, в свое время отсидевший за «детсадовскую» деятельность» в

Саратове, после этого жил в Петрозаводске, а сейчас в Ленинграде. Его любят женщины и, что удивительно, совсем молодые женщины. Работает он лифтером, а больше всего любит русскую поэзию. У него на квартире два вечера для разных людей я читал стихи.

В этот приезд мы полюбили Ленинград – может быть, из-за контраста со страшной, суетной, бездушной Москвой – и нам даже подумалось, что в этом городе мы могли бы жить.

Как меняется чувство города. В свое время – для Достоевского, для Блока – Ленинград, тогда Петербург, в сравнении с живой, древней, домашней Москвой, был мертвым, искусственным, казенным городом, державной столицей Империи. Теперь же какой он живой, сколько души в его домах, церквах, улицах. Какой красивый город – почти как Одесса. Не хотелось уезжать, не хотелось возвращаться в Москву.

У нас появилось много друзей. По Эрмитажу нас водила женщина, которую зовут Эра, «настоящая женщина», умеющая и любящая быть женщиной.

Но главное чудо были Друскины. Есть такой поэт, Лев Друскин, из маршаковских «вундеркиндов» (воспитанников). Он от рождения не может ходить, передвигается в колясочке и всю жизнь лежит на левом боку. Его жену зовут Лиля, у нее тоже какая-то неизлечимая болезнь, а незадолго до нашего приезда она упала и сломала ногу. Мы очень боялись идти в гости к этим безнадежно больным людям, не знали, как себя вести. И вот в комнатке, уставленной книгами (какими книгами, Полина!), на двух кроватях, друг против друга, лежат два человека – мужчина и женщина, веселые, насмешливые, жизнерадостные, ни капельки не «взрослые» – и счастливые. У него огромная голова, кроме головы больше ничего и не видно, эта большая, смеющаяся, приветливая голова и есть Лев Друскин. Мы пришли с улицы, незнакомые (правда, мое имя и кое-какие стихи он знал), и сразу попали к людям, которых как будто сто лет знаем. «Приезжайте летом, мы на даче, а квартира будет вам». Одарили нас книгами, позвонили насчет билетов в БДТ (мы смотрели «Цену» Миллера – ерунда). По комнате свободно ходят две сиамские кошки, необыкновенно красивые, и большой лохматый пудель.

Шерина пьеса прошла хорошо. Артистов вызывали шесть раз, а потом один из них, увидев в зале торопящегося скорее выйти Шарова, спрыгнул со сцены, догнал его и привел на сцену – и Шера тоже стоял там и хлопал артистам, длинный, смешной и хороший.

Пробыли мы в Ленинграде четыре дня и в среду вечером, сразу же после стихов, уехали на «Стреле» в Москву. В четверг были у Померанцев и ночевали у них. Зина читала стихи. А больше про Померанцев я, как всегда, ничего сказать не могу.

Еще мы пять минут рассматривали близко Беллу Ахмадулину. Она прибежала к Шаровым именно на эти пять минут познакомиться, спешила по каким-то суетным, но добрым делам.

Еще мы смотрели у Эфроса спектакль по Гоголю «Дорога» – на школьном уровне представлений о Гоголе и «Мертвых душах» – с Козаковым, которого нам стыдно было видеть и слышать в роли... Гоголя.

Еще мы смотрели рязановский «Гараж» и немного поспорили о Рязанове.

Еще мы ходили по Кремлю и по многим московским улочкам: ночью в снегу они красивые, и мы даже любили их.

1. Писатель Александр Шаров (1909–1984)

Март 1980

...Я никогда не был страдальцем и страстотерпцем. То, что со мной случилось, я рассматривал – с самой первой минуты – как справедливую кару за мои грехи, не за то, что «они» мне «шили» и чего я и до сих пор толком не знаю, но за конкретные грехи: не просто за то, что, как я очень мягко по отношению к себе и очень невнятно, неопределенно сказал в стихах: «как мало я был добрым хоть с мамой, хоть с любимой», а за то, что я делал подлости и гадости, обижал, причинял страдания. И все, что со мной было, я принимал как справедливое возмездие, заслуженное наказание. Так и говорил в камере.

В тюрьме мне было хорошо. Я переживал там период очень сильного религиозного чувства, носил крест, сделанный из хлебного мякиша (когда затвердевает, он как настоящий) и подаренный мне эмигрантом из Маньчжурии; много думал, много и хорошо читал (там книги меняли два раза в месяц и, чтоб растянуть, читать надо было медленно, вдумчиво, какое-то определенное количество страниц в день, – я уже никогда так хорошо не читал). Судил свою жизнь, судил себя, мечтал о том, как буду жить после освобождения, даже о монастыре мечтал. Тюрьма – не лагерь и не пересыльная, не уголовная тюрьма с большими общими камерами по несколько десятков человек, а следственная тюрьма МГБ, где я сидел и где в камере не было больше четырех человек, а то и вдвоем, а то и в одиночку, – это же пустыня, скит, полная свобода от мирских соблазнов и суеты; если бы еще разрешали бумагу и карандаш, но чего не было, того не было.

Страшно было в лагере, но я со своим маленьким пятилетним

сроком не был в самых страшных лагерях, а тоже где-то в «первом круге», и ведь всё это было мне за грехи¹.

1. Вятлаг, в котором находился Борис Алексеевич, отнюдь нельзя отнести к «первому кругу». По данным историка Владимира Веремьева, смертность в этом лагере была в несколько раз выше, чем в Бухенвальде.

Май 1980

«Часто бывает, что наша любовь к близким – это только продолжение нашей любви к себе.» Когда я читал эти Ваши строчки, я из своего детства вспомнил, как я тоже плакал и не хотел, когда меня оставляли в пионерлагере; это было однажды, а до этого я каждое лето жил у бабушки – без матери и отца – и не плакал, потому что бабушка меня любила, и мне с ней было еще лучше, чем дома, и там был мой мир, знакомый, любимый.

Я не по родителям плакал, оставленный в лагере, а по всему оставленному, привычному, такому утешительному и спасительному для меня, «упавшего со звезды», такому единственно моему в чужом, не моем мире, родному моему, с моими книгами, играми, с моим углом, в который можно забиться, и никто не помешает.

Если что-то и было «сверх», то не сверхлюбовь и не сверхпривязанность, а сверхстрах остаться одному с чужими, неуслышанному, невыговоренному, неутешенному, неприласканному.

9-го июня Вы смотрели фильмы Йоселиани, которые я давно Вам подарил, а я 9-го ездил на эстонский певческий праздник в местечко Тойла, в чудесный парк (не хуже крымских парков, не хуже знаменитого, всем известного по альбомам, открыткам, рассказам алушкинского, но про те все знают, а этот – никому не известный, никем не прославленный) на берегу Финского залива, а на обратном пути нас – неожиданно, не по программе – повезли в действующий, «живой» женский монастырь в Куремяэ (что по-эстонски значит «Журавлиная гора»).

На певческом празднике мы успели посмотреть только самое его начало, нарядное и торжественное: парад участников, открытие, – но нам и не надо было больше на первый раз, чтобы причаститься этому народному обычаю, старинному, стихийному, прекрасному и трогательному, в котором совсем не официально, добровольно, радостно участвуют дети, старики, старухи, всякие самодеятельные хоры, каких тут, оказывается, великое множество.

На этом празднике мы еще что-то узнали об Эстонии, и это что-то, на первый и поверхностный взгляд не такое уж и главное, внешнее, материальное, стало для нас ценным и нужным.

А монастырь, сравнительно поздний, XIX века постройки, был расположен в святом, красивом, тихом, лесном месте, и посещение его тоже вошло в наш праздник с цветами, тишиной, белой ночью.

Там, в Каукси, в нашем туристском лагере, я читал купленные там же, в Эстонии, рассказы молодых эстонских прозаиков. Я не помню сейчас ни авторов, ни названий рассказов, даже сюжеты их смутно помню, но дело не в этом, дело в том, что таких рассказов тысячи, что, читая их, я вспомнил более талантливые рассказы, и повести, и романы, и кинофильмы – и Мопассана, и Хемингуэя, и Бергмана, и всю сегодняшнюю западную прозу, где говорится об одиночестве человека, о невозможности его преодоления, о том, что все чужие друг другу, и «даже тогда, когда сливаются в объятиях, даже сливаясь в этом пресловутом акте» – тогда особенно чужие, особенно мучительно-осознанно чужие – ну и так далее.

Я не могу не поверить свидетельствам этих людей, а их так много, да и по жизни мы знаем пусть не такие яркие, не такие отчаянно-страшные случаи, более будничные, привычно-страшные (как у меня: «а самое страшное – то, что не страшно»), но, в общем, выходит, что это закон для всех, и никем, никогда не нарушаемый, не могущий быть нарушенным: «человек человеку остается чужим, всегда, навсегда, а в этом пресловутом акте – особенно, потому что при этом особенно больно, отчаянно, мучительно чувствуется эта обреченная, предопределенная чужесть, невозможность проникнуть в чужую душу, в чужие мысли, чувства».

В прозе, которую я читал и которую вспоминал, эта чужесть друг другу так ярко дана, что жить не хочется. Даже не враждебность; я говорю «даже», потому что по сравнению с этой непреодолимой чужестью даже враждебность воспринимается как что-то человеческое, понятное, теплое. Ведь враг – это уже какое-то отношение, враг – уже и не совсем чужой, уже может появиться надежда, что можно достучаться, дозваться, допроситься, как-то услышать и понять. А то – совсем чужие, совсем не нуждающиеся друг в друге, безнадежно, неизбежно, безвыходно.

Вы много пишете о Моцарте и Бахе. А после моего «возвращения» по телевизору показывали «Маленькие трагедии». У меня тоже было время, когда я Бетховена любил больше, не просто больше, а намного больше, именно Бетховен был моим композитором, моей музыкой. Баха я тогда совсем не знал, а Моцарт, которого я знал, конечно, с детства, казался мне «примитивным», устарело-простым по сравнению с Бетховеном.

Ваше духовное развитие проходило «ускоренным» путем, и это удивительно, что мы сейчас на многое смотрим одинаково. Героизм и

трагедийность Бетховена более близки и понятны человеческой душе, чем «божественность» Моцарта и Баха, а я любил его в лагере, любил и как человека, и как личность, как друга, как брата. Тогда я очень любил Толстого, Роллана и Бетховена. Я и сейчас их люблю. Я и сейчас очень люблю Бетховена. После Баха и Моцарта он – третий, но между ними и ним – огромное-огромное пространство. Или – лучше – он даже очень близок к ним, но разделяющая их черта непереступима никем и ни за что.

Я не знал, что Вы пишете о «божественности» Моцарта и Баха и «человечности» Бетховена, и сказал по-своему, так же приблизительно и неточно, что они «неповторимы», а он «повторим». Это ужасно неточно, но Вы ведь слышали, что я хотел сказать то же, что и Вы, совсем то же самое. Они не «количественно» отличны от него – не размерами таланта, знания, умения, мастерства, гения (по-моему, они и во всём этом больше, но это вот именно уже совсем по-моему, это нельзя доказать, измерить, да главное и не в этом, совсем не в этом дело), а «качественно» – тем, что не дано приобрести трудом или подвигом, – светом, гармонией, чистотой, легкостью, тем, что Вы назвали «божественностью». Это заведомо нельзя приобрести трудом, усилиями, стараниями, потому и казалось Сальери и нам кажется, что им – и Пушкину – всё давалось без труда, без мук, без отречений и жертв.

Между ними и Бетховеном, может быть, и совсем небольшое расстояние, не в вытянутую руку, а в ладошку всего, но уж это «ладошечное» расстояние – непереступимо, Богом установлено и хранимо.

И вот мы всё время говорим «они», а они ж очень разные, Бах и Моцарт, а все-таки мы их объединяем – и не ошибаемся. Они в нашем слухе, в нашем сознании, в нашей душе соединены именно «божественностью» – светом, чистотой, гармонией, тем, что я уж совсем неточно – ведь музыка ж! – могу назвать тишиной, не приглушенностью страстей, а их растворением в свете и гармонии, их преодолением светом и гармонией.

Несколько лет назад я начал и оборвал свой рассказ о Пскове, я не успел рассказать о нем, а заодно об очень важном и главном для меня – о моем чувстве России, о моем отношении к тому, что Вы в своих письмах восторженно и любовно называли Русью.

Это не большая беда, что не успел, потому что – стихами, репликами, какими-то кусочками в разговорах и письмах – суть этого я Вам передал, и Вы, в общем, знаете. Я и сейчас вряд ли сумею рассказать убедительнее и полнее.

Мое путешествие началось с Москвы, Владимира, Суздаля и окончилось Новгородом. Между ними была Эстония.

Мне не везло, и я не видел рублевских фресок во Владимирском соборе и фресок Феофана Грека в Новгороде, я вообще не видел внутренности всех этих древних храмов, они были по разным причинам закрыты для обозрения, но Вы их тоже, кажется, не видели, иначе рассказали бы. Я видел, наверное, всё, что видели Вы и что еще помните – поэтому называть и перечислять не буду. Я хочу, чтоб Вы услышали главное: кроме Суздаля, о котором скажу немножко позже и отдельно, я не полюбил русских городов. Не влюбился и не полюбил.

Господи, конечно, храм Покрова на Нерли – Чудо, и оба белокаменных владимирских собора с фантастической полуязыческой резьбой, и владимирские Золотые ворота, и даже та совсем не старинная, но славная церковь, что стоит возле них. И, наверное, чудо – новгородская София, хотя она, как и киевская, меньше тронула мою душу, чем белые владимирские храмы, и все древние церкви и церквушки, рассыпанные по кремлю и всем новгородским улицам, и самая дальняя – в скиту, к которой мы ехали сначала на автобусе, а потом шли пешком под проливным дождем, на берегу Волховы, впадающей в Ильмень.

Но ведь эти древние и прекрасные церкви не создают лица города, его души, души России. Не создают, не определяют.

Я на всю мою жизнь запомнил, как Вы показывали нам Одессу, совсем не старинный, совсем юный город, учили видеть «души домов» и душу города. И я видел эти души и эту душу. Я знаю лицо Одессы, ее душу, и я полюбил ее.

А любите ли Вы Москву? Можно ли любить Москву? Ведь в ней, наверное, древних и прекрасных храмов больше, чем в любом городе России, больше, вероятно, даже, чем во всех старинных городах, вместе взятых. И разве не прекрасны Коломенское, Андроников и Новодевичий монастыри, церкви Замоскворечья, игрушечная церквушечка на Арбате? Да и Кремль разве не прекрасен и не свят? Можно как угодно относиться к Василию Блаженному, конечно, он не храм для молитвы, для медитации, для пребывания наедине с Богом, но ведь прекрасен же – веселый, радостный, сказочный, языческий. Бог и в такой красоте является, и в такой красоте живет.

А все-таки Москву полюбить нельзя, потому что даже все эти святыни и чудеса не создают ее лица, ее души. Она безобразна, поругана, изуродована, бездушна. В ней или совсем нет души, или очень страшная, неприятная, отталкивающая душа.

В первый же день моего приезда, накануне поездки во Владимир, я почему-то оказался в Филях возле знаменитой древней церкви. Было очень странно и почему-то неприятно видеть эту цер-

ковь, отреставрированную и разукрашенную к Олимпиаде, я ее так мысленно и окрестил – «олимпийской».

Но дело не в этом, в конце концов, надо же когда-то красить старинные здания, и я мог бы воображением снять с нее эту свежесть краски и увидеть ее в первозданном виде. Дело в том, что сразу же от нее начинается длинная, бесконечная улица с однообразными домами, из которых ни в одном нет души, ни один не радуется и не грустит, не улыбается и не задумывается, не спрашивает и не отвечает, они просто помещения для жилья, работы, торговли, суеты.

И тогда мне пришло в голову, что в таком государстве и должна быть такая столица, что другой и не может быть. Столица черни.

Я начал с Москвы, но почти все русские города такие, Полина. По крайней мере, те, которые я видел. Мы с Вами разошлись в оценке Пскова и Новгорода. Я не знаю – почему. А я Псков, в общем, полюбил – не так, как Львов или Вильнюс, не так, как Ленинград или Одессу, – он остался мне чужим, нежеланным, но из всех русских городов – до Суздаля или кроме Суздаля – это был единственный, который я полюбил. Полюбил его кремль, обнимающий почти весь город, его церкви, вписанные в улицы гораздо одухотвореннее и неотрывнее, чем в Новгороде, и обыкновенные дома и улицы, в которых увидел какую-то, пусть неродную, душу. Может быть еще и потому он мне полюбился и запомнился, что связался в моей памяти и с Печорами, и с пушкинскими местами, и с городским музеем, где хранятся прекрасные картины, редкие даже для столиц, – Шагал, Григорьев.

А Новгород мне не понравился. Не понравился его кремль, ни в какое сравнение с псковским не идущий. И кроме церквей, торчащих совершенно инородными сооружениями, ни одного запоминающегося дома, ни одной приветливой улочки. Обыкновенный райцентр, скучный, пыльный и душный (хотя, когда я там был, лил ливень). Может быть, Вы посмеетесь, но мне понравился памятник Тысячелетию России. Больше, чем София; во всяком случае, не меньше – вот и всё в Новгороде.

А знаете, какой был самый первый русский город, не считая, конечно, Москвы, в котором я испытал это грустное чувство разочарования, неприятия, пасынчества? Тула. Это было давно. Я заезжал в Ясную Поляну и сошел с поезда в Туле. Господи, как мне было неуютно, тоскливо, сиротливо в этом сером, хмуром, угрюмом городе с угрюмым и хмурым кремлем. И Владимир такой же – может быть, не такой угрюмый и серый, но хмурый, скучный, деловой, чужой.

Полина, я не люблю России. Это – не вся правда, не полная правда. Я могу добавить к этому, что нигде, кроме России, я не мог бы и не хочу жить и что по доброй воле никогда не уеду из нее. И я тоже –

до замирания, до муки люблю то, что Вам привиделось и послышалось Русью в позапрошломгоднем Вашем путешествии и совсем-совсем давних, но на всю жизнь памятных путешествиях: бескрайний зеленый луг под деревенским небом, с цветами, кустами, деревьями, пасущимися коровками, зеленый луг, по которому Вы шли к Белому Чуду – церкви Покрова на Нерли.

Но та Русь кончилась, она была давным-давно, как Древняя Греция, а вернее всего, как мы с Вами уже почти выяснили о Греции, ее – такой – и не было никогда, а просто в душе нашей, отделенной столетиями, в которых высыхают и испаряются кровь и слезы и забывается все подлое, низкое, жалкое, безобразное, сложилась такая светлая сказка, такой прекрасный миф.

И, может быть, вся наша страшная и бессмысленная (страшная – это куда бы ни шло, на то она и история, жестокости, ужаса, подлости хватало и в истории других народов, но – бессмысленная, до идиотизма бессмысленная) история – это урок человечеству, «как не надо на свете».

Когда у умнейшего Михаила Ромма молоденькая практикантка-француженка спросила, какого современного писателя ей почитать, чтоб лучше понять сегодняшнюю Россию, Ромм улыбнулся (должно быть, печально и горько) и сказал: «Читайте Щедрина». Один Щедрин на всю литературу! А все остальные, и писатели и не писатели: «Да, мы бедные, нищие, темные, отсталые (десять веков бедные и отсталые, при всех немеряных пространствах, неисчислимых богатствах!), злые, коварные, да, мы садисты, насильники, воры, лжецы, трусливые перед силой и смелые перед слабостью, но зато мы лучше Запада, в тысячу раз лучше, есть в нас какая-то тайна несказанная, есть в нас величие и святость».

Подождите не соглашаться со мной, убеждать в чем-то, может быть, и не надо убеждать. Я ведь и сам знаю, что есть тайна и что лучше, ну пусть не в тысячу раз, но лучше.

Но ведь, во-первых, это – чем лучше, в чем тайна – несказанное, его-то и почувствовать не всякому дано, а ведь – от гения, от великого грешника и святого грешника Достоевского до последнего дурака и подонка – все в России поголовно уверены, что мы лучше всех.

А во-вторых, ну как же это можно, чтоб сам человек о себе такое говорил: «я дурак и подонок, кретин и убийца, но во мне великая душа и великая совесть, и я лучше всех на свете»? Да ты погоди, пусть о тебе другие это скажут, а то ведь никто почему-то не говорит. Разве можно *это* любить?

Да не в этом же дело. Это все головное, а вот Вам и не головное.

Помните, Вы – в первые дни нашей встречи в Одессе, в «пер-

вой» Одессе – говорили о пропасти, которую чувствуете между собой и людьми моей национальности? Так это же правда! Для меня это страшная, обидная, убийственная правда.

Вот познакомился с новым человеком (а я никогда не умел по внешности различать, всегда удивлялся, как это люди понимают, кто еврей, а кто не еврей), и если чем-то понравился, чем-то близок, если умница, если «понимающий», так непременно не русский.

Я не придумываю, не преувеличиваю, не смеюсь: переберите-ка в своей памяти. Я знаю, Вы сейчас вспомните несколько имен: ну и что? Во-первых, мы же с этими людьми лично не знакомы и не можем быть уверены, что и они свободны от ограниченности, от того нелепого и стыдного «я лучше всех на свете», а во-вторых, если и найдутся такие, что полностью свободны (обязательно должны найтись), так сколько ж их на двести миллионов, могу с целым миром на спор идти, что и десятка не наберется.

Я уж думал, что никогда не полюблю России, никогда не открою для себя в ней города, в котором хотел бы пожить, как хотел бы пожить в Таллине или Львове, в Вильнюсе или Одессе, если бы не Суздаль.

Суздаль была (я ее всё в женский род перевожу: девочка Суздаль) несомненным Чудом этой моей поездки. Я о ней предвзято и плохо думал и ничего не ждал. Я видел на фотографиях, на открытках, знал, что это город не древний, то есть древний, конечно, наравне с Владимиром, но древностей там не осталось, а все церкви сравнительно поздние: восемнадцатого, ну никак не старше семнадцатого века, и представлял ее этаким музейным, «олимпийским» городком для иностранных туристов.

И то, что Вы о ней писали, меня не очень убедило, потому что и ко всем Вашим восторгам перед Русью я относился, как Вы понимаете, с критическим холодком. Да и Вы – после Белого Чуда на Нерли – не нашли слов для Суздали, не сумели ее зримо и духовно описать: у Вас же в ту поездку еще и Ростов Великий был, и Ярославль: ну что перед ними маленькая Суздаль, и действительно музейная, и действительно не очень древняя.

А мне она сразу понравилась. Я не сумею, наверное, толком объяснить – чем. Как ни странно, тем же, чем сразу понравился Таллин, что я очень приблизительно попытался выразить в стихе «для жизни, а не красоты».

Мне понравилось опять-таки, как ни странно, что в ней почти не осталось старины, истории, а то, что осталось – кремль – совсем не главное, не в нем душа города. А душа есть. Живая. Вот сейчас живая. Среди этих красивых, пусть «музейных», пусть «игрушеч-

ных» церквушек живут люди, копаются в огородах, украшают свои жилые, «мирские» дома деревянной резьбой, и всё это вместе – и церквушки, и огороды, и жилые дома – город, живой, с душой, веселой и приветливой.

И потом – пусть эти бесчисленные церквушки не те, какие мы любим больше всего, не такие, как на Нерли, как во Владимире, как киевская Кирилловская, как наша харьковская, не простые, не смиренные, не бессловесно-молящиеся, но ведь церквушки, ведь это город религиозный, монастырский, верующий. Пусть в этих церквях нет смирения и тишины (а нет ли? разве не может быть веселой тишины, нарядной тишины?), но в них ведь и гордыни нет: они красивые и добрые, маленькие, скромные.

Я жил в гостинице «Ризоположенской»; Вы не могли в ней жить, она совсем новенькая, только что открылась, потому и места были, в Ризоположенском монастыре, и из окна гостиничной комнаты (а скорее всего, она и всегда была монастырской гостиницей) было видно подворье, стена с воротами, ближние и дальние церкви с разноцветными, веселыми маковками и куполами – и сразу в душу нисходила веселая и добрая святая суздальская тишина, радость, умиление, благодать.

Я обратил внимание на то, что большинство суздальских церквей, основная их «масса», так сказать, именно всё, что видится глазами, построены в одно время: примерно с конца семнадцатого века, с 1680–1690-х годов, до середины восемнадцатого, до 1740-х. Это же время Петра. Мне придумалось, что вот, хоронясь от Петра, который, как известно, не любил богомольства, не жаловал храмов, и вопреки его воле, как раз в то время ломки и перемен, здесь, в тихом и закрытом месте, в крохотульной Суздали (к тому времени она уже была крохотульной) верующие люди воздвигли эти красивые святыни. Мне хотелось бы написать когда-нибудь об этом.

И знаете – вот я только что, несколькими строками раньше, написал: «для жизни, а не красоты», а ведь это неправда.

Для Таллина – правда, он ведь не красивый, эта красота, которую мы в нем видим, – это уже ставшая красота, для нас, сегодняшних, ставшая; для тех, кто строил и жил в средние века, ее не было, они не думали о красоте, даже когда церкви строили.

А для Суздали, для России – неправда. Тут – и жизнь, и красота.

Я знаю, почему я свой стих вспомнил, я хотел сказать, что не одни только церкви я полюбил в Суздали, а всю ее живую душу – и в улочках, в домах, во дворах, в огородах.

Но вот этого нельзя отнять у России – красоты. Я был в Таллине в их этнографическом музее «под открытым небом», видел их дере-

вянные избы, сараи, риги, утварь, предметы обихода. Как все утилитарно, бедно, неразукрашено. Эстонцы ходят, умиляются, они ведь все из таких изб вышли, но как убого, как некрасиво.

А в Ленинграде я впервые побывал в тех залах Русского музея, что посвящены народному искусству. У меня так получилось, что каждый раз, как я приезжал в Ленинград, эти залы были закрыты – то ли на ремонт, то ли так просто: у нас же это бывает, – и я даже не знал, что в Русском музее есть такой огромный отдел, десятки залов.

Какая это красота, Полина! Какое чувство красоты было у моих предков – простых крестьян, мужиков. Ведь не просто же избы, ведь где только можно – петушки, коньки, узоры, орнамент. И не только избы – всё: дуги, веретена, ложки, – да всё-всё, Вы же знаете, Вы же, наверное, видели. И, наверное, помните, какие красивые дома в Суздали, не те, что в специальном месте, перевезенные, а на улицах, где люди живут, с резьбой, со ставнями расписными, сегодняшние жилые дома.

Вот если бы вся Россия была такая, как Суздаль, я бы любил ее. Но такой я больше нигде не видел. Я шутил с ленинградцами, для них горько шутил (для Ленинграда, «потерявшего царство»), не столично-го, областного, провинциального), что в России есть два – известных для иностранцев – города-музея, где весь город со всеми улицами, домами, даже воздухом стал музеем: Ленинград и Суздаль. И в обоих я хотел бы жить, хотя они разные, и России разные – петербургская и суздальская.

Я уже немножко начал об Эстонии, так что мне будет легко к ней перейти.

Вы помните Таллин? Так вот, представьте себе, что он весь-весь, все дома, все здания – выкрашен свежей, еще не успевшей просохнуть краской, то есть разными, конечно, красками, но всё средневековое – новехонькое, с иголки, «олимпийское». Через год это будет, наверное, красиво, но сейчас непривычно и раздражает. И поскольку всё это еще делалось, ремонтировалось, подправлялось, красилось, то весь Таллин был в суете и азарте этого преолимпийского ремонта, весь перерыт, перекорежен, и, пожалуй, так, как в первый раз, первым потрясением, сразу влюбившимся взглядом, я его уже никогда не увижу и к стихотворению моему ничего прибавить не смогу. Мы его помним и любим.

И я в этот раз не его полюбил, а Эстонию. Таллин ведь, в сущности, не эстонский город, им этого говорить нельзя и даже мысленно их у него отбирать нельзя, но строился он не эстонцами – датчанами, шведами, немцами, эстонского там почти и нет ничего.

Наш туристский лагерь был в самой серединочке, в самой настоящей Эстонии, и мы оттуда ездили в районные центры: в Тарту,

в Кохтла-Ярве, в Ракквери¹, в Нарву, еще куда-то, у них трудные названия, я не запомнил всего.

Мне нравится, как эстонцы любят свою страну – без битья в грудь, без восторгов и умилений, без этого кретинского «мы лучше всех на свете». Просто любят, берегут землю, воздух, берегут свою страну, свои обычаи, традиции, свою культуру.

Я написал о бедности и скудости их народной архитектуры, старой, древесной. Зато их современные одноэтажные домики, которых полным-полно по хуторам и городкам, очень нарядны, привлекательны, уютны. Это европейский уют. И, вероятно, та часть их души, которой потребна красота, которая алчет красоты и выливает себя в красоту, вся ушла не в быт, не в строительство, а в песню. Их национальный праздник – певческий праздник. Он проходит не в один день, а на протяжении недель, может быть месяца. Сначала празднуют в хуторах, поселках, городках, потом лучшие коллективы, лучшие хоры – в райцентрах и, наконец, в Таллине.

Таллинского мы не дождались, а видели сначала парад участников в Тарту, когда они – молодые, старые, дети, старухи в праздничных народных костюмах, некоторые даже почему-то в масках, – шли через весь город на свое певческое поле, а потом в Тойле, где проходил районный праздник города Кохтла-Ярве.

Вы понимаете, это их праздник, не по календарю, не официальный – от души праздник, каких у нас в России просто и нет ни одного (ну разве Новый год). Они добровольно идут, им весело и радостно праздновать, мы про такое забыли, не знаем. И участвуют в празднике, то есть в хорах, сотни, тысячи, у меня такое впечатление, что больше, чем зрителей и слушателей.

Вы понимаете, что хочу сказать? Я не поклонник хорового пения, ничего в нем не понимаю, тем более на чужом языке, да и слушать почти не пришлось, нас привозили на открытие, а потом увезли, но, честное слово, слезы были на глазах. И Вы бы плакали. Это хорошо, это свято – так любить свое, так беречь, сохранять, передавать – без гордыни, без чванства, без навязывания. И так во всем.

Я немножко рассказал о певческом празднике, потому что тут есть за что ухватиться, есть что передать, но так – во всем. Я ведь написал Вам, что «люблю Эстонию», еще и не зная об этом празднике. И это я не могу рассказать. Ну, идет по улице эстонец или эстонка, и ты уже по тому, как они идут, понимаешь, что они любят свое и что это прекрасно. Не себя любят, а свое – это разница, хорошее свое, сбереженное, сохраненное.

И при этом они вовсе не консервативны, не патриархальны, они очень современны. Совершенно случайно в том самом таллинском

музее под открытым небом мы смотрели интересный спектакль. Это были артисты из тартуского знаменитого «Вайнамуине»², но молодежная группа этого театра.

То, что они показывали, был спектакль по мотивам их классической, изучаемой в школах пьесы в переводе на русский язык, «Оборотень», но – какой спектакль!

Представьте себе какую-то русскую известную пьесу, ну, скажем, «Грозу», – и артисты не разыгрывают пьесу, написанную Островским, а рассказывают ее хорошо известное и Вам, и всем содержание танцами, пантомимой. Катерину не играет актриса, а выносят ее чучело, куклу, и, рассказывая содержание пьесы, с этой куклой делают то, о чем рассказывают: ласкают, проклинают, обижают, убивают, хоронят.

Вот какой это был спектакль, и как они здорово «играли»: я и смеялся, и радовался, и плакал. Это была история, похожая на купринскую «Олесю»; история девушки, которая не похожа на всех и которую поэтому считают «оборотнем», волком и доводят до смерти. Артисты выходили из какой-то музейной «экспонатной» избу (игравшей роль кулис, уборной) с песней и с куклой этой девушки – и так с куклой и песней и шли на площадку, где должно было быть представление. Зрители окружали их – кто на скамейках, кто на травке, а большинство стоя, – и на площадке всё и происходило: очень здорово, талантливо, прекрасно. И, конечно же, это – «левое», современное искусство, чем-то напоминающее Таганку.

Девушка, объяснявшая нам пьесу, осталась очень недовольна: ей хотелось увидеть «настоящую» пьесу, так, как написано. Но ведь ее в Эстонии все знают – и артистам неинтересно ее играть «как написано».

Я не приверженец «левых» экспериментов в искусстве и не хотел бы, чтоб весь театр был таким, но мне было интересно. И не просто интересно. Не зная содержания (это же потом та недовольная девушка нам рассказала), я почти всё понимал: вот как это было талантливо и здорово! И я еще что-то об Эстонии узнал.

Мы еще обязательно – только не сейчас – поразговариваем с Вами о Прибалтике, о нашей маленькой, «захолустной» Европе, о том, что мы вынесли из встреч с Таллином, Вильнюсом, Львовом, Ригой, о России и Западе, о России и о нашем Западе – о Литве, Латвии, Западной Украине. Это интересно и нужно. В этом письме я уже не успею.

Немного договорю об Эстонии. Это не сразу видно, а она не похожа на Литву и Латвию. Она гораздо беднее, она более «маленькая». Я Вам уже писал, что она чем-то похожа на Молдавию, причем вдвойне. Во-первых, Молдавия мне еще тогда, когда я ездил в Кишинев, напомнила Прибалтику – не обликом Кишинева, который

не похож ни на Таллин, ни на Вильнюс (хотя, опять-таки, чем-то и похож), а вот этой любовью к своему, бережением своего, маленького, но дорогого. Она вообще похожа на Прибалтику. Но из всей Прибалтики – это во-вторых – на Эстонию в особенности. И Молдавия, и Эстония – крестьянские, деревенские, бедные страны.

В Молдавии, правда, нет моря и рыбаков, уходящих на дальние, к берегам Америки и Японии, промыслы, а в Эстонии не растет виноград. И сами молдаване говорливы и темпераментны, а эстонцы молчаливы и сдержанны. Но это – дело десятое. Похожего больше.

Литва, даром что маленькая, большую часть своей истории была объединена с Польшей, у нее была государственность, соборы, утонченная культура. Латвия не имела государственности, но Рига всегда была великим городом, из-за нее воевали, с ней торговали, ее называли «маленьким Парижем». И Литва, и Латвия – настоящая Европа, пусть и очень восточная, но такая же настоящая, как Польша, как Львов.

А об Эстонии можно с еще большим основанием и правом сказать то, что я сказал о Кишиневе: что это сестра европейских наций, затерявшаяся в скифской глуши и скуди. Потерянная, забытая и забывшая сестра – Чухляндия, чухонцы. И при Петре, и при Пушкине – «убогие чухонцы». Как и Молдавия – Европа только по территориальному признаку, а так – Азия, колония, захолустье, без истории, без культуры (у Молдавии была история, Вы же видели памятник Штефану Великому, но ее и сами молдаване забыли).

И Эстония, и бессарабская, кишиневская часть Молдавии только с 18-го года приобщились к европейской культуре, но приобщились и не хотят разобщаться. И этим они тоже похожи.

Напрасно Вы с собой Друзя не взяли. Может быть я скажу ужасную глупость, но, по-моему, если не решающая, то одна из очень-очень объясняющих и важных причин нашей «русской судьбы» и того, что Россию невозможно или трудно любить, – это ее огромность, пространственная, немислимая, несправедливая, безобразная огромность. Трудно на таком пространстве сохранить душу. Вы знаете, я завидую нашим маленьким «европейским» народам – литовцам, латышам, эстонцам, молдаванам. Я в Эстонии понял, что хотел бы быть эстонцем. Бог с ними, с Пушкиным и Толстым! Зато не так стыдно было бы в Божьи глаза смотреть.

Всё, что я сейчас написал, – всё это «с одной стороны», и я чувствую, как Вам не терпится возражать, дополнять, спрашивать, не соглашаться. Я же сказал, что мы об этом поразговариваем...

1. Правильное название – Раквере.

2. Правильное название – Ванемуине.

Июль 1980

...Продолжаю начатый разговор «о людях».

«Нет в мире виноватых» – это прекрасно сказано, и это истина, но это – трагическая истина, от которой хочется умереть; ее нельзя, как ребеночку, повторять и радоваться. И, как все Божьи истины, она в нас, в людях, не вмещается; для нас, для людей, это и так и не так, и правда и неправда – и всё на лезвии бритвы.

Не так давно, чуть больше месяца, мы еще раз посмотрели «Начало» Панфилова. Помните диалог Жанны с инквизитором, когда она в ответ на его слова (о том, что человек – «сосуд грехов» или что-то в этом роде) говорит, что «да, сударь, он слаб и мерзок, но вдруг бросается наперерез скачущим коням и ценой своей жизни спасает гибнущего в карете ребенка»? Это взято из пьесы Ануя, историческая Жанна так говорить не могла. Но это мысль о человеке всех гуманистов, это ведь и Ваша мысль.

Да, человек такой, как Вы сказали (не буду повторять), и еще хуже, но в нем есть божественная, прекрасная сущность, она может проявиться, когда он бросается наперерез и т. д., а может и не проявиться, но она обязательно есть, и поэтому и за это его нужно любить.

Или еще проще – как Вы: да, он мерзок и плох, но и у последнего подонка есть или была мама, и кто-то его любил, и, может быть, он любил кого-то, и все на свете плачут, когда им больно, поэтому их нужно любить.

Но это неправда, почему-то и за что-то человека любить нельзя, невозможно.

Жанна не права: человек мерзок и темен, когда он убивает, насильничает, развратничает, и тогда, когда он ценой жизни спасает ребенка из-под копыт взбесившихся коней, и тогда, когда он плачет от боли.

Человек не виноват, но он виновен. Человек виновен, мерзок и темен, потому что он предал Бога, оставил Бога, узнал грех и «увидел, что это хорошо». Это из Книги Бытия: там Бог, творящий мир, каждый раз, когда сотворяет что-то новое, огромное и прекрасное, «видит, что это хорошо», – и радуется.

Человек, оставивший Бога, творит свой мир, по своему образу и подобию, безбожный, бездуховный мир, – и тоже «видит, что это хорошо». Ему, бедному, всё нравится, по крайней мере нравилось, пока творилось. И мне его не жаль. «Философски» не жаль, разумом не жаль.

Жалеть можно насильно ослепленного, насильно лишенного

Божьего Света. А человек сам не хочет видеть, не хочет слышать, всё глубже и глубже уходит во тьму.

В своем «творении мира» он ни разу по-настоящему не вспомнил оставленного, преданного, плачущего о нем Бога, не откликнулся на Его зов, не подумал о Нем.

И он не может быть невиноватым, невинным. Он утратил невинность, когда совершилось грехопадение, когда он оставил Бога и стал мужчиной или женщиной.

И то, что нет в мире виноватых, может быть что-то значащей правдой только в одном случае. Если знать, что все мы виноваты, все эгоисты, все в грехах и винах, и счет нужно начинать с себя – и кончать на себе. На это я согласен.

Я обойдусь без слова «виноватый», мне хватит слов «низкий, злой, глупый, гадкий», хватит слова «грешный», хватит слова «плохой».

Если Вы настаиваете на том, что нет виноватых, я согласен. Человека не за что любить – не потому, что он виноват, а потому, что он такой невиноватый, так греховен и порочен, так падок на зло и так глух к добру, так жесток и корыстен, так темен и подл.

И все-таки должно же быть какое-то слово! Пусть не «вина», Бог с ним, пусть «ответственность», пусть какое-то другое точное слово, какого мы с Вами не знаем или какое мы забыли, но какое помогло бы нам установить разницу между хорошим и плохим, добрым и дурным, прекрасным и безобразным.

Должны же люди, при всей биологии, при всей предопределенности, отвечать за свои поступки, за дела свои. Тем более, что они не веруют в Бога и сами творят свой мир по своему разумению и желанию.

Ну допустим, – убедили же Вас в том, что потребность к совокуплению дана человеку природой и что поэтому развратники и блудницы *не виноваты* в том, что они развратники и блудницы, – допустим, завтра Вам убедительно, «научно», бесспорно докажут, что фашистская ненависть человеческого большинства к культуре, духовности, к тем, кто видит Свет или тянется к Свету, да просто ко всем и всему, что не похоже на него, отлично от него, тоже дана природой и потому тоже абсолютно естественна и законна (а по всей видимости, так оно и есть). Что же, после такого доказательства мы снимем ответственность с черносотенцев, расистов, погромщиков, тюремщиков, садистов?

Я до смерти буду спорить с Вашим «они же не виноваты». Зная, что нет виноватых, буду спорить. Соглашаясь тысячу раз, буду спорить. Тут какая-то тайна на лезвии бритвы. Должно быть какое-то слово. Должна быть мера.

Хорошо, потребность к совокуплению дана природой, жестокость, грубость, наглость – от генов, несправедливость – от темноты; действительно, в их наличии человек не виноват. Но ведь тоже с рождения даны человеку – природой или Богом, которого он оставил, но который его не оставил, – совесть, жалость, стыд, благодарность, сострадание, восторг перед высшим или прекраснейшим. Даны или не даны?

Даны, всем нормальным людям даны, каждому ребенку даны. Всегда – любому нормальному, всем – страшно в первый раз в жизни ударить человека, причинить боль, обидеть, оскорбить, совершить кражу, солгать.

Любому нормальному мальчику страшно в первый раз увидеть женскую наготу, лечь в постель с женщиной, да и просто прикоснуться в первый раз к женщине – не к маме, не к сестре, к женщине – страшно.

Почему же эти страхи, тоже данные от рождения, тоже естественные и законные, так легко и быстро преодолеваются, снимаются, забываются неизгладимо? Почему всегда-всегда желание оказывается сильнее стыда и боязни, жестокость – сильнее жалости, зло – сильнее добра?

Должно же быть какое-то слово, если не «вина»?

Вы с детства спрашиваете, как ребенок, «почему люди не то что не любят друг друга, уж Бог с ней, с любовью, но почему они так недобры, так недоброжелательны друг к другу?» Должно же это иметь какое-то название – кроме «природы» и «темноты»: ведь и свет был не закрыт, и добро было заложено.

Для того чтоб жить, человек должен есть и пить, добывать и принимать пищу, – но он же может стать или не стать чревоугодником, обжорой, пьяницей, может делиться последним куском с товарищем, голодным, нуждающимся, и может отнять или украсть у другого, чтоб набить свое брюхо.

Человек по законам природы испытывает вожделение, но он может уклониться от животной случки с кем попало или поддаться ей, может стать или не стать развратником, насильником, нечистоплотным.

Простите, что я Вам из букваря читаю. Но должно же вот это – то, что он сам выбирает между лучшим и худшим, – как-то называться и учитываться. Не всё же судьба и природа. Да и природа, и судьба, в конце концов, – такие же слова, как разум, совесть, воля, душа. Почему они должны быть непременно сильнее?

Вы скажете (Вы давно уже про себя думаете): это я уже слыхала. Да, но Вы же не слышали конца, вывода.

Если Вы после всего, что я наговорил, спросите – «так что же делать?» – я отвечу Вам: то, что Вы и делали до сих пор – жалеть, сострадать, прощать обиды, любить – или, во всяком случае, хотеть

любить, стараться любить, упрекать и мучить себя за то, что не можете полюбить, мало любите, – и учить меня – вот такого, с такими моими мыслями – этой любви, напоминать мне, когда я забуду.

Но не почему-то, не за что-то, не потому что «они не виноваты». А просто потому, что они люди, живые, часть всего живого, как воздух, как свет, как трава и деревья, как животные и птицы.

Я, например, так любить не умею, для меня такая любовь – физически, психологически, как угодно – сейчас, сегодня, пока невозможна...

Любить людей трудно (для меня, как я сказал, пока невозможно) не потому, что они такие, как я написал о них (а они такие, можете не сомневаться; впрочем, что значит «они», – мы все такие), а потому, что это совсем другая любовь: любовь, к какой я, например, совсем не готов, потому что привык называть любовью совсем другое.

Я уже говорил Вам, что любить людей, как велит Бог, любить всех людей – это значит любить не Моцарта, не Толстого, не раскаявшегося убийцу, не загнанного зверя, от которого все отступились и которого можно поэтому пожалеть, и не Каина, не палача, не костромскую проститутку, а просто людей, человека, живое в человеке, жизнь в человеке. Как мы любим свет, воздух, тополя, платаны, цветы, кошек, собак, птиц.

Когда я это в первый раз Вам сказал (а Вы, наверное, и без того давно знали, как и я, впрочем, но забыл, что знал), я этого еще не очень понимал, я только разумом «дошел» до этого, мне еще легко было это говорить.

А на самом деле это очень страшно. Это меняет все в нашей жизни. Вы, наверное, даже не представляете, как это все меняет.

Ради такой любви, какой хочет от нас Бог, нужно забыть, что Моцарт – Моцарт, что Толстой – Толстой.

Я какой-то смутной догадкой это всегда понимал. Помните, я Вам повторял, что любить людей, как любил их наши русские пустынноики или индийские святые, можно только «издалека», из пустыни, из уединения, не видя их близко перед собой.

Это ведь и значит – не видя Пушкина и Дантеса, не различая их.

Нужно молиться человеку. Но не так, как молятся на него гуманисты. Не потому, что в нем есть божественная сущность, не потому, что он бывает велик и прекрасен – и звучит гордо. Не человеку вместо Бога. А жизни в человеке и человеку как части всемирной жизни.

Получается, что не душу нужно любить в человеке, потому что душа это и есть Пушкин, Толстой, Марина, Каин, Петр, а тело, плоть, жизнь, что Божий Дух в человеке это и есть жизнь.

Страшно получается, ведь правда? Что-то я сам чувствую, что не

так. Отшельникам и пустынноикам было легче, они ведь не читали Пушкина, не слышали Моцарта, не знали Толстого. А нам отказываться от них приходится. Неужели такой ценой дается та любовь, которую заповедовал и которой хочет от нас Бог?

Не хочу, не хочу так заканчивать письмо. Лучше я приведу Вам фрагмент из письма Померанца.

«Очень всё, как приглядишься, мерзко. Набираешься света, повернувшись спиной к людям и лицом к деревьям, небу, музыке (родившейся как будто в другом мире).

Потом думаешь о человеческом – и опять подташнивает.

И посреди этого елка, и вокруг нее несколько друзей.

У меня болит поясница, и я хожу с какой-то нашлапкой Аси Великановой¹. Пора менять, но знахарка слегла в гриппе. Ношу как память. Вообще, хороших людей вокруг – не так уж мало. Но посчитайте-ка точно и строго, сколько выйдет на каждый квартал... И выходит елка во время чумы...

Один итальянский святой, до того, как его канонизировали, еще мальчиком, вызвал недовольство священника тем, что играл в мяч. ‘Что бы Вы стали делать, – спросил священник, – если бы узнали, что завтра светопреставление?’ – ‘Продолжал бы играть в мяч’, – ответил Людовико Гонзаго. Вот и мы играем... Приезжайте, поиграем вместе.»

Притча об играющем в мяч святом мне представляется очень религиозной. Это притча о доверии к Богу, к Его Воле. Он мог бы не играть в мяч, а молиться, проповедовать, читать книгу. Дело не в игре, а в том деле, которое делаешь. И если завтра конец света – это не твоя забота, а Божья Воля, а ты не плачь и не проклинай, а делай то, что делал – молись, проповедуй, читай книгу – или играй в мяч.

Мне кажется, что я так и живу. Я ведь тоже живу с ощущением завтрашнего светопреставления. И все-таки – светел и радостен.

1. Ася Великанова (1936–1987) – одна из трех сестер Великановых, известных правозащитниц. Она принимала участие в выпуске «Хроники текущих событий», была членом Московской Хельсинкской группы, много помогала семьям арестованных за участие в диссидентском движении.

Владимир Жиганов

Открытое письмо газете «Голос Родины». 1976

ДОНЕСТИ ПРАВДУ

Для огромной массы людей, выброшенных революцией в вынужденную эмиграцию, вопрос о будущем России, ее судьбе был крайне важен. От ответа на этот вопрос выстраивалась личная жизнь конкретного человека. Диапазон мнений был очень большой, но постепенно образовалось два основных течения: с одной стороны – сменовеховцы и евразийцы, выступавшие за примирение с советской властью, с другой стороны – носители идеи непримиримости.

Отправной точкой, послужившей для создания всевозможных комитетов и союзов, выступавших за примирение с советской властью и возвращение на родину, стало издание декретов ВЦИК от 3.11.1921 года об амнистии участников Белого движения. Во многих странах, где находились русские эмигранты, стали возникать различные отделения «Союза возвращения на Родину»; только в одной Болгарии было создано 65 таких организаций. Количество людей, решивших вернуться, составило около 180 000. Почти всех их ждала незавидная судьба: по прибытии на родину офицеров расстреливали на месте, остальных, как правило, направляли в концлагеря. Подобных директив и декретов издавалось немало за годы советской власти, особенно после Второй мировой войны, – увы, всех «возвращенцев» ждала одна горькая участь «лишенцев».

«Совнарод» и ему подобные организации издавали свои газеты, через которые проводилась, с одной стороны, агитация и склонение людей к репатриации, а с другой – создание положительного образа СССР в Зарубежье и критика эмигрантских организаций. Газета «Голос Родины» начала издаваться с 1955 года. Вначале она называлась «За возвращение на Родину», а в 1960-м была переименована в «Голос Родины». Газета распространялась в 83 страны, целевая аудитория – русская эмиграция. Именно эту газету в течение многих лет читал и анализировал Владимир Данилович Жиганов, человек удивительнейшей судьбы – штабс-капитан, принимавший участие в трех войнах, литератор и издатель, представитель Российского Зарубежного исторического архива в Чехословакии. Находясь в эмиграции в Шанхае, он подготовил и издал уникальный альбом «Русские в Шанхае», который без преувеличения можно назвать энциклопедией жизни русской эмиграции в Шанхае. В предисловии к альбому он напишет: «На страницах своего альбома я старался запе-

чатлеть те качественные проявления, которые выказала русская белая эмиграция за годы своего изгнания, а именно: неугасимую любовь к своей Родине, веру в Бога и преданность Святой Православной Церкви»; в этом весь Жиганов и его жизненное кредо. После переезда в Австралию он издает журнал «Картины прошлого» и продолжает собирать материалы для второго тома «Русские в Шанхае». В моем архиве находится Открытое письмо, написанное В. Д. Жигановым в сентябре 1976 года, в котором он обращался к сотрудникам газеты «Голос Родины», а если точнее – ко всем соотечественникам, рассказывающая неискаженную правду о тех событиях, участником которых он был.

Следует отметить, что подобные письма писались не только В. Жигановым, готовились они и сотрудниками Народно-Трудового Союза, «Братством Русской Правды», да и частными лицами – людьми, которые не могли смириться с советской диктатурой, установившейся на их родине, с тем, что вещала советская пропагандистская машина. Как правило, эти письма и листовки забрасывались в Советский Союз на воздушных шарах, оставлялись в пассажирских поездах, следующих в СССР, распространялись среди советских людей, оказавшихся на Западе, – моряков, деятелей искусства, ученых.

Неудивительно, что в письме есть небольшие фактологические неточности; в частности, в списке расстрелянных маршалов стоят фамилии Корка, Каширина, Мразовского. А. И. Корт был командармом 2-го ранга, И. Д. Каширин – начальником мобилизационного отдела Народного комиссариата лесной промышленности СССР, Мразовский, скорее всего, был военспец.

Конечно, современному читателю, с позиций сегодняшнего дня, это письмо может показаться наивным, но от этого оно не перестает быть важным документом своего времени, в котором отразилось состояние умов постаревшей белой эмиграции, сложившиеся в ней легенды, – как и прежняя ее вера в то, что Россия освободится от коммунистов. Письмо Жиганова – типичный образец такого рода многочисленной корреспонденции, с помощью которой, в том числе, эмиграция пыталась бороться с советской властью.

Письмо дается в сокращенном виде, по современной орфографии, с сохранением стиля автора.

Юрий Сандулов

МОЯ ПРОСЬБА К РУССКИМ ПАТРИОТАМ

Так как мое Открытое письмо газете «Голос Родины» может не пропустить советская цензура, я напечатал несколько сот его копий, при помощи которых оно, несомненно, дойдет до тех, кому оно адресовано.

Купив себе несколько копий (хотя бы три копии, за доллар), храните их до Вашей встречи с советскими туристами или же матросами. Дайте им прочесть мое письмо. Правду они должны знать.

Вполне возможно, кто-либо из них (даже из тысячи один) возьмет одну копию и увезет на родину. А там, уложив письмо в свой конверт, бросит в поч-

товый ящик, и оно дойдет до «Голоса Родины». И может быть, до самого маршала Советского Союза Ильича Второго.

Это письмо полезно прочесть также тем, кто не читал мои журналы «Картины прошлого».

Шлите эти копии Вашим знакомым в Америке и Европе. Может быть, от них мое письмо будет иметь больше шансов дойти до Москвы, чем от нас.

В этом письме я никого не ругаю, а излагаю только известные мне факты, которых не знают сотрудники «Голоса Родины».

Было бы очень неплохо, если бы кто-нибудь сделал точный перевод на английский язык, а потом бы нашел желающих напечатать и разослать копии политическим партиям Свободного мира, включая коммунистическую.

Владимир Данилович Жиганов

V.D. Jiganoff, P.O. Box 92 Burwood, N.S.W. Australia

Редактору и сотрудникам советской газеты «Голос Родины»

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

Дорогие соотечественники,

В 27-ом номере вашей газеты «Голос Родины» вы комментировали письмо Сергея Введенского, присланное вам из далекой Бразилии. Он написал вам, что всё, что вы пишете, есть брехня.

Разрешите и мне, вашему долголетнему читателю, сказать кое-что на эту тему. Я тоже ненавижу брехню!

В вашем ответе на письмо Введенского вы утверждаете, что он ошибается, считая вашу газету брехней, потому что он уехал из России ребенком и поэтому о жизни на родине ничего не знает.

А я уверяю вас, дорогие соотечественники, что мы, живущие за границей, знаем обо всём, что творилось и творится в России с 1917 года, больше тех, кто жил под контролем советских диктаторов: Свердлова, Сталина, Маленкова, Булганина, Хрущева и теперь живет рабом Брежнева. <...>

Сергей Введенский, если он, живя за границей, интересовался своей родиной, знает о ней больше, чем вы, так как в Советском Союзе всё знать не положено. А я немного постарше Введенского. Мне уже 80. И за 60 лет с Октябрьской революции я узнал о жизни на родине гораздо больше, чем Введенский, и не потому только, что я старше его, но потому, что для меня родина всегда, с самых юношеских лет, была дороже моей жизни.

Я защищал ее, рискуя своей жизнью, и в Первую мировую войну, добровольцем воюя с немцами, и в Гражданскую, воюя с

интернациональной армией Лейбы Троцкого, и во Вторую Отечественную войну, воюя с изменниками и предателями России.

Живя за границей, я никогда не отрывался душой от моей матери-родины. Я всегда читал и то, что писали в газетах и книгах бежавшие с родины, и то, что писали в газетах и книгах на родине.

Ленинский рай я видел собственными глазами и испытал его на своей шкуре. Но я один, конечно, не мог увидеть всего, что творилось в советском раю, и не мог знать правду обо всем творившемся, так как советская власть всегда скрывала правду от народа.

Но правду, как шило, в мешке не утаишь. Она всё равно вылезет наружу. После Октябрьской революции 3000000 россиян имели великое счастье унести свои ноги с любимой родины, спасая свою жизнь. (Два миллиона до Второй мировой войны и миллион после войны не захотели вернуться из германского плена.) Среди бежавших были и помощники советских министров, и послы, и генеральные консулы, и областные начальники ГПУ, и военные командиры, и выдающиеся ученые, и известные академики, и прославленные советские писатели, и другие члены коммунистической партии СССР. И почти каждый из трех миллионов бежавших с родной земли приносил в свободный мир какую-нибудь новую подробность о происходящих в России событиях, которые там скрывала пресса.

Сотни потрясающих мир книг были написаны бежавшими о страданиях несчастного российского народа и жестокостях власти, созданной Лениным. Тем самым Лениным, великим обманщиком, который написал более тридцати томов о законности, справедливости, о недопущении эксплуатации человека человеком, о всеобщем братстве человечества, о всеобщем равенстве, о мире всего мира и недопустимости войн, о передаче всей пахотной земли крестьянам в полную собственность и прочих идеях, которые он, с первых же дней захвата власти, даже не пытался применить, а делал всё обратное тому, что писал в его книгах.

В 1969 году Комитет Защиты прав человека при Организации Объединенных Наций на заседании, состоявшем из представителей коммунистических стран и некоторых черных африканских республик, которым Москва оказывает финансовую и военную помощь, просмотрев сочинения Ленина, вынес резолюцию, провозглашающую его величайшим гуманистом нашего времени. Не было на том заседании никого из русских, кто мог бы сказать тем продажным душам, что Ленин никогда в его жизни не был гуманным человеком. Ленин презирал мораль и гуманность, считая, что гуманностью он никогда не добьется победы. Он и не скрывал того. Он писал с наглостью, черным по белому: «Морально для нас только то, что спо-

собствует созданию социализма и ведет к победе мировой резолюции. А всё, что препятствует нашей победе, антиморально».

Его гуманность значит: если помогает коммунизму, воруи, грабь, насилуй, убивай. Греха не будет, Карл Маркс сказал: Бога нет. Свергнув при помощи обманутых балтийских матросов Временное демократическое правительство и разогнав пулеметами Учредительное собрание, избранное всеми народами России, которое должно было выработать конституцию страны и избрать правительство России, Ленин объявил «диктатуру пролетариата». А что означает слово «диктатура», он пояснил в 25-ом томе его сочинений на странице 441: «Понятие диктатуры означает не что иное, как ничем не ограниченную, никакими законами, никакими абсолютно правилами не стесненную, непосредственно на насилие опирающуюся власть». Будучи фанатиком-интернационалистом, он смотрел на Россию и на русские народные массы как на строительный материал для создания Мировой революции.

Он не спрашивал, что хочет русский народ и чего не хочет. Придя к власти, он очень хорошо знал, например, что подавляющее большинство России – верующие люди и принадлежат к христианской Православной Церкви. <...> [он] решил насилием уничтожить христианство, существовавшее в России 1000 лет. И уничтожить его не антирелигиозной пропагандой, а самыми жестокими мерами. По приказу этого «гуманиста» большевики во всех частях страны начали закрывать и громить православные храмы и очень многие из них просто сносить с лица земли, чтобы не оставалось от них следа. Тысячи прекрасных церквей, включая и величественные соборы в Иркутске, Костроме, Харькове, Киеве и других городах, и даже в Москве храм Христа Спасителя, являвшийся одним из величайших в мире христианских храмов, воздвигнутый в благодарность Богу за избавление русского народа от Наполеона и в то же время являвшийся памятником героям Отечественной войны, были взорваны и снесены с лица русской земли. Грандиозные колонны и стены с внутренней стороны были украшены в нем большими мраморными досками, на которых были выбиты и покрыты чистым золотом имена отдавших свою жизнь за Россию; русский народ собирал даже по копейке на его сооружение, строили его 40 лет, стараясь сделать его как можно красивее и величественнее. Даже грандиозный купол его был покрыт чистым золотом, которого пошло для этого 150 пудов.

Как же не назвать разрушение этого величественного памятника великим глумлением Ленина над русским народом? Ленин не только плюнул в душу верующего в Бога русского народа, но еще он оплевал наших прадедов, которые спасли своими жизнями Россию и прославили ее тогда на весь мир. Только подлец мог назвать гуман-

ностью это великое злодеяние, совершенное Ленинской властью. Если бы Ленин был дикарем африканским, вроде тех, кто назвал его великим гуманистом, тогда я назвал бы его вандалом, но Ленин не был дикарем. Он – генеральский сын, да еще дворянин с высшим образованием. Разрушение Храма Христа Спасителя показывает нам ясно, каким он был ярым безбожником и как он ненавидел верующих и патриотов. Считая верующих и патриотов самым большим препятствием к достижению своей цели, он готов был сжечь их всех на костре. Уничтожить их вместе с их духовенством и их храмами. Но казнить за веру в Бога он сразу не решился. Это сатанинское дело он оставил его последователям. Сначала он решил уничтожить духовенство, и под его благословение началось на Русской земле истребление служителей Православной Церкви. Еще при его жизни были убиты, замучены и даже растерзаны многие епископы, архиепископы, митрополиты, а большинство было заключено в тюрьмы на долгие сроки, где многие из них погибли. Я не имею данных о числе убитых духовных лиц после смерти Ленина, но еще при его жизни уже было убито 2661 лицо белого духовенства и 5409 монахов и монахинь. В тюрьмах их мучали, били и заставляли отречься от Бога. Им обещали освобождение, если они сделают это. Я лично встречал сельского священника, который, сидя под арестом, подписал под угрозой смерти письмо в губернскую газету, в котором он просил прощения у народа за то, что он обманывал 20 лет верующих людей, называя себя шарлатаном и паразитом. Читая его письмо, я был глубоко возмущен его поступком и называл его негодяем. Большевики выпустили его, и он оказался моим соседом по рыбной ловле. Проходивший мимо нас какой-то рыбак, глядя на меня и указывая пальцем на священника, крикнул: «Вот он, хриstopродавец, сукин сын, который написал письмо в газету». Я взглянул на священника. Он показался мне очень несчастным и жалким. Его милое лицо выражало великое душевное страдание и как бы говорило: «Пощадите, что вы со мной делаете?» Я подошел к нему и спросил: «Зачем вы написали письмо в газету?» Он не выдержал и заплакал. Потом, с бегущими из глаз слезами, сказал: «Голубчик, Владимир Данилович, послушайте меня, я верю, что Вы никому не расскажете, что я вам скажу! Меня много раз ГПУ просило прекратить церковные службы, а верующие в один голос говорят: ‘не слушай их, отец Павел. Это не ихнее дело. Церковь теперь отделена от государства’. Явилось ко мне ГПУ, арестовали меня, это было в прошлую зиму, и посадили меня в сельскую нетопленную баню и заперли. На второй день приходит ко мне наш председатель и говорит: ‘Что же ты, отец Павел, наделал? Что же будут делать теперь твои малые детки? У тебя же их, кажись, двенадцать, и старшой

(Зине) еще и шестнадцать годов нету. Что же с ними будет теперь делать матушка, после твоего расстрела?» – ‘Я, – говорит мне священник, – пришел в ужас’. – ‘Разве они хотят расстрелять?’ – ‘Да, отец Павел, это уже решено. Наверно, завтра они прикончат тебя. А ты знаешь, отец Павел, ты можешь спасти своих деток. Напиши в губернскую газету письмо, что ты никогда не верил в Бога, а в священники пошел, чтобы помогать капиталистам пить народную кровь. Вот, я даже приготовил тебе письмо. Подписывай скорее, пока еще жив, и я сейчас побегу к помощнику начальника ГПУ. Когда он увидит, что ты подписал письмо, он сразу тебя выпустит». <...> «И я, – сказал мне отец Павел, – принял на свою душу великий грех, чтобы спасти моих маленьких деток». Этим «гуманным» ленинским поступком отца Павла не подвергли казни физической – но подвергли страшной пытке духовной. Женщины, встречая его, плевали ему вслед, оскорбляли его, называя Иудой, спрашивали его, за сколько сребреников он продал Христа. Мужчины, встречая его, материли, а он молчал, не отвечая им ни одним словом, так как помощник начальника ГПУ взял с него подписку не говорить никому ни слова, почему он написал письмо. Он сказал ему, если он нарушит обещание, то на сей раз будет прикончен без разговоров.

Когда начались в России массовые расстрелы духовенства и верующих людей ленинской «гуманной» властью, святейший Патриарх Тихон, который во время борьбы Белых армий с безбожной еврейской властью, не обратился с воззванием к Русскому народу помогать Белым армиям. Как истинный христианин, он считал для себя великим грехом призывать к братоубийству. Но массовые убийства верующих и духовных лиц он осудил. Грозно на всю Россию раздался тогда его слова, обращенные к власти грабителей и убийц: «Опомнитесь, безумцы, прекратите ваши кровавые расправы! Ведь то, что вы творите, не только жестокое дело: это поистине сатанинское дело». Ко всем этим кровавым делам Ленина и его компании надо добавить поголовное истребление Царского рода Романовых. Можно ли назвать гуманностью убийство добрейшего и гуманнейшего, до безумия, Императора Николая Второго, который не казнил своих злейших политических врагов, готовивших ему смерть? Если бы Царь казнил своих будущих убийц, Ленина, Сталина и Свердлова, а не ссылал бы их в Сибирь, где они жили «как на даче». Он спас бы и свою жизнь, и двадцать миллионов человек, которых после его смерти уничтожила советская власть. В его царствование российские суды приговаривали к смертной казни только террористов, разбойников и изменников родины. Ведь даже те, кто совершил Февральскую революцию и принудил Царя отречься от престола, через четыре

месяца строгого расследования его царской деятельности объявили народу, что Царь чист и никакого преступления перед родиной не совершил. Но Ленин, которого Царь выпустил на свободу после короткой ссылки в село Шушенское в Сибири и даже после этого решил ему уехать за границу, и Свердлов, живший со Сталиным последние четыре года до революции в сибирской ссылке как на даче, увидев через полгода после «Великого Октября», что народ начал разочаровываться в ленинских порядках и многие простые люди даже стали открыто высказывать, что напрасно сбросили Царя-батюшку с престола, решили, что хотя те, кто сверг Царя с престола и не нашли в его действиях преступлений, и несмотря на то, что Царь пощадил их и не повесил, как делал великий Император Петр Первый в таких случаях, всё же его надо убить. А на то, что может пожелать народ, они наплевали. Император Николай Второй был тихим, кротким, глубоко верующим человеком и в высшей степени застенчивым. <...> Он страшился русского трона. Желания быть царем такого бунтаря-народа, как русский, у него не было. Потому что, кроме трех иностранных языков и курса Военной академии, он изучил еще русскую историю и никогда не забывал Петровских стрельцов, Пугачевщину, Стеньку Разина, декабристов, пытавшихся убить Николая Первого, убийство его деда, Императора Александра Второго, неоднократную попытку убить его отца, Александра Третьего. (Последнее покушение было совершено старшим братом Ленина.) Но после смерти отца, по закону страны, он был объявлен наследником престола. Он подчинился закону и стал служить родине, как любой патриот России, призванный на военную службу. А после коронации, будучи глубоко верующим человеком, он уже считал себя Царем по воле Божией. Хотя Царь никогда не требовал смерти своим политическим врагам, Ленин и Свердлов, решая убить его, нашли, что этого мало. Надо убить и царицу тоже, и всех его четырех дочерей, и маленького большого сына. А затем и брата Михаила, который никогда не был причастен к управлению страной, а был просто офицером и во время войны три года командовал на Кавказском фронте кавалерийской дивизией, состоявшей из лучших кавалеристов кавказских народов. Дивизия наводила на турок ужас своими атаками, и ее прозвали «Дикой дивизией». Великого князя Михаила Александровича, арестовав и уведя ночью из отеля, убили в ту же ночь, проломив молотом его череп, а затем бросили его тело в раскаленную доменную печь, объявив народу, что брат бывшего царя Михаил Романов бежал. Если это убийство гуманно, то почему Ленин скрыл его от народа? Однако и этого убийства «гуманистам» было мало. В городе Алапаевске, куда были свезены Великие князья и княгини,

носившие фамилию Романовых, на следующую ночь после убийства всей царской семьи с ее прислугой, состоявшей из простых крестьян, были также увезены в лес и там сброшены живыми в шахту, после чего заброшены ручными гранатами. Царскую семью расстреляли залпами из револьверов, а потом, увезя в лес, разрубили там их тела топорами на части и жгли два дня, чтобы скрыть проявленную к русскому православному Царю ленинскую «гуманность» от народа. А в Алапаевске ленинские душегубы превзошли самых великих садистов. Забросав ручными гранатами, они еще подвергли свои невинные жертвы страшным страданиям. Сброшенные в шахту не были убиты все сразу, а большинство из них, окровавленные, с оторванными частями тела, истекающие кровью, ждали там на дне шахты по два-три дня своей смерти в великих страданиях. Когда мировая печать узнала о массовом убийстве всего рода Романовых, она осудила Ленина и назвала убийство варварством, недопустимым в цивилизованном государстве. Мировая печать спрашивала: «ГДЕ ЖЕ ЗАКОННОСТЬ И ГУМАННОСТЬ, О КОТОРЫХ ТАК МНОГО ГОВОРИЛ И ПИСАЛ ЛЕНИН?» И Ленин, чтобы смыть с себя позор, решил смыть его новым массовым убийством. Он решил свалить великое преступление на социалистов-революционеров. Чтобы доказать, что у него с Свердловым есть законность и гуманность, он разыграл в Москве судебный процесс-фарс левого социалиста-революционера Яхонтова. Яхонтов принадлежал к последней политической партии, которую Ленин решил истребить. Яхонтову было предъявлено обвинение в том, что он, в интересах своей партии и в целях дискредитации советского правительства, организовал убийство Царской семьи. Яхонтов и тринадцать других подсудимых были приговорены к расстрелу. <...>

Я уверен, что многое из того, что я только что сообщил вам, вы не знали. А знать надо. Это факты, происходившие на нашей родине. Если бы я написал вам ложь, то меня осудили бы патриоты, живущие в Австралии, которым я не раз писал, что я презираю ложь, откуда бы она ни исходила: от красных или от белых. Я мог бы вам написать тысячу страниц и даже больше, опровергая ложь, которой заполняется в течение почти 60-ти лет советская пресса. Но в этом письме всего, что нужно вам знать, не уместить. Повторяю вам еще раз, что мы, русские люди, живущие за границей, знаем о том, что происходило на нашей родине, лучше вас. Мы знаем и то, что вам всегда запрещалось знать, и всё то, что не запрещалось. Скажу вам для примера: могли ли вы в Советском Союзе прочесть в газете или журнале, как ваш советский посол Беседовский в Париже залез ночью на высокий кирпичный забор советского посольства и, спрыгнув в соседний двор капиталиста, побежал во французскую полицию про-

сить спасти его душу. Или, например, как бежал в Китай начальник ГПУ Дальнего Востока «товарищ» Юшков, а за ним следом бежало еще 300 чекистов. И Беседовский, написавший книгу о тайнах «мадридского двора», и Юшков заявил тогда, что он бежал специально, чтобы рассказать об ужасах, которые заставляла его творить Москва. А мы, живущие «под игом капитализма», все эти советские истории узнавали сразу же во всех подробностях. Нам здесь разрешается знать всё. Никто нам здесь не загибает ни рта, ни ушей. Каждый, бежавший из советского рая, не боится рассказывать то, что он видел, и всё, что пережил под властью любимой вами партии.

Советская власть даже не разрешила вам прочесть такой безобидный роман Пастернака «Доктор Живаго». Это произведение было одним из выдающихся в СССР. Нам здесь никто не запрещал его читать. По этому роману кинодеятели даже создали фильм, который покорила мир своим содержанием и художественной постановкой. Этот фильм не был иностранной клюквой, а отобразил то, что было в России и что думали сознательные русские люди с точностью на сто процентов. Русские, пережившие революцию и Гражданскую войну, ходили смотреть этот фильм по несколько раз. Его демонстрировали в Сиднее непрерывно шесть лет. А вам не дали посмотреть, потому что Брежнев боится правды, как чумы. Чтобы прочесть у вас в СССР книги, описывающие концлагеря и советские тюрьмы, бежавших в свободный мир братьев Солоневичей, Марголина, Анатолия Марченко и других, надо рисковать своей жизнью. Эти книги запрещены, потому что они опровергают наглухо ложь советской власти, что при созданном Лениным коммунизме русскому народу стало жить легче и веселее. И утверждение, что нет такой страны, как СССР, где так вольно дышит человек. Всё сейчас в России пропитано ложью. И всё держится на лжи и насилии.

Советская конституция говорит о свободе слова и печати. Да разве советская власть разрешит вам прочесть сейчас великое творение вашего советского писателя Александра Солженицына, приравненного литературным миром к гениальному Л. Толстому, написанное на родине? Он принужден тайно отправить его за границу для издания, так как на родине не только не разрешили бы напечатать его, но еще за него сгноили бы в тюрьме. Я говорю про его великий труд «Архипелаг ГУЛаг» (т. е. Архипелаг государственных лагерей). Это произведение войдет в Историю России как бесценный, богатейший и неоспоримый документ, свидетельствующий о зверствах, которые творила коммунистическая, безбожная власть на нашей русской земле в годы ее царствования. Этот потрясающий документ говорит нам с самыми мельчайшими подробностями, за что тащила советская

власть миллионы русских людей в концентрационные лагеря и тюрьмы и как они там страдали по десять, двадцать и даже по 25 лет, и тысячами умирали от голода, холода и непосильного труда. Этот документ говорит, что в лагерях Советского Союза в продолжение многих лет всегда находилось не менее десяти миллионов заключенных, и иногда эта армия советских рабов доходила до «мощности» в 15000000 человек. А за все годы существования лагерей в них перебывало не менее пятидесяти миллионов. Если считать, что у каждого из них было в среднем хотя бы по три близких человека, как отец, мать, жена и сколько-то детей, которые были душой с ними вместе, то получится, что весь народ был с «врагом народа». Три тома (2000 страниц) великого произведения А. Солженицына «Архипелаг ГУЛаг» содержат тысячи потрясающих фактов. Более подробно описать советские лагеря и тюрьмы, мне кажется, невыносимым. Грандиозную массу материала, из коего состоит это произведение, конечно, один Солженицын собрать не мог бы. Он и не скрывает этого. Он пишет, что почти 250 лиц помогали ему собирать факты для его труда. Не может быть никакого сомнения в том, что помогали ему в течение нескольких лет после его освобождения из концлагеря, где он пробыл девять лет, не только беспартийные и бывшие заключенные, но и члены коммунистической партии. Ибо бесконечное количество разных постановлений, правительственных указов и приказов, с указанием точных дат и всевозможных статистических данных дореволюционного периода и послереволюционного, сам Солженицын, без помощи партийцев, не мог бы добыть. Только партийцы, которые имели доступ к государственным архивам, и могли предоставить их Солженицыну. Вполне возможно, что они делали это с разрешения Никиты Хрущева, в первые годы после разоблачения Сталина на Двдцатом съезде, когда он стремился к верховной власти и призывал писателей писать правду о сталинском прошлом. Пока существует в России коммунистическая власть, едва ли вам удастся прочесть в СССР этот труд Солженицына. Но прочесть его вы имеете возможность. Хлопочите туристскую визу в любую страну, где свобода существует не на бумаге, а в действительности, и вы прочтете там этот бесценный, потрясающий документ. <...>

За вашу брехню и клевету вас, собственно, и обвинять-то нельзя всех огулом, так как многие из вас, особенно те, кто моложе пятидесяти лет, были еще детьми в годы, когда ваша так называемая «народная» власть истребляла русский народ миллионами. Воображаете, что вы знаете историю России и историю партии. Вы должны знать, что после прихода к власти Ленина с Троцким и Свердловым началось бесцеремонное извращение многих исторических фактов, которое

продолжается и поныне. Так как по учению Ленина всё морально, что помогает коммунизму, то ложь у коммунистов стала оружием в борьбе за мировую революцию. Совершив государственный переворот в России с целью превращения ее в базу мировой революции, интернационалист Ленин приложил всё возможное, чтобы убить в русском народе любовь к родине и Богу, считая, что эта любовь будет большим препятствием к победе. Поэтому он начал чернить и оплевывать старую Россию. Он обливал грязью всех князей древней Руси и всех царей Дома Романовых, создавших великую Российскую державу, занимающую шестую часть земной суши. Он чернил всех генералов и государственных деятелей прошлого. Он называл православное духовенство и монахов дураками, скрывая, что именно они принесли России просвещение и всегда способствовали победам русского воинства. Вспомните, кто вышел первым против татар в бою на Куликовом поле и положил свою жизнь за родину? Неужели Пересвет был дураком? Ленин называл дураками всех верующих. Значит, и генералиссимус Суворов, который воодушевлял солдат своим возгласом: «С нами Бог, мы русские», был дураком? И наши русские армии, ходившие в атаку на врага с развернутыми знаменами, на которых был образ Христа, тоже, значит, были все дураками? И Ломоносов дурак, и Дмитрий Донской дурак, и Александр Невский тоже? Ленин обливал грязью офицеров, внушая простому народу, что офицеры служат не народу, а его врагам капиталистам. Он даже дошел до того, что стал осмеивать героев страны, внушая к ним ненависть. Он научил петь темную массу: «Никто не даст нам избавления: ни Бог, ни царь и ни герой». И несознательные темные люди, встречая защитников родины с Георгиевскими крестами и медалями, стали осмеивать их и говорили: «Ишь ты, какой герой, повесил на грудь побрякушек. Сними их, не позорь себя». Значит тот, кто шел на смерть в защиту родины, – дурак? Ленин клеймил всю русскую интеллигенцию, называя ее прихвостнем капиталистов, за то, что интеллигенция назвала его изменником родины и не поддержала его. Сотрудничать с изменником родины отказались все звезды российского литературного мира и бежали от него. Почти все они собрались в Париже: Алданов, Аверченко, Адамович, Анненков, Бердяев, Бунин, Гиппиус, Дон-Аминадо, Зуров, Зайцев, Замятин, Куприн, ген. Краснов, Крымов, Ковалевский, Максимов, Мережковский, Милюков, Набоков, Осоргин, Резников, Тэффи, А. Толстой, Ходасевич, Шмелев, Ширяев, Юрасов и другие. Я пропустил фамилию М. Горького. Семь лет прожив в Италии, тоскуя по родине, он вернулся и стал восхвалять зверства Сталина, но это ему не помогло. Сталин не простил ему старые грехи и отправил его к Фрунзе.

Ленин призывал темных людей грабить богатых и пустил своих молодцов ходить по улице городов с плакатами: «Грабь награбленное». Он не хвалил крестьян, которые создали образцовые хозяйства, а клеймил их и называл всех их без исключения кулаками. Он сделал ставку на темную, несознательную массу и на самую бедную часть народа, которой нечего было терять и которая с радостью пошла грабить. В центральных губерниях она разграбила около 10000 образцовых имений помещиков, разграбив всё имущество и уничтожив почти все прекрасные здания, в которых можно было создать для народа школы, госпитали, народные клубы и пр. Этим грабежом и разбоем Ленин купил босячню и несознательную часть народа, которые помогли ему создать коммунизм в России. Написано ли обо всём этом в истории, которую вы изучали? Я думаю, что нет. Вся ваша история – брехня.

С самого начала существования коммунистической власти в России у вас завелся порядок, при котором каждый новый глава компартии обязательно должен чернить предыдущего руководителя страны и переделывать историю по-своему. Знает ли сейчас хотя бы один гражданин СССР историю государства и партии коммунистов? Я думаю, даже сам ваш нынешний фараон и все его ровесники не знают ее в точности. Что, например, может знать о прошлом нынешний верховный правитель России, если в дни «Октября» ему было десять с половиной лет? Мог ли он, деревенский сопливый мальчишка, сын рабочего Днепропетровска, осмыслить тогда, кто есть истинный друг русского народа и кто враг? Тот ли, кто решил проливать русскую кровь за пролетариев всех стран, или тот, кто стоит за свою родину? Ленька Брежнев мог только слушать и принимать на веру то, что внушал ему распропагандированный агентами Ленина его отец.

Сопляку Леньке отец говорил: «Бога нет. Это Карл Маркс установил научно. И это подтверждают Ленин и Троцкий. Они наши спасители. Они хотят нам создать счастливую жизнь, чтобы мы с тобой каждый день ели много сахара, мяса и хлеба». Бедный Ленькин папаша не чувствовал, что вместо счастливой жизни Ленин с Троцким принесут народу смерть и три великих голода, во время которых родители будут убивать своих маленьких детей и есть их вместо сахара, мяса и хлеба, которыми он увлек Леньку в безбожники. Если бы тогда кто-нибудь сказал папаше Леньки, что у них на Украине ленинская власть устроит даже такой голод, во время которого умрут с голоду шесть миллионов человек, он зарубил бы того человека. Откуда тогда Ленькин отец мог знать, что советская власть сделает так, что русский народ будет вечно стоять в очередях за продуктами, а сахар, мясо и хлеб будет посылать Великой России, которая имеет земли больше всех на свете, маленькая страна Австралия, находя-

щаяся на краю света, где еще коммунисты не создали колхозов. Ленька поверил отцу и записался в пионеры, и надел на свою шею кусочек кровавого знамени. Он стал теперь особенно чтить товарища Троцкого, который победил Белые армии врагов народа – Деникина и Колчака. Но вот когда Леньке Брежневу пошел 17-й год, в Москве появился новый фараон Иосиф Первый Великий. Он был рожден на Кавказе и был сыном грузинского сапожника Джугашвили. Он начал революционную борьбу с ограбления государственного банка и этим подвигом завоевал себе славу и назвал себя громкой фамилией Сталин. Он всю свою жизнь мечтал о власти, что он никогда не скрывал своим товарищам, жившим с ним вместе в сибирской ссылке. После смерти Ленина, боясь, что Троцкий, возглавляющий Красную армию, может занять престол Ленина, объявил, что Троцкий есть враг народа и агент американских капиталистов. Он арестовал Троцкого и выслал его из страны. А когда Троцкий, переселившись в Мексику, начал там шушукать и клеймить Сталина, Сталин послал туда своего агента, и тот топором прикончил жизнь основателя Советской Красной армии, который возглавлял вооруженные силы Советского Союза первые шесть лет после Октябрьской революции. Ничто не вечно под луной! Каким был великим Троцкий после поражения Белых – и такой конец!

Хотя Свердлов был действительным хозяином страны после «Октября», но имя Троцкого было всегда неотделимо от имени Ленина. А сколько частушек про них обоих было тогда создано. Я помню, комсомольцы пели под балалайку: «Ленин Троцкому сказал, пойдём, Лёва, на базар. Купим лошадь карию, накормим пролетарию». Наверное, и Ленька Брежнев любил Лёву из Могилева, но теперь не сознается. Теперь и советские скрывают, кто им создал коммунизм <...>. Сталину не пришлось на пути к власти прикончить самого Ленина, так как Ленина увела на тот свет какая-то неизлечимая болезнь. В те годы в Москве ходили упорные слухи, что Ильич «помёр» от прогрессивного паралича на почве застарелого сифилиса. Тогда еще не существовало стрептомицина, который мог продлить ему жизнь, чтобы потом получить пулю в затылок от Сталина, как получили почти все соратники Ленина. Свердлова тоже не было нужды кончать, так как его кто-то уже прикончил спящего 16 марта 1919 года. Был слух, что его задушили прижатой к его рту подушкой. Хотя не исключена возможность, что это дело было тоже рук Сталина, который косил всех тех, кто мог встать на пути к его власти. Убийство Жданова было уже несомненно делом его рук.

Джугашвили, так же, как и Ленин, придя к власти, сразу начал переделывать историю по-своему, и извращать многие исторические факты. Он делал так, чтобы все победы коммунистов и достижения

советской власти были бы приписаны ему только одному. А любое упоминание о Троцком и его единомышленниках он приказал изъять из истории, и вообще всё, что писалось о них где бы то ни было, уничтожить. Сделать так, как будто их не существовало на свете. И вот такое извращение фактов стали в СССР называть историей России и компартии. Какая же история, если в ней не упоминаются создатели первого коммунистического государства? При Царе не вычеркивали имена тех, кто шел против власти. А. Пушкину не запретили написать «Капитанскую дочку», в которой он описал, что творил душегуб Емелька Пугачев. И полковнику Крестовскому не запретил Царь написать и издать подробности восстания против императора Николая Первого. А у вас даже имен создателей коммунизма в России нет, и ничего не написано об их заслугах. Указано ли в вашей истории, что Сталин расстрелял нижеследующих советских главарей:

Председателя Совета народных комиссаров Рыкова,
Председателя Третьего Интернационала Зиновьева,
Председателя Советских профсоюзов Томского,
Советского теоретика коммунизма Бухарина,
Главного политического комиссара Красной армии Гамарника,
Народного военного комиссара Лейбу Троцкого-Бронштейна,
Маршала Советского Союза Егорова,
Маршала Советского Союза Мразовского,
Маршала Советского Союза Корка,
Маршала Советского Союза Каширина,
Маршала Советского Союза Уборевича,
Маршала Советского Союза Тухачевского,
Маршала Советского Союза Блюхера,
Маршала Советского Союза Якира и многих героев революции и Гражданской войны.

Впоследствии из Советской энциклопедии были изъятые даже имена тех, кто, не щадя русской народной крови, защищал советскую власть, угробив 20000000 крестьян и рабочих: Ежов, Ягода и Берия. Когда же пришел к власти Никита Хрущев, и он тоже, как его предшественники, взялся за переделку истории по своему рецепту. Он заявил, что всё, что писалось тридцать лет, при Сталине, есть сплошное извращение фактов, и приказал профессору Тарле «сочинить» новую историю. И, конечно, как положено советским лидерам, чтобы его имя в новой истории было особенно выделено и чтобы во всём, что будет написано, он должен быть первой спицей в колеснице. Он обвинял предшествовавших министров, что они обманывали народ, приписывая себе достижения, которых не было. Он – бывший дикарь, почти неграмотный до революции шахтер Донбасса, который ничего

не знал о состоянии Царской России, врал о ней еще больше, чем Ленин. Тот лил грязь на Россию, а Хрущев, развезжая по миру, уверял, что при царе совсем не было в России фабрик и заводов, а были только маленькие мастерские. А Россия строила до революции двадцатитысячетонные броненосцы, аэропланы и паровозы не хуже английских. Русские эмигранты, жившие в Австралии, Америке и Китае, читали в газетах речи Хрущева, поражались его наглостью. Как можно так лгать о России в то время, когда еще живы и видели ее собственными глазами, и, кроме нас, тысячи людей во всех странах мира видели ее и тоже еще не ушли на тот свет. Полвека мы наблюдали за Россией, читали речи советских лидеров и пришли к заключению, что Россией правят великие лгуны, и советский народ живет в царстве лжи. И вы, советские писатели и журналисты, срослись с ложью, и так к ней привыкли, что она уже не стала противной вам. Вы не чувствуете уже к ней отвращения, как жуки, родившиеся в куче коровьего дерьма, которым зловонный запах, идущий от кучи, кажется даже приятнее свежего воздуха.

Теперь я вернусь к вашей газете «Голос Родины». Я просматриваю ее почти 10 лет, и ни в одном ее номере не обошлось без брехни. Иногда номера были заполнены сплошной брехней, иногда трудно было разобрать, где брехня и где правда, и где, по незнанию правды, сотрудники извратили факты. На первой странице каждого номера вашей газеты красуется надпись: «Славься, Отечество наше свободное». Это уже брехня! Да неужели вы думаете, что в свободном мире есть люди, которые не знают, что коммунизм есть насилие над человеческой личностью и не может существовать при свободе? Я спрашиваю вас, мои дорогие соотечественники, да разве существовала в России свобода хотя бы один день после Октябрьской революции? С первого же дня захвата власти Лениным все тюрьмы России начали набиваться политическими арестантами. При Царе были политические заключенные, но при власти, установленной Лениным, на место одного царского начали садить по десяти, потом по сотне и, наконец, тысячами. Арест политических означает отсутствие свободы. Ни у нас в Австралии, ни в Англии, ни во Франции, ни в Италии и другой какой-либо демократической стране противников правительства не сажают в тюрьмы и лагеря, ибо свобода есть право каждого гражданина страны открыто говорить и писать всё, что он думает и хочет. И даже имеет право называть премьер-министра обманщиком и кричать «Долой его!» Можно это у вас делать? Какое это, к черту, свободное отечество, если советский гражданин не имеет права купить не только печатную машину, но даже пишущую машинку, чтобы печатать на ней то, что он хочет. Даже приобрести ротатор, чтобы печатать стихи

советских поэтов, советская власть посчитала Владимиру Буковскому страшным преступлением и лишила его свободы на 12 лет, включая заключение в тюрьму и концлагерь тяжелого режима. Ему суд сказал, что он хотел печатать антисоветскую пропаганду, но ведь если бы было даже так, то это и доказывает, что в СССР нельзя критиковать правительство, а если нельзя высказывать свое мнение, значит у вас свободы нет. Не имея свободы, советский гражданин даже не может при людях сказать, что он не имеет свободы. За эти слова его ждет тюрьма или сумасшедший дом. А если по выходе из сумасшедшего дома скажешь, что тебя садили в него, то за эти слова – тюрьма и концлагерь. Можно ли такой порядок назвать свободой личности? А у нас под «гнетом капитализма» любой гражданин, ни у кого не спрашивая разрешения, может купить столько машин, сколько захочет, и всё на них печатать, кроме денег. Может ли ваш гражданин устроить демонстрацию против правительства (мирную демонстрацию)? Конечно, не может. У вас нашлись три смелых гражданина, которые, вероятно, видели в телевизии, как делают демонстрации в Америке, решили тоже попробовать. Вы, вероятно, забыли, чем у них кончилась эта попытка. Посидели они несколько минут на Красной площади с маленькими плакатиками, на которых было написано «Руки прочь от Чехословакии». Никого они не трогали и ничего не выкрикивали. Явились к ним несколько вооруженных молодцов, вырвали у них плакаты, всех их жестоко избили, одному из них выбили даже несколько зубов, а потом поволокли в тюрьму. Можно ли такое вопиющее насилие над гражданином назвать свободой? Нет, это называется рабством. Можно ли в вашем свободном отечестве купить армейскую винтовку с оптическим прибором, и к ней пару тысяч патронов? Конечно, нет. Не только купить, но даже спросить у кого-нибудь, где ее можно достать, – вас арестуют и назовут врагом народа. А у нас любой человек может купить в любом оружейном магазине не только армейскую, обычную винтовку, но даже необычайной силы винтовку «Армолит». И не одну, а даже несколько штук. Вы, конечно, скажете, что это плохо, потому что ваша власть так внушила вам (боясь, чтобы из этой винтовки не пульнули бы в лоб фараона). Можно ли у вас созывать, без разрешения власти, собрания для обсуждения политических и религиозных вопросов? – Тоже нельзя. За такое дело несколько лет лагерей обеспечено. А у нас, «под игом капитализма», можно собирать толпу хоть в 20 тысяч, и даже кричать на премьер-министра и генерал-губернатора, представителя нашей Королевы: «Долой его!» И полиция никого не арестует, пока демонстрант не стал бросать камнями в министра или бить стекла в его автомобиле. Вы сами знаете, что бы получил совет-

ский гражданин за такую вещь. А у нас такое хулиганство обходится демонстранту штрафом в десять или двадцать долларов. Можно ли у вас создавать политические партии? Конечно, нельзя. А у нас, не спрашивая ни у кого разрешения, можно создать любую партию, начиная от анархической и кончая коммунистической и фашистской. Могут ли граждане вашего «свободного» отечества создавать коммерческие предприятия? Конечно, нет. А у нас делай что хочешь, только не делай зла другим. Существует ли у вас свобода вероисповедания? Да, существует, но только на бумаге. Вы пишете в вашей газете, что в СССР существует полная свобода. Да разве это свобода, если священник не имеет права после церковной службы оставаться в церкви и присутствовать на собрании своего прихода? Разве можно назвать свободой, когда безбожная власть, объявившая отделение Церкви от государства, вмешивается во все церковные дела и принуждает принимать в приход всех, кто пожелает, то есть безбожников, цель которых – развалить приход и закрыть храм. Разве это свобода, если все российские храмы, построенные верующими людьми, конфискованы советской властью, и верующие теперь должны арендовать их у власти, которая может сдать их в аренду, и может не сдать и устроить в Божьем храме комсомольский танцевальный клуб. Разве можно назвать свободой изданный правительством закон, лишаящий Церковь права собственности? То есть если верующие соберут деньги и построят новый храм, то его немедленно присваивает себе власть, и строители храма должны его арендовать. Такого беззакония, какое существует в Советском Союзе, не существовало ни при татарском владычестве, ни при гитлеровском нашествии. Разве это свобода – не допускать в страну книги, журналы и газеты из свободных стран мира и глушить радиопередачи иностранных станций? Все вышеперечисленные факты говорят о полном отсутствии свободы. Советская власть зажала русскому народу и рот, и уши.

Теперь давайте перейдем ко второй строчке первой страницы вашей газеты. На ней написано: «Голос Родины». – Опять брехня. Газета ваша есть голос компартии, ибо она пишет только то, что разрешает ей писать партия и приказывает писать. Точнее говоря, даже не партия, а ее генеральный секретарь. А секретарь партии не есть голос родины. Ибо всё, что делается в стране, всё делается по его воле. Генсека народ не выбирал. Его выбрала партия, да и то под страхом потерять его милость. А выборы в Верховный совет – это фарс и глумление над народом. Кандидатов назначает не народ, а партия, и предлагает народу за них голосовать. Народ не выбирает, а голосует. Вдумайтесь в значение слова «выборы», что оно значит! Брать и выбирать не есть одно и то же. Выбирают что-то из какого-то

количества, наиболее подходящее по вкусу. Приходите в игрушечный магазин с маленьким сынишкой и говорите ему: выбирай, Коля, игрушку, какая тебе больше всего нравится. Коля выбирает велосипед. Это значит, он выбрал велосипед, а не взял, что предложил отец. А вот если солдат пришел к каптёру, чтобы выбрать вместо старых сапог новые, и каптёр сует ему пару на два номера больше, чем надо, и говорит ему: бери, что тебе дают, распишись и уматывай, – то в этом случае нельзя сказать, что солдат выбрал сапоги, к которым у него не лежала душа. Он взял то, что ему приказали. Таким же образом «выбирают» у вас в Верховный совет. Каждому району партия назначает кандидата и предлагает жителям района подать за него свой голос. Это не выборы, а приказ подать свой голос за определенного члена партии. И в партию тоже не выбирает народ. Партия принимает к себе только тех, для кого она дороже народа. Это тоже факт, а не брехня. Это не скрывается. В учебниках начальных школ и книжках пионеров так и написано: «Компартия – выше всего». Михаил Шолохов на 21-м съезде компартии так и заявил пяти тысячам делегатов во Дворце Советов: «Для нас партия дороже всего на свете. Дороже наших жен, дороже наших детей, дороже нашей жизни». Теперь, значит, уже не партия служит народу, а народ партии. То есть вы пишете в ответе Сергею Введенскому, что он не прав, утверждая, что ранее Россия продавала хлеб, а теперь покупает. В опровержение его мнения вы говорите, что последний год был неурожай, но ведь русский народ стоит у продовольственных лавок уже почти 60 лет. Нет, братцы, дело не в погоде. До тех пор, пока в России будут существовать колхозы, до тех пор русский народ будет покупать хлеб у капиталистов. А ваше утверждение, что до революции в России тоже были неурожай и во время их умирали люди от голода, это – брехня. В России всегда в каких-то районах случались неурожай, но в течение последних ста лет до революции в России не умирали от голода.

Так как мое письмо получилось довольно длинным, потому что оно первое и, может быть, последнее, я должен его закончить. Но в заключение, как чтущий память моего национального вождя, адмирала Александра Васильевича Колчака, великого патриота нашей родины, о котором я давно собирался написать вам, скажу сейчас, что вы писали о нем много раз неправду. Например, вы писали: Колчак выступил против народа и захватил Сибирь. Так как о нем тоже всё изъято из вашей истории, и даже в имеющемся у меня толковом энциклопедическом словаре 1960 года нет его имени, и ни слова не написано, какие великие подвиги он совершил для России, я нахожу своим долгом разъяснить ваши заблуждения. – Адмирал Колчак не захватывал Сибири. Он приехал в Сибирь из-за границы, когда терри-

тория России от Пензы до Берингова пролива была освобождена патриотами. Первыми руководителями национальных сил <...> был Комитет Учредительного Собрания, созданный после освобождения Урала и Среднего Поволжья. Он заседал в Самаре. Потом Комитет передал власть Директории, которая обосновалась в Омске. Директория состояла из левых и правых социалистов и плюс еще в придачу к ним одного кадета. Согласия между ними, конечно, не было. Каждый защищал программу своей партии. Военные, освободившие Сибирь и продолжавшие борьбу на Уральском фронте, называли Директорию говорильней и требовали, чтобы кто-то сильный и решительный взял власть в свои руки и вел бы народ по одному пути, а не так, как тянули в разные стороны: лебедь, щука и рак. Директория существовала один месяц и была свергнута военными. Во главе совершивших переворот стояли: войсковой старшина Волков, атаман Красильников и еще один полковник, части которых находились в те дни в Омске. На следующий день утром было созвано экстренное заседание Совета министров, в числе их и адмирал Колчак. Он только что вернулся с фронта, куда поехал сразу же после назначения его Директорией военным министром. Председатель Совета министров сообщает министрам об аресте членов Директории и спрашивает: «Что же мы будем делать?» Переворот был для всех, включая и адмирала Колчака, неожиданным, так как его совершили по своей инициативе вышеуказанные три полковника. На заседании начались прения. Выяснилось, что все военные требуют, чтобы вместо коллективной власти был бы правителем один, и все согласились с этой идеей. Еще полчаса тому назад ни у кого из них не было мысли передать всю власть адмиралу Колчаку, в этот же момент большинство из них обратили их взоры на адмирала. Некоторые выдвинули на пост правителя генералов Болдырева и Хорвата, но их мало знали присутствующие на заседании. Имя же адмирала Колчака было известно не только всей России, но и за ее пределами. Произошла баллотировка. За адмирала Колчака были поданы все голоса, кроме одного. И он, для которого родина была всегда дороже жизни, возложил на свои плечи тяжелый крест власти, к которой никогда не стремился. При отступлении Белой армии на восток под напором превосходящих сил противника адмирал Колчак не пошел вместе с армией, а никому не доверяя российский государственный запас золота (около 30000 пудов), двигался на восток по железной дороге. С ним следовало четыре поезда: эшелон с золотом, два эшелона с охраной и поезд с его штабом. Когда эти эшелоны достигли Нижнеудинска, не доехав верст 500 до Иркутска, Колчак узнал от командующего чешскими войсками генерала Сырового, что

Иркутск пал в руки красных. Теперь, казалось бы, Колчак должен был думать не о золоте, а о спасении своей жизни. Он имел 1500 охраны, с которой мог уйти с дороги и потом присоединиться к Армии. Но он, как всегда, служа Родине, думал о себе меньше всего. Бросить 10000 ящиков, в каждом из которых находилось по три пуда золотых монет, он был просто не в силах. Сдать чехам на хранение российский золотой запас? Он, вероятно, считал, что они могли увезти его к себе в Чехословакию, тем более, что он уже считал генерала Сырового своим врагом и ненавидел его за подлость, которую Сыровой устроил ему, когда за месяц до этого их поезд встретились на станции «Тайга». Когда поезд адмирала прибыли на станцию Тайга, они застали там поезд Сырового, который ждал починки своего паровоза. Сыровой, узнав о прибытии поездов Колчака, приказал своим солдатам взять паровоз от поезда с золотом и уехал со станции. Этой подлостью он задержал Колчака на станции «Тайга» на двое суток. И вот теперь в Нижнеудинске, когда Сыровой предложил адмиралу сдать чехам на хранение золото, взбешенный адмирал Колчак, чуть не плюнув Сыровому в лицо, крикнул: «Что? Вам передать на хранение российский государственный запас? Да я лучше оставлю его большевикам». Этой фразой Колчак подписал себе смертный приговор. После этого заявления Колчака генерал Сыровой и главнокомандующий союзными войсками в Сибири генерал Жанэн решили заключить с красными мирное соглашение и порвать совершенно с белыми. Соглашение состояло в том, чтобы каждая сторона прекратила враждебные действия против другой. Чтобы красные не оказывали чешским войскам никаких препятствий уйти за Байкал, а чехи прекратили бы какую-либо помощь белым и отправили бы адмирала Колчака и поезд с золотом в Иркутск. Заключение этого соглашения подтвердил мне чешский комендант одного из эшелонов, стоявших на станции «Иркут», когда я 16-го февраля 1920 года (уже после расстрела адмирала) просил его разрешения доехать с его эшелоном до Байкала (60 верст) и спасти мою жизнь. Он закричал в ответ на мою мольбу: «Уходытэ вон! Мы имзем соглашенэ с красными нэ помогаг белым». Генералы Сыровой и Жанэн, пользуясь тем, что чешских солдат было в тот момент в Нижнеудинске больше, чем охранников золота, арестовали адмирала Колчака и отправили вместе с золотом в Иркутск, на расправу красным, где 7 февраля он был расстрелян, и его тело было опущено в прорубь реки Ангары. Перед расстрелом он был совершенно спокоен и попросил выкурить папиросу. Это ему разрешили. Он вытащил из кармана золотой портсигар и, взяв из него одну папиросу, подал его рядом стоящему палачу и сказал: «Возьми, братец, на память». Где сейчас тот портсигар, какова

его судьба, об этом тоже не написано в советской энциклопедии. Нет никакого сомнения в том, что если бы Колчак передал чехам российское золото, то он не был бы предан Сыровым. Он проехал бы с чехами за Байкал, как проехал с ними я. При их желании они легко могли сделать это. Но для адмирала Колчака родина была дороже его собственной жизни. Японцы обещали ему послать на фронт против красных вооруженную помощь, если он отдаст им Сахалин. Он отказался от такой помощи. Англичане, французы и американцы просили его признать независимость Польши, он отверг. Он говорил им, что он не хозяин русской земли, а только временный правитель. Был ли он прав или не прав, пусть судит его Господь. Но вся его жизнь, все его дела и подвиги говорят, что он был великим патриотом и жил не для себя, а только для своей родины.

Прививая сейчас вашим писанием любовь к родине в газете «Голос Родины» и прославляя патриотов, вы никогда не сказали доброго слова об адмирале Колчаке, а только его чернили, не сознавая, что вся его «вина» состояла в том, что он любил свою мать-родину. Ведь он принес пользы России больше, чем все взятые вместе: Ленин, Свердлов, Троцкий <...> Если вы мне скажете, что армия Троцкого тоже защищала родину, на это я скажу вам, что это бесстыдное извращение исторических фактов. Армия «товарища» Троцкого не только не защищала родину, но за слово «Родина» преследовала. Повторяю вам, что у Ленина слово «Родина» было неприличное слово. Я лично, будучи учителем, написал на черной доске, на уроке чистописания, «Россия – наша Родина», и за эти слова меня таскали в ГПУ, где сказали, чтобы я забыл это слово. Мне сказали: «За родину боролся ваш бандит Колчак, а Ленин борется за Интернационал!» (Т. е. за проклятьем заклеянный весь мир голодных и рабов). Находясь в гостях в доме моего знакомого, где оказался за столом сам военный комиссар двух областей (Андрей Марков), я, не находя темы для разговора с начальством, занялся граммофоном. Проиграв пару вальсов, я поставил старую русскую песню: «Слышу песню жаворонка, слышу трели соловья. Это русская сторонка, это родина моя!..» Комиссар, услыша эту песню, не выдержал и бросил в мою сторону замечание: «А гражданин Жиганов никак не может забыть свои контрреволюционные песенки». Все смутились и молчали. И чтобы сгладить общее смущение, добавил: «Не модно, не модно это теперь, Владимир Данилович!» Это было при жизни Ленина. Теперь вся советская история вывернута наизнанку. Согласно составленной по-новому истории, оказывается, Ленин боролся за родину, а Колчак – против. До какого бесстыдства нужно было дойти, чтобы на военные знамена России поместить под надписью «За Советскую

Родину» портрет ее изменника! Те, кто живут в России, уже свыклись с царящей там ложью, но нас, живущих за пределами родины, коробит.

Боровшийся с Лениным адмирал Колчак не был заурядным русским человеком. Он был одним из самых выдающихся людей русского народа в годы его службы России. Колчак был произведен в чин мичмана в 1899 году, а через пять лет его труды по океанографии в Балтийском море и Тихом океане заслужили уже высокую оценку и похвалу адмирала Макарова. Макаров нашел их настолько ценными, что без промедления представил их Императорской Академии наук. В том же году Академия предложила ему принять участие в качестве гидролога в Северной полярной экспедиции, возглавляемой Эдуардом Толем. Он принимает приглашение и поступает в Санкт-Петербургскую Физическую обсерваторию для совершенствования своих знаний и изучения полярных морей. Но вскоре был отправлен в Норвегию, где стал заниматься под руководством знаменитого полярного исследователя Ф. Нансена. Вернувшись в Россию, Колчак отправляется из Кронштадта с бароном Толем, в полярную экспедицию 10 июня 1900 года. Научные исследования у Таймыра продолжались три года. Наблюдения велись в страшно тяжелых условиях, среди льдов, снега, прогалин и совершенно оторванные от всего мира. Тогда не существовало еще ни радио, ни авиации. Это ли не героизм людей, пошедших добровольно на такие страдания! Через два года, по причине всевозможных полярных условий, члены экспедиции теряют Толя, и Колчак по льду Лены, через Иркутск, возвращается сообщить Академии о работах, произведенных экспедицией, и просит срочно снарядить помощь барону Толю. Так как поиски Толя можно было произвести только на простой гребной шлюпке, что Академия считала невозможным и просто безумием, – Колчак настоял на своем. Он говорил, что если гребная шлюпка является единственным, что может помочь спасти Толя, то говорить, что это слишком опасное предприятие, неуместно. Он заявил, что он сам берется за это дело. Он едет в Архангельск, набирает там себе шесть спутников-поморов и через Якутск прибывает в Верхоянск, где его уже ждал промышленник Оленьин с 160 собаками. По льду реки Лены Колчак и шесть его спутников и Оленьин на собаках добираются до Устьянска. Там Колчак с шестью своими гребцами, взяв малую морскую шлюпку, впряглись и по льду замерзшего моря протаскивали ее до Новосибирских островов. Все они безумно страдали в пути от лютого холода, в 30-40 градусов мороза. Как только море вскрылось ото льда, Колчак выходит на своей шлюпке через Благовещенский пролив в открытый Северный Ледовитый океан. Несмотря на июль месяц, температура была около нуля. Часто шел

густой снег и постоянно обволакивали их густые туманы. Одежда была беспрерывно мокрой. Холодный ветер вынуждал идти то под парусом, то под веслами, и при крупной океанской волне. Вообразите, читатель, как страдали эти люди, не имея никакого спасения от этих страданий. Но вот 6 августа 1903 года, в день праздника Преображения Господня, изнуренные, промокшие и полузамерзшие Колчак и его шесть поморов достигают земли Беннета. Мыс, на котором они высадились, был назван Колчаком «Преображенский». Бутылка барона Толя была найдена Колчаком на берегу, среди камней. В ней лежали записка Толя и план, по которому Колчак нашел место стоянки барона Толя, коллекции и его дневник. Из дневника Колчак узнал, что Толь, израсходовав продовольствие, в конце ноября 1902 года, решил пешком возвратиться на Новосибирские острова, когда уже наступила полная тьма полярной ночи, в сезон снежных вьюг и морозов в 40 градусов по Реомюру, Это означало, что барон Толь погиб. Это был первый подвиг, который прославил Колчака на весь мир. Ученые Европы и Америки писали: «В истории полярных исследований плавание Колчака на малой морской шлюпке с шестью гребцами, в течение 42 дней, по волнам Северного Ледовитого океана, среди льдин, является исключительным, беспримерным и просто невероятным». Когда Колчак вернулся в Якутск, ему доложили, что Академия вызывает его для доклада в Петербург. Но он, узнав, что японцы напали на Порт-Артур и начали войну против России, предпочел отложить доклад Академии и поехал в Порт-Артур принять участие в войне против Японии. Государь-император наградил А. Колчака за совершенный им в Ледовитом океане подвиг высшим для офицера орденом Св. Владимира. (Орден Св. Георгия давался только за боевые отличия на войне.) А Императорская Академия наук и Императорское Географическое общество пожаловали его золотой медалью, которой до него были награждены в России только два человека. В Порт-Артуре его назначают командиром миноносца, командуя которым он опять отличается своей отвагой и бесстрашием и награждается золотым оружием с надписью «За храбрость». По возвращении с войны в Россию он всеми своими силами, всем своим существом отдается работе по восстановлению боевой мощи нашего флота после поражения его у Цусимы. Колчак был первым начальником организационно-тактического отделения вновь созданного Морского Генерального штаба. По его личной инициативе и разработке составлены планы невероятно смелых операций постановок минных заграждений в немецких водах, вдали от наших баз, в Первую Мировую войну. Наряду с адмиралом Эссенем, именно он, Колчак, был виновником до дерзости смелых операций Балтийского

флота, за что был награжден высшим офицерским орденом Св. Георгия. Главной задачей, поставленной Балтийскому флоту, было не допустить никаких наступательных операций немцев против Петрограда со стороны моря и превосходящего в силе немецкого флота вглубь Финского залива. Не допустить немецкого удара со стороны моря по правому флангу нашего Северного фронта. Это задание было выполнено блестяще. Правда, осенью 1916 года одиннадцать немецких быстроходных миноносцев, составлявших самую мощную минную флотилию немцев, сделали попытку прорваться в Финский залив, но она закончилась для них катастрофой: семь из них погибли на минах, расставленных по указанию и при личном участии Колчака. За этот подвиг Царь произвел его в чин контр-адмирала. Когда в Черном море немецкие корсары – броненосцы «Гебен» и «Бреслау» – усилили свои нападения на российские порты в Черном море, и командующий Черноморским флотом адмирал Эбергард не мог решить, какие надо было принять меры против налетов вышеуказанных немецких кораблей, наводивших ужас на жителей русских прибрежных городов, или, может быть, Эбергард боялся приблизиться к Босфору, Царь вызвал в свою Ставку адмирала Колчака и объявил ему о назначении его командующим Черноморским Военным флотом, произведя его в вице-адмиралы. Решительный и смелый, адмирал Колчак прибыл в Севастополь в тот же день, подал сигнал со своего флагманского корабля: «Флоту выйти в море!» И с первого дня вступления в должность командующего начал производить такие смелые операции, которые Эбергард считал не только рискованными, но просто невыполнимыми. Почти каждую ночь дивизионы миноносцев, под самыми турецкими береговыми батареями, забрасывали минами вход в Босфор. Результат этого был тот, что оба знаменитых броненосца «Гебен» и «Бреслау», которые топили союзников и в Тихом океане, и Индийском, и в Средиземном море, а затем бомбардировали русское побережье Черного моря, подорвались на наших минах. И после этого ни одно неприятельское военное судно больше не появилось на Черном море; весь турецко-германский флот был закупорен в Босфоре. Черное море стало подлинно нашим. За этот великий подвиг адмирала Колчака Император наградил его орденом Св. Георгия, теперь уже третьей степени, и произвел его в чин адмирала Российского флота. Этим своим последним подвигом адмирал Колчак также содействовал успешным операциям наших сухопутных войск на Кавказском фронте.

В июне 1917 года на флагманский корабль Черноморского флота явились комиссары из Центра, от товарища Троцкого, и на созванном митинге матросов приказали всем офицерам, защищавшим так

героически свою родину, снять с себя оружие и сдать его «революционному комитету». Адмирал Колчак, выслушав этот приказ «Лёвы из Могилёва», как патриоты называли Троцкого, первым снял с себя португезу, на которой висел его золотой кортик (с надписью «За храбрость»), и, держа его в руке, сказал: «Это оружие есть награда, полученная мною за службу нашей родине. Награда принадлежит мне, вам она принадлежать не будет» – и адмирал выбросил его оружие через борт броненосца. Матросам корабля, которые ещё недавно любили его и гордились им, и преклонялись перед его подвигами, стало стыдно, что за все его великие подвиги он так унижен и оскорблен. Несколько матросов бросились в воду и, достав кортик, с почтением вернули ему. Так закончил морскую службу один из самых талантливейших, самый отважный и решительный, самый молодой и самый прославленный на весь мир в Первую Мировую войну адмирал Российского Императорского военного флота. То, что сделал Колчак во время Первой Мировой войны в Балтийском и Черном морях, английские адмиралы называли чудом.

Ваши советские газеты и журналы пишут всегда, что Колчак возглавлял тех, кто шел против народа. Но ведь это же брехня. Я сам состоял в его Армии, которую ему предложили возглавлять, когда она уже отступала на восток. В извращенной советской истории о Белой армии написана одна только ложь. О ней написано, что она шла против народа. Да будет вам известно, что основателями Белой армии были не генералы и не капиталисты. Среди тех, кто сверг на Урале и Сибири большевиков, не было ни одного генерала. В первые месяцы борьбы у нас не было генералов. Когда мы, молодые патриоты, звали их присоединиться к нам, то они спрашивали: а кто им будет платить жалование. Они пришли, когда генералам стали платить генеральское жалование. А капиталисты от начала борьбы и до конца не дали Колчаку ломаного гроша. Основой Белой армии были восставшие против еврейской власти рабочие Ижевского, Боткинского и Лохвицкого заводов. Ижевский был старейшим и самым большим Российским заводом, изготавливавшим трехлинейные винтовки для Российской армии. К рабочим этих заводов присоединились крестьяне Среднего Поволжья и Уфимской губернии, отряды которых быстро освободили почти всю Уфимскую губернию. Из этих рабочих и крестьян и были созданы самые боевые 4-я Уфимская и 8-я Камская дивизии. Состав каждой из них доходил до 20000 бойцов. Они называли себя Народной армией. Одновременно с Ижевцами и Воткинцами восстали против власти Ленина и Троцкого Оренбургские казаки, выставив 36 полков против изменников родины. В эти полки пошли добровольцами почти поголовно, начиная от юношей

до седых стариков. Вслед за Оренбургскими казаками восстали против Интернационала казаки Сибирского казачьего войска, Забайкальского, Амурского и Уссурийского. К ним присоединилась интеллигентная молодежь Сибири. Крестьяне Сибири, еще не попробовавшие, чем пахнет коммунизм, были равнодушны и к белым, и к красным, но немало из них, распропагандированных агентами Ленина, пошли в партизанские отряды сражаться за пролетариев всех стран. Я не отрицаю того, что в армии Троцкого, кроме интернациональных полков и батальонов китайцев, корейцев, мадьяр, немцев и батальонов башкир, всё же преобладающее большинство составляли русские. Но кто были эти русские? Это были темные, несознательные русские люди, которые поверили Ленину, что он создаст им действительно народную власть и что они будут хозяевами страны и сразу заживут богато. А большинство бойцов Красной армии были мобилизованные под страхом смерти. В числе их – 100000 царских офицеров. (Не подумайте, что я преувеличил, эту цифру я взял из советского журнала «Сибирское Обозрение», № 5 за 1925 год). Все эти бойцы, оказавшие помощь Троцкому и Ленину изгнать из России патриотов, увидев через короткий срок, какую народную власть создал им Ленин, подняли восстания против этой власти, которые продолжались во многих частях страны до самого начала Второй Мировой войны. Даже матросы Балтийского флота, «краса и гордость революции», как называл их Ленин, восстали против него, но были разбиты Троцким при помощи башкирских батальонов и военных курсантов, наступавших на Кронштадт по льду в белых саванах. 1500 балтийцев, создателей «Великого Октября», спасли тогда свои жизни, уйдя по льду в Финляндию. Около такого же количества было отправлено в Сибирские «лагеря смерти», а остальные были отправлены на тот свет, прямо из Кронштадта при помощи Нагана.

Я думаю, что большинство из двадцати миллионов граждан СССР, погубленных советской властью, были именно те, кто боролся против Колчака. Даже восемь из десяти первых маршалов Советского Союза не избежали этой участи. Миллионы русских крестьян, которым Ленин обещал много земли, не получили даже по три аршина. В большие ямы «лагерей смерти» их клали друг на друга по пятьдесят и даже по сто. Ничего об этом не сказано в вашей Энциклопедии. Всё это можно, при желании, найти в книге «Архипелаг ГУЛаг» вашего советского писателя Александра Солженицына.

С братским приветом,
редактор Сборника Исторических фактов
Владимир Жиганов.
Сентябрь 1976 г.

Лариса Вульфина

«И нет ничего приятнее, как спать под открытым Небом...»

Письма Юрия Бобрицкого к Федору Рожанковскому

Настоящая статья продолжает исследование сохранившегося эпистолярного наследия художника Ф. С. Рожанковского (1891–1970)*. Внимательное изучение этого интереснейшего архива чужих судеб позволяет заглянуть в переписку художника как с известными изгнанниками (Н. Д. Татищев, Г. П. Федотов, М. В. Добужинский, А. М. Ремизов, В. Б. Сосинский, М. Л. Слоним, С. М. Зернова), так и с эмигрантами, чьи имена сегодня забыты или только открывают (В. С. Иванов, Валентин ле Кампион (В. И. Битт), А. Т. Худяков, К.И. Аладжалов, Ф. В. Чайко). Вынесенная в заголовок статьи строка принадлежит одному из таких недостаточно оцененных пока художников – Юрию Бобрицкому (1917–1998), живописцу, графику, скульптору, мастеру пейзажной фотографии, с которым Федора Рожанковского связывали дружеские и профессиональные отношения, хотя были они из разных поколений, разница в возрасте – почти тридцать лет. Рожанковский родился в Российской империи, Бобрицкий был ровесником революции, он родился в 1917 году в поселке Знаменка Харьковской области в семье инженера-путейца. Через несколько лет семья переехала в Люботин, пригород Харькова. До начала войны Юрий закончил в Харькове Художественную школу. В 1941 году, когда Люботин был оккупирован немецкими войсками, он был депортирован в трудовой лагерь в Германию. После окончания войны он четыре года жил в лагере для перемещенных лиц Парш под Зальцбургом, там же женился на австрийской девушке. Ильза Штраубенгер (так звали его избранницу), рожденная и выросшая в обеспеченной семье, была вынуждена покинуть родовое имение из-

* Подробнее о Ф. Рожанковском, его семейном архиве и эпистолярном диалоге с друзьями см.: *Вульфина Л. Ф. С. Рожанковский и В. Б. Сосинский. Переписка 1957–1967 гг. – «Новый Журнал». 2019, № 294. Автор выражает глубокую благодарность всем, кто помогал в работе над материалом, – Елене и Ильзе Бобрицким, Татьяне Рожанковской, Сергею Голлербаху, Елене Дубровиной.*

за протестов родителей, не одобрявших ее выбор, и добровольно поселилась в лагере, как только они поженились в январе 1948. В Парше в ноябре того же года родилась их дочь Аленушка.

Летом 1949 года им удалось выехать в США, и зимой того же года Бобрицкий устроился печатником в нью-йоркскую мастерскую шелкографии. (В мастерской «Хильда Ньюман Студио» работал и Сергей Голлербах, который почти одновременно оказался в США, находясь до 1949 года в баварском лагере для перемещенных лиц недалеко от Мюнхена. В той же мастерской среди многих русских трудился и Всеволод Добужинский, младший сын М. В. Добужинского.)

Семьи Рожанковских и Бобрицких были знакомы с 1950-х годов. Бобрицкие жили в Йонкерсе (Yonkers, близкий пригород Нью-Йорка) в многоквартирном доме на последнем этаже, с прекрасным видом на Гудзон. Рожанковские – в Бронксвилле (небольшом городке тоже в окрестностях Нью-Йорка). Позднее обе семьи станут жить по соседству в Бронксвилле на одной улице (Cassilis Avenue); дома их стояли напротив и часто собирали под своими крышами общих друзей. В доме Рожанковских весело проводили время и отмечали праздники Марк и Татьяна Слонимы, семья Лодыженских (Екатерина Ивановна и ее родители), Владимир и Ариадна Сосинские, Вадим Андреев (сын писателя Леонида Андреева) и его дочь Ольга Андреева-Карлайл, художники Андрей Худяков, Владимир Иванов, Фриц Эйхенберг). Одним из «культурных центров» старого, уже ушедшего русского Нью-Йорка называл в своих воспоминаниях художник С. Голлербах и гостеприимный дом Бобрицких*.

Голлербах дружил с Бобрицким еще со времен работы в «Хильда Ньюман Студио», их обоих сближало и то, что оба они были представителями поколения «ди-пи», вместе занимались в Нью-Йорке в Лиге студентов-художников (Arts Students League). В их доме бывали художники Владимир Шаталов, Анатолий Гороховец, Николай Николенко, Вячеслав Иляхинский, Кирилл Буллитис с супругой Тamarой, скульпторы Сергей Корольков и Андрей Дараган, поэты Иван Елагин и Вячеслав Завалишин и, конечно же, Рожанковские. Не раз доводилось гостям присутствовать во время ссор убежденного антикоммуниста Бобрицкого и искренне верящего в светлое будущее Советской России Рожанковского. Бобрицкий всегда с волнением следил за событиями, происходящими в стране Советов, но в отличие от некоторых русских друзей, у него никогда не было желания посетить Россию или Украину. «Память отца не сохранила четкие воспо-

* Голлербах С. Памяти двух друзей. – «Новый Журнал». 2017, №. 287. Сс. 309-315.

минания детства, проведенного там, он не рассказывал о своих родителях и о своей юности. Так, как будто он закрыл дверь в ту часть своей жизни, которая причиняла ему боль...» – рассказывает дочь художника Елена Бобрицкая-Мьюлз. По устным воспоминаниям Голлербаха, Рожанковский же частенько «коммуничил» и подначивал своего вспыльчивого и прямолинейного приятеля, тогда как украинцу Бобрицкому, живому свидетелю голодомора, было невыносимо слушать доводы о необходимости сталинской коллективизации или разделять ликование по поводу строительства Беломорканала*.

К счастью, политические разногласия не повлияли на многолетнюю дружбу двух художников. Их объединяло и мирило искусство. Это подтверждают и письма. В предлагаемой публикации их всего лишь пять, хронологически они относятся к шестидесятым годам минувшего столетия (первое письмо датируется 1962 годом, последнее отправлено в июне 1970-го, за три с половиной месяца до кончины Ф. С. Рожанковского). Возможно, существовала и корреспонденция более раннего периода, но она могла быть безвозвратно утрачена в наводнении, случившемся в Бронксвилле в начале 1960-х во время отсутствия Рожанковских в США. Более поздняя переписка (1970–1980), которую продолжал вести Бобрицкий с семьей Рожанковских после смерти Федора Степановича, адресована вдове художника Нине Георгиевне и дочери Татьяне и носит бытовой характер; часто это короткие поздравительные видовые открытки с «приветом из чудесных мест, где пахнет океаном и лесом...» К сожалению, переписка эта односторонняя, ответных писем Рожанковского не найдено, но сохранилось письмо Федора Степановича, отправленное в 1963 году из Франции (Ла-Фавьер) к его другу В. Сосинскому: «Сегодня из Парижа получил пересланную пневматичку от Ю. Бобрицкого (Письмо или телеграмма, отправленные пневматической почтой. – Л. В.). Это талантливый художник, которого заработок в USA не испортил. Он каждый год, заработав писанием декораций для театров, приезжает в Европу...» Одержимый страстью к путешествиям и получивший за это прозвище «моряк-скиталец», Бобрицкий долгие годы в летнее время отправлялся «бродяжничать». География путешествий была широкой – Мексика, северные штаты Америки, Европа. Даже через океан он переплывал со своим «домом-улиткой» – собственным мини-автобусом «Фольксваген», который художник оборудовал как передвижную студию. Результатом этих поездок были

* В книге С. Голлербаха «Нью-Йоркский блокнот» горячим идейным стычкам двух «антагонистов» посвящена отдельная глава. См.: *Голлербах С. Нью-Йоркский блокнот. Книга воспоминаний.* – Нью-Йорк: The New Review Publishing. 2013.

серии натуральных пейзажей – южных (итальянских, греческих) и северных – схваченные зорким глазом и переданные точной линией графические зарисовки леса в штате Мен, строгие очертания исландских и ирландских озер, фьордов, айсбергов, скал, валунов. За время странствий накапливалось и множество фотослайдов, для их демонстрации в доме Бобрицких устраивались специальные вечера-лектории. По воспоминаниям друзей фотообъективом художник пользовался, «как живописец кистью»*.

Любовь к художественной фотографии передал ему его учитель – Ясуо Куниеси**. Ю. Бобрицкий работал художником-оформителем для множества студий, которые занимались созданием театральных декораций для бродвейских постановок Радио-Сити Мюзик-холла, Метрополитен Опера, кино и телевидения. В конце 1950-х, после вступления в профсоюз работников сцены (United Scenic Artists of America), стало легче получать заказы. Талантливый и физически выносливый Бобрицкий (был он высокого роста и атлетического сложения) всегда был востребован и никогда не испытывал нужды в заказах. Его направляли в разные студии в Манхэттене, Квинсе, Бронксе и Бруклине. Справляясь с самой тяжелой работой, он понимал, что занятия эти не имеют никакого отношения к искусству. Художника это угнетало, но приходилось терпеть заказы из-за хорошей оплаты и длинного отпуска. Театральный «мертвый сезон» позволял надолго удрать из Нью-Йорка и творить, бросив скучный «малярский» труд на три, а иногда даже и на шесть месяцев. Во время таких «каникул» Юрий Бобрицкий и писал Федору Рожанковскому из-за океана.

Письма для исследователя – благодарный материал, даже несколько таких человеческих документов могут немало поведать об их авторе и служить самым лучшим его автопортретом. Вряд ли художник думал, что когда-нибудь его послания станут читательским достоянием, и поэтому они особенно ценны, в них всё настоящее – размышления, настроения, добрая ирония. И как тут не согласиться с Сергеем Голлербахом, сказавшем о своем друге: «Без всякого сомнения, он (Ю. Бобрицкий. – Л. В.) был абсолютно чистым человеком, любящим искусство в себе, а не себя в Искусстве».

* Завалишин В. К. Викинг линии и цвета // «Русская жизнь». 21 декабря, 1984. С. 5.

** Yasuo Kuniyoshi (1893–1953), американский художник японского происхождения, преподававший в Лиге студентов-художников.

Письма

Ю. В. Бобрицкого к Ф. С. Рожанковскому

6/III/62

201 North Broadway,

Yonkers, NY

(Письмо отправлено из Нью-Йорка в Париж. – Л. В.)

Дорогие Федор Степанович, Нина Георгиевна и дочурка.

Очень было радостно получить от Вас письмо, Вам вовсе не в чем извиняться – это мне следует.

Я восхищаюсь вашей энергией переживать все трудности, жить, работать, творить.

Жаль, что побаливаете, но кто не болеет? Мне мою аллергию удалось обмануть, уехав в Мексику; когда приехал, то для нее срок прошел, не укусишь. В ядовитую траву у меня уже не было времени лазить, так что тоже Бог миловал, но простуживались мы все. Вы пишете, что у Вас веселая квартира, – только? – по-моему, у вас там вообще очень «весело». И бомбочки рвутся, и стреляют друг в дружку, и демонстрируют¹. У нас здесь всё спокойно, даже автобусы не ходят – забастовали, кто следующий? А пока всё чинно, и я туда же – идем на работу, что-то делаем, едим наш «lanch», как он там пишется, до сих пор мой английский – беда².

Всё, что собираюсь написать, можно заменить одной фразой – ничем не доволен! Нет, вру – Алenuшка мне нравится, учится неплохо, учится играть на пианино, вместе мы с ней в воскресенье гуляем и говорим о наших проблемах. Это хорошо. Но я – вот проблема! Работа, не приносящая ничего, кроме долларов, Yonkers и снова работа. Поезд, загылки в шляпах и носы, обернутые в газеты, дальше подземка, здесь уже как муравьи. В мое время к 8.30-ти едут самые низшие «роботы» – «часы» – как бы не опоздать. Я прихожу в наше «ателье» (Мастерскую. – Л. В.) обычно последним. В раздевалке, заваленной грязной одеждой, оставленной другими раньше уволенными, накурено, сидят «роботы», умеющие делать мрамор, любые доски, шпаклевать, клеить, писать буквы³. Когда-то ведь тоже учились и когда-то, может, был у них свой идеал. Сегодня – доллар – всё!

Этот год для меня был не очень долларovým, хотел в Югославию, Грецию, но придется сократиться. Мысленно ставлю срок – до мая. Но может случиться, что и раньше. В нашей студии

работу кончаем 15 марта. Хочется сесть на поезд и драпануть как можно дальше. Удалось мне выставить несколько рисунков, но это и всё. Боже, как мало!..

Если у Вас затруднения с «жилплощадью» будут здесь – милости просим. Всегда будем рады Вам. Всем от нас привет и лучшие пожелания – не болейте⁴.

Ваш Юрий Бобрицкий

1. Речь идет о парижских событиях осени 1961 года, когда происходили массовые беспорядки. В 1960-м году Рожанковские, продав дом под Нью-Йорком, переехали во Францию и поселились в Париже. До 1965 года семья снимала квартиру в 16-м округе по адресу 103 avenue de Versailles, а лето они проводили в собственном доме в Ла-Фавьере.

2. lunch (*англ.*)

3. До 1966 года Ю. Бобрицкий трудился в студии Владимира Одиноква в старом здании Метрополитен Опера, которое находилось на Бродвее (39-я улица). По воспоминаниям близких Бобрицкий был с Одиноквым в дружеских отношениях, тогда как на работе отношения с «боссом» иногда накалялись, но именно Одинокв, по словам Сергея Голлербаха, помог вступить Бобрицкому в профсоюз работников сцены (United Scenic Artists of America). Художник часто жаловался домашним на условия, в которых приходилось трудиться, – помещения были грязными, без вытяжки, проводить в них много времени было опасно для здоровья, в воздухе стоял густой запах химических веществ, используемых для производства декораций, никто тогда не использовал защитные маски и многие, с кем довелось работать художнику, скончались впоследствии от рака легких.

4. Поездка в Грецию и Югославию, видимо, всё-таки состоялась. В сентябре 1963 года Рожанковский пишет Сосинскому о Бобрицком: «Сейчас приехал (Ю. Бобрицкий. – Л. В.) из Греции и Югославии – звонил, но не дозволился нам. В прошлом году (опять же без нас) приехал в La Faviere, его тут Володя принимал» (Соколенко Владимир Илларионович – друг юности Ф. Рожанковского, близкий друг семьи Рожанковских, смотритель их летнего дома в Ла-Фавьере. Скончался в 1963 году).

30 января 1965

201 North Broadway,

Yonkers, NY

(Письмо отправлено из Нью-Йорка в Париж. – Л. В.)

Дорогой Федор Степанович!

Много хочется спросить, сказать. Что же первое?

Во-первых, я надеюсь, что у Вас уже всё в порядке с глазами и

волнения остались позади¹. Я помню, как в тот вечер, когда получил Ваше письмо, кто-то из друзей прислал Рождественскую карточку: зверюшки танцуют вокруг елки – Ваша, конечно. Как Вы их, зверят, хорошо чувствуете! Я их тоже люблю, но как возьмусь за рисование – ничего не выходит, а встречаться с ними люблю. У нас даже есть «знакомый» «вудчак»² в одном овраге; как прииду (sic!) туда, всегда он возле своей норки и семейство ракунов в одном camp (лагере). Зверюшки – прелесть, и мир был бы очень не весел без них. Мечтаю, даже больше – планирую путешествие по Европе. Вначале никак не мог решить, куда причалить, но в конечном счете решил – Неаполь. Я хотел в Палермо и, возможно, что еще и перенесу билет на другой пароход, а пока 16 апреля «Independence» на Неаполь. Он («Independence») мне понравился, что делает по берегу Средиземного моря несколько остановок, правда, кто-то из знакомых мой пыл немножко сгладил, сказав, что на берег не пустят. Это, конечно, не совсем хорошо, но даже и так приятно будет поглазеть на города, которые не видел. Я хочу на Сицилию, но пароходов прямо туда мало и на итальянских «не советуем – публика не тавос» – сказали мне в «tourist». Знаю, что врут, потому что то, что для них неприятно, – для меня как раз наоборот. А то, что называется «о'кей», то это ни дать ни взять – манекены с «Madison Ave» и бабушки, бабушки... половина парохода серебряных бабушек – «how nice!», «how beautiful!» – чтоб вы пропали! Но пока еще билет не переменял.

В июле приплывает Ильза с Аленушкой, и мы с ними собираемся покататься, пора их приобщать к «camping», да и показать ведь есть что. В Зальцбурге, конечно, до сих пор нет ничего – когда мне устроят выставку моих рисунков. Тоже черти! И поэтому ничего нельзя заранее планировать – когда и сколько, но может так и лучше, потому что единственная точная дата: 10 сентября плывет из Le Havre французский на New York. Думаю с неделю быть в Париже. И если окажется, что Вы в это время там будете, то хотелось бы «пожать Ваши ручки».

Решил взять автомобиль – ведь это мой дом, и нет ничего приятнее, как спать под открытым Небом (у него раскрывается крыша), ну и на всякий случай хочу встать здесь, а не там, и не таскаться с багажом, так что буду, как улитка. Вам и Вашим привет от моих женщин – Аленки и Ильзы. Первая растет, и куда ее! Ну и подумывает об университете – хорошо учится.

Но, может, Вы слышали: умер художник Иванов. На русской выставке еще мы разговаривали, а перед Новым годом читаю: уже нет, так-то³.

На днях должна открыться выставка – Климт и Шилле. Обоих

когда-то любил и с ними была «большая дружба», интересно, как будут смотреться теперь?

Ну что же, до не скорого скорого. Желаю Вам всего наилучшего, не болеть ни Вам, ни семейству.

Ваш Юрий Бобрицкий

1. В октябре 1964 года Ф. Рожанковскому была сделана первая операция по удалению катаракты.

2. woodchuck – сурок (англ.)

3. С Владимиром Степановичем Ивановым (близкие друзья звали его Вольдемаром) Ф. Рожанковский был знаком со студенческих лет. В. Иванов родился в Екатеринославе (Днепропетровск, ныне Днепр) в 1885 году в купеческой семье. По настоянию родителей поступил в Харьковский технологический институт. Желая получить художественное образование, покинул институт и решил продолжить обучение в Москве в частном училище Ф.Рерберга (Ф. Рожанковский в 1911 году, до поступления в МУЖВЗ, тоже обучался в студии Рерберга). После революции Иванов жил в Алуште, был учителем рисования в местной гимназии, в конце Гражданской войны эвакуировался из Крыма в Константинополь, где прожил около трех лет, был одним из организаторов товарищества «Союз русских художников в Константинополе» (Union des Artistes Russes) и избран его первым председателем (одним из членов Товарищества был художник Владимир Бобрицкий, псевдоним Бобри, двоюродный брат Юрия Бобрицкого). В 1923 году В.Иванов вместе с женой Ириной Папкевич переселяется в Нью-Йорк. В Америке он продолжал творческую деятельность, принимал участие в выставках, много работал с деревянной скульптурой, дружил с Сергеем и Маргаритой Коненковыми. В архиве сохранилась переписка с Ивановым с 1930-х годов, когда Рожанковский находился еще в парижской эмиграции. Сохранилось и последнее, предсмертное письмо В. Иванова, написанное им в госпитале Monte Fiori в Бронксе.

Без даты

(Рукотворная новогодняя открытка с рождественским рисунком Ю. Бобрицкого «Поклонение волхвов». – Л. В.)

Дорогие Рожанковские!

Поздравляем Вас с праздниками и желаем всего наилучшего в Новом Году!

Каждый раз, перелистывая адресную книжку и... DE 74485, рука не поднимается его вычеркнуть, хотя знаешь, что Вас там уже больше нет¹. Было очень трогательно с Вашей стороны нас проводить. Это был бы лучший день нашего путешествия, если бы не пришлось расставаться. В общем, ведь вся жизнь на расставаниях. Приехав в

Нью-Йорк, я несколько дней еще не находил мест, которые знал раньше, в студию пошел в противоположном направлении. Я запомнил почему-то одно из моих первых впечатлений – войдя на почту, увидел «Wanted»² и рожи в фас и в профиль. Сейчас я снова «делаю деньги», чтобы как можно скорей уехать. Привет от всех нас.

Бобрицкие

1. DE 74485 – номер телефона Рожанковских в первом доме в Бронксвилле, который был продан в 1960 году, поэтому, вероятнее всего, открытка была отправлена из Нью-Йорка в Париж в начале 1960-х гг.

2. В данном случае – «разыскивается», «в розыске» (*англ.*).

22 августа 1965

(Отправлено из Зальцбурга в Париж. – Л. В.)¹

Дорогие Федор Степанович и Нина Георгиевна!

Я долго откладывал, еще из Нью-Йорка, потом с 17 апреля пошла Сицилия, всё откладывал до удобного случая, до места, где как-то осяду и будет спокойней. Первое такое место было, пожалуй, в Сицилии в городе [нрзб], там я пять дней лежал в госпитале, чего-то подхватил, съел не то что надо, температура 40, но благодаря сицилийским докторам в пять дней был снова на колесах, но опять-таки ничего не написал, пошел кочевать дальше. Должен сказать, что в Сицилии я положительно мерз не меньше месяца, и снег был на горах, которые ниже 2 000 метров. Спал во всех своих свитерах и галстук еще в придачу. Сейчас вспоминаю с радостью всё и, в особенности, тех безграмотных пастухов, которые еще на рассвете приносили мне хлеб и молоко и не желавшие ничего за это, а ведь у них латка на латке.

Вспоминаю в Segesta² греческий храм, мой первый camping на просторе и ни души вокруг, только два пса всю ночь чего-то тявкали, видно, честно исполняли свою службу, я им дал поесть, и до утра они не отходили от автомобиля, а утром исчезли и снова я был сам; случайные встречи, адреса – много хороших людей на свете.

Можно писать и писать. И греческий пароход «Anna Maria» – ведь тоже целая глава. Чертовы греки набрали пассажиров, а пароход был не готов и всё время от New York до Palermo были слышны молотки, запах краски, и я был приятно удивлен, когда в 6 часов утра сошел на берег и ждал – выгрузят мой автомобиль или нет. И вдруг вижу – он! Как спичечная коробка мелькнул в воздухе и стал передо мной (мой «Конек-горбунок»). А мне было жалко уезжать, уже за 10 дней вдруг сделались близкими люди, которых никогда не знал и которые теперь ехали дальше в Грецию. А я ведь Грецию люблю.

В 7 утра я видел последний раз «Анну Марию». Вместо нее причалил неожиданно «Иван Франко». С тех пор много утекло времени, много я видел, пережил, был в Швейцарии, посетил моего дядю (81!) Ух, какой чудесный старик. Мало того, что он мировая величина, профессор S. P. Timoshenko. Всякий инженер его знает. Но в прошлом году он, лазя по горам, сломал себе ногу. Три месяца пролежал в госпитале в Швейцарии. После чего полетел в Америку, продал свой дом и после 42 лет деятельности перекочевал к своей дочери в Германию. Говорит: «Я не чувствую ни малейшего сожаления, что оставил Америку». Это после 42 лет!³

Влюбился я в третий раз в Венецию. Мы были там с Ильзой и Аленушкой. Только 10 дней мы пробыли вместе, теперь я в Зальцбурге, студент снова, учусь литографии, жаль только, что эта Summer Academy один месяц. Много интересных людей я встретил и многому научился. И снова люди, которых еще 20 дней назад не знал, стали друзьями. И снова через 6 дней они разбредутся.

Иногда мне приятно и даже иногда некоторая гордость идти вот так самому, мне даже кажется, самое идеальное – быть самому. Но для этого нужны силы, много ли их?!

Ваше письмо, написанное еще в New York в феврале, всё время лежало вблизи, и я его как-то боялся раскрыть снова, а когда прочитал еще раз, то оказалось, что Вы должны быть уже давно в New York(e) и пишу я наобум. Может, его перешлют. Через три дня открывается моя выставка. Уже всё сделано со стороны Salzburger Kunstlerhaus⁴ «Plakat» я сделал, уже разосланы приглашения, а у меня куча рисунков и мне совсем еще не ясно – какие именно и достаточно ли они интересны. Но отступать некуда...⁵

Желаю Вам всем на новом (старом) месте успеха. Я очень извинюсь, что сразу не ответил. Всё, как всегда, чего-то ждал...

Ваш Юрий Бобрицкий
Salzburg American Exp.
Mozart platz 5

1. Письмо сопровождается запиской от 23 августа 1965 года, адресованной Дагмаре и Борису Синицыным, парижским друзьям Ф. С. Рожанковского. В то лето Рожанковские, вернувшись из Франции в Америку, искали новое жилье и летом временно жили в доме Фрица и Маргарет Эйхенбергов недалеко от Нью-Йорка. В новый дом в Бронксвилле они въедут лишь в ноябре 1965 года. Видимо поэтому Бобрицкий, находясь в это время в Европе и не зная их точного адреса, обращается к Синицынам: «Многоуважаемые Господа Синицыны! Не откажите в любезности переслать это письмо Федору Степановичу! Он, по-видимому, в New York(e), но я не знаю его адрес. Мы ведь с Вами, по-

моему, встречались пять лет назад, тогда я был с моим домом-улиткой, теперь я тоже так же шляюсь по свету. С приветом, Ваш Юрий Бобрицкий».

2. Сегеста – античный город на северо-западе Сицилии.

3. Ко времени переезда Ю. Бобрицкого в Нью-Йорк среди членов его семьи в Америке жили два его выдающихся родственника – двоюродный брат, художник и музыкант В. Бобрицкий (Бобри) и дядя, известный ученый в области прикладной механики С. Тимошенко. Владимир Васильевич Бобрицкий (1898–1986) жил в США с начала 1920-х годов и помимо художественных талантов театрального декоратора и книжного иллюстратора профессионально играл на гитаре, сочинял музыку и был создателем Общества классической гитары Америки. Степан Прокофьевич Тимошенко (1878–1972) находился в эмиграции с 1919 года. В 1920 году он был профессором Загребского политехнического института (кафедра сопротивления материалов), в 1922 году переселился в США (сначала в Филадельфию, а через год в Питтсбург, где работал в институте компании «Westinghouse»). В 1927-м по приглашению Мичиганского университета переехал с семьей в Энн-Арбор. С 1935 по 1964 гг. преподавал в Стэнфордском университете (Калифорния). Дважды посетил Советский Союз (1958 и 1967 гг.), побывал в городах Ромны, Киев, Львов, Москва, Ленинград. Последние годы жил в Вуппертале (Германия) у старшей дочери, выезжая летом на отдых в Швейцарию.

4. Зальцбургский выставочный центр современного международного и австрийского искусства.

5. Открытие персональной выставки Ю. Бобрицкого в Зальцбурге состоялось 25 августа 1965 года в галерее Residenzgalerie. Следующая выставка Ю.Бобрицкого состоялась через год в Германии (Park Pavillion, Frankfurt, 1966). Персональные выставки художника проходили в Музее Н. Рериха (Nicholas Roerich Museum, New York, 1969), в Украинском клубе (Ukrainian Arts and Literary Club, New York, 1971; 1976), в Национальном клубе искусств (National Arts Club, New York, 1980), в Публичной библиотеке Нью-Рошелл (New Rochelle Public Library, New York, 1984), в Библиотеке Хэррисон (Harrison Public Library, Harrison, New York, 1987) и др.

27 июня 1970!

(Отправлено из Британии в Нью-Йорк. – Л. В.)

Дорогие Федор Степанович и Нина Георгиевна!

Иной день столько новых впечатлений, что «вчера» кажется было Бог знает когда, поэтому и написать письмо в каком-то порядке для меня просто невозможно. Одно с уверенностью скажу – интересно стоять на площади и просто наблюдать жителей; через час ты уже кого-то знаешь, уже как бы начинаешь чувствовать – чем живет этот городок. Но чу! Надо купить хлеба, молока, кончились спички, пошел

дождь, намокло белье, а еще хуже, если не можешь рисовать, разве что из окна. Дел мелких куча, а без них не обойтись. Едем, и надо всё время сверяться со справочником, чего-нибудь не пропустить, ибо даже в Ирландии много осталось стоящей внимания старины.

Нигде я не видел столько разнообразных оттенков серого, как здесь. В городах этот серый (камни) красят в пастельные тона и городки получаются очень живописными. Стоят здесь разбросанные по всей стране огромные кресты, с красивым орнаментом 8-9 столетия. Интересно, что прошло 1000 лет, и люди ничего не смогли придумать лучше: ставят подобные кресты на могилах, только хуже и меньше. Остались башни. Высоченные, куда выше маяков, в которых когда-то прятались от набегов. Много я насмотрелся. В Англии какие храмы!!! И там, и здесь мне нравится народ, очень приветливый, услужливый. В Америке уже бы, наверняка, были бы какие-то неприятности, а здесь я уже шляюсь два месяца... тьфу-тьфу, чтобы не сглазить. Помню, как спросил у полицейского – где «camping»? Так он вместо разговора ехал впереди на мотоциклете, останавливал трафик и довез прямо до ворот!

Да, забыл совсем: я ведь наслаждаюсь вкусом хлеба, молока, помидоров – всё здесь и в Англии имеет свой вкус! Проходишь мимо пекарни, не можешь не купить хлеба, хотя он тебе и не нужен.

Сорок дней не было ни одного дождя. Наверное поэтому там на «верхотуре» решили «поправить» – идет через каждый час, а иногда моросит беспрерывно. Парикмахер порадовал: «Так может продолжаться шесть месяцев» – типун ему на язык. Не знаю почему, но в путешествии я всегда «оглядываюсь назад», проходят картины далекого прошлого людей, мест, и видишь себя, чего-то жаль, чего-то нет, а «поезд всё мчится вдаль». Кстати, я ведь не помню точно, мне кажется, Федор Степанович собирался в июле в Россию? Надеюсь, что мое письмо застанет Вас всех еще дома. Я много исписал бумаги, а написал мало и не то; жизнь как-то другая, чем ее начинаешь описывать. Желая Вам всем здоровья и приятного лета.

Ваш Юрий Бобрицкий

Да, рисунки Ваши я передал. Наверное, Вас известил адресат². Позвоните, пожалуйста, Ильзе. Я ей скоро напишу.

1. Это будет последнее лето Федора Рожанковского, скончавшегося 12 октября 1970 года в своем доме в Бронксвилле.

2. Предположительно, рисунки Рожанковского были переданы его британскому другу Лэсли Касдену (Leslie Cusden), с которым он познакомился еще в Париже в 1930-е годы.

КУЛЬТУРА. ЛИТЕРАТУРА. ИСТОРИЯ

Игорь Чиннов

К 110-летию со дня рождения

13 ноября 2019 года в Москве, в старинном особняке, одной из жемчужин чудом сохранившейся недоуничтоженной Москвы городских усадеб, прошла научная конференция, о которой мы и хотим рассказать. Но начнем с Дома – как символа прошлого, выстоявшего в тихих переулках Москвы вопреки истории. Дом был построен в 1820-е годы в постпожарной столице знаменитым Доменико Жилярди для князя Сергея Гагарина. Тяжелые дорические колонны, богатая орнаментация, чугунная ажурная решетка, барельефы – аллегория крылатой Победы, триумфальные колесницы, грифоны... Сколько таких прочных, надежных домов было разрушено после 1917-го... Этому дому повезло. Может быть, своеобразным гарантом его неприкосновенности в свое время послужила фигура «буревестника революции» – Максима Горького, эдакая воплощенная деструкция пространства Дома. Как бы то ни было, но они – статуя и дом – ужились; дом стоит – и «дышит» высокой духовностью. Сегодня в нем располагается Институт мировой литературы РАН им. А. М. Горького. И это действительно – лучшая судьба для Дома, – надеемся, что и в XXI веке (хотя на Институт давят и, глядишь, выдавят). Что поделать, в нынешнем веке у русской культуры – свои «буревестники».

Итак, 13 ноября 2019 года, Институт мировой литературы РАН. Конференция «Русская эмиграция в послевоенные годы. Две волны: притяжения и отталкивания» – конференция, приуроченная к 110-летию Игоря Чиннова.

Имя Игоря Владимировича Чиннова (1909, Курляндская губерния Российской империи, – 1996, шт. Флорида, США) сегодня ни о чем не говорит российскому читателю – и, к несчастью, мало что значит для современной русскоязычной диаспоры. Горько осознавать, что имя одного из ведущих поэтов русской эмиграции – блистательного насмешника, интеллектуала, «Игоря Тишайшего» – Игоря Бунтующего, последнего поэта «парижской ноты», – имя это забыто неблагодарным «самым читающим» читателем планеты. И тем радостнее, что в старом гагаринском доме нашлись люди, которые не только помнят и знают блистательного Чиннова-поэта, но и смиренно и преданно хранят его наследие, его архив.

Мы не будем рассказывать биографию Чиннова – судьба русского эмигранта вполне в ней отражена. Игорь Чиннов не приезжал в советскую Россию до Перестройки, когда «Новый Журнал», среди первых эмигрантов, поехал в Москву 90-х на встречу с читателем, – выполняя тот самый завет

старой эмиграции: вернуть наследие русской культуры в свободную Россию. Сегодня это выглядит наивно – но не высокими ли духовными порывами наивных душ спасала себя всегда русская культура?.. Для Игоря Чиннова эта поездка стала определяющей. Он познакомился с замечательной женщиной, исследователем, Ольгой Феликсовной Кузнецовой, которая и стала хранительницей его поэтического наследия и его архива. При поддержке Института, сегодня энергией ее и ее коллег не только бережно хранится весь огромный архив поэта, но и воссоздан кабинет проф. И. В. Чиннова – его мебель, картины, фотографии, видео- и аудиозаписи, предметы быта (всё это было вывезено в Москву из Флориды из дома Игоря Владимировича после его кончины, согласно завещанию). Кабинет – удивительный рукотворный памятник поэту-эмигранту. Поэтам-эмигрантам.

Ведется Институтом и исследовательская работа, издаются книги, статьи. Так и конференция, посвященная 110-летию И. В. Чиннова, – еще один важный шаг на пути сохранения наследия русской культуры XX века, сполна отраженной в творчестве многонациональной русскоязычной эмиграции.

Программа конференции представила самые разные аспекты изучения русской эмиграции: доклады «Архив И. В. Чиннова в ИМЛИ РАН. Фонд № 614 Отдела рукописей. Материалы фонда, история возникновения» О. Ф. Кузнецовой (ИМЛИ РАН), «Журнал ‘Часовой’ как отражение жизни русской диаспоры» К. К. Семенова (РГГУ, Дом Русского Зарубежья), «40 лет и вся жизнь: Игорь Чиннов и ‘Новый Журнал’» М. М. Адамович («Новый Журнал», Нью-Йорк), «‘Грядущая Россия’ – первый ‘толстый’ журнал русской эмиграции» Г. Н. Воронцовой (ИМЛИ РАН), «В. А. Синкевич – поэт, издатель, мемуарист» Т. В. Гордиенко (РГУТиС, член ассоциации «Бунинское наследие», Москва), «Ю. И. Айхенвальд в берлинской газете ‘Руль’ (история сотрудничества и проблемы подготовки сборника статей критика)» И. В. Кочергиной (ГБОУ Школа № 57, Москва), «Андрей Яковлевич Белобородов (1886–1965) – забытый представитель Русского Зарубежья в Риме» А. А. Войтухова (НИУ ВШЭ) и др. Заседание открыла заместитель директора ИМЛИ РАН, заведующая Отделом рукописей, д-р ф. н. Д. С. Московская.

В программу конференции было включено посещение «Кабинета архивных фондов эмигрантской литературы им. И. В. Чиннова». Организаторы также предоставили участникам уникальную возможность прослушать многочасовую аудиозапись рассказа И. В. Чиннова о русском Париже 1945–1953 годов, о А. М. Ремизове, И. А. Бунине, Н. А. Бердяеве, Г. В. Адамовиче и др.; о его вступлении в масонскую ложу «Астрейя» и пр. (Запись сделана О. Ф. Кузнецовой в Подмоскovie в 1992 г.).

Мы предлагаем читателю НЖ журнальный вариант нескольких докладов с конференции, посвященной 110-летию И. В. Чиннова.

О. Ф. Кузнецова

Об архиве Игоря Чиннова в Отделе рукописей ИМЛИ РАН

ИСТОРИЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ АРХИВА

Архив поэта Игоря Владимировича Чиннова (1909–1996), почти всю жизнь прожившего в эмиграции, был перевезен из США в Москву согласно завещанию поэта.

В 1990-е годы И. В. Чиннов дважды приезжал в Москву. Первый раз – в октябре 1991 года, когда нью-йоркский «Новый Журнал» – старейший журнал русской эмиграции – отмечал в Москве свое 50-летие. Тогда прошло всего два месяца после падения коммунистического режима в СССР – после памятной дождливой ночи 19 августа 1991 года, когда танкам пришлось отступить перед тысячами людей, стоявшими «за демократию» вокруг Белого дома. В эти дни, как раз 19 августа 1991 года, Чиннов писал из США в Москву своему знакомому, советскому литературоведу А. Н. Богословскому (1937–2008): «Саша, друг дорогой, ну какое счастье, что обошлось! Не отходил от телевизора три дня: смотрел и слушал Москву. Ура!»¹. Открытка сохранилась в архиве.

И вот, спустя два месяца, в октябре 1991 года в Центральном доме литераторов, в переполненном зале, начался вечер «Нового Журнала». Для советской публики приезд целой делегации эмигрантов первой волны стал событием. Мы с любопытством рассматривали гостей из Русского Зарубежья, сидевших в президиуме. Главный редактор журнала Ю. Д. Кашкаров (1940–1994) объявил: «Сейчас выступит Игорь Владимирович Чиннов. Несмотря на свой почтенный возраст он всё еще балует нас своими стихами». К микрофону подошел невысокий полный пожилой господин, одетый по-летнему во все светлое – белый джемпер, светлый пиджак, сандалии. В холодном дождливом октябре сандалии смотрелись неожиданно. (Чиннов, как потом выяснилось, приехал из Флориды, где жил после выхода на пенсию). Он, не без грусти, представился как «последний парижский поэт» – «все умерли» – и заговорил о «русских парижанах», своих друзьях, которых знал когда-то. Потом стал читать стихи – большинству из нас неизвестные. Низкий голос, хорошо поставленная про-

фессорская дикция, петербургский выговор, когда проговариваются все окончания... Публика просила читать еще и еще. Внук Павла Флоренского, который должен был выступать после Чиннова, уступил ему свое время. Зал встретил это овациями. И Чиннов читал, откладывая один номер «Нового Журнала» за другим. Когда вечер закончился, я договорилась с Чинновым об интервью для журнала «Огонек» – тогда это был самый читаемый журнал в СССР.

Вскоре интервью вышло². Я отправила Чиннову номера журнала. Мы стали созваниваться. Прошла зима. Звоню как-то Чиннову на Пасху, поздравляю. Вдруг он спрашивает – а нельзя ли ему снять в Подмоскovie дачу на лето – его родители жили на даче, и там было очень хорошо.

Оказалось, что можно. Мы объединили, что называется, наши «капиталы» – Игорь Владимирович, его давняя знакомая, Екатерина Федоровна Филиппс-Юзвиг – профессор из Милуоки, и я. Дача нашлась под Сергиевым Посадом в поселке Семхоз.

Дачная жизнь гостям из США понравилась. Планировали еще приехать. Не сложилось. Но тогда, в 1992 году, во время своего второго приезда в Россию, Чиннов принял решение передать архив в Москву в Институт мировой литературы им. А. М. Горького Российской академии наук (ИМЛИ РАН). А свой прах – захоронить в русской земле. Что и было сделано после его смерти.

Сейчас архив И. В. Чиннова хранится в «Кабинете архивных фондов эмигрантской литературы им. И. В. Чиннова». Фонд № 614 в ОР ИМЛИ РАН. Кабинет был сформирован из архива, библиотеки и мебели Чиннова, которые после его смерти были перевезены из его квартиры во Флориде: письменный стол, кресло, книжные полки, 2 тысячи книг и, конечно, сам архив. В архиве И. В. Чиннова более 1500 единиц хранения.

Надо подчеркнуть, что это полный личный архив и в нем отражены события всей личной и творческой жизни поэта, а отчасти и его окружения. Ведь он был знаком и переписывался с очень многими писателями первой и второй волны эмиграции в послевоенные годы.

Благодаря архиву есть возможность воссоздать всю биографию Чиннова. А она оказалась непростой. Сначала была Латвия, Российская империя, где он родился в 1909 году. В войну, в 1944 году, Чиннов был вывезен из Риги в Германию на принудительные работы в немецкий трудовой лагерь. После войны он оказался в Париже, где прожил почти восемь лет. Затем Чиннов десять лет работал на радио «Свобода» в Мюнхене. А с 1962 года стал профессором в американском университете. В отставку вышел в 1977 году в звании заслуженного профессора. Последние годы жизни провел во Флориде.

Архив дает возможность литературоведам и историкам вести исследовательскую работу во многих направлениях. Я остановлюсь лишь на нескольких перспективных, на мой взгляд, литературоведческих темах, которые могут быть раскрыты с использованием имеющихся в этом архиве материалов.

Но сначала – несколько слов о небольшой архивной находке. Это три рукописных листочка, в которых говорится о бегстве семьи Чинновых с Белой Армией на юг России. Эти листочки важны, потому что письменных свидетельств того события до сих пор не было, только устные рассказы Чиннова. Листочки не вошли в свое время в собрание сочинений³ поэта – они «затерялись» среди листов машинописных экземпляров Воспоминаний Чиннова, которые отчасти состоят из множества склеенных кусков – Воспоминания Чинновым не раз исправлялись и дописывались. Например, в одном экземпляре Воспоминаний в начале написано: «Через месяц мне шестьдесят четыре. Пора писать воспоминания»⁴. В другом экземпляре ручкой исправлено: «Через месяц мне восемьдесят. Пора писать воспоминания, пока не поздно»⁵.

В РОССИИ И В ЛАТВИИ. 1909–1944

Чиннов назвал свои воспоминания «Автограф». Впервые они были опубликованы после смерти автора в России, в его Собрании сочинений.

Теперь, имея эти найденные листочки, можно с уверенностью сказать, что опубликованные воспоминания – это лишь первая глава, самое начало серьезного мемуарного труда. Об основательности задуманного свидетельствует подробный, неспешно начатый автором рассказ о его дворянских предках. Они хорошо послужили на благо России: среди них были и декабристы – Александр Иванович Якубович (1792–1845), и народовольцы – Петр Филиппович Якубович-Мельшин (1860–1911). Чиннов, конечно, ими гордился. Хотя никогда дворянством своим не кичился.

Есть там и некоторые сведения о самом Чиннове, о его детстве в российской еще Латвии, о его семье⁶. До революции отец Чиннова, статский советник, служил в Рижском суде мировым судьей. И в начале Первой мировой войны, когда линия фронта подходила к Риге, он отвез семью – шестилетнего Игоря с его матерью – в глубь России, в Рязань. Видимо, это было в 1915 году, когда шла эвакуация предпринятый из Риги. Так в шесть лет Чиннов оказался в Рязани.

Обо всем этом – о жизни в Рязани, о судьбе их семьи после революции и в годы Гражданской войны – Чиннов, как мы теперь видим, читая рукописный текст, планировал рассказать во второй главе

Воспоминаний. Но в архиве от нее сохранилось только три вышеупомянутых листочка.

На первом листочке, с надписью: «Это – начало II-й главы», – всего один абзац. Начало так и не написанной «II-й главы». Размашистые чинновские буквы:

«Немцы подходили к Риге, к Юрьеву. Рижский окружной суд эвакуировался в Ахтырку. Отец уехал туда, а мы с мамой отправились в Рязань, к тете Оле, маминой невестке и подруге. Там, в Рязани, и началась наша бедность, мытарства. (Это предложение зачеркнуто. – *О.Ф.К.*) Там началась для меня новая жизнь. Лучшая ли? Нннет. Но – не без радостей, все-таки»⁷.

Так что революцию Ирик (так называли Чиннова в детстве) наблюдал в Рязани. По улицам города ходили толпы людей. Они пели революционные песни. Ему запомнился сверкающий на солнце снег, желтые «собачьи следы» на нем. «Очень красиво!»

Потом, как рассказывал Чиннов, их семья отступала вместе с частями Белой Армии на юг России, по дороге родители заболели тифом и попали в Ставрополе в больницу. Ему было около 10 лет, он ночевал в зале суда. Потом тоже заболел.

Именно об этом Чиннов пишет на двух других обнаруженных листочках этой самой несостоявшейся «II-й главы». Там записано что-то вроде плана. В начале страницы Чинновым процитированы строки из трех стихотворений (они вошли в Собрание сочинений), связанных с детскими впечатлениями о России: «А помнишь детство, синий сумрак, юг...», «Там, куда прилетят космонавты...», «Сердце сожмется – испуганный ежик...» Потом идет сам «план» главы:

«Рязань: погреб, смородина, огород, базар (горшки, чугуны), следы собачьи, навоз. Извозчики (Севилья)

Дворянское Собрание, ‘Боже Царя’, красная рубашка, сапожки, яблочко с елки (упало?) – Эх, яблочко... Держава.

Такса Обезьянинова бодро, торопливо волочилась по земле, растилалась

Нашел пулю: ‘Мы были в России...’

Меньшевики – кадеты

Читаю при свете печки / о родителях

Ростов – спекулянты в шевиотах и [*нрзб*]

вагоны, платформы, китайки, уголь, чайники, водокачки

Азовское море, подсолнухи, дывчина.

Ставрополь. Больница (после Залы суда!). Снежное поле – за красным вином.

Папа – статский советник, Белая Армия»⁸.

«Статский советник», «судья» – это важно. Ирик знал, что если отца арестуют, «сразу расстреляют». И очень боялся за отца. Об этом своем детском страхе Чиннов помнил всю жизнь.

Судя по плану, детская память сохранила немало деталей. Даже простое перечисление дает возможность почти «увидеть» картины далекого прошлого и путь их бегства: Рязань, Ростов, Азовское море, Ставрополь, больница. Остается только сожалеть, что «II-ая глава» мемуаров о революции и Гражданской войне так и осталась ненаписанной. И, отчасти, видимо потому, что воспоминания о беженских годах «бедности и мытарств» оказались слишком безрадостными. Писать воспоминания о бегстве семьи через разоренную страну Чиннов не захотел – пришлось бы рассказать слишком много страшного, горького. Едва начав писать, Чиннов столкнулся с необходимостью вычеркивать (так оказалась зачеркнутой в листочках фраза о «бедности и мытарствах»).

Кстати – в этом весь Чиннов. Мрачный тон никогда не был свойственен его стихам. Даже в самых грустных стихах он находил возможность если не рассмешить читателя, то заставить его улыбнуться или хотя бы напомнить, что жизнь «не без радостей, все-таки».

Ну, например, как умиротворяющий «сад – и глубокое озеро подле» в упомянутом им стихотворении «Мы были в России...» из его книги «Линии». Оно как раз о послереволюционных годах. Там – и о его матери, это она «несла на ладони» пули:

Мы были в России – на юге, в июле,
И раненый бился в горячем вагоне,
И в поле нашли мы две светлые пули –
Как желуди, ты их несла на ладони –
На линии жизни, на линии счастья.

На камне две ящерицы промелькнули,
Какой-то убитый лежал, будто спящий.
Военное время, горячее поле,
Россия... Я все позабыл – так спокойней,
Здесь сад – и глубокое озеро подле.

Но если случайно, сквозь тень и прохладу,
Два желудя мальчик несет на ладони,
Опять – южнорусский июль на исходе,
И, будто по озеру или по саду,
Тревожная зыбь по забвению проходит.

Итак, Воспоминания не были закончены, но в архиве сохранились автографы чинновских стихов, где нашли отражение детские воспоминания. Чиннов пишет о России с ностальгической грустью и любовью. Такое отношение к оставленной родине было характерно для эмиграции первой волны.

Из первой главы Воспоминаний (им написанной!) мы узнаем, что уехать из России их семье не удалось. И в 1923 году, потеряв всё свое имущество, они вернулись обратно в Латвию, в Ригу. Тогда Латвия стала буржуазно-демократической республикой, независимой от России.

Из детства в послереволюционной Риге Чиннову запомнилась двоюродная тетка Наташа, жена жандармского полковника, с которым либеральные родители Чиннова «зняться не хотели». Вот небольшой фрагмент из воспоминаний, по которому можно судить о писательском даре мемуариста (поэтический талант был признан еще при его жизни):

«Что же до тети Наташи, то ее надо помянуть добром. Когда в 1923 году добрались мы из Ставрополя до Риги, служила она в какой-то благотворительной организации. Мы тогда обнищали совершенно. Тетя снабжала нас супом; я приходил за ним жестокой зимой, скользя по льдистому снегу, повязанный поверх легкого пальтишка (другого не было) серым платком, очень красивым, но тогда не воспринимавшимся мною эстетически. Вначале, раза три, за неимением у нас другой посуды, нес я бобовый суп в цветочной вазе – тоже красивой, глиняной, темно-зеленой, с сиреневыми ирисами, без ручек (прижимал горячую вазу к груди, суп иногда крепко плескался). Ну, если стольким людям пришлось переменить род занятий, образ жизни, – почему ваза должна быть исключением? Привет тебе, амфора, хранительница тепла, свидетельница печали»⁹.

О латышской жизни в послереволюционное время есть информация в устных рассказах Чиннова, на аудиокассетах, в интервью. Самым тяжелым оказалось то, что в новой Латвии отец не мог найти работу – русских брали в последнюю очередь. Семья бедствовала. Богатые родственники отца из милости поселили их в подвале своего роскошного особняка. Это было унижительно. Мать – «дворянка из древнего рода Корвин-Косаговских – вынуждена была продавать на рынке цветы», – говорил Чиннов с горечью и обидой, не забывшейся и через семьдесят лет.

Среди документов, относящихся к предкам Чиннова, есть выписки из истории знатного дворянского рода Корвин-Косаговских (по материнской линии). И документы, относящиеся к «вовсе не знатному» роду Чинновых (по линии отцовской).

Сохранился пакетик с надписью: «Земля с могилы отца».

В архиве сохранились и документы довоенных лет. Это метрика Чиннова, школьный аттестат 1928 года. В Риге Чиннов учился в Ломоносовской гимназии. Есть диплом 1929–1939 годов Латвийского университета. Он закончил юридический факультет. Был призван в латвийскую армию, где «за любовь к чтению» его направили учиться на фельдшера. Затем служил в фармацевтической фирме, в латвийском отделении ТАСС. О чем свидетельствуют сохранившиеся справки и машинописные и рукописные листки с надписью «Биография».

Есть и ранние свидетельства о первых литературных опытах, относящиеся к рижским годам жизни Чиннова. Это стихи и статьи, опубликованные Чинновым в Париже в «Числах» – лучшем, по его словам, эмигрантском журнале 1930-х годов, – отправленные им из Риги. В архиве сохранилась полная подборка номеров «Чисел». А также номера местного рижского журнальчика «Мансарда» со статьями Чиннова, одна из которых понравилась Георгию Иванову (1894–1958), – с этого и началось их знакомство.

В описи, относящейся к разделу «Письма», хранится переписка 1930-х годов с другом – поэтом Юрием Иваском (1907–1986)¹⁰, тоже автором «Чисел». Двадцатилетние студенты обсуждают философские и мировоззренческие проблемы. Эти письма относятся к самому раннему периоду их дружбы. Они дружили и переписывались пятьдесят лет.

Чиннов прожил в Риге почти до конца войны.

В НЕМЕЦКОМ ТРУДОВОМ ЛАГЕРЕ. ВУППЕРТАЛЬ. 1944–1945

В сентябре 1944 года Чиннов был вывезен немцами из Риги в Германию, в трудовой лагерь. Документы этого периода немногочисленны.

Сохранился указ об отправке Чиннова на работы в Рейнскую область в лагерь в Вуппертале, где располагалась «Строительная бригада СС-IV».

Сохранились и письма, которые, судя по адресам на почтовых конвертах, писал Чиннов Иваску из лагеря. Это ксерокопии, которые переслал Иваск Чиннову, разбирая на старости лет свой архив.

В ПАРИЖЕ. 1945–1953

После окончания войны заключенные были освобождены из лагеря и их вывезли в Париж. По свидетельству Чиннова, это было как раз в последний день открытой границы. Сохранился сертификат

о прибытии Чиннова с американской армией в Париж в мае 1945 года из лагеря в Германии.

Из материалов, связанных с послевоенным Парижем, ценными первоисточниками для исследования темы о «русском Париже» тех лет представляются письма Чиннова к Иваскам, которые он писал, начиная с 1946 года. Это ксерокопии, которые в 1980-е годы переслал Иваск Чиннову. Чиннов рассказывает о жизни в русском Париже, о своих новых знакомствах, об участниках политических группировок в среде русских эмигрантов в 1940–1950-х годы.

Из писем и документов следует, что Чиннов в Париже был на один год зачислен рядовым в американскую армию. Есть справки о службе в армии США за 1945 и 1946 гг. Рядовому Чиннову назначили жалование и поручили охранять пленных немцев, размещенных в казармах маленьких городков под Парижем. Прежде в казармах размещались французские солдаты. Любопытная метаморфоза – Чиннов из узника превратился в охранника!

Благодаря армейской службе, первый год в Париже Чиннов жил, судя по письмам, вполне сносно, даже мог помогать посылками своим друзьям – Юрию Иваску с женой. Они после войны попали в лагерь (Чиннов в письмах пишет в «камп») для перемещенных лиц в Гамбурге. Но служба в армии закончилась, и, оставшись к 1947 году без крыши над головой и без жалованья, Чиннов в письмах пишет друзьям, что «работы все еще никакой» нет, что совсем «обеднел». Вот фрагмент одного из писем конца 1947 года:

«...Посылаю, чего мог достать. Сахарин здесь, оказывается, предмет редкий, обошел 8 аптек, случайно, наконец, через знакомого удалось коробочку найти. А газет, друзья мои, пока что нету, не покупаю, слишком обеднел. Работы всё еще никакой, а была обещана, остановка была за рабочей картой: карты не давали целых полгода, и место ушло. Очень здесь всё сложно. Боюсь, и Вам в Париже не было бы легче. Боюсь. Институт платит студентам ‘пособие на еду’ – 2500 фр. в месяц – прожить немудрено. Апраксиным перешлю. Пишите, Юра, почаще, пока хоть Вы свободны. И позвольте как другу, наученному горьким опытом, Вам сказать, милый: надо изучать что-то, ремесло, языки, чтобы что-то знать, надеяться на труд интеллектуальный невозможно. Очень трудно, и помощи ждать неоткуда. Литераторам грош цена. Если выедете из Вашего кампа – придется тяжело. Целую вас обоих. Не забывайте. Дай Бог, чтоб в Новом году стало легче...»¹¹.

В письмах Иваскам он пишет, что все усилия найти в Париже какую-то работу свелись к тому, что удалось получить место преподавателя немецкого в русской гимназии. Еще были случайные частные уроки и общественные лекции. Объявление в газете «Русская

мысль» за 1951 год: «Лекция И. Чиннова ‘Чего они от жизни хотели. Русский идеал и идеал Запада в 19 веке’». Или: «Р.С.Х.Д. Литературный семинар на тему ‘Гоголь и современный человек’. Руководитель кружка И. В. Чиннов».

Сохранились и бюрократические бумаги, документы этого периода, справки, выписки. Например, справки из Комитета беженцев, свидетельство о посещении университета в Париже в 1948 году. Есть диплом о принадлежности к ложе «Астрея», где говорится, что в 1948 году Чиннов принят в ложу учеником, в 1949 поднялся на ступень выше и стал подмастерьем, а в 1950 стал мастером. Это третья ступень, или третий градус, – выше большинство масонов, как правило, не поднимались. В архиве хранится запись рассказа Чиннова о том, как он был принят в масонскую ложу¹². А в письме к Иваску середины 1948 года Чиннов пишет, что его «позвали» масоны. Конечно, «неизвестно», – что у них там «на верхах», какие планы, «а низы: милые болтуны, бездарные, конечно. Но нестрашные. И порядочные. Большинство поэтов было там. Уйти можно – это тоже приятно»¹³.

В 1953 году Чиннов уехал из Парижа в Мюнхен.

В МЮНХЕНЕ. 1953–1962

Годы мюнхенского периода – это работа на радиостанции «Свобода» и документы, с этим связанные. Около десяти лет, с момента открытия радиостанции, Чиннов проработал там в Русской редакции редактором отдела новостей. Директором русских программ был друг Чиннова Владимир Вейдле (1895–1979) – искусствовед, литературовед, историк, известный в то время не только в эмиграции, но и среди ученых мирового сообщества. На радиостанции работали или сотрудничали многие эмигранты первой и второй волны, и в фонде Чиннова хранятся материалы, освещающие их роль в деятельности радио «Свобода».

Сферой деятельности Чиннова были передачи из цикла «Панорама» о событиях культурной и общественной жизни на Западе. Среди сохранившихся «Панорам» – тексты на самые разные темы: «Обзор культурной жизни на Западе», «Америка сегодня», «О пятом международном кинофестивале», «О возобновлении ядерных испытаний в СССР» и пр.

Тема войны, и ядерной войны, ставшей в 1962 году особенно актуальной в связи с Карибским кризисом, встречается у Чиннова и в его стихах. В том числе в стихотворении 1950-х годов, не опубликованном им при жизни¹⁴. Оно сохранилось в архиве:

ДИАЛОГ

после ядерного взрыва

– Тысячи лет тому назад
Тоже влюблялись, тоже болели,
Смерти боялись, жить не умели –
Тоже на небо люди глядели.
Тоже был дождь, закат, листопад,
Пахло землей, осеннею гнилью.

– Друг мой, не всё по-старому в мире.
Реет в саду, тусклея тоскливо,
Дождь – он пропитан атомной пылью.
Дымный закат – как зарево взрыва
(Взрыва в Сахаре? Взрыва в Сибири?)

Всходит луна за дымом бурливым...
Там, на Луне, есть Море Покоя.
Много солдат на Луне, скажите?
Будешь стрелять, солдат-небожитель?

Как тысячи лет назад – о, что я, –
В новом волненье, в новой тревоге
Смотрим на мутное голубое
Мы, Прометеи, мы, полубоги.

Делал Чиннов и передачи об эмигрантских писателях. Судя по переписке Чиннова с руководством радио «Свобода», эта идея – давать в эфир передачи о писателях Русского Зарубежья – принадлежала Чиннову. В 1955 году он обратился к руководству радиостанции с этим предложением. Чиннов писал, что в творчестве эмигрантских писателей, конечно, «крайне мало того, что можно было бы назвать апологетикой свободы и ‘ответом’ на тоталитаризм. Сравнительно мало в эмигрантской литературе и нужных нам патриотических мотивов. <...> И зачастую лишь с помощью тщательно продуманных купюр и ‘отсебятины’ в форме ремарок удается составить некий концентрат, доходчивый и имеющий пропагандный смысл. Но, повторяю, надобность в таких скриптах велика, особенно в скриптах на литературные темы, именно в силу большой восприимчивости советского человека к литературе и, в частности, к поэзии. Что и побуждает меня братья за эту работу»¹⁵.

Ради «пропагандного смысла» (Чиннов это особо подчеркнул в

письме к руководству) идея была принята. И передачи о русских писателях из серии «Русская зарубежная литература» стали периодически выходить в эфир на «Свободе».

В архиве сохранился текст (скрипт – как это называлось тогда) передачи и о поэзии Игоря Чиннова из этой серии, подготовленной поэтом Олегом Ильинским (1932–2003). Слушателям были прочитаны три стихотворения Чиннова из его первой книги «Монолог». А в кратком вступительном слове, среди прочего, Ильинский сообщал: «Русской зарубежной поэзии предоставлены все возможности для плодотворной творческой работы». И резюмировал: «В наше время утраты духовных ценностей поэзия Чиннова является ценным вкладом в русскую литературу»¹⁶.

Сохранилось и письмо за 17 сентября 1955 года от Сергея Маковского (1877–1962), бывшего редактора знаменитого петербургского «Аполлона» (в Париже он стал редактором издательства «Рифма»). Он благодарит Чиннова: «...Ваше милое письмо с вложением текста Вашей ‘передачи’ о моей скромной особе на Восток отечественный... Спасибо за отзыв о моих эмигрантских трудах! Читал и, благодаря Вас мысленно, диву давался: неужели кому-нибудь в бывшей России мои писания могут быть интересны!? Сочувственного слова об ‘Аполлоне’ в советской печати не довелось прочесть ни одного <...>. Напишите мне, о ком еще состоялись такие ‘передачи’. Напишите также, что Вы думаете об изменившейся международной ‘погоде’. Чуется мне, что, невзирая ни на какие ‘улыбки и тосты’ дипломатов, – не к добру всё это неопределенное благодущие. Вам в Мюнхене – виднее...»¹⁷

От Маковского в фонде Чиннова – 26 писем из Рима и Парижа.

В Мюнхене Чиннов получал много писем от «русских парижан», с которыми расстался, уехав из Парижа. Это важный источник для составления их биографий и, шире, – для написания истории «русского Парижа». Например, часто писал ему поэт Юрий Терапиано (1892–1980) – тогда постоянный критик «Русской мысли». Он добровольно взял на себя обязанность рассказывать о парижских событиях. И писал регулярно, до самой своей смерти. В архиве более 90 его писем и открыток.

В 1950-е годы Чиннов предложил радиостанции неожиданный для политического СМИ формат вещания – фельетоны под названием «Беседы зоотехника Егора Петровича Идеиноного из колхоза ‘Красный хомут’». Не об этом ли «Егоре Петровиче» Галич позже напишет свою известную песню: «Егор Петрович Мальцев страдает и всерьез...»?..

В фельетонах Чиннов рассказывал о советских проблемах от лица вымышленного советского труженика. Но проблемы были

реальные – о них Чиннов узнавал из советской прессы – сотрудникам радиостанции полагалось тщательно читать советские газеты. Фельетоны потом печатались в газете «Новое русское слово».

Среди мюнхенских документов – отчеты о работе и служебные письма. Например, письмо И. Чиннову по поводу работы на радиостанции от руководства – из Американского Комитета по освобождению от большевизма (на немецком языке), или «Отзыв менеджера программ о работе сотрудника отдела новостей радио ‘Свобода’ И. Чиннова» (на английском языке), или «Программная сетка передач, подготовленных И. Чинновым. 10-16 сент. 1962», и пр.

В США. 1962–1996

Количество писем американского периода в архиве Чиннова очень велико. При этом в США Чиннов особенно часто делал ксероксы своих наиболее важных писем. Потому мы порой имеем двустороннюю переписку. В Америку приходили письма не только от друзей из Парижа, но теперь и от сотрудников радио «Свобода», оставшихся в Мюнхене. А также от новых знакомых – профессоров американских университетов, от редакторов эмигрантских изданий.

Из десятков корреспондентов, от которых Чиннов получал письма из Парижа, упомянем прежде всего поэта, критика Георгия Адамовича (1894–1972) – более 60-ти писем. Сохранились и некоторые ответные письма Чиннова. Чиннов был на пятнадцать лет младше Адамовича и относился к известному критику с огромным уважением. В их письмах шла скрытая, ненавязчивая, на полутонах (чтобы не обидеть, не дай Бог, собеседника) и очень значимая для истории литературы дискуссия о путях развития русской поэзии, о возможности модернизации стиха при сохранении акцента, в первую очередь, на главных духовных ценностях человечества.

Дискуссия развернулась на материале стихов «парижской ноты», теоретиком которой был Адамович, а последним представителем – Чиннов. Чиннов в письмах убеждал Адамовича, что его отход от формы, присущей стихам «парижской ноты», – отказ от эмоциональной сдержанности, от обедненности языка, как и появление ярких красок, метафор не означает отхода Чиннова от сосредоточенности на главных вопросах «бытия». Чиннов пишет, что стихи, которые будут в его третьей книге «Метафоры» (Нью-Йорк, 1968), хоть и о «сияющих пустяках», но «‘накануне беды и тоски’, накануне смерти, накануне ‘ничего’». Так что в них «все-таки, разговор всегда ‘о самом главном’»¹⁸, как и в стихах «парижской ноты». Адамович на это острожно замечает, что в «Метафорах» открывается все-таки весьма

«своеобразное» для «парижан» видение мира и жизни – довольно жизнерадостное, а в стихах «парижской ноты» поэты грустили, тосковали. Да и для Блока, любимого поэта целого поколения русских парижан, «видимый мир» – это нечто, «пожалуй, даже тягостное», – пишет Адамович, а для Чиннова «видимый мир существует», Чиннову он нравится, во всяком случае. Такую формулировку, по мнению Адамовича, «вероятно, принял бы Пушкин, но наверное отверг бы Блок», в этом смысле Чиннов «по складу своему» ближе к Пушкину, а не к Блоку. В связи с этим Адамович формулирует особенность чинновской поэзии: Чиннов – «один из самых анти-блоковских русских поэтов нашего времени, однако с какой-то трещинкой в своем анти-блокизме, что и придает его поэзии особую, слегка щемящую прелесть»¹⁹.

Сохранилось в архиве и 60 писем Владимира Вейдле к Чиннову. Они обычно начинаются со слов: «Милый поэт». Часть писем по времени тоже относится к периоду, когда Чиннов готовил к изданию свои «Метафоры». Вейдле высказывает свой взгляд на традиционность и модернизм в русской поэзии. В 1966 году в своем письме Вейдле объяснял увлеченному модернизмом молодому собеседнику (Чиннов моложе Вейдле на четырнадцать лет) свою позицию в отношении модернизма в современной русской поэзии: «Русский язык еще не исчерпан в своих 'традиционных', т. е. не только пользующихся смыслом, но смысла ищущих, живущих смыслом силах и возможностях». Ведь «русская поэзия до настоящей modern poetry еще не доросла: молода, т. е. язык ее, наш литературный язык, молод». Поэтому «может быть и не надо вовсе быть модернистом, если пишешь по-русски. У нас поэт как-то ведь еще отвечает за смыслы своих слов»²⁰.

Тема поэтических дискуссий возникает и в письмах к Чиннову от других литераторов русского Парижа, а также в их статьях и рецензиях, сохранившихся в архиве.

Есть в архиве не только отдельные статьи о Чиннове из эмигрантских газет, но и совсем краткие отзывы. Например, около 70 отзывов в заметках Ю. Терапиано.

Существует довольно значительная подборка писем к Чиннову от главных редакторов эмигрантских изданий. Там обсуждаются текущие публикации, проблемы изданий и т. д. От редактора «Нового Журнала» Романа Гуля (1896–1986), у которого Чиннов постоянно печатался, сохранилось 45 писем. С Гулем Чиннов тоже дискутировал о сути своих модернистских поисков. В семидесятые годы Чиннов приобретает славу «первого модерниста» эмиграции. Он пытается писать стихи без рифм, но потом отказывается от этого и обращается к гротескам. В позднем творчестве их все больше²¹.

Далеко не сразу, но всё же его поиски были приняты и даже одобрены в литературных кругах Русского Зарубежья.

В переписке с Гулем значительное место занимает и еще одна тема – сложности, возникающие перед главным редактором русского журнала в эмиграции. Этой же темы касается и Геннадий Хомяков (Андреев, 1906–1984), редактор альманаха «Мосты», – от него Чиннову пришло более 48 писем и открыток.

Проблема публикации стихов в газетах Русского Зарубежья отражена в переписке с главными редакторами двух ведущих газет эмиграции. От редактора «Нового русского слова» Андрея Седыха (1902–1994) есть 11 писем Чиннову и 19 ответных писем ему от Чиннова. От редактора «Русской мысли» Зинаиды Шаховской – более 40 писем и открыток Чиннову и 20 писем от Чиннова.

Много ответных писем есть и в переписке Чиннова с литературным критиком, мемуаристом А. В. Бахрахом (1902–1985): 40 писем Бахраха и 18 ответных Чиннова к нему. Бахрах имел репутацию «блестящего парижанина», широко образованного, с изысканными манерами. В переписке с Чинновым они как будто соревнуются в юморе и языковых находках. Это своеобразный образец оригинального эпистолярного стиля XX века. И именно среди бумаг американского периода сохранилось наибольшее количество автографов стихов Чиннова.

Даты под автографами и под стихами Чиннов не ставил. Исключение составляют стихи, опубликованные в книге «Метафоры». Так что датировать стихи можно, только исходя из публикаций в прессе. Сохранились вырезки из эмигрантских газет и журналов со стихами Чиннова за 1953–1987 годы и из российской прессы 1990–2010-х годов. И, конечно, сохранились все восемь книг²², изданных Чинновым в эмиграции, в основном как раз в годы его пребывания в США, а также девятая книга, по сути – избранное из восьми предыдущих, которая была издана в Москве в 1994 году.

Среди документов американского периода немало материалов, проливающих свет на особенности преподавательской карьеры русского профессора в американских университетах. Это перспективная тема. В конце 1950-х и в 1960-е годы в связи с запуском советского искусственного спутника и полетом Гагарина в космос в США возрос интерес к русской культуре, и многие русские эмигранты, даже из эпистолярных корреспондентов Чиннова, стали преподавать в университетах. О деятельности Чиннова-профессора рассказывают сохранившиеся планы его лекций, свидетельства о выступлениях со стихами в разных университетах, переписка с профессорами (на английском языке). Сохранились университетские газеты со стать-

ями о русском профессоре-поэте. Есть и материалы, рассказывающие об участии Чиннова в конференциях славистов.

В числе свидетельств журналистской деятельности Чиннова (это новый, неисследованный аспект его творчества) – публикации в газете «Новое русское слово» путевых очерков Чиннова, – на пенсии он туристом объехал полмира.

Немало и опубликованных писем Чиннова в редакции эмигрантских газет – с его возражениями авторам статей или замечаниями по поводу дискуссий, проходивших в эмигрантской прессе тех лет.

С 1987 года Чиннов стал членом редколлегии «Нового Журнала». Эта его деятельность отражена в ряде материалов.

Наконец, в нескольких единицах хранения есть документы, связанные с поездками Чиннова в Россию в 1991 и 1992 годах, есть и автографы стихов 1992 года, написанных в Подмоскovie. Сохранилась видеозапись, сделанная во Флориде предположительно в 1994 году, где он читает «подмосковные» стихи и говорит об одном из них: «Это стихотворение я очень люблю».

Ты бы хотела увидеть
Небо в алмазах?
Разве тебе не довольно
Звездного неба?

Ты бы хотела увидеть
Ангела в небе?
Разве тебе не довольно
Первого снега?

Разве тебе не довольно
Моря и ночи?
Лунных теней и деревьев,
Лета и ветра?

Стихотворение, одно из последних в его творчестве, вошло в сборник избранного «Загадки бытия»²³.

Все стихи, которые Чиннов публиковал в периодике Русского Зарубежья после 1984 года, после выхода его последней зарубежной книги «Автограф», как и все восемь его книг, изданных в эмиграции, вошли в двухтомное собрание сочинений, увидевшее свет в России.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. ОР ИМЛИ РАН. Ф. 614. Оп. 2.1. Ед. хр. 11. Л. 15.
2. Чиннов И. Я сам с собою говорю по-русски. Записала О. Чернова

- (Кузнецова) // «Огонек». 1992. Февраль. № 9. С. 14 – 15. (ОР ИМЛИ РАН. Ф. 614. Оп. 5.4. Ед. хр. 5).
3. *Чиннов И.* Собрание сочинений. В двух томах. Сост. О. Ф. Кузнецова, А.Н. Богословский. – Москва: Согласие. Т. 1, 2000. Т. 2, 2002.
4. ОР ИМЛИ РАН. Ф. 614. Оп. 1.3. Ед. хр. 2. Л. 1.
5. ОР ИМЛИ РАН. Ф. 614. Оп. 1.3. Ед. хр. 1. Л. 1.
6. Отец Чиннова – В. А. Чиннов (1874–1935). Мать – А. Д. Чиннова (урожд. фон Цвейгберг, ?–1945) – погибла в войну, видимо, во время бомбардировки.
7. ОР ИМЛИ РАН. Ф. 614. Оп. 1.3. Ед. хр. 3. Л. 1.
8. Там же. Л. 2, 3.
9. *Чиннов И.* Собрание сочинений. В двух томах. Указ. изд. Т. 2. С. 81.
10. В антологии русской поэзии за рубежом «Якорь», вышедшей в 1936 году в Берлине, указана другая дата рождения Ю. П. Иваска – 1896 год.
11. ОР ИМЛИ РАН. Ф. 614. Оп. 2.2. Ед. хр. 5. Л. 24, 25.
12. Распечатка с аудиозаписи воспоминаний опубликована. См.: Письма запрещенных людей. Литература и жизнь эмиграции. 1950–1980 годы. По материалам архива И. В. Чиннова. Сост. О. Ф. Кузнецова. – Москва: ИМЛИ РАН, 2003.
13. ОР ИМЛИ РАН. Ф. 614. Оп. 2.2. Ед. хр. 6. Л. 12.
14. Стихотворение впервые появилось в подборке «К 110-летию Игоря Чиннова. Игорь Чиннов. Из неопубликованного». Публикация О. Ф. Кузнецовой // «Звезда». 2019. № 9. С. 115.
15. ОР ИМЛИ РАН. Ф. 614. Оп. 4.2.1. Ед. хр. 4. Л. 1, 2.
16. ОР ИМЛИ РАН. Ф. 614. Оп. 4.2.2. Ед. хр. 7.
17. ОР ИМЛИ РАН. Ф. 614. Оп. 3.1. Ед. хр. 14. Л. 20.
18. Из письма И. В. Чиннова от 6 августа 1965 года // ОР ИМЛИ РАН. Ф. 614. Оп. 2.1. Ед. хр. 1. Л. 6.
19. *Адамович Георгий.* «Игорь Чиннов – ‘Метафоры’» // «Новый Журнал». 1969. № 96. С. 288.
20. Из письма В. В. Вейдле к И. В. Чиннову от 6 мая 1966 года // ОР ИМЛИ РАН. Ф. 614. Оп. 2.1. Ед. хр. 20. Л. 21, 22.
21. И. В. Чинновым был составлен сборник гротесков, но вышел он уже после смерти поэта: *Чиннов И.* Алхимия и ахинея. Гротескиада. – Москва: Христианское издательство, 1996.
22. «Монолог». – Париж: Рифма, 1950; «Линии». – Париж: Рифма, 1960; «Метафоры». – Нью-Йорк: Изд. «Нового Журнала», 1968; «Партитура». – Нью-Йорк: Изд. «Нового Журнала», 1970; «Композиция». – Париж: Рифма, 1972; «Пасторали». – Париж: Рифма, 1976; «Антитеза». – USA: Birchbark Press, 1979; «Автограф». – USA: New England Publishing Co., 1984; «Эмпирей». – Москва: Христианское издательство, 1994.
23. *Чиннов И.* Загадки бытия. Избранное. Сост. О. Ф. Кузнецова, А. Н. Богословский. – Москва: Христианское издательство, 1998. С. 305.

Марина М. Адамович

40 лет и вся жизнь

Игорь Чиннов и «Новый Журнал»

История сотрудничества Игоря Чиннова с «Новым Журналом» тесно связана с именем его главного редактора Романа Борисовича Гуля. Роман Гуль пришел в журнал в 1951 году при Михаиле Михайловиче Карповиче; после смерти проф. Карповича в 1959 году Гуль практически один вел журнал – не только формируя каждый номер, но и занимаясь фактической редактурой, поисками спонсоров (НЖ как частное некоммерческое издание всегда существовал за счет меценатов), тиражом, рассылкой и т. п., а с 1966 г. он становится официальным главным редактором. Журнал с самого начала был задуман как центр консолидации творческой эмиграции, как трибуна свободной мысли и создавался с учетом процессов, которые происходили в международном сообществе и затрагивали диаспору в той мере, в какой она является частью западного мира. С первых своих номеров журнал обращался к широкой аудитории. «Мы считаем своим долгом открыть страницы НЖ писателям разных направлений», – заявляла редакция уже в № 1, 1942. Этот плюрализм и определил успех издания, как и его долголетие.

В письме Чиннову от 7 ноября 1973 года Гуль писал: «Еще скажу одну вещь: при редакторской работе (как Вы сами знаете) надо быть либеральным (и в ту, и в другую сторону). Нельзя печатать только то, что МНЕ нравится. Вот так вел ‘Опыты’ Ю. Иваск, и это совсем не подходяще для НЖ, ибо НЖ – это, увы, не ‘Гостиница для путешественников в прекрасном’ и не ‘Пощечина общественному вкусу’, это РУССКИЙ ТОЛСТЫЙ журнал, основанный Алдановым, Цетлиным, Карповичем и т. д. Он и должен быть РУССКИМ ТОЛСТЫМ».

Стоит обратить внимание на исключительную степень доверия, которая постепенно возникла между редактором и поэтом. Это и человеческая симпатия, и творческое единомыслие, и общее видение целей и задач как журнала, так и русской литературы в целом. В том же письме 7 ноября Гуль спрашивает Чиннова, не готов ли тот стать соредактором – или даже редактором – НЖ, если Гуль не найдет спонсора и вынужден будет поместить журнал в условия жесткой экономии: «Я, как Вы знаете, хочу кончать свое редакторство, ибо у

меня нет никаких сил тащить и дальше эту колесницу. <...> Я думаю, нет и не было такого 'явления', чтобы ОДИН человек заменял собой 'оркестр' и тащил бы, один, толстый журнал. <...> Но один этот человек устал, физически устал, он больше не может. И потому ищет замены. Со всех концов несутся крики: бросать нельзя! это конец культурной эмиграции! и пр. ламентации. Один американец мне заявил, что бросать нельзя потому, что это 'мировое' дело и что оно важно не только России, но и Америке. Всё это так. Со всем этим я согласен, и это верно, но силы есть силы. <...> мне думается, он (И.Чиннов. – М. А.) мог бы соответствовать, т. е. гарцевать на этом коне соредактора: на обложке было бы: под редакцией Гуля и Чиннова. <...> Вы, конечно, понимаете, что множество пишущих людей с восторгом согласились бы разделить эту участь. Но из множества я считаю 97 процентов множества не подходящими по всяким разным причинам. <...> Я думаю, по многим данным, Вы писатель подходящий». Этому письму предшествовали годы сотрудничества Игоря Чиннова с НЖ.

Чиннов стал писать для журнала еще из Парижа. И журналом он был принят, как «свой» поэт – как младший представитель парижской старой русской эмиграции, «русского Парижа». Таковым он и был. Вот как вспоминает сам Чиннов в интервью Дж. Гледу (НЖ, № 160, 1985): «Объединение русских писателей в Париже устроило обсуждение (книги «Монолог», 1950. – М. А.), на котором выступали: Георгий Адамович, друг и ученик Гумилева, член 'Цеха поэтов', а также Георгий Иванов и еще целый ряд людей. И сам Сергей Константинович Маковский (изд. «Рифма», где вышла книга, в прошлом – редактор ж. «Аполлон». – М. А.), который потом этот свой доклад напечатал в нью-йоркском журнале 'Опыты', в первом его номере», – «только с первой моей книги 'Монолог' начался, если угодно, настоящий Чиннов. Тогда я писал в стиле так называемой Парижской ноты.» Глед удивляется и замечает, что «парижская нота» – явление довоенное, на что Чиннов говорит: «Совершенно верно. Я как доведок, запоздалый отклик на эту Парижскую ноту».

Рекомендацию в журнал новому автору дала сама парижская литературная диаспора. 26 сентября 1957 года Гуль пишет Чиннову: «Ваши стихи в кн. 49 (НЖ. – М. А.) – превосходны, как Вам известно. Хочу сообщить Вам, что недавно Джордж Иванов в письме, среди прочего, написал: 'Нахожу стихотворения Чиннова очаровательными. А как на Ваш вкус?'. – Видите, старик Державин Вас заметил».

Чиннов не мог не стать «своим» для журнала, так как и сам НЖ воспринимался продолжением «Современных записок», да и создан был членами редакции С.З. – М. Алдановым и М. Цетлиным. Среди множества названий для нью-йоркского русского издания было

выбрано самое простое – «Новый Журнал». Он и был новым для военных и послевоенных потоков русской эмиграции из Европы, в их начинающейся с нуля жизни в Новом Свете; он действительно стал новым журналом для иммигрировавшей в Америку старой команды парижских «Современных записок», прежнего интеллектуального центра Зарубежной России. Все – и авторы, и читатели – сразу признали в журнале преемника парижского издания и крепко, навсегда связали с ним свою судьбу.

Чиннов был «свой» и по эстетическим установкам. Он пришел в журнал с репутацией одного из самых интересных и уже сложившегося, хотя и молодого, поэта. Гуль писал в рецензии на «Линии» Чиннова: «В зарубежной поэзии у Игоря Чиннова уже давно есть свое место. <...> Вступление Чиннова в зарубежную поэзию и радостно, так как ряды ее заметно поредели. Наша поэзия хорошо пополнилась после войны: Анстей, Алексеева, Елагин, Ильинский, Кленовский, Моршен и другие. Чиннов выступил одновременно с ними. Но всей тональностью своей поэзии он связан с иным миром и с иными именами» (НЖ, № 65, 1961).

Есть воспоминание И. Чиннова об их парижском знакомстве: «Роман Борисович был очень известный, талантливый романист, несомненно, умный, очень даровитый и, несмотря на дворянское происхождение, далеко не аристократ. Он был политически связан с русскими демократами в Америке. Человек не злой, не вредный, не завистливый. У меня с ним установились деловые отношения. Мы встречались еще в *послевоенном Париже*. Ко мне он относился очень хорошо, и я напечатал у него в ‘Новом Журнале’ 80% *моей поэтической продукции*. Он делал хороший журнал» (Выделено мной. – М. А. Магнитофонная запись 1995 года сделана О. Кузнецовой). В Париже, откуда и сам Гуль приехал в США после войны, Гуль был известен и как прозаик, и как публицист (он издавал политический журнал «Народная правда»), и как политический деятель.

Попав в НЖ, Гуль привел с собой те имена, которые считал ведущими в русской литературе. Он пишет Чиннову 28 ноября 1957 года в Париж: «...пустим их (Стихи. – М. А.) с удовольствием в первом номере 1958 года. Он выйдет, вероятно, в начале марта. Пишу так уверенно потому, что убежден, что и Михаилу Михайловичу Карповичу Ваши стихи очень понравятся. Да они и не могут не понравиться всякому, чувствующему ‘настоящую музыку’. Было бы очень хорошо, если бы Вы к тому времени поднаписали еще что-нибудь, и мы бы Вас подали шикарно». Здесь интересно определение чинновского стиха как «настоящей музыки». Это определение было значимым для поэта. В одном из писем Владимиру Вейдле, своему старинному другу и

наставнику, Чиннов говорит: «Г. Иванов как-то писал Гулю: ‘музыка становится всё более и более невозможной’<...> А вот хочется всё-таки ‘музыку’ создать – наперекор всему. Отчасти поэтому книга моя называется ‘Мелодия’» (Письмо от 6 апреля 1966 года. Хранится в Бахметевском архиве). За этими строками встает целая культурная жизнь литературной эмиграции того времени в ее частном интимном общении, в салонных спорах, в которых и формулировались основные понятия, определившие облик русской зарубежной литературы.

Гораздо позднее Чиннов так охарактеризует Гуля: прозаик, понимающий в поэзии, – это редкость. Гуль обладал и еще одним редким качеством, которое на посту главного редактора сделало его личность незаменимой. Он, при всей своей политической нетерпимости и сложности, резкости даже, характера, о чем свидетельствуют многие, был весьма толерантен в области литературы и открыт творческому поиску. Как редактор, Гуль опекал своих авторов – по-старинному называя их «сотрудниками», помогал им – часто и материально, собирая деньги для нуждающихся писателей. (Как известно, долгие годы в США работал Литературный фонд для помощи русским литераторам, пополняющий свой бюджет частными пожертвованиями.) Обычно возражения Гуля против той или иной публикации выражались в формулировке «Читатель нас не поймет». Так в письме от 9 июля 1967 года он замечает: «‘Пук’ (Стихов. – М. А.) я, конечно, посылаю в печать, но... увы... кроме одного стихо. Его НЖ проглотить не может, да и не должен. Поймите меня правильно. Я думаю, что оно одно из самых сильных, – ‘Я проживаю в мире инфузорий’ (в частности – ‘голубая бацилла, большая поклонница литературы’, – это, конечно же, Берберша, уверяю Вас). В этом сильном стихо есть строка: ‘Я пью коктейль с ценителям гноя’ (нет, это неверно, ‘ценителем гноя’ был Бодлер, а теперь – просто пошлая и мелкая сволочь), – это очень сильно, я ничуть не возражаю, и если, если бы я редактировал чисто литературный журнал (не общественно-политический), я б это напечатал. <...> Но я связан определенными ‘рамками’ и не могу в НЖ дать таких строк. Нельзя. Прикиньте следующее. НЖ – будем выражаться довольно громоподобно (но, увы, правильно) – противостоит всем советским журналам (толстым), всей этой макулатуре (на 99%), он борется (да, да, именно борется!) за какие-то культурные, политические, человеческие ценности. И в своей борьбе он должен быть очень осторожен – дабы ‘не подставляться врагу’. <...> посмотрите, мол, до чего эмигранты никуда не годны, дряблы, до какой степени слабости и импотенции они скатились. <...> Пусть Ваши ‘инфузии’ сильны, но если этот ‘коктейль’ перепечатают в советских газетах или журналах, то это будет

удар по НЖ в целом. <...> с глупостью 'обывателя' тоже надо считаться иногда. Нельзя потрафлять обывателю, ибо Вы скатываетесь в яму. Но 'вести линию' необходимо, этим обуславливается успех предприятия».

И все-таки, при единой жесткой редакторской руке Гуля, это не был журнал одной воли, одной партии, одного человека. Задача журнала быть интеллектуальным центром диаспоры имела свою обратную сторону: быть открытыми для всех, поддерживать всех, т. к. писатель-эмигрант не имеет другой площадки и другой возможности. Что в случае с Чинновым сыграло свою положительную роль. В том же письме Гуль замечает: «Кое-кто на меня нападает за помещение Ваших стихов. Пишут письма. Но *мы сами по себе* (стойм фельзенфест и охраняем поэта). 'Надо спасти поэта', – сказал когда-то Блок (кажется, о Кузмине). Вуаля». И НЖ «охранял» Игоря Чиннова на протяжении четырех десятилетий.

В тот период, правда, Чиннову было где публиковать свои стихи. Юрий Иваск в статье «О послевоенной эмигрантской поэзии», опубликованной в НЖ в № 23, 1950, – в том самом номере, где впервые появились стихи Чиннова (*В конце февраля или марте...; Влюбленные целуются опять...; Снова тот же ветер веет*), – замечает: «Судить о современной зарубежной поэзии надо <...> также по стихам, появившимся в журналах и альманахах... («Новый Журнал», «Возрождение», «Новоселье», «Грани», «Орион») <...> В Париже... всё еще преобладают, хотя и не господствуют, прежние, уже давно хорошо знакомые настроения русского Монпарнаса и его главного законодателя Адамовича». Надо заметить, что это было сказано вслед уходящему последнему эшелону. После войны Европа бурлила от нового переселения народов. Париж, казалось, опять оживился, и внешнему наблюдателю могло показаться, что русский Монпарнас восстановится. Однако реальность состояла в том, что эта оживленность была связана не с возрождением, а с подготовкой к очередному спасительному бегству; именно в это время в Европе формируется волна послевоенной эмиграции, т. н. ди-пи. Только в США выехало около полумиллиона эмигрантов из Восточной Европы из-за угрозы насильственной репатриации и реальной же угрозы дальнейшей красной экспансии.

Именно в эти годы попали в США и все известные представители первой волны и неизвестные – второй: Елагин, Анстей, Моршен, Ильинский, Сергей Максимов, Филипов, и пр. Поэтому, если в 1950 году Иваск еще мог говорить об оживлении русского Парижа, то скоро интенсивная литературная жизнь переместилась в США. И важную роль в этом перемещении центра сыграло то, что «Новый Журнал» находился в Нью-Йорке.

Интересно сравнить слова Иваска 1950-го года с высказыванием Чиннова в письме к Вейдле от 10 января 1972 года, спустя двадцать лет: «...Возрождение лопнуло, и эмиграция – при одном журнале <...> а когда Гуль уйдет, то и совсем ничего, кроме разбитого корыта». Кстати, он продолжает: именно потому сознательно он издает одну книжку за другой – нет места, по его мнению, кроме НЖ, для публикации его стихов: «Оттого печатаю 5-ую книжку и пишу шестую». Возникают и свежие журналы, однако для Чиннова из «своих» – он один, «Новый Журнал». И в письме от 8 марта 1976 года Чиннов, обсуждая с Вейдле возможность рецензии на свою книгу, пишет: «А не согласитесь ли для Нов.Журнала, не для НРС? Пускай мелким шрифтом – но в журнале...» Он не видел иного места, *равного себе*. Хотя старался печататься, где можно, в том числе в НРС – газете с большой аудиторией. Читателя он ценил. Но *признанием* считал лишь публикации в НЖ – как и отклики на его книги именно там, в журнале.

Практически все письма И. Чиннова В. Вейдле из США в той или иной мере содержат упоминание о НЖ: «...жду новую книжку», «...читали ли Вы в НЖ?», «...уже недели две с хвостом, как получил ‘Новый Журнал’, а всё не писал Вам. Хотелось написать побольше, ‘on hand’ книжки – но книжку, 77-ую, читают 77 знакомых» (письмо от 26 октября 1964), – или: «Г. В. Адамович, согласившийся <...> написать в Нов.Журнале (о «Метафорах». – М. А.), спрашивает, не хотел ли бы я, чтоб были – в одном и том же № Новжурнала – две небольшие статьи: его и ...Ваша (!) под общим заголовком. Боже мой! Конечно хотел бы – и как бы еще хотел!» (2 мая, без года, предположительно – 1969), «Второй день читаю НовЖур.110»...

Более сорока лет сотрудничества поэта и журнала, с № 23 в 1950 году и по № 189 в 1992 году. Участие Гуля в творческой биографии Чиннова следовало бы отметить особенно. Интересно, что и название второй книги Чиннова, судя по всему, было изменено не без участия Гуля. Так, в письме Чиннову от 24 февраля 1960 года Гуль замечает: «КАРДИОГРАММЫ (Как название будущего сборника. – М. А.) мне не очень нравятся вообще, и есть – ‘в частности’: они были у Ивана Елагина в стихах. <...> у Вас в стихах (у единственного теперешнего поэта) есть подлинно анненковские ноты – какой-то настоящей душевной пронзительности». – Известно, что книга в итоге вышла под названием «Линии», – а Гуль, там же, продолжает: «Думаю, что если Вам понадобится наше скромное имя ‘Нового Журнала’, мы сможем Вам его дать (хотя это зависит, конечно, не от меня, а от всей редакции)». Последовавшие после «Линий» книги И. Чиннова «Метафоры» и «Партитура» вышли под эгидой «Нового Журнала».

В № 65, 1961, Гуль помещает свою рецензию на вторую книгу

Чиннова «Линии». «В поэзии Чиннова <...> вы часто расслышите смутные отзвуки Анненского, Кузмина, Георгия Иванова. В этих прозрачных и легких стихах <...> есть своя тонкая чинновская мелодичность и своя ясная камерная музыка <...> я хочу <...> отметить своеобразную тематическую ноту поэзии Чиннова <...>. Эту тему Чиннова я определил, как *застигнутость поэта сегодняшней атомной ночью*. ‘Чем-то страшным, тюремно-больничным / Пахнет, друг, мирозданье, / Что же делать, раз так безразличны / Богу наши страданья’».

На страницах журнала о Чиннове писали Гуль, а также Адамович (сотрудник НЖ с 1956 до 1971 гг., до смерти) и Вейдле – старинный друг Чиннова, – не принявшие новой эстетики поэта, Иваск – один из ближайший его друзей; Одоевцева; вторая волна эмиграции – Нарциссов, Фесенко; третья – Крепс, Бобышев; зарубежные исследователи – Глэд, Пасквинелли, в том числе из России – Большев, Кузнецова. Сам Чиннов, кроме стихов – практически в каждом номере! – опубликовал в НЖ переводы Пруста, эссе о Зинаиде Шаховской, о поездке в Москву в 1990-х, несколько некрологов. Журналом были опубликованы письма Чиннову Георгия Адамовича, Владимира Вейдле, Юрия Иваска, Сергея Маковского. Поразительно, но Чиннов всегда был в центре внимания новожурналицев. Поэтому, изучая творчество поэта, поневоле изучаешь целый период жизни журнала.

«Антиблоковское», «аннинское», «лермонтовское» в Чиннове сопровождалось сильным «розановским». Сравнение с мировосприятием Василия Розанова делает Юрий Иваск в своей рецензии на «Антитезы» Чиннова (НЖ, № 138, 1980). Он пишет: «В эту книгу включены... стихи со знаком минуса... Еще двадцать лет тому назад Г. В. Адамович и В. В. Вейдле... недоумевали: как это случилось – наш камерный Чиннов, Игорь Тишайший <...> вдруг расцвел в ярких Пасторалях и неожиданно раскричался – стал мастером какофонического гротеска». Над миром царит «Рок-шизофреник. Везде ирония – даже над самим собой.»; «В его поэзии продолжается вековечное прение живота со смертью. <...> Это и линия Розанова.» Очень важный момент.

Хочется напомнить письмо Чиннова Вейдле от 2 февраля 1965 года (эпохи «Игоря Тишайшего»): «Я всегда восхищала ‘окончателностью’, превосходной воплощенностью, ‘довоплощенностью’» (Чиннов подчеркивает это «до»). Розановская идея *недовоплощенности человека*, как оказывается, всегда жила в поэте. Осмелимся вложить в эту тоску «недовоплощенного» человека Чиннова смысл, который мне невольно подсказал известный американский художник, русский эмигрант второй волны академик Сергей Голлербах. Свою последнюю книгу эссе «Размышления недовоплотившегося челове-

ка» (New York, The New Review Publishing, 2020) он посвятил Василию Розанову и его идее недоовожденности.

Революция, советская диктатура и война, в которую подросток Голлербах был отправлен на работы в Германию, то есть ситуация *непреодолимых обстоятельств* определила судьбу этого человека и всего его поколения эмигрантов. Однако в разговорах со мной художник любит фантазировать – «фантастиковать» – на тему о том, как повернулась бы его жизнь, если бы история, «как сумасшедший с бритвою в руке», не догоняла его по пятам в самого начала, если бы она предоставила ему возможность *выбора*. Во что, в кого воплотился бы он, *тот* Голлербах, если бы... Полагаю, что и в случае с Чинновым (который всего на 14 лет старше Голлербаха) эта мысль о *вариативности* судьбы преследовала поэта – о не возникших сценариях жизни, о не воплотившихся формах существования, об отсутствии времени и ситуаций для полного своего воплощения – чувство, обостренное жестокостью самой истории. «Упражнение в воображении скорее, чем упражнение в памяти, ведет мысль за пределы скорби и неподвижности уже мертвого воспоминания к более далекому, но светлому миру», – заметит итальянский исследователь Анастасия Пасквинелли («Гностическое изгнанничество Игоря Чиннова». – НЖ. № 183, 1991), – правда, заостряя внимание на другом: на гностическом характере творчества Чиннова, на гностической идее необходимости и возможности спасения, которое понимается как освобождение и возвращение в божественную реальность заключенной в мире материи.

Любопытно продолжение того же чинновского письма Вейдле от 1965 года: «...не совсем понял слова Ваши о совести, якобы побуждающей писать стихи. Совесть я понимаю, как русские интеллигенты: как можно заботиться о рифмах и прочих пустяках, когда люди страдают <...> Моя совесть меня как раз упрекает за то, что я пишу стихи». Иваск, человек близкий Чиннову, не мог не обсуждать с ним эту, розановскую, тему. И знаменитая музыка чинновского стиха – это еще и музыка, «которая *снимает* или устраниет жуть», замечает Иваск, анализируя аллитерации и звуковые приемы «Антитез».

Безусловно, важнейшими в анализе творчества Игоря Чиннова на страницах НЖ являются тексты Г. Адамовича и В. Вейдле; все последующие рецензенты их по-своему учитывали, отмечая лишь то новое, что ложилось на хорошо известное старое. Статьи Адамовича важны еще и тем, что для мэтра в его «парижской ноте» Чиннов играл не последнюю роль. Талант и профессионализм Чиннова для Адамовича были бесспорны: «Небольшой сборник стихов Игоря Чиннова требует внимательного чтения и полностью его заслуживает», «Игорь Чиннов – редкий, тончайший мастер, особенно в области

стилистической), «Чиннов по складу своему – один из самых анти-блоковских поэтов нашего времени, однако с какой-то трещинкой в своем анти-блокизме, что и придает его поэзии особую, слегка шемящую прелесть». Хотя уже в рецензии на «Метафоры» (НЖ, № 96, 1969) он встревожен тем, что в чинновской, любимой им, поэзии проявляется нечто новое и беспокойное: «Ни малейшего расположения к словесному аскетизму у него нет.»; «Он иногда кажется небрежным. Стоит, однако, в его мнимо-небрежные строчки и строфы вчитаться, чтобы уловить долгую и тихую работу и над самим собой, и над своим текстом.» Адамович словно успокаивает себя, говоря: «Поймет эту книгу лишь тот, кто окажется способен уловить в ее музыкальном строе, в ее обманчивой сладости, попытку преодолеть тревожную бессонницу...» Его же рецензия на «Партитуру» (НЖ, №102, 1971) уже насквозь пронизана этой тревогой, возражением – и даже обличением. Он не может не укорить поэта, поставить в пример тому его же, чинновское, прошлое: «Это на редкость искусный поэт. <...> Казалось, поэт сразу нашел свое место в новой русской лирике, нашел свой стиль и склад. Однако в недавние годы с ним что-то произошло, чем-то сознание его оказалось встревожено, и стиль свой он резко изменил...»: «вторжение демонстративной грубости», «вторжение демонстративных нелепостей» – все эти «новшества» «сводятся к вопросу и недоумению: можно ли продолжать писать так же, как прежде, не следует ли разрушить всё прежнее... Всё дело, однако, в беспощадной проверке нововведений, в отказе от новизны показной... во внутренней обоснованности разрыва с прошлым... в чувстве духовной солидарности со своей эпохой и ответственности за нее...» Поиск Чинновым новых путей развития русской поэзии Адамович посчитал безответственными упражнениями (хотя заметим, что он совершенно верно угадал направление развития современной поэзии во второй половине XX в.). И учительский вывод мэтра назидателен: «...особенность их (Стихов. – М. А.) словесного состава, как говорится, ‘будит мысль’, заставляет задуматься над вопросом о будущем нашей поэзии...»; «...все теперешние чинновские стилистические приемы явно внушены мыслью о будущем нашей поэзии: подготовкой нового стиля... Какое будущее?.. Верит ли он в будущее?.. Не могу вспомнить в последние десятилетия других стихов, в которых счеты с жизнью и бытием были бы очевиднее покончены...» Да, ученик оказался строптив.

Те же претензии выдвигал своему младшему другу и Владимир Вейдле. С Вейдле Чиннов переписывался на протяжении десятилетий. Обратимся к письмам, хранящимся в Бахметевском архиве, а также к небольшой, но показательной рецензии Владимира Вейдле

на книгу своего младшего друга «Пасторали» (НЖ, № 123, 1976). Обращаясь в современному «Пасторалиям» поэтическому контексту, Вейдле с иронией (цитируя известное «и ску, и гру, и некому ру...») замечает: «...стихписание процветает, но, увы, едва ли не в ущерб и уж наверняка за счет поэзии». Обращаясь к Чиннову, как он замечает – «подлинному поэту», «у которого никогда плохих стихов не находил», Вейдле подчеркивает несоизмеримость современного литературного уровня чинновскому стиху. «Несоизмеримость эта мне прежде всего и хотелось подчеркнуть. Но это не всё. Подчеркнуть следует и соизмеримость.» Вслед за процитированной рецензией Адамовича, Вейдле сравнивает нового Чиннова с прежним: «Трудней, чем другим лирикам, было ему достигнуть того, чего он достиг, по той причине, что из четырех основных лирических тем (т. е. – «и скушно, и грустно», «чуждое мгновенье», «последний раз твой образ милый», «и это всё есть Смерть», – все прочее – «меблировка», «Поэзии строго противоположна... протокольная или бухгалтерская проза». – М. А.) по настоящему близка ему была – и осталась – только последняя» – «и это всё есть Смерть». Чинновский «Монолог» – это монолог приговоренного к смерти. Считая «Линии» самой зрелой книгой Чиннова, Вейдле сравнивает с ней «Пасторали», «меблированные всего хитрей». Сравнивая тему книги с барочным «И в Аркадии – смерть» (Пуссен), Вейдле замечает, что Чиннов оспаривает тему Смерти – и тем вернее себя ею пронизывает. Но изменилась сама Аркадия – «такой радостной, красочной, сладостной она никогда не была», ее предельная «звучовая убедительность и насыщенность» счастливо слилась с «интонационной его музыкой».

Интересен отклик самого Чиннова на этот пассаж Вейдле (письмо от 4 августа): «Дорогой – хочется даже что-то большее, чем дорогой, – родной что ли, Владимир Васильевич! Вчера пришел ‘НовЖур’ – и над прекрасной Вашей статьей я почти что ‘слезами облился’, ‘слезами счастья’. <...> Кажется, самые лестные статьи Адамовича померкли рядом с Вашими словами на странице 255 (с кончиком на 254-ой)... А над советом Вашим в конце – тоже задуматься крепко. Должно быть, Вы правы». – Это последнее касалось замечания Вейдле о *замеблированности* стихов современных поэтов, в чем он и не преминул укорить и Чиннова с его новой книгой. Между тем как Вейдле остается «фанатиком лиризма совсем безмбельного и прямого, которого было больше в Ваших первых двух книгах, да и лиризма более конкретного (в своих поводах)» – чтобы «мебель новеллой заменена» была.

Эта важная мысль содержится и в упомянутой уже рецензии Иваска на «Антитезы». Иваск, как и Вейдле, ставит Чиннова прежде

всего в *общий ряд с европейскими современными поэтами*, а не с массивом советской русской «родной» литературы, но, главное, определяет всю русскую зарубежную литературу – литературу эмиграции – как *часть европейской литературы*. А это – огромнейшая, важнейшая тема в анализе культуры эмиграции.

«В Советском Союзе одолевает трагедия неудачи – там нет свободы слова, там писателей сажают в дурдом или ГУЛаг, а в Западной Европе или США полная свобода и чуть ли не всеобщее благополучие. Может быть, *трагедия Запада есть трагедия удачи* (Курсив мой. – М. А.). Лучшие люди Запада это понимают и задумываются о последних вещах человека: о смерти, о Боге. Понимают это и поэты – Т. С. Элиот или В. Х. Оден, а также и очень космополитический, но и очень русский Игорь Чиннов.» И тема смерти, о которой в контексте чинновской поэзии писали все его рецензенты, на самом деле ставит Чиннова в один ряд с Оденом и Элиотом. Любопытно, как почувствовал это в свое время Роман Гуль – не литературный критик, не поэт, а напротив, человек публицистического склада ума, – когда он писал о «цветах зла» Бодлера в новой поэзии Чиннова. Да, конечно, он упоминал и Георгия Иванова, но... но не в бодлеровском ли саду срывал свои цветы и Иванов?.. Впрочем, это совсем отдельная тема. Жизненной «трагедией удачи» называет Иваск этот дискурс западной поэзии (в сравнении с апокалиптической «трагедией неудачи» советских поэтов). Дискурс, которому принадлежал и Чиннов.

Своими мыслями о новых (назовем – русско-европейских) формах современной поэзии Чиннов охотно делился с Вейдле. Еще в 1966 году он, нахваливая стихи Вейдле в № 82 НЖ, пишет: «...уж кто-то, а Вы знаете, что ни в Европе, ни в Америке теперь так не пишут. Думаю также, что Вам по силам было бы написать ‘совсем в духе’ modern poetry. Ан – Вы написали традиционно, по-русски традиционно, как бы игнорируя заграничное. Почему? По инерции? Сомнительно. Чтобы не путать читателя-провинциала? Вовсе и предстать себе нельзя! Или же дело в том, что на Ваш слух модернизм плохо воплотим в русские стихи? ...Почему все мы, включая Елагина, Моршенина, Иваска, Чиннова (Подчеркнуто дважды! – М. А.) пишем традиционными размерами и – рифмуем? И почему нет разрыва с логикой? Почему мы понятны, ‘черт возьми’? ‘Вот что непонятно’...» (письмо от 6 апреля). Он постоянно возвращается к теме новаторства, необходимости обновления русской традиции и к эстетике модернизма в современной западной поэзии. Письмо от 17 августа 1971 года: «...всегда огорчает, что новаторские мои попытки ни Вы, ни Адамович не одобряете. На мой слух, они означают хотя бы малое, но расширение поэтической территории, например: *О Плинида – Судьба, поминдальничай...* – разве

это уже совсем лишено музыкальной и просто словесной привлекательности? Да и метафоры, коих у меня теперь куда больше, чем раньше было <...> – разве они не добавляют ‘хоть крупинку’ к русской поэзии? Кстати, Адамович в НЖ103 пишет, что 1) в ‘Я вас любил’ ни одной метафоры, что 2) р. поэты от метафор всегда отталкивались т. д. Отвечаю по пункту 1: значит, без метафоры можно обойтись, не значит, что без них нужно обходиться; 2-ой же пункт: а) далеко не всегда р. поэзия отталкивалась, а если в) и отталкивалась сто тридцать лет тому назад, то почему это отталкивание обязательно и для нас теперь? <...> разве р. поэзия так уж богата, что можно ‘по-толстовски’ всё вон...?» Что обращает внимание: Адамович упрекает Чиннова за то, что тот в своих модернистских поисках выбрасывает русскую традицию стиха; Чиннов, возражая, впрочем, косвенно, пишет о том, что Адамович в своем русском поэтическом аскетизме по-толстовски выбрасывает вон европейскую традицию стиха, а ведь русская литература – органическая часть европейской и все метаморфозы переживает вместе с нею и заодно.

В этом контексте интересна реакция всё того же Гуля. В 1967 году он пишет (письмо от 9 мая): «Писать буду очень всерьез, без всяких шуток и прибауток. Я думаю, что этот ‘пук’ Ваших стихов – самое интересное из всего, что Вы написали за последнее время. Почему? Потому, что только в нем Вы ‘подбираетесь’ к какой-то очень своей внутренней теме – и начинаете писать о ней со всей бесстрашностью – т. е. с искренностью. А искренность в писании (которую, конечно, отвергают и которой, конечно, пренебрегают всякие модники, вроде Набокова или Берберши) – это – как ни верти – не только самое главное, но единственно главное, ибо именно она определяет остроту произведения, его ‘доходчивость’, его способность ‘ранить’ читателя, и она же дает, рождает ‘от себя’ и все формальные достоинства. ‘Форма’ – ‘взята с потолка’ – никогда, никому нужна не будет. Недаром, кажется, Шекспир сказал, что гений – это искренность. И старик был прав. Вот мне и показалось, что Вы подходите к какой-то своей внутренней теме во всем бесстрашии искренности. И это – именно это, на мой взгляд, – обуславливает ценность написанного. Тема Ваша, несомненно, бодлеровского характера, и многим она ‘приятна’ не будет, но это не суть важно, важно, чтобы это были – цветы зла. И как будто (по моему разумению) ‘пук’ – становится именно цветами». НЖ мог позволить себе быть «сам по себе», словами Гуля, «охранять поэта» от нападок – в том числе, от своих старых и верных авторов-сотрудников.

Журнал был и оставался для Чиннова его творческой лабораторией. Качественное изменение его эстетики, весь его поиск априори *принимался* журналом и анализировался. Это был, одновременно, и

поиск самого журнала, анализ новых путей развития русской литературы как части европейской. НЖ создавался и жил в реальном контексте европейской литературы и справедливо полагал этот контекст за единственно возможным для эволюционного развития русской литературной традиции. И сам Чиннов, и поэты, имена которых он озвучивает в споре с Адамовичем–Вейдле, – Елагин, Моршен (2-я эмиграция), отражали в своем творчестве реальный процесс формирование современной русской литературы – в общем ряду с литературой мировой.

Так Чиннов выводит нас на огромную и крайне важную сегодня тему существования национальных литератур, их роль в общем контексте мировой культуры. Эта тема, как ни странно, поднималась еще русским Монпарнасом, вполне многонациональным сообществом. «Молодые эмигранты» – Поплавский, Юрий Мандельштам, Фельзен, Немировская, др. – осознавали себя именно в общем франко-русском культурном контексте. Мысль русско-французского слависта Марии Рубинс о *едином дискурсе* русского Монпарнаса и современной ему французской литературы, в том числе о *внеязыковом проявлении национального менталитета*, высказанная ею в книге «Русский Монпарнас»* касательно «русских французов», кажется весьма плодотворной. И небесполезной в контексте изучения творческого наследия Игоря Чиннова, как и влияния внелитературных факторов на литературу, включая чужой культурный дискурс, психологию внелитературной среды табельной нации той или иной страны, и пр., и пр. Перефразируя известное о всеотражающем зеркале культуры и о «Новом Журнале» как зеркале эмиграции, можно сказать, что Игорь Чиннов стал не только «зеркалом» журнала, но и «зеркалом» творческого поиска русской зарубежной поэзии в контексте мировой литературы. И заключить хотелось бы почти пророческими словами Романа Борисовича Гуля: «Если когда-нибудь настанет время (а оно несомненно когда-нибудь настанет) соединения двух русских литератур (о чем в своей статье ‘Похороны Блока’ говорит В. Вейдле), то русская зарубежная поэзия может оказаться наиболее сильной частью литературы русских эмигрантов. <... мне всё-таки кажется, что именно наша поэзия много даст будущей общей русской литературе. И, может быть, примерно лет так через сто будущий российский Айхенвальд или Иванов-Разумник об этом напишут. Для наших поэтов утешение небольшое, но всё же несомненное» (Роман Гуль. Рец. на книгу И. Чиннова «Линии», 1961, НЖ, № 65).

* Мария Рубинс. Русский Монпарнас. Парижская проза 1920–1930-х годов в контексте транснационального модернизма. – М.: НЛЮ. 2017. 490 с.

ИСТОЧНИКИ:

1. *Игорь Чиннов*. Письма В. Вейдле. 1964-1978. // Bachmeteff Archive. Rarer Book Archival Collection / Vladimir Veidle Papers, 1920-1979. Igor Chinov.
2. *Адамович, Георгий*. [Рец. на кн.: *Чиннов, Игорь*. Метафоры. Стихи. Нью-Йорк, 1969] // НЖ. 1969. № 96. Сс. 287-289.
3. *Адамович, Георгий*. [Рец. на кн.: *Чиннов, Игорь*. Партитура: Стихи. Изд. НЖ, 1970;
4. *Из писем Георгия Адамовича к Игорю Чиннову* / Публ. М. Миллер // 1989. № 175. Сс. 246-262.
5. Письма Г. В. Адамовича И. В. Чиннову. – *Чиннов, Игорь Владимирович, о себе* // НЖ. 1995. № 198-199. Сс. 194-210.
6. *Бобышев, Дмитрий*. Встречи и разговоры с Игорем Чинновым // НЖ. 1997. № 206. Сс. 125-137.
7. *Болычев, Игорь*. Игорь Чиннов: «Последний парижский поэт» // НЖ. 1996. № 197. Сс. 99-118.
8. *Вейдле, Владимир*. [Рец. на кн.: *Чиннов, Игорь*. Пасторали. – Париж, 1976] // НЖ. 1976. № 123. Сс. 252-255.
9. Из писем Владимира Вейдле к Игорю Чиннову / Публ. и предисл. М. Миллер // НЖ. 1991. № 183. Сс. 364-370.
10. *Джон Глэд – Игорь Чиннов*. Интервью // НЖ. 1985. № 160. Сс. 120-127.
11. *Гуль, Роман*. [Рец. на кн.: *Чиннов, Игорь*. Линии. Изд-во «Рифма». 1961] // НЖ. 1961. № 65. Сс. 298-300.
12. *Гуль, Роман*. Письма Игорю Чиннову. НЖ, № 226, 2002.
13. *Иваск, Юрий*. [Рец. на кн.: *Чиннов, Игорь*. Антитеза: Седьмая кн. стихов. 1979] // НЖ. 1980. № 138. Сс. 224-227.
14. *Иваск, Юрий*. Из писем к Игорю Чиннову: Ко второй годовщине смерти. Публ. И. В. Чиннова // НЖ. 1987. № 168-169. Сс. 212-220.
15. *Крепс, Михаил*. Поэтика гротеска Игоря Чиннова // НЖ. 1990. № 181. Сс. 84-97.
16. *Кузнецова, Ольга*. Прощаясь с Игорем Чинновым // НЖ. 1996. № 202. Сс. 303-311.
17. Из писем Сергея Маковского Игорю Чиннову / Публ. М. Миллер // НЖ. 1989. № 177. Сс. 232-254.
18. *Нарциссов, Борис*. Письма о поэзии: 1. Игорь Чиннов // НЖ. 1975. № 118. Сс. 73-83.
19. *Одоевцева, Ирина*. [Рец. на кн.: *Чиннов, И.* Композиция. Париж, 1973] // НЖ. 1973. № 113. Сс. 283-285.
20. *Пасквинелли, Анастасия*. Метафоры и метафоризмы: гностическое изгнанничество Игоря Чиннова // НЖ. 1991. № 183. Сс. 119-127.
21. *Фесенко, Татьяна*. [Рец. на кн.: *Чиннов, Игорь*. Автограф. Восьмая кн. стихов. New England Publishing Co, 1984] // НЖ. 1985. № 161. Сс. 301-304.

Ирина Кочергина

Ю. И. Айхенвальд

в берлинской газете «Руль»

История сотрудничества.

К проблеме подготовки сборника статей критика

Из всего наследия критика Юлия Исаевича Айхенвальда на сегодняшний день несколько раз переизданы «Силуэты русских писателей» в том виде, в котором они были выпущены за рубежом¹ самим автором, однако в этих переизданиях отсутствует научный комментарий. Отдельные статьи эмигрантского периода из газеты «Руль» были размещены на сайте Дома Русского Зарубежья в разделе «Эмигрантика» – в основном, статьи с обзорами выпусков журнала «Современные записки». Несколько статей было издано в хрестоматии «Критика Русского Зарубежья»², а также в сборниках критики, посвященных различным персоналиям (к примеру, издание о И. Бунине «Классик без ретуши»³). Однако основной корпус статей и эссе из рижской газеты «Сегодня», большинство обзоров из «Руля», а также единичные публикации в других эмигрантских изданиях рассыпаны по газетам и не всегда доступны для исследователя.

В диссертации Дмитрия Владимировича Зуева «‘Имманентная критика’ Ю. И. Айхенвальда доэмигрантского периода: проблема писателя и читателя»⁴ содержится достаточно полная библиография статей Ю. Айхенвальда. Туда вошли и дореволюционные статьи, заметки, обзоры, и тексты эмигрантского периода. Эта библиография служит большим подспорьем в работе с изданием статей критика. Но к сожалению, и здесь отсутствует перечень публикаций революционных лет, охвачены не все эмигрантские периодические издания, с которыми сотрудничал критик. Другим хорошим подспорьем (незаменимым источником для исследователя) является книга Ю. И. Абызова «Русское печатное слово в Латвии»⁵.

Ю. И. Айхенвальд был выслан из России осенью 1922 года на «философском пароходе» и начал свою деятельность в эмигрантских изданиях практически сразу же. Первые его статьи датируются декабрем 1922 года. В апреле 1923 года Айхенвальд был избран членом Союза русских журналистов и литераторов в Германии (Союз

журналистов и литераторов образован в 1921 году И. В. Гессеном), а через три года, в апреле 1926, вошел в правление Союза.

Расцвет критической деятельности Айхенвальда пришелся на дореволюционный период; будучи критиком со сложившимися эстетическими взглядами и яркой индивидуальностью, в эмиграции Айхенвальд сразу занял ведущее место в литературном мире русского Берлина. Можно сказать, что в начале 20-х годов Айхенвальд был самым влиятельным критиком Русского Зарубежья. Он печатался в разных изданиях, однако именно в газете «Руль» был опубликован основной массив его статей и рецензий. Это было связано с тем, что платформа издания с выраженной кадетской направленностью в сочетании с последовательным антибольшевизмом была близка самому Айхенвальду; к тому же, со многими авторами этой газеты и с редактором Иосифом Владимировичем Гессеном его связывали долгие профессиональные отношения – до революции Айхенвальд много лет сотрудничал с газетой «Речь», которая издавалась теми же людьми, что и «Руль».

В течение шести лет Айхенвальд вел в «Руле» еженедельный раздел «Литературные заметки», а также регулярно размещал рецензии на книжные новинки в разделе «Критика и библиография». Публиковал он свои статьи сначала под псевдонимами «Б. Каменецкий» или «Б.К.», а с 10 июня 1925 года – под своей фамилией. В. В. Сорокина, российский специалист по русскому Берлину, пишет в своей диссертации: «Главную цель эмиграции он видел в сохранении и дальнейшем развитии русских культурных традиций. В этой связи он стремился к изучению классического наследия и популяризации среди читателей 'Руля' творчества продолжателей русской традиции – Бунина, Шмелева, Зайцева, Куприна. Он ставил целью своих 'Литературных заметок' сократить дистанцию между классиками и современниками...»⁶ Его влияние на эмигрантскую литературу было огромно.

«Руль» являлся наиболее значительным изданием русского Берлина с тиражом до 20 000 экземпляров. Его основатели И. В. Гессен, А. И. Каминка и В. Д. Набоков были известными членами кадетской партии, отчего издание приобретало четкую политическую направленность. Сорокина пишет: «На протяжении всей своей одиннадцатилетней деятельности она (Газета «Руль» – *И. К.*) постоянно имела не только полосу литературы и литературной хроники, но и целый литературно-критический отдел, редактировавшийся до 1928 г. Ю. Айхенвальдом. Содержание этой газеты несомненно отражало литературоцентризм всей русской культуры, унаследованный ею от прежних времен»⁷. «Юлий Айхенвальд придал совершенно новый

качественный уровень критике газеты 'Руль', его стараниями приобретшей неоспоримый престиж», – отмечал А. М. Зверев в исследовании, посвященном периодике эмиграции⁸.

Жизнь Юлия Исаевича Айхенвальда на чужбине была нелегка; он оказался оторван от семьи – жена и дети остались в Советской России, тяжело переживал идеологические расхождения с сыном Александром, видным деятелем большевистской партии. О драматизме его эмигрантского бытия можно прочесть в книге воспоминаний его внука – поэта, переводчика, диссидента-правозащитника Юрия Александровича Айхенвальда⁹. С. Карпенко в своей публикации, посвященной «Рулю», говорит о постоянных материальных затруднениях газеты, о том, что во второй половине 1920-х годов ряду редакторов приходилось финансировать издание из своих средств¹⁰. Это не могло не отражаться и на гонорах, в том числе Айхенвальда. Он сотрудничает сразу с несколькими газетами, читает лекции и пишет статьи в сборники.

К сожалению, из архива редакции газеты «Руль» сохранилось очень мало материалов. Все они хранятся в ГАРФ, в фонде 5882. Однако заметим, никаких гранок или корректур, и тем более рукописей статей Айхенвальда в архиве нет. Есть вероятность, что эти материалы сохранились в зарубежных архивах.

Документы, касающиеся критической, педагогической, писательской деятельности Ю. Айхенвальда, рассыпаны по разным коллекциям. Личный архив критика после его смерти был передан в Русский заграничный исторический архив Праги (РЗИА), откуда попал сначала в ЦГАОР, а впоследствии был передан в РГАЛИ¹¹. Там хранятся некоторые письма, газетные вырезки, рукописные материалы (рукописи статей единичны), в том числе материалы к книге «Диктатура пролетариата»¹², которая так и не вышла в 1919 году, и заметки из еще одного неизданного сборника, включающего статьи за 1915–1918 гг.¹³ Некоторое количество газетных вырезок со статьями Айхенвальда и материалов к его биографии эмигрантского периода есть в ГАРФ в фонде Павла Николаевича Милюкова¹⁴. Материалы по дореволюционной деятельности критика сосредоточены в ОР РГБ.

Эпистолярное наследие Айхенвальда также рассеяно по разным архивам. Его адресатами было огромное количество писателей, философов, деятелей искусства, политиков, издателей. Письма эти в подавляющем большинстве не опубликованы. Неоспорима их ценность при составлении комментариев к статьям критика.

Издание эмигрантских статей критика невозможно без полноценного научного комментария: разбросанные по разным архивам и

библиотекам материалы Ю. Айхенвальда содержат огромное количество упоминаний персоналий, событий, публикаций, непонятных современному читателю, далекому от мира Русского Зарубежья 1920-х годов. На сегодняшний день при подготовке издания всех статей Юлия Исаевича, опубликованных в газете «Руть» с декабря 1922 года по декабрь 1928-го, когда трагическая случайность оборвала жизнь критика, откомментирована приблизительно половина массива текстов.

Огромную сложность при работе над комментарием представляет то, что довольно часто Айхенвальд перепубликовывал в эмиграции свои статьи, ранее вышедшие в газетах и журналах под другими названиями; критик лишь немного изменял и дополнял или сокращал текст. Так, целый ряд публикаций в рижской газете «Сегодня» является повторным изданием статей и эссе, опубликованных в газетах «Раннее утро», «Слово» и других в 1917–1918 годах.

С 1901 по 1910 гг. критик периодически печатался в «Русской мысли», с 1911 года размещал статьи и очерки в газете «Речь», в «Утре России», «Раннем утре», в газете «Слово». Появлялись его статьи и в изданиях философской и педагогической направленности. Иногда он публиковал статьи под псевдонимами «Ю. Альд», «Ю.А.», возможно, и под другими. Выходили у него и отдельные книги, он размещал статьи в сборниках, в частности, свои работы по философии и педагогике. Для полноценного комментария необходимо сверять тексты статей Айхенвальда, опубликованных в «Руле», с теми, которые были размещены в дореволюционных изданиях. Без этого нельзя установить, является ли та или иная заметка точным повторением или вариантом, а может быть, автор оттолкнулся от своей старой статьи и создал совершенно новую, как произошло, к примеру, со статьей о Ромене Роллане, размещенной в газете «Руть» за 1924 год¹⁵.

Еще одним камнем преткновения для комментатора является сам творческий метод Айхенвальда. Критик, с точки зрения Айхенвальда, – это наиболее искусственный читатель. Он «вчитывает себя в лежащие перед ним страницы»¹⁶, становится своеобразным соавтором писателя. В этом видится влияние, которое оказал в свое время на Айхенвальда модный в начале XX века французский мастер «силуэтных очерков» Реми де Гурмон и его «Книга масок»¹⁷. Импрессионистический метод де Гурмона заключался в том, что критик настраивается на волну автора произведения, подражая его стилю и интонации, дает беглый очерк его писательской индивидуальности. «...сам я, – пишет Айхенвальд, – разумеется, не только не причисляю себя к критикам научного типа, но и думаю, что критик моего стиля не вполне критик вообще, во всяком случае, не чисто

литературный критик. Меня и мне подобных, отдающихся своему непосредственному впечатлению, литературное произведение захватывает целиком, во всей его совокупности; на импрессиониста литература действует не одной своей чисто эстетической стороной, но всесторонне – полнотой своих признаков, как явление моральное, интеллектуальное, как жизненное целое»¹⁸.

Иосиф Владимирович Гессен в книге «В двух веках» так отзывался о методе критика: «Айхенвальд утверждал, что критик должен ‘сопричащаться художественному творению’, и потому ‘статья критика должна быть художественным произведением’»¹⁹. Поэтому стиль его заметок очень специфичен: обилие цитат, часто переходящих в пересказ произведения с соблюдением стилистики, множество реминисценций, аллюзий и ассоциаций (надо еще учитывать огромную эрудицию Айхенвальда). Такая критическая манера сильно усложняет работу по составлению комментария, который может превратиться в многостраничное исследование. Здесь важно определить, на что давать ссылки и что именно достойно пояснений.

Айхенвальд перевел на русский язык основные труды А. Шопенгауэра, был секретарем редакции журнала «Вопросы философии и психологии», много общался с выдающимися отечественными мыслителями и философами – с В. С. Соловьевым, С. Н. Трубецким, С. Л. Франком и другими, – всё это оказало влияние на его взгляды. Ряд статей критика, написанных в эмиграции, посвящен философии и философам, они содержат не только ссылки и цитаты из разных философских трудов, но и полемические выпады, в них обсуждаются многие дискуссионные вопросы, – например, статья «Русский мыслитель», посвященная В. С. Соловьеву²⁰, публикации о Ф. Ницше²¹, С. Л. Франке²² и т. п. При составлении научного аппарата к таким текстам исследователь-филолог неизбежно вынужден обращаться к специалистам в области философии.

Хотелось бы привести пример уже откомментированного текста – критического эссе Айхенвальда «Литературные заметки» от 17 июня 1925 года, посвященного Борису Александровичу Садовскому (1881–1952), слух о смерти которого как раз в это время распространился в эмиграции. Статья имеет характер некролога, но – что типично для критика – в ней почти нет сведений о биографии писателя, хотя Айхенвальд был с ним знаком, – зато приводится огромное количество цитат из произведений Садовского.

В историю отодвигая родной ландшафт и его тоже приобщая к прошлому, Садовский вместе с тем не археологически, а непосредственно и настояще привязан был к русскому лесу, и к русскому полю,

и к русскому саду, который «дышит сладким медом, теплым, как молоко парное». «Аспидно-синие пальцы стрелчатых молодых елок», сосны, которые «раздышались смолистой ленью», «золото-брюхие бархатные имели и медовые пчелы», гудящие над акациями и «липкая темно-малиновая дрема», и «васильки, тысячами глаз мигающие из переливчатых волн зашумевшей полосатой ржи» – всё это пахнет Русью, и в ней одновременно стар и молод наш дремучий лес, где «многие лета сулит кукушка», где «пыхтит медведь, пробираясь звериной тропкой к дуплу ломать дикий душистый сот», где «возится высоко на дубовой верхушке хитрый ворон». Когда читаешь обо всем этом, разве не хочется чувствовать не только русскую культуру, но и русскую натуру?.. И не становится ли особенно понятным, что покойный писатель именно от природы своей родной возжигал скромную свечечку своего лиризма? Лес и поле навевали на него лирическое настроение, и тогда вспоминалась ему обиженная русская деревня и в ней ночная пряжа, которая «при свете робкой лучины поет, изнывая, и бормочет веретеном»; и тогда казалось ему, что «вся Русь неоглядная – одна родимая вековечная пряжа. Христом, обреченная петь и грустить бессловесно». Так дремала под жужжанием своего веретена русская Пряжа, пока не разбудили ее страшные громы...

Начало комментария к статье:

Я лично вспоминал моего близкого знакомого, Бориса Александровича Садовского, о безвременной смерти которого... – Борис Александрович Садовской (наст. фам. Садовский, 1881–1952), поэт, прозаик, критик. Ложная информация о его смерти распространилась в эмигрантской прессе в 1925 году и послужила основанием для статей Айхенвальда, Ходасевича и других обозревателей. Айхенвальд до революции несколько раз обращался к творчеству Садовского, размещая рецензии на его сборники. В данной статье он использовал фрагменты своих дореволюционных рецензий на книги Садовского «Адмиралтейская игла» и «Лебединые клики» (см.: Айхенвальд Ю. Родная старина [Рец. на кн.: Садовской Б. Лебединые клики. – Пг.: Кн-изд. М. В. Попова, 1915] // «Утро России». 1915. 29 августа. № 238. С. 6.; Айхенвальд Ю. [Рец. на кн.:] Садовской Б. Адмиралтейская игла. Рассказы. – Пг.: Кн-изд. М.В. Попова, 1915 // «Утро России». 1915. 21 ноября. № 320. С. 6). Поскольку данная статья носит характер некролога, критик при заимствовании фрагментов из ранних заметок убрал оттуда большинство замечаний о недостатках, слабых сторонах стиля писателя.

Комментарий к приведенному фрагменту статьи:

– *«дышит сладким медом, теплым, как молоко парное»; «...стар и молод наш дремучий лес, где «многие лета сулит кукушка», где «пыхтит медведь, пробираясь звериной тропкой к дуплу ломать дикий душистый сот», где «возится высоко на дубовой верхушке хитрый ворон» – Садовской Б. Двуглавый орел // «Русская мысль». 1911. Кн. VII. Сс. 8; 26.*

– *«Аспидно-синие пальцы стрелчатых молодых елок», сосны, которые «раздышались смолистой ленью» – Садовской Б. «Княгиня Зенеида» // «Русская мысль». 1913. № 1. С. 41. Впоследствии повесть издавалась под названием «Лебединые клики».*

– *«при свете робкой лучины поет, изнывая, и бормочет веретеном»; и тогда казалось ему, что «вся Русь неоглядная – одна родимая вековечная пряжа. Христом, обреченная петь и грустить бессловесно»; «золотоброхуе бархатные шмели и медовые пчелы», гудящие над акациями и «липкая темно-малиновая дрема», и «васильки, тысячами глаз мигающие из переливчатых волн зашумевшей полосатой ржи» – Садовской Б. Княгиня Зенеида // «Русская мысль». 1913. № 2. Сс. 18; 24.*

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Айхенвальд Ю. Силуэты русских писателей. 4-е изд., испр. и доп. Вып. 1-3. – Берлин, 1924.
2. Критика русского зарубежья. В 2-х тт. Сост., прим., преамбулы О. Коростелева, Н. Мельникова. – М.: Олимп, 2002.
3. Классик без ретуши. Литературный мир о творчестве И. А. Бунина: критические отзывы, эссе, пародии (1890–1950-е годы): антология / под общ. ред. Н. Г. Мельникова. – М.: Книжница: Русский путь, 2010. 926 с.
4. Зуев Д.В. «Имманентная критика» Ю. И. Айхенвальда доэмигрантского периода: проблема писателя и читателя. Дисс. канд. филол. наук. – М., 2006. 252 с.
5. Абызов Ю. А. Русское печатное слово в Латвии, 1917–1944 гг.: био-библиографический справочник. В 4-х тт. – Stanford, 1990–1991. Ч. 2.
6. Сорокина В. В. Формирование литературной критики Русского Зарубежья: берлинский период. Автореферат дисс. доктора филологических наук. – М.: МГУ, 2011. С. 79.
7. Там же. С. 48.
8. Зверев А. М. Берлинская газета русской эмиграции «Руль» // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Серия 7: Литературоведение. – ИНИОН РАН. № 3. М.: 1997. Сс. 159-176.
9. Айхенвальд Ю. А. Последние страницы: Воспоминания, проза, стихи. – М.: РГГУ, 2003. 523 с.

10. *Карпенко С.* «Руть»: зеркало кадетского Берлина // «Новый Журнал». Нью-Йорк, 1998. № 212. Сс. 251-267.
11. *РГАЛИ. Ф.* 1175. Оп 2.
12. *РГАЛИ. Ф.* 1175. Оп. 2. Ед. хр. 15.
13. *РГАЛИ. Ф.* 1175. Оп. 2. Ед. хр. 9.
14. *ГАРФ. Ф.* 5856. Оп.1. Ед. хр. 590.
15. *Каменецкий Б.* Литературные заметки // «Руть». 1924. 3 февраля. № 962. Сс. 2-3.
16. *Айхенвальд Ю.* Похвала праздности. – М., 1922. С. 89.
17. *Гурмон Реми, де.* Книга масок. [Лит. характеристики]. Пер. с фр. Е. М. Блиновой и М. А. Кузмина. – СПб.: Грядущий день, 1913. 267 с.
18. *Айхенвальд Ю.* Где начинается литература // Новая русская книга. 1922. № 10. С. 7.
19. *Гессен И. В.* В двух веках: жизненный отчет. – Берлин: [б/и], 1937. С. 269.
20. *Айхенвальд Ю.* Русский мыслитель // «Руть». 1925. 21 октября. № 1486. Сс. 2-3.
21. *Айхенвальд Ю.* О Ницше // «Руть». 1925. 2 сентября. № 1444. Сс. 2-3.
22. *Айхенвальд Ю.* Мысли о смысле // «Руть». 1925. 13 октября. № 1783. Сс.2-3.

Юкио Накано

Русские в Японии*

Межвоенный и послевоенный периоды

ИСТОРИЯ

По данным статистики министерства юстиции Японии за июнь 2019 года, население русских граждан в Японии составляет 9109 человек, в том числе и 4015 постоянных жителей¹. Что касается русского населения межвоенного периода, исследователь К. Савада, автор статьи «Влияние русских эмигрантов на японскую культуру», приводит численность русского населения в Японии в 1930 году по Статистическому сборнику Министерства внутренних дел Японии и по Статистическому сборнику Японской империи². Согласно этим источникам, в 1930 году в Японии проживало 1666 русских, в том числе 886 мужчин и 780 женщин³. Следует уточнить: Савада включает численность русских, которые временно жили в Японии и уехали затем в другие страны. Он же замечает, что определение «белые русские» включает всех, кто воевал против Советской России или поддерживал Белое движение, то есть не только этнических русских, но и другие славянские народы – украинцев, белорусов, сербов, поляков, чехов, а также румын, евреев и татар, проживавших тогда в Японии. Строгого определения «белый русский» в те годы не существовало. Он также включает тех, кто не эмигрировал из России и приехал с какой-то другой целью, как и сыновей и дочерей, родившихся от браков с японцами.

В книге Петра Подалко «Белые русские и Япония» в 2010 году также представлена численность русских эмигрантов на основе обзора Отдела иностранных дел японской полиции⁴.

Численность населения («белых русских») составляла: 1936 – 1294 человек; 1937 – 1310; 1938 – 1299; 1939 – 1305; 1940 – 1252; 1941 – 1093; 1942 – 1179. Численность советских граждан была соответственно: 1936 – 268 человек; 1937 – данных нет; 1938 – 166; 1939 – 196; 1940 – 256; 1941 – 85; 1942 – 85. Согласно Подалко, после Второй мировой войны численность штата в Советском посольстве в Японии

* Доклад был прочитан на международной конференции ASEEEES в Сан-Франциско в ноябре 2019 на секции «Rebirth: Social and Cultural Practices of the Post-War Immigration».

выросла больше, чем в десять раз; был момент, когда там работало до 300 служащих – и не только дипломаты, но и военные и экономисты, приехавшие работать в Главное командование союзных сил.

Во второй половине 1940-х годов с помощью Красного Креста и других международных институтов многочисленные ди-пи из Китая через Филиппины приехали в Японию. Русское население увеличилось. По статистике в городе Кобэ в 1952 году жило больше 800 русских; считается, что это – более двух третей всех русских в Японии того времени⁵. Однако большинство русских позднее уехали в Австралию и США. Причины тому ясны: Япония была оккупирована союзными войсками и только те, у кого были родственники в Японии, или те немногие, кому разрешили по каким-то причинам остаться, могли поселиться в стране.

С 1964 года министерство юстиции начинает издавать ежегодную «Статистику иностранных граждан, живущих в Японии», с 2012 года сборники выходят два раза в год. Согласно этой статистике, численность советских граждан в Японии: в 1964 году – 159 человек; в 1969 – 234; в 1985 – 308; в 1989 – 309; в 1991 – 440 человек.

В декабре 1991 года СССР распался, его преемником была объявлена Российская Федерация. Численность русских иммигрантов с 1991 до 1993 года увеличилась с 440 до 966 человек. Русские граждане в Японии составляли в 1993 – 966 человек; в 1995 – 1887; в 1996 – 2169; в 1997 – 2263; в 1998 – 2580; в 1999 – 2942; в 2000 – 3297; в 2001 – 4893; в 2002 – 5329; в 2003 – 6026; в 2004 – 6734; в 2005 – 7164; в 2006 – 7110; в 2007 – 7279; в 2008 – 7346; в 2009 – 7641; в 2010 – 7814; в 2011 – 7814; в декабре 2012 года – 7295 человек; в июне 2013 – 7409; в декабре 2013 – 7513; в июне 2014 – 7668; в декабре 2014 – 7859; в июне 2015 – 7973; в декабре 2015 – 8092; в июне 2016 – 8205; в декабре 2016 – 8306; в июне 2017 – 8599; в декабре 2017 – 8672; в июне 2018 – 8862; в декабре 2018 – 8987; в июне 2019 года – 9109 человек.

Одной из причин роста русского населения в Японии с 1991 года является распад Советского Союза. В советское время русские должны были получить разрешение на выезд из Советского Союза. И только дипломаты и те, кто работал в офисе советского торгового представительства, могли посещать иностранные государства.

Вернемся к истории «белых русских». После войны часть «белых», раньше не имеющих гражданства, стали гражданами Японии, другая часть уехала в Австралию, США и другие государства. Согласно Подалко, ставшие японскими гражданами во второй половине эры Сёва (1950–1980-е годы) потеряли свою идентичность «белых русских»⁶. Однако за годы проживания в стране русские эмигранты оказали огромное влияние на японскую культуру, особен-

но в области музыки и балета, в образовании (изучение русского языка, русской литературы и культуры). Кроме этого, русские играли важную роль в спорте. Известно, что тётя жены Джона Леннона, Йоко Оно, – русская эмигрантка Анна Оно (девичья фамилия – Бубнова), оказавшая большое влияние на музыкальное образование в Японии⁷.

В межвоенный период русских эмигрантов заставляли менять имена на японские. Одним из таких примеров стал бейсболист Виктор Константинович Старухин (1917–1957), известный как «Хироси Суда»⁸.

Согласно исследованию К. Савады и А. Хисамутдинова, одним из самых важных материалов, относящихся к русским эмигрантам в довоенной Японии, является коллекция документов «Гайкокудзин хомпо орай зайрю гайкокудзин но досэйканкэй дзассан сорэмпоудзин но бу» (Miscellaneous Collection of Materials on the Traffic of Foreigners to and from Japan and the Foreigners Residing in Japan: the Part of Soviet Citizens)⁹. Эта коллекция охватывает материалы с февраля 1927 по 3 февраля 1943; число документов составляет около 1660, там упоминаются 4443 русских имени. Она содержит материалы мониторингов русских эмигрантов в Японии, за которыми проследил Отдел иностранных дел японской полиции. Однако эта коллекция включает только две папки за 1928 год и одна из них касается только выходцев из Китая. В этой папке есть два документа, охватывающего период с сентября 1929 по март 1930 года, но отсутствуют документы с января 1932 по июнь 1934 года¹⁰. В 2018 году, на основе архивных материалов, предоставленных профессором А. Хисамутдиновым, профессору К. Саваде удалось заполнить пробел в истории русских эмигрантов и издать материалы на русском и японском языках. Русские материалы – копии переводов документов японской полиции. Там обнаруживается несколько мелких ошибок в названии городов и написании имен русских эмигрантов. Но в целом коллекция материалов рассказывает подробно о деятельности русских эмигрантов в Японии. Сведения предоставляли некоторые из русских информаторов, завербованных японской полицией. Они следили за другими эмигрантами, участвовали в общих собраниях диаспоры и передавали полученную информацию полиции. В частности, русская балерина Элиана Павлова, основательница японского балета, была упомянута в списке белых русских информаторов, работавших на японскую полицию¹¹.

Согласно Подалко, из-за незнания японского языка или по другой причине, информаторы иногда придумывали события на основе беспочвенных слухов¹², вплоть до историй о шпионской деятельно-

сти русских¹³. В довоенной Японии, в отличие от граждан стран «окружения ABCD» (США, Англия, Китай и Нидерланды), «белые русские» рассматривались как граждане нейтрального государства и их редко заключали в тюрьму, но иногда всё-таки арестовывали и допрашивали¹⁴.

ВИЗИТ АЛЕКСАНДРЫ ТОЛСТОЙ

Александра Толстая, младшая дочь писателя Льва Николаевича Толстого, была одним из самых известных посетителей Японии в межвоенный период. Она приехала в Японию летом 1929 года. С первого дня пребывания за ней была установлена слежка, для чего были выделены два агента¹⁵. Об этом содержатся сведения в архивных материалах исторических архивов дипломатии Японии¹⁶. С одной стороны, японские агенты сообщали полиции о ее деятельности. С другой стороны, за ней постоянно следили советские дипломаты.

Срок разрешения на ее временное пребывание в Японии был обозначен до 1 января 1930 года¹⁷. Однако с самого начала она планировала остаться в Японии на два месяца, продлила срок до 1 марта 1930 года, затем пыталась иммигрировать в США¹⁸.

История ее американской эмиграции такова. Ей было 46 лет, когда она приехала из Владивостока в Цуругу с госпожой Христианович, которая преподавала русский язык в Ясной Поляне, и ее дочерью Марией. Они приехали в Цуругу 18 октября 1929 года¹⁹. В конце концов Толстой удалось остаться на два года – 1929–1931 гг. Она жила в городе Асия в префектуре Хёго и путешествовала по всей Японии – читала лекции; ее переводчиком был Масутаро Кониси. Александра Львовна встречалась с разными людьми – вдовой японского писателя Рока Токутоми, Айко Токутоми, с представителями японской интеллигенции, хорошо знавших Россию, с японскими «толстовцами», да и с простыми людьми. Александра Толстая преподавала русский язык. Ее зарплата за уроки стала одним из главных источников доходов. Она познакомилась с русским эмигрантом Федором Морозовым, владевшим бизнесом по производству шоколада для торговой марки «Морозов» в Японии. Он и помог ей иммигрировать в США. В 1933 году она уехала. 15 апреля 1933 года она создала Фонд Толстого в Нью-Йорке. После войны в 1949 году старший сын Морозова, Валентин, посетил Нью-Йорк и встретился с Александрой Толстой²⁰.

ВИЗИТ СОЛЖЕНИЦЫНА

Александр Солженицын посетил Японию в 1982 году. Японский исследователь Йосикадзу Накамура написал статью об этом²¹, которая была опубликована в сборнике статей о русских эмигрантах в

Японии «Икё ни икиру: райнити росиадзин но сокусэки» (Жизнь на чужбине: по следам русских в Японии). «Жизнь на чужбине» была издана Ассоциацией русских эмигрантов в Японии, которая просуществовала двадцать один год (к сожалению, была закрыта в 2016 году). Они издали всего шесть томов серии «Жизнь на чужбине». Каждый том относится к разным проблемам жизни русских эмигрантов в Японии. Согласно Накамуре, упомянувшему о мемуарах Солженицына в Японии в «Новом мире», писатель приехал из Нью-Йорка в Нариту 16 сентября 1982 года и уехал в Тайпей 16 октября.

Солженицына пригласила японская газета «Йомиури Симбун» через его переводчика Хироси Кимура. В программу посещения страны входило одно выступление на японском телевидении и одно – на радио, а также публикация текста о советской современной ситуации в одной из японских газет. Помимо этого, писателя попросили не связываться со средствами массовой информации. Ему предложили автомобиль с водителем и солидное вознаграждение. Есть свидетельства, что, получив предложение от японской стороны, Солженицын прервал свою работу и в течение месяца сосредоточился на чтении книг о Японии. Его японский переводчик отправил 20 книг в Вермонт.

В Японии владелец газеты попросил Солженицына дать пресс-конференцию, но он отказался. (Никто не знал, что Солженицын не дает пресс-конференций.) Он не ел традиционную японскую кухню и практически ограничил свой стол омлетом. Он путешествовал под именем шведского исследователя доктора Харта (Heart), названного по ассоциации с именем Александра Герцена (от немецкого Herz, «сердце»). Православная церковь была единственным местом, где Солженицын чувствовал себя как дома, – хотя и знал, что японцы не испытывают особого почтения к православию. В последний день путешествия он посетил Воскресенский собор («Николай До») в Токио. В соборе служили японские священники и два дьякона, песнопения исполнялись по-японски. Однако, по признанию писателя, он почувствовал тепло, которого больше нигде не ощущал в Японии.

АРУНДЕЛЬ ДЕЛЬ РЕ (1911-1974)

Стоит отметить имя еще одного писателя, который оказал большое влияние не только на японскую культуру, но и на послевоенную образовательную систему в Японии. Итальянец Арундель дель Ре. Он лично знал Эзру Паунда, Роберта Бриджеса и Уильяма Йейтса. Известно, что однажды он написал рекомендательное письмо Николаю Гумилеву. Дель Ре преподавал английскую литературу в Токийском императорском университете и Императорском универси-

тете Тайхоку на Формозе, тогда оккупированном японскими войсками. После войны он работал как советник отдела по вопросам гражданской информации и образования Генерального штаба Верховного главнокомандующего союзными оккупационными войсками и оказал большое влияние на политику японского образования.

Согласно библиографическим данным на сайте национальной библиотеки Австралии, Арундель дель Ре родился во Флоренции 29 января 1892 года²². Он поступил в Университетский колледж Лондонского университета в 1911 году и окончил его в 1917 году. Во время обучения он стал одним из основателей книжного магазина поэзии в Челси и помощником редактора журнала «Обзор поэзии». Он познакомился с Робертом Бриджесом, Эзрой Паундом, Харольдом Монро и Уильямом Йейтсом. В 1921 году его назначили лектором итальянского языка в Оксфорде. В 1923 году он окончил Оксфорд и Лондонский университет и получил магистерскую степень. В 1927 году его назначили профессором английской литературы в Токийском императорском университете. В 1930 он уехал из Японии на Формозу как профессор английской литературы в Императорском университете Тайхоку. В конце Второй мировой войны он вернулся в Токио и стал советником командования американской армии. Именно он проводил реорганизацию образования Японии, координировал исследования в области образования, анализировал доклады и оказывал помощь в осуществлении директив союзников. В 1951 году дель Ре был назначен профессором языка и литературы в Нандзанском католическом университете в городе Нагоя, где и проработал до 1954 года. В 1953 году он защитил докторскую диссертацию в Токийском университете образования и получил почетную степень доктора литературы *Honoris Causa* за его работу о писателе Джоне Флорио. В 1954 году он покинул Японию, жил какое-то время в Сидни. Впоследствии он преподавал английский язык в университете Виктории в Веллингтоне, Новая Зеландия, с 1960 по 1966 год. В конце 1960-х годов дель Ре и его семья переехали в Австралию. Он скончался в Джилонге в 1974 году.

Исследователь творчества О. Мандельштама Кларенс Браун упоминает о нем с своим трудом: «Он (Н. Гумилев. – *Ю. Н.*) встретился с Арундедем дель Ре, итальянским журналистом и критиком, которого Харольд Монро, владелец ‘Магазина поэзии’ и лидер литературного мира ‘Георгианцев’, привез в Англию, протезируя ему. Дель Ре был в разное время редактором ‘Обзора поэзии’ и ‘Поэзии и драмы’. Дель Ре, корреспондент ‘Письма из Лондона’ в ‘Аполлон’, был, естественно, знаком с Гумилевым»²³.

Глеб Струве тоже упоминает о нем в собрании неопубликован-

ных текстов Николая Гумилева. Когда Струве учился в Бэллиол колледже в Оксфорде, у него было несколько возможностей встретиться с Арунделем дель Ре. «В 1920-21 гг. в бытность мою студентом Оксфордского университета, я встречался несколько раз с этим Арундель дель Ре, который преподавал в Оксфорде итальянский язык. К сожалению, факт знакомства его с Гумилевым остался мне неизвестен. Рекомендательные записки объясняются тем, что Гумилев по пути на салоникский фронт собирался быть в Италии. Дель Ре между прочим печатал в 'Аполлоне' корреспонденции из Англии»²⁴. Позже, в 1962 году, Струве еще раз упоминает о знакомстве Арунделя дель Ре и Гумилева. «В приложении к настоящему очерку даются никогда ранее не печатавшиеся документы, проливающие некоторый свет на обстоятельства, при которых Гумилев в январе 1918 года покинул Париж и перебрался в Лондон. У него было, по-видимому, серьезное намерение отправиться на месопотамский фронт и сражаться в английской армии. В Лондоне он запасся у некоего Арунделя дель Ре, который позднее был преподавателем итальянского языка в Оксфордском университете (я встречался с ним в бытность мою студентом там, но, к сожалению, и понятия не имел о том, что он знал Гумилева), письмами к итальянским писателям и журналистам (в том числе к знаменитому Джованни Папини) – на случай, если ему придется по пути задержаться в Италии: письма эти сохранились в записных книжках в моем архиве»²⁵.

В собрании помещено рекомендательное письмо Джованни Папини, представляющее *Жумилева* (ошибка в фамилии Гумилева) итальянским писателям. Гумилев надеялся попасть на Салоникский фронт через Италию²⁶.

В 1927 году дель Ре был назначен профессором английской литературы в Токийском императорском университете. В Японии он внес активный вклад в журнал «Эйбунгаку кэнкю» (*Studies in English Literature. A Quarterly Review Compiled & Issued. The English Seminar of the Tokyo Imperial University*), отредактированный английской кафедрой Токийского императорского университета, и опубликовал статьи «Чосер и Боккаччо», «Уильям Пейтон Кер: понимание», «Реализм в Елизаветинской фикации», «Английские влияния на итальянскую литературу XIII века», «Подтексты войны», «Несколько заметок о Дефо» и «Георгианские реминисценции». В «Реминисценциях» он вспоминает о его юности с Харольдом Монро и его «магазином поэзии».

В Токийском императорском университете он читал курсы: «Английская критика XIX века», «Различные стихотворения Шелли. 1820» и «Несколько современных английских романистов»²⁷. В меж-

военный период он также работал культурным советником Итальянского института культуры под управлением Муссолини и после капитуляции Италии был интернирован²⁸. После возвращения в Японию 15 октября 1945 года его назначили советником по вопросам образования и религии в Отделе гражданской информации и образования Генерального штаба Верховного главнокомандующего союзными оккупационными войсками²⁹.

Его идеи о японском императорском правлении считались консервативными, в частности, дель Ре выступал против ареста императора. Он внес изменения в английский перевод новой версии Императорского Рескрипта («*Kyōiku Chokugo*»), который был издан императором Мэйдзи в 1890 году, и заложил основы изучения генеалогической истории императорской семьи. После войны, в 1948 году, японское правительство приняло решение отменить этот курс.

Таким образом, подытоживая вышеизложенное, следует сказать, что русская эмигрантская культура в Японии развивалась в течение столетия после Октябрьского переворота и оказала огромное влияние на японскую культуру. В довоенный период японская полиция активно следила за русскими эмигрантами, была создана сеть информаторов, нанятых японской полицией. Тем не менее, диаспора жила и созидала. Что касается материалов о русских эмигрантах в Японии после войны, этот период до сих пор мало изучен, публикаций на эту тему недостаточно, а некоторые материалы до сих пор исследователям не доступны. Мы можем надеяться только на то, что дальнейшие международные совместные исследования заполнят пробел в изучении истории русских эмигрантов, рассеянных по всему миру.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. «Зайрю Гайкокудзин Токэй». [Электронный ресурс] URL: <https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00250012&tstat=000001018034&cycle=1&year=20190&month=12040606&tclass1=000001060399> (Дата обращения: 5 февраля 2020).
2. *Савада, К.* Нихон ни окэру хаккэй росиадзин но бунка тэки эйкё (Cultural Influence of White Russians on Japan). Икё ни икуру (Жизнь на чужбине). Том 1. С. 31.
3. Там же. С. 31.
4. *Подалко, П.* Хаккэй росиадзин то Ниппон. – Сэйбунся, 2010, Сс.125-128.
5. Там же. С. 128.
6. Там же. С. 138.
7. *Савада, К.* Нихон ни окэру хаккэй росиадзин но бунка тэки эйкё. С. 38.; «Анна Бубнова – русская тетья, воспитавшая будущую жену Джона Леннона,

японку Йоко Оно...» [Электронный ресурс] URL: <https://edo-tokyo.livejournal.com/5786443.html> (Дата обращения: 1 марта 2020).

8. *Подалко, П.* Хаккэй росиадзин то Ниппон. С. 125.

9. *Савада К., Хисамутдинов А.* Нихон Зайрю но Росиадзин «Гокухи» Бунсё. Saitama University Faculty of Liberal Arts and Graduate School of Humanities and Social Sciences. 2018. Сс. 9-10.

10. Там же. С. 10.

11. Там же. С. 78.

12. *Подалко, П.* Хаккэй Росиадзин то Ниппон. С. 125.

13. Там же. С. 125.

14. Там же, С. 125-126.

15. *Томоно, Конами.* Дочь Льва Толстого – годы эмиграции Александры. – Син-Докусё-ся, 2000. С. 72.

16. Там же. С.414.

17. Там же. С.164.

18. Там же. С.42, 160.

19. Там же. С. 64.

20. *Подалко, П.* Хаккэй Росиадзин то Ниппон. С. 97-98.

21. *Накамура, Й.* «Нихон ва дарэ ни сумиёйка»(Who is happy in Japan?). Икё ни икиру (Жизнь на чужбине). Том 2. Сс. 85-94.

22. «Bibliographical Note» Guide to the Papers of Arundel Del Re. <http://nla.gov.au/nla.obj-326314024/findingaid> (Дата обращения: 16 ноября 2019).

23. *Brown, C.* Mandelstam. Cambridge University Press. 1973. С. 137.

24. *Струве, Г.* О литературном наследстве Н. С. Гумилева. / *Гумилев Николай.* «Отравленная Туника» и другие неизданные произведения. – Нью-Йорк: Издательство имени Чехова. 1952, С. 8.

25. *Гумилев, Н. С.* Собрание сочинений в четырех томах. Т. 1. – Вашингтон: Издательство книжного магазина Victor Kamkin, Inc. 1962. С. XXVIII.

26. Там же. Т. 4. С. 544.

27. Studies in English Literature. A Quarterly Review Compiled & Issued. The English Seminar of the Tokyo Imperial University, Japan. Volume X. – Tokyo: Kenkyusha. 1930. С. 506.

28. *Эйти Судзуки.* Нихон сенрё то кёйку кайкаку. – Кэйсо Сёбо. 1983. С. 53.

29. Там же. С. 93.

Doshisha University, Japan

ЭССЕ. ЗАМЕТКИ

А. В. Мартынов

Набоков и Пруст

Дополнение к Комментариям к «Дару»

Миф, как и любое ложное явление, рано или поздно, подвергается деконструкции или, если использовать терминологию философа Макса Вебера, «разволшебствованию».

Не избежал этой участи и миф Владимира Набокова (1899–1977). Созданный автором «Других берегов» и *Speak, Memory: An Autobiography Revisited*, он, в числе прочего, заключался в утверждении, будто писатель на протяжении всей жизни оставался полностью автохтоном и не испытывал ничьих влияний. Так, например, в интервью Анн Герен им было прямо заявлено: «Нет, учителей у меня не было»¹.

Следует отметить, что ревизия этого мифа началась еще при жизни литератора, в период собственно создания «творимой легенды». Беллетрист Василий Яновский приводил в своих мемуарах слова Владислава Ходасевича по поводу высказывания Набокова, будто он «никогда не читал Кафку», и, следовательно, какая-либо инфлюкция во время работы над «Приглашением на казнь» исключалась. Тогда знаменитый поэт, «ослабившись», заявил: «Сомневаюсь, чтобы Набоков чего-либо не читал»².

И в последующем в ответ на критику Набоков высказывал «строгие суждения», во многом подобные тем, что он произнес в разговоре с Яновским. В интервью Альфреду Аппелю литератор говорил: «Есть сходство между ‘Приглашением на казнь’ и ‘Замком’, но Кафки я, когда писал свой роман, еще не читал»³.

Подобные попытки деконструкции, особенно на ранних ее этапах, таили в себе опасность излишней субъективности, а зачастую и ангажированности, связанной с личным отношением исследователя и его героя. Это снижало их ценность, как представляется в случае с монографией Эндрю Филда⁴.

Дальнейшая ревизия мифа прослеживается, в частности, у Зинаиды Шаховской в литературоведческой работе, также с сильным мемуарным влиянием, «В поисках Набокова»⁵. Но, как думается, наибольшее значение в описанном процессе играют труды Александра Долинина, в которых он, помимо реконструкции биографии, коснулся и вопросов поэтики.

Ученый отмечает различные интертекстуальные влияния на писателя, например, Марселя Пруста, которого Набоков чрезвычайно высоко ценил⁶, органично включив в создаваемую им мифологию⁷, но при этом отрицая наличие какого-либо сходства между ними⁸. В данном случае слова писателя опровергаются им самим. В письме к супруге, Вере Слоним, от 2 июня 1926 года, то есть вскоре после завершения работы над «Машенькой», он сообщал, что читает шестой том знаменитой эпопеи («Беглянка»)⁹.

Долинин фиксирует схожесть символики финала «Машеньки» с образом «огромного здания воспоминанья»¹⁰ из первого тома «Поисков» и текстологические заимствования в «Лолите» из «Беглянки»¹¹.

Выявляя прустинианские коды в «Даре», он пишет, что дебютный сборник главного героя Федора Годунова-Чердынцева, начинающийся стихотворением о «Потерянном Мяче» и завершающийся стихами «О Мяче Найденном», «намекает здесь на цикл М. Пруста 'В поисках утраченного времени'»¹².

В качестве дополнения к отмеченным Долининым заимствованиям, хотелось бы обратить внимание на еще одну возможную параллель.

В начале романа Годунов-Чердынцев, переселившийся в новую квартиру, смотрит на берлинскую улицу: «Опытным взглядом он искал в ней того, что грозило бы стать ежедневной зацепкой, ежедневной пыткой для чувств, но, кажется, ничего такого не намечалось, а рассеянный свет весеннего серого дня был не только вне подозрения, но еще обещал умягчить иную мелочь, которая в яркую погоду не преминула бы объявиться; всё могло быть этой мелочью: *цвет дома, например, сразу отзывающийся во рту неприятным овсяным вкусом, а то и халвой* (Выделено мною. – А. М.); деталь архитектуры, всякий раз экспансивно бросающаяся в глаза; раздражительное притворство карриатиды, приживалки – а не подпоры, – которую и меньшее бремя обрательной бы тут же в штукатурный прах; или, на стволе дерева, под ржавой кнопкой, бесцельно и навсегда уцелевший уголок отслужившего, но не до конца содранного рукописного объявленьица – о расплыве синеватой собаки; или вещь в окне, или запах, отказавшийся в последнюю секунду сообщить воспоминание, о котором был готов, казалось, завопить, да так на углу и оставшийся – самой за себя заскочившею тайной»¹³.

Представляется, что в данном случае имеет место перифраза с известным фрагментом первой части эпопеи Марселя Пруста «По направлению к Свану», когда герой-повествователь пробует «одно из тех круглых, пышных бисквитных пирожных, формой для которых

как будто служат желобчатые раковины пластинчатожаберных моллюсков»¹⁴, вызывающих поток воспоминаний («зацепкой <...> пыткой для чувств», по Набокову). «Как только я вновь ощутил вкус размоченного в липовом чаю бисквита, которым меня угощала тетя <...> как в японской игре, когда в фарфоровую чашку с водой опускают похожие один на другой клочки бумаги и эти клочки расправляются в воде, принимают определенные очертания, окрашиваются, обнаруживают каждый свою особенность, становятся цветами, зданиями, осязаемыми и опознаваемыми существами, все цветы в нашем саду и в парке Свана, кувшинки Вивоны, почтенные жители города, их домики, церковь – весь Комбре и его окрестности, – всё, что имеет форму и обладает плотностью – город и сады, – выплыло из чашки чаю»¹⁵.

Как видно, у Набокова одной из метафор триггера воспоминаний также выступает печенье. Также она формирует устойчивую связь между физиологическим вкусом и памятью. В итоге писателем создается свой оригинальный вариант отношений «материи и памяти» (Анри Бергсон)¹⁶.

Когда-то другой философ, Ролан Барт, писал, что «миф – это похищенное и возвращенное слово... Просто <...> при возвращении его поставили не совсем на свое место»¹⁷. Деконструкция мифа, предпринятая Зинаидой Шаховской или Александром Долининым, не призвана «бросить с парохода современности» Владимира Набокова или же просто поставить под сомнение его дарования. Вернее говорить о стремлении литературоведов точнее поставить его в контекст традиции высокой культуры.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Набоков о Набокове и прочем: Интервью, рецензии, эссе. – М.: Издательство «Независимая Газета», 2002. С. 98.
2. Яновский В. Поля Елисейские. Книга памяти. – СПб.: Пушкинский фонд, 1993. С. 230.
3. Набоков о Набокове и прочем. С. 197. Правда, в интервью Жану Дювинью он признал, что чувствует «тесную связь» с Кафкой. Там же. С. 90.
4. Field A. Nabokov: His Life in Art, A Critical Narrative. – Boston – Toronto: Little Brown, 1967.
5. Шаховская З. В поисках Набокова. – Париж: La Presse Libre, 1979.
6. См., напр.: Интервью Андрею Седыху, Роберту Хьюзу, Роберто Кантини // Набоков о Набокове и прочем. Сс. 52, 172, 374. В уже цитированном интервью Герен писатель допускал «некоторое родство» с Прустом. Там же. С. 98.
7. Набоков В. Лекции по зарубежной литературе. – М.: Издательство «Независимая Газета», 1998. Сс. 275-321.

8. Интервью Джералду Кларку // Набоков о Набокове и прочем. С. 387.
9. *Набоков В.* Письма к Вере. – СПб.: Азбука, 2019. С. 90.
10. *Пруст М.* В поисках утраченного времени: По направлению к Свану. – М.: Издательство «Курс», 1992. С. 49.
11. *Долинин А.* Истинная жизнь писателя Сирина: Работы о Набокове. – СПб.: Академический проект, 2004. Сс. 45, 320, 330. О влиянии Пруста на Набокова см. также: *Louria Y.* Nabokov and Proust: The Challenge of Time // *Books Abroad.* Vol. 48, No. 3. Pp. 469-476.
12. *Долинин А.* Комментарий к роману Владимира Набокова «Дар». – М.: Новое издательство, 2019. С. 70. См. также комментарий Долинина к «Дару» в Собрании сочинений Набокова: *Набоков В.* Русский период. Собрание сочинений. Т. 4. – СПб.: Симпозиум, 2000. Сс. 634-768.
13. *Набоков В.* Дар // *Набоков В.* Русский период. Собрание сочинений. Т. 4. С. 192.
14. *Пруст М.* По направлению к Свану. С. 47.
15. Там же. С. 49.
16. О влиянии Бергсона на писателя см.: *Долинин А.* Комментарий к роману Владимира Набокова «Дар». Сс. 235-236; *Блюмбаум А.* Антиисторицизм как эстетическая позиция (к проблеме: Набоков и Бергсон) // «Новое литературное обозрение». 2007. № 86. Сс. 134-168; *Mattison L.* Nabokov's Aesthetic Bergsonism: An Intuitive, Reperceptualized Time // *Mosaic: An Interdisciplinary Critical Journal.* Vol. 46, No. 1. Pp. 37-52.
17. *Барт Р.* Мифологии. – М.: Издательство Сабашниковых, 1996. С. 251.

ПАМЯТИ УШЕДШИХ

Памяти Татьяны Олеговны Раннит 1919–2020

5 января этого года скончалась в возрасте ста лет Татьяна Олеговна Раннит, замечательная женщина, которую все знавшие ее глубоко уважали, ценили и любили.

Позволю себе сделать одно маленькое отступление от традиционного текста некролога. Культура создается выдающимися писателями, поэтами, мыслителями, музыкантами, художниками. Однако культурный уровень общества поддерживается и развивается множеством людей, которые стали носителями этих ценностей. Об их огромной роли нельзя забывать. Именно таким ценнейшим человеком, другом и помощником творческих людей и была ушедшая от нас Татьяна Олеговна.

Биография ее довольно необычна. Отец Татьяны Олеговны, Олег Иванович Войтишек, служил в Чешском легионе, воевавшем на стороне Белой армии против большевиков. В Самаре он познакомился с Ксенией Сергеевной Болтуновой и женился на ней. Легион двигался на восток, и 12 декабря 1919 года во Владивостоке у молодой пары родилась дочь Татьяна. Затем последовала эвакуация в Японию, в Нагасаки, откуда Войтишеки проделали долгий морской путь сначала в Александрию, в Египет, а потом в Италию и, наконец, в Чехословакию, в Прагу. В этом городе, ею очень любимом, Татьяна Олеговна и провела свою молодость. Она закончила там гимназию, а потом в Вене университет, факультет экономики. Выйдя замуж за Леонида Викторовича Федорова, она оказалась потом в Германии, где у нее в 1944 году родилась дочь Надежда. Наступил конец войны, и в 1947 году – иммиграция в Соединенные Штаты, в Нью-Йорк.

Жизнь Татьяны Олеговны в этой стране сложилась весьма благополучно. Получив в Колумбийском университете степень магистра, она работала в Нью-Йоркской публичной библиотеке. Там она и познакомилась с эстонским поэтом-эмигрантом Алексисом Константиновичем Раннитом. Он был тогда куратором Славянских и Восточно-Европейской коллекций в Йельском университете. Они поженились. Татьяна Олеговна на долгие годы стала его ассистентом и верным помощником, а после его безвременной кончины заняла его место в университете, вплоть до выхода на пенсию.

Помимо квартиры в Нью-Хейвене, у Раннитов был еще дом в Си-Клиффе, предместье Нью-Йорка, в котором автор этих строк часто бывал еще при жизни Алексиса Константиновича, пользуясь их широким гостеприимством. Однако эти краткие факты ничего еще не говорят о личности Татьяны Олеговны. И поэтому я снова вернусь к т. н. «носителю культурных ценностей». В наше время модным стало понятие мультикультурализма, которое, к сожалению, носит часто политический оттенок. Настоящий же

мультикультурализм исходит, конечно, из глубоких духовных основ культуры. Татьяна Олеговна, помимо русского языка, знала чешский, сербский, польский и украинский, а из западных языков – немецкий, французский, итальянский и английский. Знала и латынь, а выйдя замуж за эстонца, выучила эстонский. Кто в наше время может похвастаться таким знанием языков? Восточная славянка со стороны матери, западная – со стороны отца, Татьяна Олеговна выросла на Западе и смогла освоить культурные ценности разных стран, без противопоставления одной культуры другой. Это и создало у четы Раннит обширный круг друзей.

Надежда Леонидовна Баторская, дочь Татьяны Олеговны от первого брака, любезно предоставила мне список имен людей, бывавших в доме Раннитов: Александр Керенский, Александр Солженицын, Иосиф Бродский, Чеслав Милош, Аркадий Белинков, Нина Берберова, Ольга Анстей, Ренэ Герра и Томас Витней. На последних двух фамилиях следует остановиться.

Ренэ Герра – известный французский славист, коллекционер и издатель. В свое время его усилиями было спасено наследие русских художников Серебряного века, после революции оказавшихся вне России. В либеральной Франции того времени их творчество оказалось никому не нужным. И лишь юноша-француз, волею судьбы познакомившийся и сблизившийся с русскими эмигрантами, оценил и сберег эти бесценные сокровища.

Томас Витней, американский миллионер, во время Второй мировой войны был корреспондентом Ассошиэйтед Пресс в Москве. Изучив русский, он впоследствии перевел несколько книг Солженицына. В Москве он встретил русскую певицу Юлию, женился на ней и вывез, преодолев все препоны со стороны советских властей, в США. Юлия вскоре скончалась. А Томас учредил благотворительный фонд ее имени. Этот фонд оказывал поддержку «Новому Журналу» многие десятилетия. Кто же познакомил редактора журнала Романа Борисовича Гуля с Томасом? – Конечно же, чета Раннит. Помогла в свое время Татьяна Олеговна и мне в одном личном деле. Как помогала и российским художникам Гари Элинсону и Льву Межбергу. Татьяна Олеговна и Алексис Константинович дружили также с украинским графиком Жаком Хниздовским, с Вячеславом Иляхинским, одним из немногих художников-абстракционистов из второй волны эмиграции. Можно назвать еще много имен, пользовавшихся вниманием и поддержкой четы Раннит.

Вернусь теперь снова к роли в обществе носителей культурных ценностей. Если Алексис Константинович был творческим человеком, прекрасным поэтом и переводчиком, то Татьяна Олеговна не оставила после себя, насколько мне известно, литературного наследия. Но это ни в какой степени не умаляет ее роли как носителя наследия русской культуры. Скорее наоборот, она целиком отдала себя служению культуре. Все мы, знавшие ее, благодарны судьбе, что Татьяна Олеговна была среди нас. Мир праху ее!

Сергей Голлербах

ОБ АВТОРАХ

АМУРСКИЙ Виталий (1944, Москва). Поэт, эссеист, журналист. Окончил филологический ф-т МОПИ, позднее – Сорбонну. Публиковался в журналах «Континент», «Вестник РХД», «Футурум АРТ», «Мосты» и др. Более двадцати лет работал в русской редакции Международного французского радио. Автор книг «Памяти Тишинки», «Запечатленные голоса», «Тень маятника и другие тени», поэтических сборников: «СловЛарь», «Трамвай 'А'», «Темрога mea», «Серебро ночи», «Земными путями» и др. С 1973 г. живет во Франции.

БЕРСОН Лена. Родилась в Омске. Поэт, журналист. Окончила журфак МГУ, в 1991–96 гг. была соредктором газеты «Шарманшик» при Театре музыки и поэзии Елены Камбуровой. С 1999 года живет в Израиле. Редактор новостного сайта. Подборки стихов выходили в журналах «Арион», «7 искусств», «Иерусалимский журнал» и др. Лауреат и дипломант Волошинского конкурса (2017, 2019), финалист конкурса «Заблудившийся трамвай» (2019).

БРАУН Николай Николаевич (1938, Ленинград). Поэт, переводчик, публицист, общественный деятель. Был секретарем Василия Шulgина; входил в круг Анны Ахматовой. Окончил Ленинградский институт культуры. В 1960-е годы печатался под псевдонимом «Николай Бороздин»; собрал уникальную фонотеку, включая записи поэтов 1920-х гг. В 1968 г. выступил в поддержку Пражской Весны. В 1969 г. арестован КГБ и осужден на семь лет и три года ссылки. В 1990 г. – один из создателей Монархического центра (СПб), старший соратник Российского Имперского Союза-Ордена. Автор серии теле- и радиопередач (СПб). Один из учредителей «Мемориала поэта Гумилева» (1995). Живет в Санкт-Петербурге.

БРЕЙТЕР Полина. Родилась в Сибири, жила в Одессе. Окончила факультет романо-германской филологии Одесского ГУ, защитила канд. диссертацию по математической лингвистике в Ленинградском отделении Института языкознания и мышления АН СССР. Преподавала в Кировоградском пединституте, была уволена за «антисоветскую пропаганду»; работала учительницей в сельской школе под Одессой. По материалам 16-летней переписки с Борисом Чичибабиным подготовила публикации для «Нового Журнала» и ж. «Звезда», а также книгу «Уроки чтения» (Москва). В 1992 году эмигрировала в США, живет в Нью-Йорке.

ВУЛЬФИНА Лариса (г. Чехов). Историк, журналист, коллекционер. Окончила исторический факультет КГУ (Киев). Автор статей в журналах и научных изданиях о художниках первой и второй волн русской эмиграции, книг «Москва как место проживания. Д. П. Сухов. Архитектор. Реставратор. Художник» (соавтор Т. А. Дудина), монографии о художнике Н. Ремизове

«Неизвестный Ре-Ми». Американский корреспондент альманаха «Панорама искусств» (Москва) и журнала «Антиквар» (Киев). Живет в Филадельфии.

ГРИЦМАН Андрей (Москва). Поэт, эссеист, гл. редактор журнала поэзии «Interproesia». Окончил Первый медицинский институт им. Сеченова. В 1998 г. окончил Университет Вермонта, факультет филологии. Публикуется в журналах «Октябрь», «Новый мир», «Арион», «Вестник Европы», «Сибирские огни» (Россия), «Иерусалимский журнал» (Израиль), «Стетоскоп» (Париж), «Крещатик» (Германия) и др. Автор более десяти книг стихов, среди них: «Ничейная земля», «Двойник», «In Transit» (англ., рум.), «Остров в лесах», «Голоса ветра», «Pisces», «Long Fall» (англ.) и др. Стихи включены в антологию русской зарубежной поэзии «Освобожденный Улисс», в антологии «Crossing Centuries. New Russian Poetry», «Voices from the Frost Place», «Modern Poetry in Translation» (UK). Живет в Нью-Йорке.

ДАНИЛЬЯНЦ Татьяна. Поэт, кинорежиссер. Автор книг «Красный шум», «Белое», «Венецианское». Лауреат IV и V Фестивалей Свободного Стиха (Москва; 1993, 1994). Лауреат литературных премий «Носсиде» (Реджио Калабрия; 2008, 2011), «Бродский на Искье» (2018). Стихи переведены на англ., фр., нем., итал. языки. Стихи публиковались в периодике – ж. «Вавилон», «Среда», «Гвидеон», «Notre Dame Review», «White Review» и др., отдельными книгами в Италии (2007), Польше (2010), Франции (2015), Армении (2015). Живет и работает в Венеции и в Москве.

ИВАНОВ Андрей (1971, Таллинн). Писатель. Окончил Таллиннский педагогический институт, русский язык и литература. Автор романов «Путешествие Ханумана на Лолланд», «Бизар», «Исповедь лунатика», «Обитатели смиренного кладбища» и др. Лауреат Литературной премии им. Марка Алданова за повесть «Зола» (2007), премии эстонского фонда «Капитал культуры», «Русской премии» (2010), премии НОС за роман «Харбинские мотыльки» (2013), финалист «Русского Букера» (2013). Романы переведены на эст., фин., нем., англ. и фр. языки. Член Союза писателей Эстонии.

ИГНАТЬЕВА (Оганисян) Мария Юльевна (Москва). Поэт, филолог. Окончила журфак и аспирантуру МГУ, кандидат филологических наук, работала в ИМЛИ. С 1990 года живет в Барселоне; преподает русский язык. Книги стихов «Побег», «На кириллице», «Памятник Колумбу».

КОЧЕРГИНА Ирина Владимировна (1967, Курган). Литературовед, филолог. Окончила филологический ф-т МГУ. Кандидат филологических наук. Преподает в школе № 57 Москвы. Автор разработок уроков по литературе (ж. «Литература»), методического пособия по литературе (изд. «Дрофа»).

КРАЙТМАН Семен (1965, Одесса). Поэт. Окончил Свердловский политехнический институт. С 1990 года в Израиле. Публикации стихов в «Новая Юность», «Аврора», «Литучеба», «Ковчег», «Дружба Народов», «Иерусалимский Журнал».

КУЗНЕЦОВА Ольга Феликсовна (1953, Москва). Литературовед, филолог. Ведущий научный сотрудник ИМЛИ РАН, канд. филологических наук. Составитель книг «Письма запрещенных людей. Литература и жизнь эмиграции. 1950–1980 годы. По материалам архива И. В. Чиннова», «Путеводитель по фондам ОР ИМЛИ РАН. Русское Зарубежье. Документы, книги, периодика» и др.

МАРТЫНОВ Андрей (1972, Москва). Литературовед, историк культуры. Окончил МПГУ, канд. философских наук. Сфера научных интересов: литература Русского Зарубежья, военная история России 1-й пол. XX века. Автор книг «Литературно-философские проблемы русской эмиграции», «По обе стороны правды. Власовское движение и отечественная коллаборация», а также около 50 научных статей и публикаций.

НАКАНО Юкио (1977, Фукуока). Литературовед, историк культуры. Окончил русское отделение факультета иностранных языков Токийского университета иностранных языков (2000), МГУ (2007). Канд. филологических наук. Преподает в Doshisha University (Япония). Автор работ по истории Русского Зарубежья; исследователь творчества Г. Струве, А. Синявского и др.

ОЛЬШВАНГ Хельга (Москва). Поэт, кинорежиссер, сценарист, переводчик. Окончила сценарный факультет и аспирантуру ВГИКа. Автор нескольких фильмов и четырех поэтических сборников. Стихи и переводы публиковались во многих периодических изданиях и антологиях России и США. В 1996 году переехала в США, живет в Нью-Йорке.

ПРОЗОРОВ Илья (1937, Таллинн). Театральный режиссер, педагог, писатель, сценарист. Окончил Театральный институт им. Б. Щукина в Москве. Автор романа «Под взглядами тайского короля». Живет в Таллинне.

ТОРЧИЛИН Владимир. Писатель. Доктор химических наук, лауреат Ленинской премии. С 1991 года – профессор Гарвардской Медицинской школы; зав. отделением фармацевтических наук Северовосточного университета (Бостон). Член Европейской Академии Наук. Автор сборников повестей и рассказов – «Странные рассказы», «Повезло», «Время между». Проза публиковалась в журналах «Аврора», «Волга», «Север», «Континент», «Дружба Народов», «Побережье», «Вестник», «Русская Америка» и др.

The New Review / Novyi Zhurnal is the oldest continuously published Russian-language literary quarterly

The New Review Inc. gratefully acknowledges the support of our loyal friends:

Patron: Mr. S. Hollerbach; The Tcherepnine Society, Mr. P. Tcherepnine; Russian Nobility Association in America;

Sponsors: American-Russian Aid Association “Otrada”; Eli & Ludmila Flam Living Trust; Capital Builders Group, Mr. & Mrs. G. Lukin; Mr. A. Nemirovsky;

Fellows: Mr. G. Glinka; Mr. & Mrs. A. Petrov; Mr. & Mrs. J. Vulfin;

Friends: Mr. & Mrs. M. Averbuch; Ms. Ye. Dubrovina, Ms. N. Faynberg, Mr. & Mrs. G. Golovin; Mr. A. Gritsman, Ms. N. Kossman, Mr. A. Moussaïan; Ms. C. Raëff.

It requires the support of loyal friends for year 2020:

Patron – \$ 5,000 and up

Benefactor – \$ 2,000 and up

Sponsor – \$ 1,000 and up

Fellow – \$ 500 and up

Friend – \$ 100 and up

The Internal Revenue Service has determined that The NEW REVIEW, Inc. is a tax-exempt organization and a «public charity» pursuant to the provisions of the Internal Revenue code 501 (c) (3). Contributions to The NEW REVIEW, Inc. are tax-deductible under the provisions of section 170 of the code.

Checks must be made payable to

THE NEW REVIEW
1216 Broadway, 2nd floor
New York, NY 10001

НАШИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Москва, Россия: Андрей Красильников – 111024 Москва, а/я 61

Санкт-Петербург, Россия: Евгений Голлербах – тел.: 7-921-940-0421

Париж, Франция: Виталий Амурский: vitaly.amoursky@ gmail.com

Израиль: Марина Кособок-Полонски: Polonskybooks@gmail.com

«НОВЫЙ ЖУРНАЛ» МОЖНО КУПИТЬ В МАГАЗИНАХ:

Дом Русского Зарубежья: 109004 Москва, Нижняя Радищевская, д. 2

Магазин «Фаланстер»: Москва, Тверская 17; тел.: 7+495-629-88-21

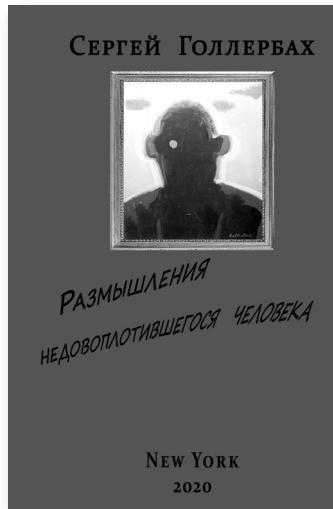
Librairie du Globe: 67, Bd. Beaumarchais 75003 Paris, France

RBC Video / Bukinist: 269 Brighton Beach Ave, Brooklyn, NY, USA

Polonsky Books: Haifa, Huri Street, 2, Migdal ha Nevi'im, Israel; +972 55 968 24 16

на сайте журнала через PayPal (кнопка: Подписка)

Вы можете оформить электронную подписку на журнал. Подробности на сайте: www.newreviewinc.com (кнопка: Подписка)



New York: The New Review Publishing, 2020, 186 с. Цена - \$14.95

«Русский философ и публицист Василий Васильевич Розанов называл себя “недоволютившимся” человеком. Что значит быть недо-волютившимся?.. Что если автор перестанет стыдиться и начнет задавать глупые вопросы, будет стараться разрешить давно уже разрешенные другими проблемы и ставить себя в положения, в которых он никогда не бывал? Фантазировать, вспоминать детство и зрелые годы, добавляя к ним то, чего не было? Такой процесс “не ведущего стыда” мышления, быть может, приведет его хотя бы к частичному пониманию самого себя...»

- так начинается свою новую книгу эссе известный американский художник Сергей Голлербах. Он погрузит читателя в ЛИЧНОЕ и ВОЗМОЖНОЕ, предложит ОБРАТНЫЙ ХОД ВРЕМЕНИ и ПРОКЛЯТЫЕ ВОПРОСЫ; он заставит выслушать свою НЕГАТИВНУЮ ИСПОВЕДЬ и размышления о беспризорном добре и заразных дурных примерах... Стал ли автор жертвой самообмана, поддался ли искушению просто высказаться Urbi et Orbi?.. Или он верно нащупал самые болевые точки нашего современника и вызвал его на неприятный, но крайне важный откровенный разговор? - Решать вам, читатель.

По вопросам приобретения книги обращаться в издательство:
The New Review
1216 Broadway Floor 2
New York NY 10001 newreview@msn.com

Вы также можете заказать другие книги Сергея Голлербаха: “Нью-Йоркский блокнот” (2013), “...Вспоминая с улыбкой” (2019), “From a Personal Point of View” (2016), “New York on My Mind. Memoirs of a Displaced Person” (2014).

Все книги богато проиллюстрированы автором.

Сергей Яровой

ТРИ МИРА



Сергей Яровой. Поэт, ученый, переводчик. Родился в Украине. По профессии биохимик/молекулярный биолог, автор многочисленных научных публикаций. Выехал на Запад в 1994 г. Жил во Франции, затем переехал в США. Первые поэтические публикации состоялись в 2000–2002 гг. по инициативе Натальи Горбаневской в парижской «Русской мысли». Публикуется в поэтических ежегодниках и альманахах США и Германии. Живет в Филадельфии.

New York: Liberty Publishing House, 2019, 257 с. Цена - \$ 24.00 (включая доставку)

“Ты берешь в руки книгу стихов совершенно неведомого тебе поэта. И вдруг понимаешь – это стихи! Это настоящие, живые слова! Это литература; та, которая выливается из жизни и возвращается обратно в нее, наполняя жизнь новыми смыслами, новым дыханием, новой кровью... Именно таковы стихи Сергея Ярового.”

Александр Журбин, композитор

“Здесь и Брейгель, и Бодлер, и Радищев, и Цветаева со своей таинственной связью через сны. Энтелехия и личная сила Сергея Ярового в том и состоит, что она напивывает его поэзию и нас через нее мировыми токами и потоками, словно автор наяву пережил воплощения в разных странах и культурах.”

*Валерий Дударев, поэт,
главный редактор ж. “Юность”. 2007-2018*



По вопросам приобретения книги обращаться в издательство:
Liberty Publishing House
P.O. Box 1058
New York, NY 10024
Phone: (212) 679-4620
Info@LibertyPublishingHouse.com